

4

НОВОБЫТЪ
МИРО

НОВОБЫТЪ МИРО

1951

4



1951

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVII

№ 4

Апрель, 1951 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ИГОРЬ МУРАТОВ — Буковинская повесть. Авторизованный перевод с украинского Л. Шапиро	3
ВЕРА ИНБЕР — Новые стихи, из цикла «Путь воды»	92
АНДРЕ СТИЛЬ — «Сена» выходит в море, рассказ. Перевод с французского Н. Немчиновой	100
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВ — Любовь моя, стихи	140
ЗА МИР, ЗА ДЕМОКРАТИЮ!	
И. ВОЛК, В. КОРНИЛОВ, А. ВАСИЛЬЕВ — Корея в борьбе	144
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
НИКОЛАИ АСЕЕВ — Жизнь слова	176
Трибуна читателя	
О НОВЫХ КНИГАХ СОВЕТСКИХ ПРОЗАИКОВ	193
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
А. Шумский. Горький — борец за мир и демократию. — М. Козьмин. Об этом нельзя забыть. — Л. Дмитерко. Кровью сердца. — С. Ильичёва. Детство в берестяном чуме. — А. Твардовский. Роберт Бёрнс в переводах С. Маршака. — Я. Иосаде. Правда кузнеца Игнотаса. — К. Линёв. Мирные люди. — Н. Капиева. Альманах чкаловских писателей. — Н. Чуканов. «Квадрат карты». — Е. Романова. О литературе сегодняшней Америки. — Ю. Карасёв. Молодые поэты Албании. — А. Мацкин. Уроки Станиславского.	212
<i>Борьба за мир. Международные отношения. История</i>	
Б. Леонтьев. Фашистский облик правящей клики США. — Кандидат географических наук Е. Лукашова. США движутся на Север. — Л. Безыменский. Легенда о Роммеле и её проповедники. — Кандидат исторических наук М. Юрьев. Великая крестьянская война в Китае.	250

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР“
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Право</i>	262
Кандидат юридических наук М. Савицкий . Орган советской юридической мысли.	
<i>Техника</i>	265
Академик А. Винтер . Настольная книга гидроэлектростроителя. — Г. Марягин . Плоды безответственности.	
<i>Физика</i>	270
Профессор Б. Кузнецов . С. И. Вазилев о советской науке.	
<i>Химия</i>	272
П. Воскресенский . Великий композитор и химик.	
<i>География</i>	274
Ф. Харченко . В преображённом крае.	
<i>Военное дело</i>	277
Полковник А. Набокин . Брошюры о Сталинской авиации.	
<i>Биология</i>	280
Ю. Милёнушкин . Великий русский биолог И. И. Мечников.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (Февраль—март 1951 года)	283

ИГОРЬ МУРАТОВ

★

БУКОВИНСКАЯ ПОВЕСТЬ

С украинского

I

В тім раю я бачив пекло...

Т. Шевченко

...**Х**орошо бы вы сделали, товарищ, если бы описали всё, что я вам о своей жизни расскажу. Но не подумайте, что я считаю себя какой-нибудь выдающейся личностью или прославиться хочу — нет! Просто моя биография для многих людей может быть интересной, потому что натерпелся я и при румынских боях, и чего только не испытал за пятьдесят четыре года, пока к настоящей жизни пришёл.

Давно мне пришло на ум описать свою жизнь — ещё когда в наш колхоз приезжала делегация американских профсоюзов. Похоже, что это порядочные были люди: против поджигателей войны выступали, против атомной бомбы. У нас им понравилось: и хозяйство колхозное, и люди... Только не всё они поняли в полном масштабе.

Один из них обратился ко мне:

— Вот вы, мистер Карпюк, говорите, что всего достигли благодаря тому, что вас воспитала коммунистическая партия. Это для меня, извините, только фраза...

Слыхали?.. И начал мне доказывать, будто сам человек, если он сильный и настойчивый, может при любых условиях добиться для себя счастья.

Тут и вспомнилось мне, как и сам я когда-то считал, будто своими силами могу счастье найти...

И так мне захотелось перед всем миром, перед всеми трудящимися рассказать о своей жизни, о том, как меня советская наша власть и большевистская партия сделали человеком, так мне, товарищи, захотелось об этом рассказать, что вышел бы, кажется, на верховину карпатскую, как на трибуну, и начал бы всё по порядку...

И не только зарубежным братьям, а и нашей молодёжи послушать полезно.

Сироты

Самому иногда не верится, как в старые времена жилось у нас на Буковине: не то что хлеба — дровец, бывало, зимой не разживёшься...

Горы, как видите, вот они, за Черемошем начинаются. Лесу в горах — хоть отбавляй. А только всюду на него были хозяева. С лугов гнал панский луговой, из ближней лощины — береговой охранник. А своих верб возле хаты нехватит, чтоб на топливо их ободрать.

Намёрзнется мужик в нетопленной хате и пойдёт собирать плавун,

затонувший в тине. От **грязи** его очищает, и во все стороны озирается — не идёт ли кто, потому что и это дело запрещали...

То-то хорошо, думал я себе, что весна ежегодно половодье посылает, а с ним и плавун, который вода несёт с верховины и забрасывает сюда. Можно дровишек разжиться, и топора с собой не брать, а это главное, потому что не пощадят, если тебя с топором поймают.

Речка шумит сердито, но выбрасывает брёвна на берег: на и тебе, человеке, от богатства лесов, бери быстрее, неси в хату.

Не счесть, сколько в том лесу гниёт, выветривается пней и валежника, но только бедняк осмелится тронуть хворостинку, — сейчас же бьют, наказывают, вором называют. — Зачем зарисься на чужое добро? — допрашивают беднягу в суде.

— Пан судья! Дети дрожат от холода, морозы крепкие, хотел немного обогреть хату... Лес от этого не обеднеет, простите на первый раз...

Ничто не помогает. Хворост отберут да и запрут в холодную...

Было у нас так, на Буковине, при австрийской власти, не лучше стало и при румынской. Доставалось и мне в прошлые времена. Хлебнул я беды и по горло и выше горла, ещё и в уши залилось, потому что был я у отца меньшей, земли ни клочка мне после него не осталось.

Как пришло мне время жениться, пошёл я в зятья, в чужую семью, значит. Жёнушка моя — Стефка — была не из худших: и тихая, и к мужу уважительная, только печальная и болезненная, к работе не способная. Поэтому и отдали её за такого безземельного, как я: и так в девках засиделась.

Тесть был человек небогатый, но жил лучше, чем мой покойный отец: имел приличную хату, двадцать соток пахотного поля, а главное — коня, которым свою землю обрабатывал, не залезая в долги.

Тёща мне не очень досаждала, только всё бывало плачет украдкой, прислушиваясь, как её дочь заходится от кашля. Была у них Стефка, как и я у своих родителей, самая младшая, потому так и нянчилась с ней старуха: и к водороее водила, и самое вкусное, что было в хате, ей подсовывала.

Но всё напрасно. Родив мне сына, бедняжка через полгода умерла, и остался я в чужой хате вдовцом, да ещё с младенцем на руках.

Мы с тестем с утра до ночи на поле, тёща еду варит и внука забавляет, — день за днём, ночь за ночью — так жизнь и тянулась.

Прошло года два. За работой да за заботой и времени не было подумать, что же со мной дальше будет. Ведь как ни говорите, а без жены у тестя в приймаках жить человеку не пристало: надо, наконец, своё хозяйство околачивать.

А тут ещё и другое сушит. Заиграет музыка, пойду я с людьми на храм¹, увижу, как хлопцы и девчата гуляют и песни поют, друг с другом в танцах сходятся, за руки берутся, — и так горько мне станет... Кто я такой, думаю: старик или молодой, хозяин или наймит?

Может, и тянулось бы ещё какое-то время, пока бы я из приймаков вылез, если бы не случай: у Илька, старшего брата покойницы моей Стефки, в жниво хата сгорела, и остался он с тремя малыми детьми под открытым небом.

Перебрался Илько к отцу со своими пожитками, и стало в нашей хате так тесно, что когда соберутся все вместе, так и итолку некуда кинуть.

Дети визжат, невестка со свекровью ссорится, а мой Семенко только и знает, что шишки на лбу потирает... Однако как они там между собой ни ссорились, а всё же родные — один я чужой.

¹ Престольный праздник.

Надо правду сказать: никто меня из хаты не гнал. Но так уж сложилось, что пришла пора мне с тестем прощаться.

Сказал я ему об этом. Старик помолчал немного, подумал, потом и говорит:

— Добре... Семенко пусть у нас побудет, пока ты своим хозяйством обзаведёшься; жеребчика я тебе дам, потому — такое условие было, а что Стефке моей тот конь теперь без надобности, на то уж божья воля... На первое время какую-нибудь халупу поставишь, а после, может, и на хату соберёшься...

— И за то, — говорю, — спасибо.

Другой бы на его месте, думаю, по тогдашним обычаям ещё и за харчи с меня потребовал...

Это я вам говорю не потому, что люди у нас как будто все плохие и жадные. Сама жизнь так их к земле прижимала, что один на другого и не посмотрит, — самому бы как-нибудь прожить.

Занял я денег у пана, купил пять соток земли и поставил на ней халупу.

Сооружение это, если бы на него сейчас посмотреть, было к нормальной жизни никак не пригодно. Низко, темно, повернуться негде, и ветер во все щели врывается.

За «поместье» я должен был пану отрабатывать, но это меня не печалило. Молодой ещё был, дерзкий.

Так и живём: я в своём курене, а сын отдельно.

Когда от тестя выбирался, думал, хоть нагуляюсь вволю за то, что парубком не гулял. А получилось так, что ни гулянки, ни что другое в голову нейдёт, только он, мой Семенко маленький, который где-то там по полу ползает и в детский разум выбивается, не видя родного отца.

Приду вконец усталый из имения, где я при панских лошадях находился, лягу в своей халупе, а сон меня не берёт. Вот сейчас они, думаю, спать улеглись: тесть с тещей на кровати легли, Илько с женой на лавке примостились, а дети — на печи. Как на той печи ни просторно, а всё ж для Семенка места нехватит. То один его толкнёт, то другой заденет. А заплачет, пожалуется — кто на это обратит внимание? Иной раз, может, бабка заступится, а может, и сама, усталая и раздражённая всем этим кагалом, гаркнет «цыц!» — и всё...

А оно ж малое, тогда ему только два годочка минуло. Хотя, правду надо сказать, здоровенький был, крепкий, в отца пошёл. Только ходить не умел: станет на ножки, ступит полшага и свалится. Всё, бывало, ползком да ползком.

— Оно на отцовских харчах слишком толстое, потому и на ноги не станвится, — скривит иногда губы жена Илька.

А мне так больно делается — на белый свет не глядел бы. Жил бы, думаю, Семенко с отцом, так и на ногах стоял бы.

Приду в воскресенье на часок к сыну, зову его к себе, а он не идёт. Не знает меня! С рассвета до ночи я в имении, а в воскресенье своей работы по горло: ведь я всё для себя сам делал — и варил, и стирал, и сорочку латал.

А тут ещё происшествие случилось. Помещик у нас был богатеющий. Австриец. Бильграф по фамилии. Высокий, плечистый, но такой толстый, что подбородок у него, как индюший зоб, свисал.

Добра у него всякого и денег было без счёта. В саду тридцать шесть рядов крыжовника, сливка-багруля, груши сортовые на ветках, а хлопчикам, что играли возле сада, и падалицы поднять нельзя было.

Зять у него был из Галиции. Недалеко от наших мест тоже имел пятьсот фальгов земли, восемьдесят коров, много коней и овец...

Пан — паном, а на мужика ещё и подпанков целая свора. Только и

всего, что барщину отменили, а по полю надсмотрщик едет, конёк под ним быстрый и гладкий, в руках ремённая плётка. Чем меньше подпанок, тем злее мужицкую шкуру стегает, душу из бедного человека выбивает...

Жил себе наш австрияка в высоком доме на холме, там, где сейчас дворец культуры. Село красиво в долине раскинулось, с холма такой вид, что хоть на киноплёнку снимай.

Банкетов особенных, чтоб жрали и пили без меры, как паны к тому привыкли, в фольварке не было, потому что болел тот Бильграиф желудочной болезнью и не мог смотреть, как гости уминают то, что ему врачи запретили. Приедут гости, он ведёт их в конюшню, лошадьми хвастает. А больше всего четвёркой вороных, которых он только по большим праздникам в коляску закладывает.

Вот из-за этих-то коней я и попал в беду.

Стояли они в конюшне отдельно и никто, кроме старшего конюха, к ним близко и подступиться не смел. Ну и кони ж были! Один в один.

Трое у него давненько стояли, а четвёртого никто и не видел, как поставили. Говорили, будто ночью с ярмарки привели.

Приехал к нашему помещику в гости пан Гелка, что всеми лесами в округе владел. Мы на конюшне готовили коней напоказ. Утром чистили, а сейчас ещё раз.

— Гляди же, — говорил мне старший конюх, — всех чисть, а этого, крайнего, без меня не тронь. Я на минутку домой сбегая. Только пану не говори, что вороных тебе поручил...

Ленивый он был, всё на моём горбу выезжал. Ну, я молчу, терплю, отработаю, думаю, что задолжал, тогда видно будет.

Пока он бегал по своим делам, я коней поскрёб, чтоб и пылинки на них не было, помыл их водой: блестят, лоснятся. Всё у меня готово, остался последний из четвёрки, а конюха нету.

«Попадёт ему от пана, — думаю, — если хоть какое-нибудь пятнышко на том коне, упаси боже, заметит».

И стал я возиться около него.

А оно так жилось тогда: идёшь неспеша — беда догонит, идёшь быстро — беду нагонишь. Только я из шланга водой, — с того вороного чёрная краска как потечёт!.. Подкрашенный, значит, был. Тут как раз и пан с гостем пожаловали.

Откуда ж мне было знать, что, не найдя четвёртого вороного, наш помещик в такую химию кинулся?

Не знаю, что уж он Гелке говорил, слышал только, как румын смеялся. Потом убежал пан в конюшню, схватил меня за плечи и затряс: «Чтоб твоего духу здесь не было!».

Ну, я и пошёл. Прямо к тестю. Старик ещё с поля не вернулся. Тёща тесто на кнущи месит. Дети — кто в хате, кто возле хаты возится. Вижу: мой Семенко за стенку ручкой держится и тоже ковыляет.

— А ну, — говорю, — иди, сынок, на середину и учись ходить по-человечески...

Тут тёща как заплачет.

— Знаешь, Танасий, — говорит, — пригляделась я вчера: у него ж одна ножка короче...

Подошёл я к парнишке, поставил против себя, смотрю — и правда, короче. Пока ползал, не замечали, а теперь, когда на ноги стал, — видно.

Тёща плачет.

— Беда мне с ним, — говорит. — То в лужу упадёт, то ещё куда-нибудь забьётся. Стара я уже, чтоб за калекой присматривать. Да и Ильковы дети его обижают.

Подумал я, погадал.

— Хорошо, — говорю. — За всё вам спасибо. Как-нибудь уж сам присмотрю...

Попрощался с тещей, взял Семенка на руки и пошёл.

Мария

Будто светлее стало в моей халупе. Что ни говорите, а вдвоём веселее. Пойду на грядку, и Семенко со мной. Привык к отцу, ни на шаг не отходит.

Сделал я ему сапочку еловую, идёт по моим следам и тоже сгибается, сапочкой постукивает до седьмого пота.

Так мы с ним и закончили «прополочную кампанию». Такой «земельный массив» обработать — это вам не шутки! Тут и жито, и картошка, и фасоль — такая теснота, что палку не ткнёшь.

Наниматься в ту пору я ни к кому не спешил. Кое-какие харчи у нас были, да и овощи должны были вот-вот поспеть. Немного картошки, кукурузы, фасольки — не пропадём до зимы. Осенью и воробей — богатей. Может, что-нибудь подходящее и подвернётся.

И правда: ещё не все холмы пожелтели, когда встретил меня сельский нотариус Косован, дьяка нашего сын.

— Добрый день, Танасий! — приветствовал он меня первый.

— Дай боже здоровья! — говорю. А сам думаю: «Чтоб его у тебя чёрт совсем забрал». Плохой он был человек, взяточник, кровосос, другого такого не найти было.

В молодости он у нашего пана лакеем служил. Хвалился, что не из одного бокала отхлёбывал, пока еда до стола доходила. Зато хорошо научился и зады панам лизать, и подставленную руку целовать.

Да ещё людей, которые недовольны были своей нищей жизнью, поучать брался: за масляный язык, говорит, платят, а за острые слова тебе и ломаного крейцера не дадут.

Речь у него была сладенькая, жирненькая, хоть на чирей её, извините, намазывай, если у кого выскочит на теле. И натура хищная, а трусливая: был из тех, которые, сидя на телеге, даже зайца объезжают.

Земли вначале имел немного, но всякими хитростями выбился со временем в кулаки.

Всё кричал, что широкий украинец. Даже из Галиции газетку выписывал и нам её читал. Там писалось, что если пан своего родного языка не чурается, то он мне, мужику, чуть ли не брат родной. Послушал. я и думаю:

«Э, нет, пусть богатый хоть соловьём распеваает, а я его родичем не считаю».

И что бы вы думали? Женился тот Косован на румынке, да и сам на румына переписался.

Ну и пара вышла интересная из этого Косована и его «дорогой» Элен Чапей! Был он среднего роста, не то чтоб очень толстый, но в теле, одевался чисто, а когда в городок по делам ездил, то и кудри там в цилиндрольне закручивал, как привык в лакеях.

А она — сухая, чёрная да такая худая и высокая, что, ей же богу, не задрав головы, никак рожи не разглядишь. И намного старше его была. Но большие деньги загребала, на наших детях отыгрывалась — учительницей в школе служила.

А что, скажите мне, то за школа, если в ней дети родного слова не слышали?

«Как это называется?» — спросит бывало Чапей у школьника и тычет черешневым прутом в рисунок.

— Конечно, печь, — не моргнув, говорит хлопчик. И тут же получает линейкой так, что весь в полосах домой идёт.

— Молчать! Я тебе покажу «печь»! — визжит учительница. — Не печь, а соба, соба, соба, — и при каждом слове бьёт бедняжку по спине. Злющая была.

Очень мне не хотелось итти внаймы к этому Косовану. Стою, молчу, а он всё на своё поворачивает:

— Деньгами, — говорит, — много не обещаю, но кушать будешь хорошо. Не только мамалыгу с кислым молоком, а и капусты густой со сметанкой попробуешь, и солонинки кусок достанется. Спать, если хочешь, будешь в своей собственной хате.

А сам чуть не лопнет со смеху, потому что хорошо знает, гадюка, какая у меня «хата».

Не будь это перед жнивом, он бы в мою сторону и глазом не повёл. а тут как с равным договаривается. Но и я не поддаюсь.

— Хотел, — говорю, — к Худику наниматься, но пойду уже к вам, как к соседу. Только чтоб и моего парня кормили.

— Да разве ж я для ребёнка кусок хлеба пожалею? — быстро согласился Косован. — Бог даст, вырастет — отблагодарит меня, отработает.

«Дай бог, — думаю, — мне до того дня не дожить, чтоб ещё и сын мой на тебя работал...»

И пошёл я с Семенком внаймы.

До жатвы оставалось ещё недели две, и я пока что работал на дворе. То в свине что-нибудь прилажу, то в кладовых. С малых лет всякая работа была мне легка и приятна. Прибить ли какую доску, постолы ли починить, жито ли косить — всё мне любо и весело.

Иногда, бывало, вспомню, что не на себя работаю, а кулацкое добро увеличиваю, — горько мне станет...

Как-то чинил я на хозяйской хате дымарь: кирпичи, которые выветрились, заменял новыми. Сажу на крыше и поглядываю время от времени, что там мой хлопчик делает. Он примостился на другом конце двора у забора, сидит под акациями и стручки лушит, будто обед варит. И вот вижу — шагах в двадцати от него чёрный бугай Косована — Жук. Поднялся мой Семенко на ножки, ни живой ни мёртвый стоит.

Как очутился бугай на воле, не знаю, — его без пут и на шаг не отпускали. Лютый был зверь: на человека наскочит — человека убьёт, на кабана — кабана кишки выпустит.

Увидев, что бугай на моего хлопчика рогами нацелился, я стремглав бросился с крыши. Бегу через двор, а бугай уже головою замотал и заревел страшно, вот-вот Семенка на рога поднимет.

Так бы оно, наверно, и случилось, если бы не пришло к моему парнишке неожиданное спасение. Как раз в ту секунду, когда Жук с наливыми кровью глазами ещё раз копнул песок и кинулся вперёд с опущенными рогами, между ним и ребёнком, как из-под земли, выросла женская фигура.

Пока я добежал до того места, где только что стоял мой мальчик, он уже был на руках у своей спасительницы, а она, как вьон, вертелась между стволами акаций, на которые бугай с рёвом натыкался широким лбом.

На шум прибежали люди с гумна, и нам удалось опутать и загнать Жука на своё место, за ограду.

Тогда я подошёл к отважной девушке и, принимая у неё из рук Семенка, признал в ней Марийку, одну из девяти дочерей старого Сорохана.

— Так это ты... Марийка, такая? — спросил я её, не зная, как благодарить за сына.

— Какая? — спросила она громко и даже, как мне показалось, вызывающе.

— Ну вот, — совсем растерялся я, — не испугалась...

— Я ничего не боюсь, — засмеялась Марийка. И опять, будто вызывая на спор, спросила: — А ты разве испугался?

— Я не за себя. Я за сына, — попытался я защититься от этого непонятного нападения. — Спасибо тебе, Марийка... потому что я не добегал бы.

— Надо бегать быстро, а не как столетний дед, — ответила она с задором.

Только тут я заметил, что сорочка у неё на плече разодрана, и кровь сочится. Значит, бугай всё-таки успел зацепить её.

— Давай помогу перевязать, — сказал я, опуская сына на землю. Как сверкнули её зелёные глаза! Она отскочила от меня и, не оглядываясь, побежала к хате.

После этого случая, встречая Марийку на гумне или во дворе, я всегда приветливо здоровался с нею, но она будто не замечала меня, даже и не всегда отвечала на обычное «здравствуй».

Началось жниво. Кроме четырёх батраков, постоянно работавших у Косована, на его поле вышли люди, которые были ему должны — кто деньги, кто муку. В большинстве долг отрабатывали женщины, косарей было всего двое — я и старый батрак Косована — Пилип. Это был измученный и болезненный человек, поэтому за ним поставили всего одну вязальщицу, а за мною — трёх: двух подённых и Марийку.

Я и теперь, бывает, во время косовицы нашим комсомольцам такие представления показываю, что девчата не знают, за кем быстрее вязать приходится: за мною или за косилкой. Ну, а тогда мне ещё и тридцати не стукнуло — в самой силе был человек.

Шагаю за косой и думаю: поскорее бы деньги заработать и пану долг отдать, уже экономай напоминал. Оглянулся: две подённые далеко-далеко отстали, а Марийка не поддаётся. Раскраснелась, пышет от неё, как от печи, губы стиснула, только ноздри раздувает, воздух схватывает: жара.

— Что, — спрашиваю, — не холодно ли часом? В косовицу, говорят, за ветерок жену отдал бы.

— Кто имеет, тот может и отдать, — отвечает она, и снова за своё: ещё быстрее сгибается и разгибается, чуть на пятки не наступает.

— Погоди-ка, — говорю, — вот направлю, так будешь знать, как со мной шутить...

Направил я косу и пошёл: вжик-вжик — только колосья и стелются.

Но чем я шире беру, тем она быстрее наклоняется, чем я быстрее шагаю, тем она злее снопы коленом к земле прижимает, будто врагов своих вяжет.

Ещё солнце не село, когда мы свою полосу прошли. И сразу повалились на стерню, как те снопы.

Легли мы с Марийкой среди снопов и молчим. Пока работали, казалось, и ветра не было, а тут приятно повеяло с гор и запахло горячими снопами, которые только что стояли стеной высокого жита... Поле Косована раскинулось на холме, с юторого видно всё наше село Черногузы, что вьётся вдоль дороги, а кругом — горы.

Хаты белеют, только моей нет среди них. Вспомнил я о своей халупе и о зиме подумал. Невесёлая эта пора для бедного человека. В такой, как моя, халупе, кто знает, как и печь ставить? Хорошо, пока лето, а там...

Посмотрел я на Марийку, а она лежит, закрыв глаза, не шевелится: устала, бедная, заснула...

Только сейчас, глядя на неё, спящую, я заметил, как она похожа на своего отца. Те же густые брови, сросшиеся на переносице, такие же упрямо сжатые губы и высокий лоб, на который волнистыми прядями падают волосы — но у старого Сорохана они пепельные, тронутые сединой, а у дочери — как бронза, почти рыжие. Её глаза были закрыты, но я вспомнил, что они не карие, как у отца, а темнозелёные, иногда глубокие и спокойные, а иногда острые и насмешливые, как тогда, на хозяйском дворе.

«Странно, что я не замечал её раньше, — подумалось мне. — А впрочем, она ещё так недавно была ребёнком, ей и сейчас не больше девятнадцати лет... А мне... — И тут же спохватился: при чём тут я?».

Марийка спала, поджав под себя ноги, и казалась мне совсем маленькой, хотя на самом деле она была довольно высокой, почти моего роста.

Сам не знаю почему, но, глядя на неё, я почувствовал, что на душе у меня стало так тихо, так спокойно, будто нет на свете ни пана, ни Косована, ни щелей в моей халупе.

Прощло полчаса, а может, час. Солнце уже успело наполовину спрятаться за горы, широкая синяя тень легла от Карпат на поле, вязальщицы, оставшие от нас, были ещё далеко.

Кажется, никогда в жизни не было мне так спокойно и хорошо. Я поднялся на локте, наклонился и тихо поцеловал Марию в губы.

Она открыла глаза, но не испугалась и не отстранилась, и я понял, что она не спала. Она погладила меня по голове маленькой шершавой рукой и промко сказала:

— Ты хороший. Я давно тебя люблю. Ещё когда маленькой была, любила.

Что-то застучало поблизости. Мы поднялись. На гнедой лошадишке, без седла, прямо по стерне к нам направлялся Косован. Не слезая с коня, он посмотрел на нас, на снопы, поставленные нами, крикнул вязальщицам, чтоб поторапливались, и, не оглядываясь, свернул на пыльную дорогу.

Ой, да два нас, паренёк...

Хорошо теперь нашим хлопцам и девчатам, когда они парами расходятся после кино по аллеям нашего колхозного парка.

Что бы они ни чувствовали, о чём бы ни заботились, — нет в их жизни места самому страшному: отчаянию.

А у меня, как только я понял, как только почувствовал, что люблю, такая тяжесть на сердце легла, такая тоска, что мучает и сосёт и уснуть не даёт человеку.

Приближалась осень. Тучи поползли из-за гор. Залождило. Халупа моя наполнилась гудением и свистом — в ней гулял ветер.

Горячая пора на поле прошла, и хозяин уже косо поглядывал на своих наймитов, точно выискивал повод прогнать кого-нибудь со двора.

С Марийкой мы виделись редко, но что это были за встречи! Стоя где-нибудь возле тына чуть ли не до полуночи, — о чём только мы не переговорили. Будто раньше оба были немыми, и теперь никак не натешимся.

Послушал бы кто со стороны, наверное, показались бы ему наши разговоры ничёмными. А мы без них и дня прожить не могли. Казалось, не ел бы, не спал бы, только ещё и ещё слушал бы про нашу любовь — одно и то же каждый раз, и каждый раз новое.

— Никогда не подумал бы, — говорил я, обнимая Марию, — что ты меня полюбишь... Столько парубков на селе...

— А что мне парубки?.. По мне пусть их и вовсе не было б, — шеп-

тала она. — Это ты меня, Танасий, не замечал. А я тебя уже давно люблю, очень давно...

И от её горячего шёпота, от зелёных очей, будто светившихся в темноте, я чувствовал, что нет на свете более богатого человека, чем я, раз у меня есть Мария, — всё остальное придёт, потому что с такой женой невозможно быть ни бедным, ни обиженным.

Пока было тепло, мы встречались с ней в узком зелёном переулочке, который вёл к моей халупе. С двух сторон нас стеной ограждал плетень, над нами потолком нависали ветви густых волошских орехов, листья акаций.

Случалось иногда, что Мария запаздывала. Я уже не мог, как когда-то, ожидая, равнодушно похаживать взад и вперёд и насвистывать, будто пришёл не на встречу, а просто прогуляться; не мог я, не дождавшись, уйти домой или к хлопцам, и всё стоял, прислонившись к тыну, и напряжённо прислушивался к каждому звуку, к малейшему шороху.

Но стоило только зашелестеть траве под её маленькой босой ногой, как все мои сомнения исчезали, и я спешил ей навстречу и прижимал к себе, даже не спросив, почему она запоздала, ни словом не упрекнув её.

Очень она любила меня и не боялась ничего: ни чёрта, ни волка, ни людского толка. Осень пришла. Заскочит, бывало, Мария в воскресенье в мой курень, расскажет про то, про сё, засмеётся задорно, с Семенком побалуется, думки мои невесёлые развеет.

И парнишка мой полюбил Марию. Посмотрю иногда, как он к ней прижимается, и думаю: «Тяжело ребёнку без матери, мать и приголубит, и наставит».

Однако от мыслей своих не разбогател я ни на грош. И так и сяк раздумываю — ничего путного не придумаю. Знаю только одно: не могу я жить без Марии. А где жить и чем кормиться — это мне не известно.

Его и додумался я до того, что надо нам с Марийкой по разным стёжкам расходиться: мне жить, как жил, а ей, если выпадет случай, замуж выходить, только не за такого нищего наймита, как я.

«Так и скажу ёй», — решил я. И сам этой мысли своей не поверил.

Тут, к счастью, вернулся в село мой товарищ — Берник Иван, от которого я ничего не таил, всё ему доверял.

Был он гуцул, но ещё дед его, спустившись с Карпат, поселился в долине и женился на нашей. Так эти Берники и стали местными.

Всё же в Иване сразу можно было узнать гуцула. Он и одевался по-гуцульски: как-то по-особенному набекрень носил свою зелёную шляпу с павлиньим пером, и песни пел не так, как наши поют. А что до плотов — сбивать и гнать их, — то равного ему в этой работе среди нас не было.

Немало пихтовых, буковых и еловых плотов перегнал он до самого Прута по быстрому Черемошу. Но в последние годы строго стало на границе. А границей был как раз Черемош, который теперь разделяет Выжнецкий и Кутский районы, а тогда разделял Румынию и Польшу.

Для того, чтобы пройти в горы, откуда лес сплавляют, надо было выправить легитимацию¹, за которую, кроме высокой платы, ещё и добрый «бакшиш» надо было пограничникам дать. А где бедный человек столько денег возьмёт? Вот и нанялся Берник водить плоты по Пруту.

Но сердце Ивана рвалось в горы, и временами, минуя пограничные посты, пробирался он к своим лесорубам, чтоб узнать об их житье-бытье и рассказать о своём. Были, конечно, и другие причины. Но об этом после.

Бедные люди любили Ивана. А кулакам-кровососам его язык и харак-

¹ Правовое свидетельство.

тер попере́к горла стояли. Иван шапки первый не снимет, да так посмотрит в глаза хоть и самому помещику, что тот весь затрясётся от злости.

Говорили про Берника: упрямый, вброд не ходит, только вплавь.

Невысокий был, коренастый. Лицом красивый, нос горбинкой, волосы чёрные, и такие же усики. Девчата его любили, но он не женился, хотя и зарабатывал на сплаве много лучше, чем я внаймах.

Ещё парубком любил я прийти на вечерку вместе с Иваном.

Далеко слышно, как идём мы с ним, обнявшись, посреди улицы и поём:

Ой, та два нас, легиньку,¹
 Два нас, та два нас,
 Не ходим горы селом,
 Та не робим галас...²

В работе или случись повеселиться на празднике — характер у нас с ним один, а как заведём разговор о жизни — мысли у нас разные. Не раз мы с Иваном спорили о том, как бедняку на свете жить. Бывало иногда так с ним сцепимся, что после смотреть друг на друга не хочется.

Вы уже знаете, что был я парубок крепкий и ко всякому ремеслу способный. И верил в то, что каждый должен, как та ель, которая в густом лесу выросла, изо всех сил пробиваться к солнцу. Хватит сил — пробьёшься, вдохнёшь вольного ветра, налюбуйешься ясным днём. Нехватит — согнёшься, скрючишься в буреломе, сгниёшь в темноте и духоте, в дикой чаще, не видя божьего света.

Иван только смеялся над этими моими мыслями.

— Ну и разумный ты, — говорит, — себя с гнилой колодой равняешь. И мысли твои точнёхонько такие, как у мыши, которая, дура, считает, что солонина в мышеловку для её мышиноного завтрака положена. И счастье, по-твоему, та самая солонина. Положили её перед тобой: дайся, наймит, гни спину, может и разбогатеешь.

— А по-твоему что же выходит? — спрашиваю. — Просто лезь с детства в петлю, так, что ли?

Он только рукой, бывало, махнёт.

— Гуртом, — говорит, — надо к свету пробиваться... Вон в России, на Большой Украине, во всём Советском Союзе живут же люди по-человечески!

Я об этом уже и без него слышал, но, правду сказать, не очень прислушивался к таким разговорам, потому что за них сигуранца нашему брату рёбра ломала.

Пока я собирался пойти к Ивану, он уже сам — тут как тут. Осмотрел мою «резиденцию», усмехнулся:

— Дворец!

Слово за слово, выложил я ему всё, что было на душе. Много было щелей в стенах моей халупы, но и сквозь них не мог пробиться весь дым, который напустил из своей гуцульской носогрейки мой друг, раздумывая над тем, что мне посоветовать.

Долго молчал он, и я уже старался перевести разговор на другое: стал расспрашивать о том, как ездил, почему задержался на этот раз, сплавливая лес. Берник рассказал, что сдружился с людьми, которые много знают о Советском Союзе, что за свои разговоры попал было в лапы сигуранцы, но удрал и домой сразу не вернулся: со следу сбивал. И, казалось, забыл Иван о моём деле.

¹ Парень.

² Шум, галдёж.

Но он не забыл. Уже наклонившись, чтоб выйти из халупы, Иван вдруг отступил на шаг, выпрямился, и так, словно это им давно решено, сказал:

— Если любите, то сходитесь. Не такой ты молодой парубок, чтоб долго ждать... А свадьбу мы справим на славу: хоть есть нечего, а жить весело! Не забывай, бери меня в сваты. Кого-кого, а нас с тобою старик Сорохан за дверь не выставит.

Я проводил его до перекрёстка. Одна дорога, которая направо, вела к хате Берника, другая — напрямик — ко двору Косована, а третья — назад — к моему куреню. Когда фигура Ивана скрылась в тумане и не стало слышно скрипа его сапог по кремнистой тропинке, я, затоптав цыгарку, подался напрямик — к Марии.

Минут через десять я уже был у высокого забора, за которым, звякая цепью на проволоке, взад и вперёд бегал хозяйский пёс Гектор.

На улице никого не было, потому что моросил мелкий дождик. Хозяева и работники, наверное, уже спали. Но мне так захотелось увидеть Марийку, что я не мог вернуться сразу домой. Обойдя двор вдоль забора, чтобы не дразнить собаку, я уже хотел пробраться через тайный перелаз, как вдруг услышал приглушённый голос Косована. Я притаился за орехом и прислушался.

Ночь была тихая, только у самых берегов Выжинки шуришали камыши.

Самого хозяина я не видел, но каждое его слово было слышно, как на воде.

— Значит, такое твоё последнее слово? — говорил он. — Хочешь, чтобы в «премилитар» отдал? Ну что ж, я тебе это устрою, не беспокойся...

«Премилитар» — у румын так довоенное обучение называлось. Много терпела наша молодёжь от этого! Как восемнадцать лет исполнится хлопцу или дивчине, берут их на «премилитар». Для отвода глаз дадут в руку палочку и муштруют: «Ластинга! Ландрейта!» — только и делай, что поворачивайся налево и направо. А на самом деле в армию не брали: не верили, чтоб наши украинцы, в случае чего, за румынских бояр свои головы подставят. Поэтому не столько наших хлопцев учили, сколько заставляли в поместьях работать, дрова колоть, полы мыть — и всё бесплатно. А чуть что не так — плётком от жандарма получишь.

Вот этим «премилитаром» и угрожал кому-то Косован. Он, вместе с местным жандармом, верховодил в этом деле и ежегодно получал даровых наймитов.

Под орехом, откуда слышался разговор, вдруг что-то зашуршало, затопало...

— Не тронь, хозяин, глаза выпарапаю... — долетел до меня взволнованный девичий голос, и сердце у меня остановилось — Марийкин! — Такой ты, боров пузатый, мало тебе твоей индюшки, — громко сказала Марийка. — Не так легко... со мною...

Вывав доску из забора, я быстро очутился во дворе и, не долго думая, с доской — прямо на Косована. Увидев меня, он сразу отпустил Марийку. Не схвати меня Марийка во-время за руку, лежать бы нотариусу на кладбище, а мне кандалами дорогу мести.

— А-а, спасите! — дико закричал Косован, отступая от меня.

На его крик выбежали наймиты и наймички, а через минуту на крыльцо вышла и сама Чапей.

Из открытых дверей во двор падал свет, и мы втроем стояли, как выведенные на позор перед людьми. Некоторое время все молчали, только псы, как бешеные, брехали и рвались на своих цепях.

— Вот... — глухо, как из-под земли, проговорил хозяин, отталкивая ногой доску. — Думал, что воры... А оно... эти двое... по ночам шатаются... — и, криво усмехнувшись, добавил: — Байстрюков наживают.

Пилип смущённо кашлянул, Зоська, тоже наймичка, ровесница Марийке, прыснула, но сразу умолкла. А Чапей, плотнее закутавшись в свой тёплый капот, молитвенно сложила руки и прогнусавила:

— О-о... Доамне свинте!¹

Я посмотрел на Марию. Она не плакала, губы её были сжаты, а глаза полны гнева.

— Врать ты мастер; — тихо сказал я, глядя Косовану в глаза. — А о моих детях не беспокойся: не ты их будешь кормить... — И, совсем забыв, с каким намерением шёл я сюда, неожиданно для самого себя обратился ко всем: — И на Марию пусть клевету не наводит... Я к ней сватов засылаю.

Недаром говорят: если б можно прожить зиму котом, лето пастухом, а паску попом, — то не очень журился бы, не имея хаты.

Прошла зима, а свадьбу ещё не справляли, хотя Сорохан сватов принял хлебом-солью, и мы с Марией были уже заручены. Она работала сейчас у Худика, а меня Косован не прогнал, потому что такими рабочими, как я, бросаться было невыгодно.

Почти все заработанные деньги я отдал помещику за долг, а весь запас харчей пошёл на Семенка. Зимой он жил то у родителей покойной Стефки, то у моей старшей сестры, у которой и своих таких было семеро.

К Сорохану в семью я пойти не мог, потому что в его хате как соберутся все — человеку невозможно вокруг стола обйти. Да и не один я был, а с ребёнком.

Хоть живым в землю ложись, надо ставить свою хату. К тому же Косован через своих подручных распустил слух, и поползли по селу сплетни, будто Мария от меня уже тяжела, а о свадьбе и речи нет.

Попадались и среди бедных людей такие, что, залезши по шею в долги, готовы были родного брата продать, лишь бы перед кулаком как-нибудь выслужиться. То один криво усмехнётся в мою сторону, то другой ужалит. Огрызался и я. Да разве на всех собак натюкаешься!

Больше всех досаждала нам Винчучиха, Винцуся Зборовского жена.

Был тот Зборовский не богаче-других людей в нашем селе, перебивался, как и я, на своих пяти сотках, но жизнь у него была, наверно, труднее, чем моя, потому что взял он себе не жену, а настоящего чёрта — сварлива и ленива, никогда как следует немыта, нечёсана.

Была у них дочка, которая умела хорошо петь, она ходила, как и отец, всегда голодная и недосмотренная. На престольном празднике или на чьей-нибудь свадьбе (а Винчучиха ни одной не пропустит) клятая баба, напившись на даровщинку водки, силой заставляла свою Доринку петь и плясать.

Так вот, эта Винчучиха допекала нас на каждом шагу. Идёт из корчмы подвыпивши и каждому встречному болтает, что гуляла у нас на свадьбе. Ну, люди, конечно, смеются, знают, что той свадьбы не было, и неизвестно, когда она будет (бедность моя была у всех на виду).

Однажды встретил меня Худик, новый хозяин Марийки. Остановил коня и подозвал к себе. Подошёл я. Был он человек практичный, зря слова изо рта не выпустит. Начал сразу о деле. Так и так, дескать, оба вы с Марийкой работающие, тебя я, мол, никогда пьяным не видел (а он

¹ Матерь божия (румынск.)

при любом случае втолковывал людям, что они бедны потому, что водку пьют), — могу вам кое-что одолжить, чтоб вы себе хату поставили.

— А отдавать когда и в каком проценте? — спрашиваю. Знал я, что Худик был отъявленный лихоимец, не лучше Косована.

— Отдашь, — говорит, — хоть через год. А процентов никаких — лея за лею.

У меня глаза на лоб полезли от удивления. То ли, думаю, свет вверх ногами перевернулся, то ли Худик лишнюю чарку опрокинул. Стою — не знаю, что ему и ответить. Ещё бы: такое счастье с неба свалилось!

А он и глазом не моргнул, словно ему не впервой соседа из беды выручать.

— Сделаешь мне, — говорит, — за это одну услугу: соберёшь ватагу добрых хлопцев, — а девчата пристанут, бери и девчат, — и айда на линию лес грузить. И деньги на хату от меня получишь, и кое-что заработаешь, чтоб долг отдать. Идёт?

«Как же так? — думаю. — Ведь лес, сколько я себя помню, всегда грузили выжиновские люди. У них пахотной земли — кот заплакал, единственный заработок — железная дорога. Что ж там у них случилось, если в Черногузах подмоги просят?»

— Об остальных не беспокойся, — улыбнулся Худик, будто мысли мои прочитал. — Своя рубаха к телу ближе. Сделаешь, как я говорю, — будет у тебя своя хата. Тебя хлопцы послушают, я знаю. — И, вынув из кошелька сто лей, подаёт мне: — Думай, парень.

— Добре, — говорю, — подумаю.

И с деньгами в горсти быстренько домой. Обернулся во дворе по хозяйским делам и опрометью к Бернику.

Прибежал к нему, а он сидит, книжку читает.

— Вот, — говорит, — Танасий, писал человек: каждое слово до сердца доходит. — И подаёт мне «Катерину» Шевченко.

— Тут, — говорю, — братец, не до книжек.

И выложил я ему всё, как было. Мол, судьба в твоих руках, тебе из сплава итти ещё рано; а за неделю и мне поможешь и сам заработаешь.

Выслушал меня Иван, нахмурился. Вижу — не будет на это его согласия. Он молчит, а у меня в сердце досада на него. Вот, думаю, какой из него товарищ. Ему, неженатому, бездетному, и горя мало. К тому же, какая ни есть хата, а всё-таки под крышей живёт.

— Ну и не надо, — пробормотал я, и берусь за щеколду. — Кого-нибудь другого попросим.

Тут он как вскинется, как вскочит со скамьи да как тряхнёт меня за плечи.

— 'А ну садись!

Сел я, в глаза ему не гляжу, одну цыгарку на пол бросил, другую сворачиваю. Помолчали. Я сижу на лавке, а он шагает по хате взад-вперёд.

— Значит, кулаку поверил? — спрашивает, наконец. — На его доброе сердце надеешься?

— А какая ж тут неправда, — говорю, — если и деньги уже в кармане?

— Дурак ты, дурак, — махнул рукой Иван. — Знаешь ты, что лес грузят для фирмы пана Гелки?

— Ну, знаю...

— А о том, что к этой фирме и наш кулак Худик причастен, знаешь?

— И об этом слыхивал, — говорю.

— А о том, что выжиновским людям эта фирма вдвое меньше пла-

тить хочет и они вчера забастовку устроили, не слышал? Так, может, ты хочешь из-за своей шкуры людям поперёк дороги встать, а Гелку и Худика спасти? У выжиновцев пусть дети с голоду духнут, так, что ли?

Без огня выварил меня Берник теми словами. Вот оно какое дело! У меня вся кровь к лицу прилила, как подумал я, на какое чёрное дело чуть было согласие не дал. Обожгли меня те деньги, проклятые, будто в карман кто-то горячих углей насыпал.

— Куда? — спросил меня Берник.

Я его руку отвёл:

— Отдам деньги, тогда поговорим...

Обнял меня Иван, а у меня в горле защекоталось. Благодарит, точно я и в самом деле бог весть, что для него сделал.

— Так я и думал, — говорит. — Знал, что ты за кулацкую копейку дружбу не продашь...

«И что это за человек, — думаю, — который общее дело так близко к сердцу принимает?»

Я идти хочу, а он меня из хаты не выпускает.

— Знаешь что, Танасий? — говорит, а у самого глаза блестят: — Будет у тебя хата!

Так обрадовался, чуть не танцует. А что придумал — не говорит сразу.

— Пойдём вместе, по дороге расскажу, каким манером мы тебе хату поставим. А деньги Худика, как собаке, кинем.

Провожала мать доченьку против ночи...

Опасное было предложение Берника. Но и доля моя тоже была крутая и немилая, а на тугое дерево — тугой клин.

Решил я до поры до времени скрыть от Марийки наше намерение. Что ни говорите, а даже у самой хорошей женщины язык не всегда советуется с умом.

Но пришлось всё же открыться. Не хотел я Семенка опять к родичам на время отдавать, чтоб не было лишних разговоров. Пусть, думаю; лучше Марийка присмотрит.

План у Берника был такой: пробраться без всякой легитимации в горы, купить у знакомых гуцулов по дешёвой цене лес на корню, и ночью, минуя посты, провести плот до панских лугов. Там припрятать его в камышах, постепенно перетащить в село и поставить хату.

Не простое было дело. Даже одному человеку пробраться в горы мимо пограничников не легко, а двум ещё труднее.

А как ночью по кряжистому Черёмошу плот гнать? Каждый камень подводный надо обойти и голоса не подать, чтоб румынские овчарки не услышали. Несколько раз переспросил я Ивана, не откажется ли нам от этого опасного дела. Но мой товарищ твёрдо стоял на своём.

В субботу я сказал хозяину, что на день-другой должен отлучиться в Выжиновку. В тот же вечер я зашёл к Бернику, чтоб окончательно условиться обо всём, выйти мы должны были в воскресенье до рассвета.

Не успел я переступить порог и оглядеться, нет ли кого постороннего, как в окно тихо постучали.

В хату вошла Мария.

Не дожидаясь моих вопросов, она плотно прикрыла за собой дверь, положила руку мне на плечо и, глядя в глаза Ивану, тихо, но твёрдо сказала:

— Я тоже пойду с вами.

Иван покачал головой:

— Всѣ-таки проговорился?

А я, вместо того, чтоб выругать её за такие глупости, только спросил:

— А как же Семенко?

Оказывается, Мария сказала всем, что тоже идёт в Выжиновку с нами, а мальчика отвела к своему отцу — он уже там и спит на лежанке.

— Слышала я вчера, — обращаясь только к Ивану, сказала Мария, — без третьего трудно будет... Вот увидите, я вам пригожусь. Я не боюсь. Иван улыбнулся мне.

— Молодец! Добрая жинка у тебя будет!

Пустились мы в путь своей каждый из своей хаты, а сошлись у самого предгорья, за выжиновской мельницей. Шли молча, только галька под ногами поскрипывала. Пришлось разуться и идти по берегу босиком, а ночи стояли холодные, и ноги стыли на утренней росе.

Темнота уже расступалась, но ещё не рассвело. Перед нами высились Карпаты. Мы уже шли по их каменным тропкам. Горные вершины ещё прятались во мгле, и мы угадывали их только по густой темноте, которая стеной стояла перед нами. В предгорье мы шли, опережая друг друга, иногда меняясь местами. Но вот уже хлопотливая речка Выжинка осталась позади, и тропка круто поднялась вверх. Тут Берник вышел вперёд и повёл нас.

Чтобы обойти пограничные посты, мы сделали большой крюк и удалились от Черемоша. Теперь же опять постепенно приближались к нему.

Иван вёл нас не быстро, осторожно ступая по камням, подъём был очень крут. На дороге, кроме нас, не было ни души.

На перевале Иван остановился.

— Отдохните немного, — сказал он и присел на камень у дороги.

Справа, на склоне горы, стоял вековой лес.

Над нами густо нависли ветки, не видно было неба. Впереди высилась острая скала, дорога здесь круто поворачивала вправо. Слева, за колючим кустарником, чернела глубокая пропасть.

Отдохнув несколько минут, мы двинулись направо.

Теперь мы совсем не видели нашего проводника, только слышали его осторожные шаги.

Может, и не так долго вёл нас Иван тем лесом, но когда не видишь перед собой дороги, кажется, что путь бесконечен, что никогда не дойдёшь до цели.

Посветлело, и мы с Марийкой шагах в сорока впереди увидели Ивана. Он стоял лицом к солнцу, раздвинув руками серебристо-зелёные ветви молодых елей. За нами в лесу стояла ночная темень, а впереди был день.

Мы так обрадовались, что побежали к Ивану, спотыкаясь об узловатые корни, не замечая, как колючие ветки хлещут нас по рукам и по лицу. Раздвинув кусты, я невольно отшатнулся: под ногами была пропасть, а перед глазами...

Никогда я не был так высоко в горах. Сердце моё сжалось: вот они, родные Карпаты! Синеют вдалеке их вершины, свисают над обрывами скалы.

А внизу, на дне пропасти, извивается узенькой ленточкой, бежит по гальке, по зелёным кручам, по каменным валунам Черемош!

— Ну, Танасий, — впервые за всё путешествие громко сказал Берник, — если веришь в бога, — молись, а лучше всего на меня положишь.

Не успел я ответить ему, как он нырнул в молодую поросль, петко ввившуюся в край ущелья. Марийка отшатнулась и вскрикнула. Пере-

ведя дух, я посмотрел вниз и увидел, что Иван стоит на небольшом выступе перед мостом через пропасть.

Я сказал «мост». А какой это был мост? Просто сваленная бурей огромная ель, от вершины до корня как чешуёй покрытая зелёным мохом.

Косматыми, свернувшимися в жгут корнями она держалась за этот край пропасти, а до другого едва-едва достигала своей поржавевшей, наполовину осыпавшейся верхушкой. Казалось, что эта верхушка не выдержит тяжести человека.

— Не бойся,— поняв, о чём я думаю, улыбнулся Иван.— На хозяйских харчах ты не очень разжирел. Выдержит.

И он ступил на скользкий, покрытый зелёной порослью, мост. Он шёл быстро и легко, глядя прямо перед собой. Правая рука его лежала на бедре, а мешочек с хлебом и табаком покачивался у пояса на левом боку.

Забыв, что и ей придётся сейчас ступить на этот мостик, Марийка восторженно следила за Иваном, который приближался к противоположному краю.

Не дойдя до того места, где ствол ели разветвлялся и становился тоньше, Берник быстро присел и прыгнул на край скалы. Из-под ног посыпалась глина, сорвалось несколько камешков, а он выпрямился, поправил на плече мешочек и весело крикнул:

— Вот я и в Польше, проше пана!

Потом переходила Марийка. Ступив на ель, она покачнулась и побледила. Я невольно подался вперёд и протянул ей руку, но Иван с противоположной стороны погрозил мне кулаком. Марийка пошла.

Мне показалось, что она всё время клонится на правую сторону, я хотел ей об этом сказать, но Берник будто догадался и опять погрозил мне кулаком.

Пройдя середину моста, Марийка остановилась. Сделала ещё шаг. Ель чуть заметно согнулась под ней, я ясно увидел это по тому, как сухие ветви, касавшиеся противоположного края, царапнули глину, подняв тучку рыжей пыли.

Берник зажал в зубах набитую трубку и взял в руки спички. Он чиркнул раз — спичка сломалась. Он попробовал вторую — и опять не прикурил. Я понял, что он волнуется — спички у нас были большой роскошью, и мы не привыкли тратьте их зря.

А Марийка, остановившись, посмотрела под ноги. Я похолодел, мне показалось, что она смотрит слишком долго и не может оторвать глаз от пропасти. На самом деле прошло какое-то мгновение, и Марийка снова пошла, теперь уже быстро, высоко держа голову. Она дошла до конца и крепко схватилась за протянутую Берником руку. Ель подогнулась под ней, но как только освободилась от тяжести, медленно выпрямилась.

После Марийки я перешёл на ту сторону быстро, не испытав ни малейшего страха. Мы опять шли лесом, но уже более редким и не еловым, а смешанным. То тут, то там светились первой зеленью ольха, берёза, между пихтами и елями всё чаще попадались буки и грабы; на полянах стояли липы, обещая пчёлам много душистого цвета; всюду звенела, журчала вода, пробиваясь с гор, а в чаще, где было темно и холодно, ещё попадался снег; слышался голос кукушки.

Самая лучшая пора в наших горах — весна. Приходит май, и горы начинают гудеть, шуметь весёлым шумом. Летом и людей меньше умирало. Месяцами, бывало, нет ни одного покойника. А осенью не то,

смерть в гуцульском царстве, бывало, расходится во-всю, косит людей, как косарь траву.

И не удивительно. В тот раз я впервые увидел, как жили гуцулы. Мы — бедно, а они ещё беднее.

К полудню мы пришли на место. Знакомый Ивану гуцул встретил нас молчаливо, даже неприветливо. Но Берник успокоил нас, объясняя, что такая уж здесь у людей привычка: словами не разбрасываться; жизнь у них в горах дикая и молчаливая — один от другого, бывает, за десять километров живёт.

За лес гуцул взял с нас недорого. А по сравнению с той ценой, какую брали пан Гелка или Худик, так совсем почти даром отдал.

Иван сказал, что от нас гуцул получит больше, чем от Гелки; тот забирал у гуцулов лес за бесценок, зная, что им со своим добром через границу податься невозможно.

Ну и хитрые ж были те паны: не смотрели, кто поляк, кто румын, когда дело шло о прибылях.

Гуцул и его три сына отобрали сухой лес, ещё в прошлом году приготовленный для продажи. Нам до вечера пришлось просидеть в хате. День был воскресный, и вокруг никого не было видно, но мы не имели легитимаций, и гуцул боялся за нас и за себя.

Хозяин привёл нас в свою низенькую, закопчённую тёмную хатку. Она прилепилась к скале и окном выходила на другую замшелую скалу.

Как только мы переступили порог, девушка, стоявшая у печи, выпустила из рук хват и вскрикнула:

— Иван!

Но гуцул строго посмотрел на неё и она, склонив голову, осталась на месте, однако за работу не бралась.

Только гуцул вышел из хаты, как Иван подошёл к девушке, обнял за плечи, поцеловал в щёку и обратился к нам:

— Теперь уж нечего скрывать: вот она, моя Текля...

Молодая гуцулка, вспыхнув, освободилась из его объятий и, подозрительно глядя на нас, спросила:

— Это твои родные? Они из долины?

— Это мой товарищ, он для меня всё равно, что брат, — объяснил Берник. — Я тебе уже говорил про Танасия. А это — Мария, его невеста. Я даже им о тебе ничего не сказал. Но так случилось — сами увидели.

— Так это для них тато будет рубить? — спросила Текля уже более приветливо.

— Хату им поставить хотим, чтоб подешевле... Они ведь такие же паны, как и мы с тобой.

Над нами что-то задвигалось, закричало, и с печи свесилась лохматая, давно нечёсанная голова старого-престарого деда. От подбородка почти до груди свисал у него уродливый зуб, или по-нашему «воло»...

— Наверное, пить захотел, — сказала Текля и, встав на скамью, напоила деда прямо из ведра. Старик напился и обвёл хату воспалёнными от постоянного дыма глазами. Мне показалось, что, заметив Берника, он улыбнулся.

Иван подошёл к старому гуцулу и громко поздоровался:

— Здоровеньки булы, дед Лукьян! Як ся маете? ¹

— Живу, — выдавил из себя старик. — Молодое — золотое, а старое — гнилое... Не даёт пан-бог смерти.

— Девяносто лет. — сказал мне Берник. — Сейчас уже совсем ослабел, а ещё в прошлом году много мне рассказывал. Его отец — мой

¹ Как поживаете?

Текли прадед — немало насолил панам, не одного спалил, самого Кобылицы товарищем был, в честь его и сына Лукьяном назвал...

Услыхав имя буковинского народного вожака, старик поднял голову, и глаза его засверкали:

— Кобылица... Ого! Дрожали паны... На палки их... на колья... и смолой горячей... На Гледовой горе... Ого — бывало...

— Чи правда то, дед,— спросил Берник,— что когда прятали наши люди Кобылицу от жолнеров, то ни один не выдал, хотя и катовали их люто?

— Бито было, бито... И тата моего бито... Под буками¹ померли... Сто буков! Сто!

Старик совсем обессилел, умолк, и голова его упала на кучу овечьих шкур и тряпья.

— Слышал, Танасий? — сказал Берник, взволнованный разговором с седым гуцулом. — Ещё наши деды за волю боролись...

— А всё-таки ничего не выбрали,— покачал я головой, с жалостью глядя на старого гуцула.— То ли в камень головою, то ли камнем по голове — разве не одно и то же?

— Как это «не выбрали»?! — кинулся ко мне Иван.— Жизнь свою отдали — это верно. Но с доброго коня и упасть не жаль. Не склонялись перед панамы, как ни было трудно — стояли выпрямившись. Так и нам нужно... Не смотри, что тут люди молчаливые, зато памятливые: пригладь-голову здесь не найдёшь, скорее — пробей-голову... А что? — повернулся он неожиданно к Текле. — Возьму тебя на плот сегодня, чтоб никто не видел, и — по Черемошу на равнину, ко мне. Дашь на то согласие?

Текля вздохнула и покачала головой:

— Отец ругать будет... За это его и в тюрьму посадить могут. Скажут: куда делась? Может, убил? Легитимацию надо... И ксендз ваш, или как он у вас там называется, не обвенчает — у тебя Румыния, а у меня тут Польша.

— Из меня такой румын, как из тебя полячка, — Иван ударил кулаком по лавке. — Проклятые законы! Поставили пограничников, сделали из нас чужестранцев... Ну ничего, Текля, будет и у нас праздник. Только ты жди меня.

— Я буду ждать, — со спокойной твёрдостью сказала гуцулка. И, словно боясь, что он не расслышал, впервые приблизилась к нему и взяла за руку: — Как бога кохам, Иван... Хоть всю жизнь...

Уже совсем стемнело, когда гуцул вошёл в хату и сказал, что мы можем двигаться. Он уже сбил лес в тугой плот, который ждал нас на берегу.

Не могу передать вам, что я почувствовал, когда ступил на этот маленький плотик, сбитый из еловых, пихтовых и липовых стволов. Он ещё лежал на берегу, и я мог руками потрогать каждый кругляк: были тут и толстые колоды сантиметров по сорок толщиной — на венцы и на столбы; и потоньше — на крышу, на дранку — ну, словом, целая хата, первая на моём веку собственная хата!

Однако сейчас это был только плот, а не хата, и радоваться было рано.

Надвигалась ночь. Черемош, как укрощённый зверь, едва слышно урчал под нами, а из долины доносился его глухой, сердитый рёв. Плот стащили на воду, и Берник первый взобрал на него. Он осматривал и пощупал связки и стояк для кормила, а потом и само кормило. Накло-

¹ Под палками.

нился, ещё раз проверил, хорошо ли сплочено, и лишь тогда подал нам знак.

Вслед за мной на плот вступила Марийка, и он заметно погрузился в воду.

Иван перегнулся и протянул гуцулу кисет с табаком. Тот взял щепотку в горсть, набил трубку, потом, оттолкнув плотик от берега, высек огонь и, выпустив кольцо дыма, молча кивнул нам: с богом!

Текля стояла на холме в отдалении. Она не махнула рукой, только долго смотрела нам вслед. Берник отвернулся, и мне показалось, что я никогда не видел его таким грустным. Сначала медленно, а потом всё быстрее шли мы вниз и вниз по течению, то обходя подводные камни, то круто поворачивая за скалы, неожиданно выраставшие перед нами.

Марийка стояла у кормового, малого руля, а мы с Иваном держали большое кормило впереди.

— Смотри,— предупредил Иван,— только вместе со мной бери, сам не нажимай. Надо следить, чтобы не больше половины доски было в воде, потому что здесь мелко. Зацепит за камень — может грудь пробить.

Черемош становился всё более извилистым, а глубина его то и дело менялась.

— Хотя бы месяц не прятался,— нарушила тишину Марийка.

— И в темноте плохо, и при свете не лучше,— не оглядываясь, промолвил Иван.— Того и жди, что засвистят...

От напряжения руки у меня совсем занемели, болела поясница. Месяц скрылся за тучу, и мы шли наощупь. Где-то впереди Черемош ревел всё злее, холодные брызги летели в лицо.

Мы шли уже часа два, и ни разу не смогли хоть на минутку оторвать руки от кормила, а глаза от воды.

Всё же, как мы ни были внимательны, опасность подстерегала нас. За крутым поворотом, каких и до того было множество, река с грохотом спадала по огромным острым валунам и опять сворачивала за скалы. Наш плотик должен был всё время менять направление, то и дело слышал я команду Ивана:

— Берегись!.. Держи к правому берегу... К левому... опять к правому...

Мелкая, но бешено быстрая вода относила нас к правому, румынскому берегу, спасая от левобережных острых валунов, торчавших из воды тёмными шпильями.

Мы шли уже почти у самого берега, когда вдруг что-то вспыхнуло, слепящий луч заметался на волнах, нащупывая нас, и совсем близко, над самым ухом, мы ясно расслышали ненавистное:

— Стай! Ан си траг!¹

Я похолодел. Не угроза разбиться о камни, не тюрьма, не дубинки жандармов — не об этом подумал я, а только об одном: хата! Пропала хата!

Наверно, об этом же подумала и Мария, потому что, присев на плоту, обхватила руками мокрые, покрытые пеной, брёвна, словно говоря: «Не отдам! Не отдам, хоть убейте!»

Пограничники уже видели нас, лучи их карманных фонариков скрестились и неотступно бежали за нами. Залаяли овчарки. Грянул выстрел.

— К левому! — коротко приказал Берник, и тогда прозвучал второй выстрел. Пуля просвистела над моей головой, пробив шапку.

Кормила я не бросил, но, наклонившись, нажал на него всем телом, и оно, мгновенно выброшенное назад упрямым каменистым дном, едва

¹ Стой! Стрелять буду! (румынск.)

не ударило меня в грудь. Не знаю, как я успел отклониться в сторону. Удар пришёлся мне в плечо, и я упал, свалив Ивана.

Плот рванулся, как дикий конь, который скинул всадника и, почувствовав волю, мчится без оглядки.

Оглушённый ударом, я некоторое время лежал без сознания. А когда раскрыл глаза, то увидел Марию, которая изо всех сил налегала на переднее кормило. Иван стоял уже рядом с ней.

Я снова закрыл глаза — не только плечо, но и голова у меня страшно болела, перед глазами плыли туманные круги...

Уже не видно было злобещих лучей, не слышно было ни свистков, ни выстрелов. Пограничники отстали от нас, а может, просто махнули рукой на сумасшедших, которые тёмной ночью гонят плот по таким опасным местам.

Течение здесь было быстрое, но Черемош уже не так извилист. Скрывая нас, с обеих сторон обступал его тёмный лес.

И тут сквозь шум воды до меня долетело будто во сне:

Выряджала мати доню проти ночі
Та й дала їй соловія до помочи.
Буде рано соловійко щебетати,
Буде рано мою доню пробуждати...

Я прислушался: это пела Мария.

Новая хата

Если вы, товарищ, ходили в нашу колхозную читальню, то непременно должны были пройти по улице имени товарища Гната Крикливца. Самая широкая, обсаженная с обеих сторон липами, мощёная, с тротуарчиками.

До войны на том месте был кривой переулочек с убогими халупами, но и их оккупанты сожгли.

Об этой новой улице, на которой сейчас двадцать три просторных, светлых дома поставлены, уже и в районной газете писали, и на активе говорили.

Сказать правду, хвалили нас по заслугам — много мы усилий приложили к этому строительству. Но если разобраться, то удивительного в этом достижении, ей-богу, ничего нет. Государство дало людям в собственность лес, привезли они его на колхозных конях в своё село и поставили для себя же дома. И за это ещё — уважение от государства!

А в то время, о котором я вам рассказываю, были у человека только собственные руки да добрый товарищ, который помог в беде.

Ещё и дымки над нашим селом не зарозовели, как мы все трое сидели на прибрежном лужке, отдыхая после трудной дороги, а моя будущая хата лежала в густых камышах.

До села было километра четыре, и я уже беспокоился, как бы удобнее да побыстрее доставить мои бесценные брёвнышки на место и начинать строительство.

«Наверное, придётся запрягать Метелика», — подумал я о своём жеребчике, который у меня до сих пор ещё не работал.

Домой возвращались не торопясь, на всякий случай опять не напрямик, а через Выжиновку. Подходя к железнодорожной линии, мы увидели толпу взволнованных, оживлённых рабочих. На пустых платформах, на штабелях, на всём, где только можно было поставить ногу, стояли взбудораженные люди, слышны были громкие голоса.

Иван догадался, что это значит:

— Видишь,— сказал он,— выиграли забастовку... Показали Гелке, почём фунт лиха.

Перед людьми стоял Худик с шапкой в руках и, вытирая темносиным платком шишжастую лысину, что-то говорил.

— Правильно,— заметил Иван,— перед народом держи шапку в руке, пока голова на плечах цела...

— Так вот,— надрывался Худик,— не подумайте своими дурными головами, что пан Гелка или я, упаси бог, испугались вас... У нас с паном Гелкой, слава тебе господи, есть ещё на вашего брата управа, так что не думайте...

— Не учи нас, что думать,— отозвался молодой парень в домотканых узких штанах,— нам деньги плати, сколько следует!

— Верно! Правильно! — закричали в толпе. — Давай, сколько положено.

— Деньги мы уплатим... Как платили вчера, так и сегодня... Но не подумайте, свиньи...

— Сам свинья! — крикнул Берник сзади.— Ишь какой жирный. Отъелся на чужом.

В толпе засмеялись. Худик покраснел, хотел что-то ответить, но ничего не придумал умнее, как только крикнуть:

— По жандармам соскучились?!

Я скрылся за высоким штабелем, чтобы Худик не заметил меня: за хату свою боялся. Тут я увидел трёх верховых лошадей, а возле них самого Гелку и какого-то незнакомого пана.

— Слышите, что делается? — сказал Гелка по-румынски. — Это всё от туда идёт,— и махнул рукой в ту сторону, откуда всходило солнце.

— Да, да,— согласился с ним собеседник.— Это всё русские.

Гелка неожиданно рассердился.

— «Русские», «русские»! А здешние разве лучше? Наши мужики тоже... в случае чего... Но началось там — это истинная правда... И чёрт его знает, чем это кончится.

После этого паны сели на коней и, не оглядываясь, подались в городок. Худик тоже пошёл к своей бричке, и люди понемногу стали расходиться по своим рабочим местам.

Но тут неожиданно на высоком штабеле показался Иван. Он успел переодеться, вынув из торбы ярко вышитую гуцульскую сорочку, которую всегда надевал, когда гнал по весне первые плоты. В толпе пронеслось:

— Берник!

Почти все, кто отошёл, вернулись. Видно, Ивана тут не только хорошо знали, но и уважали.

— А что, припёрли мы их? — задорно спросил Берник и, сбросив шапку, обратился ко всем:

— Ну, помогай боже!

— Дай боже здоровья! — послышалось в ответ.

— А я, соседи, к вам с одной просьбой. Есть в нашем селе такой человек... Не богатый, не бедный — пять соток на три рта, а всего восемь бед, да ещё и хаты нет. Вот вам и девять.

Все засмеялись: как бы ни было плохо, а с шуткой всегда веселее жить.

— Ну так вот,— продолжал Берник,— встретил его один земляк. Дурной, как полено, лысый, как колено, хоть и не пан, да зато подпанок. И говорит: «Соседи из Выжиновки устроили забастовку, собирай хлопцев и становись на работу, чтоб дать им знать, как против меня нос задирает. А я тебе денег на хату дам». Так что бы вы думали? Плюнул

тот человек кулаку в глаза, достал себе между небом и землёй лес на хату и сложил у речки. А чем тот лес перевезти и как ту хату поставить — это уж вы мне посоветуйте... А вот и он сам, тот человек.

Тут Иван показал на меня, а я, не зная, что делать, снял фуражку и низко поклонился.

Где это видано, чтобы ни с того, ни с сего такому бедняку, как я, все гуртом помогали?

С полминуты прошло, не больше, как я услышал ответ на просьбу Ивана, а мне показалось — конца не будет этому молчанию.

И тут один из выжиновских, сухонький босой старичок в помятом бриле развёл руками, притопнул ногой, будто в пляс собирался пуститься, и весело крикнул:

— Даю полконя! — И добавил, подмигнув: — Если супряжник подержит.

— А чего ж? Правильно... Почему не помочь? — отозвался кто-то в толпе. — Поможем, — зашумели и другие, и лица у всех оживились, повеселели, будто бы люди сами удивлялись и радовались своей доброте.

— Вот так бы всегда, — крикнул Иван, — держались бы один за другого, разве бы нас одолели паны?

Выжиновцы быстро договорились помочь мне — кто конём, а кто собственными руками.

Странно было видеть: люди не для себя, а для другого взялись за работу, да ещё с какой охотой — не так, как на пана. Не прошло и часа, как были заложены четыре коня, и мои кругляки налажены в путь. Нашлись и столяры, и плотники.

В тот же день после обеда мы начали фундамент из камня класть. Ну, и зрелище было, скажу я вам, когда въехал я в село, с лесом для новой хаты!

Ещё на дороге встретила нас Винцучиха, покрутилась около воза и, ничего как следует не узнав, опрометью кинулась обратно на село. Ни от кого другого — только от неё — пошли вскоре слухи, что у Берника были закопаны деньги, и он одолжил их мне на хату...

Но этим слухам мало кто верил; Косован же даже через полицию пытался выяснить, где я достал лес.

День за днём, день за днём — как в сказке. Вот уже и основа белеет, и столбы высятся, и венцы скрестились, и глину бабы месят... Растёт моя хата.

Смотрю — глазам своим не верю. Вот оно, думаю, какая сила в дружбе людской! Приятно мне смотреть, как помогают соседи, и в то же время горько, досадно: не то чтобы чаркой или солониной, а постной мамалыгой их угостить не могу. Сам, как пожевал с утра всухомятку, так и держусь до самого вечера.

— Простите меня, говорю, добрые люди, пан-бог видит — не имею чем вас отблагодарить...

— Ладно уж, чего там, — отмахиваются, — был бы ты побогаче, никто бы для тебя не работал задаром...

«За что это мне такое счастье выпало?» — думаю... Непривычны мы были тогда, чтобы помогать друг другу, а всё-таки в душе у каждого бедняка жила такая мечта, вы уж поверьте мне, что жила. Недаром же, как только воля пришла, открылась у трудового человека душа, во всю ширину себя показала — добрая, отзывчивая, золотая душа!..

Вот уже теперь, совсем недавно, в прошлом году вернулся к нам в Черногузы земляк из Америки. Двадцать пять лет там промаялся, жену и зятя похоронил, приехал с дочерью и тремя внуками, гол, как сокол, кроме горба да хворобы, ничего там не нажил. Прибыл он, зна-

чит, в родное село, а родни-то у него никого не осталось, кроме сестры, она ему и ответ отписала, чтоб ехал. Ну, мы ему хлеба дали авансом и постановили на собрании хату построить. Так что бы вы думали? Сколько дней ставили ему хату — столько проплакал старик. Придёт, посмотрит на плотников-комсомольцев, послушает их звонкие песни, и расстроится, то есть от радости плачет: непривычна ему после прошлой дикой жизни доброта человеческая. А нам это уже не в диковинку: за три года после войны одиннадцать домиков семьям фронтовиков народной стройкой поставили!

... Вот так же и я в прошлые времена, о которых я вам говорю, с непривычки до слёз этой доброте удивился...

Обидно было кулакам смотреть, как мне хату всем народом ставят. Боялись гурта людского. «Ведь так, — думают, — чего доброго, они и по другому делу между собой договориться могут».

А наши люди словно обрадовались, что хоть одному смогли помочь. К выжиновским и некоторые наши присоединились. А когда начали крышу крыть, пришёл ко мне наш резчик, Гнат Крикливец (вы его искусство в нашем районном музее уже видели!), вырезал мне столбы и матицы; лавки — и те таким узором покрыл, что любо глянуть...

Мы с Марией в то время дня от ночи не отличали — так над той хатой работали. Ещё бы — чужие за двоих работают, так нам за четверых — и то мало!

Семенко тоже с утра до вечера с глиной возится. Бабы мажут, а он ручкой по стене хлопает и палочкой приминает. Смеётся Мария: добрый хозяин будет!

Не прошло и месяца, как стояла уже моя хата, обмазанная, с печью, с лавками, с высокой деревянной кроватью.

Посоветовались мы с Марией: надо новоселье справлять.

— Что ж, — говорю, — где новоселье, там и свадьба с весельем. На два праздника нам не разжиться.

Взял я у Косована немного денег вперёд. Думал, что откажет, но он дал. Не иначе — для того, чтоб Худику чем-нибудь досадить. Они, те кулаки, хоть и одной волчьей породы, но между собой не меньше, чем волки, грызутся: никак чужого добра не поделят.

Не успели оглянуться, как ещё месяц пролетел, и мы с Марией на рушники стали. В субботу рано Мария с дружками, а я с дружбами — с Иваном и ещё с одним парнем — обошли и своих, и выжиновских, пригласили на свадьбу, а с вечера начали гулять.

Когда ходили по селу, заметил я недалеко от церкви толпу, которая что-то рассматривала на ограде. Подойдя поближе, я увидел большой жестяной лист, покрытый эмалевой краской. На нём было нарисовано синее море, игравшее под солнцем, а на море большой белый пароход. Над пароходом летали чайки, а под всем этим подпись: «Каждый, кто хочет заработать много денег, пусть немедленно едет в Америку. Контора агента Сирецкого помещается в Черновцах...» Дальше — улица и номер дома.

Сам не знаю почему, я задержался у этого объявления, хотя в мыслях у меня в то время было совсем другое. А Иван, прочитав, громко зашел:

Есть Америка — край,
Там на земле уже рай,
На дубах растут бобы,
На кустах пекут хлебы,
Дармовой табак там курят,
Где ни ступишь — там обдурят!

— Разве неправда, что там можно заработать большие деньги? — спросил я Ивана.

— А ты думал, что за морем мухами кормятся? — ответил он, презрительно скривив губы, и добавил: — Кто поумнее, пусть верит, а я, глухой, — не верю.

Свадьбу справили на славу. Правда, ни копейки из одолженных денег у меня не осталось, зато пили и ели до отвала, даже на красивый турпан¹ для молодой хватило.

Пока пеклось и варилось, пока гостей приглашали, пока гуляли, я и не думал о том, что хата — хатой, а кушать надо...

В воскресенье, перед тем, как итти в церковь, девчата запели:

Ой, рано-рано
Море ся розграло,
Гой у тому морі
Марія потопае,
На батька закликае:
— Гой, рятуйте, батеньку,
З мого горя,
З того моря...

Женщины, как водится, плачут, а у меня перед глазами жестяной лист и на нём синее море, и пароход, и чайки...

Когда начали гулять, Берник меня немного развеселил. Выпил чарку, поклонился на все четыре стороны и начал, да так складно:

— Добрый день вам, панове, у вас, я вижу, свадьба идёт. У моего отца ещё богаче свадьба была — он перед свадьбой купил себе лавку. А в той лавке всякий товар: шило, мотовило и к сетям грузило. За тот товар деньги получены, а на них три овина куплены. Один стоял пустой, так, в другом мак, а в третьем — мышь с ума бы сошла, если б хоть одно зерно нашла... Желая, чтоб петух вам яйца нёс, на яйцах — волокно, от быка молоко, очи, как стекло, голова, как камень, говорите на это «амен».

Дьяк (не Косована отец, а новый), который опрокинул уже две добрых чарки, вначале рассердился на Ивана, но ему налили ещё, и он стал добрее.

Винцучиха, как выюн, вертелась возле Марии, чтобы выведать, где мы лес на хату взяли. Она всё подлиwała себе и Марии. Да моя молодая хоть и раскраснелась и глаза у неё загорелись веселыми огоньками — не проговорила ни словом.

На рассвете гости разошлись, и мы, усталые, но счастливые, остались в дорогой нашему сердцу собственной хате.

Четвёртый рот

День за днём, ночь за ночью. Поднимусь рано, ещё не рассвело, а Мария уже на ногах. Раньше, бывало, досада берёт, когда кажется, что ещё и глаз не сомкнул, а надо опять на работу. Теперь же как взгляну на неё, на мою Марию, сердце радуется. Ночь бы всю не спал, только бы на лишний кусок для неё заработать.

Раньше, бывало, увижу, как богачи в покупных сапогах на вечерку идут — аж скрип по всему селу стоит, — так бы и отрубил свои босые ноги! А теперь плевал я на весь свет: меня моя Мария и без сапог полюбила. А о том, как она меня голубит, как ласкает, никто, кроме меня,

¹ Головной убор невесты.

не знает! «Своя хата — своя правда, своя застреха — своя утеха» — вот что у меня тогда в голове было.

Может, вам смешно слушать, что у мужика уже сын растёт, а он, как безусый парень, от любви сдурел. Но вы не смейтесь. Вот и сейчас — голова у меня седая и лицо, как на старой сосне кора, — а я и сейчас молодею, глядя на мою Марию и вспоминая всё, что мы вместе с нею пережили.

Работали мы с ней, как и до свадьбы, внаймах. Что ни говорите, а прожить с пяти соток человек не может, пусть не только хату, а собственный дворец выстроит. Однако то ли наша крепкая любовь, то ли новая хата всех так удивила, что на нас смотрели, как на зажиточных хозяев. А разве было тогда на селе большее уважение!

Худик будто забыл обо всём, что произошло между нами, а его жена несколько раз одалживала Марии кукурузной муки на мамалыгу и при этом говорила:

— Я вам с Танасием и пшеничной доверю, вы такие хозяева, что отдадите.

И сам я понемногу начинал верить в то, что я уже не какой-то наймит, а «гáзда¹ на всю губу». Бедность, мол, дело преходящее, надо только работать, не жалея сил.

Мир да лад царили в нашем доме. Земля под ногами казалась твёрдой, а завтрашний день счастливым.

Возится Мария у печи, ловко орудует жбанами, кастрюлями, чугунами — я любуюсь, нравится мне смотреть на неё; сядет вечером коврики войлочные ткать, цветы красные и жёлтые по чёрному полю разводить — опять радуюсь, тоже нравится мне; Семенка расчесьывает, купает, без злобы журит, ругает, чтоб к огню не лез, или похвалит за то, что добрую хатку из щепочек сложил, — ещё радостней станет мне. Запоёт — подпеваю, засмеётся — и я смеюсь.

Как вспомню Ивана, что один-одинёшенек до сих пор живёт, никак счастья своего не найдёт, — обидно станет мне за товарища. Но больше не за то, что он не женится, а за мысли его баламутные. Всё ему не так, всё бы он кверху ногами перевернул... Конечно, правду он говорил: издеваются богачи над бедняками; но это, думал я, не при нас началось, не при нас и кончится.

Семенко мой припадал на ножку, но был здоров и весел, быстро научился говорить и, в случае чего, мог дать сверстникам доброго тумака своим маленьким, крепким кулаком.

Марию он называл мамой, и она заслужила это, ухаживая за ним, как за родным.

Удивительная эта мелюзга. Особенно, когда хоть немножко на человека станет похожа и вы начинаете в мальчонке или в девчурке узнавать самого себя. Так и Семенко: кто ни взглянет, сразу узнаёт: «Так это же Танасия Карпюка сынок!».

И правда, был Семенко — вылитый я.

Даже привычку немного голову закидывать при разговоре от меня перенял. И характер, скажу вам, — хоть убей его — не заплачет. Недаром же говорят люди: какое дерево, такой клин, какой батько — такой сын.

Я так любил Марию, что мне иногда казалось, будто Семенко и на неё немножко похож.

Беда мне была с Семенком: во что обувать? Во что одевать? Пока ещё был совсем маленький, у бабки находилось какое-то тряпье. А как начал выбегать на улицу, хоть из собственной кожи ему что-нибудь шей.

¹ «Хозяин на всю губу» — местная поговорка.

Летом ещё так-сяк. А зимой с печи не в чем спустить. Намотаешь на парня какую-нибудь рвань, на ноги вместо обуви — тоже тряпьё. Возле хаты не усидит — на улицу выбегает. А там только и слышит от кулацких выкормышей: «Вот завидно: три свитки надел, а тело голое видно», или: «Ходит в сапогах, а босые пальцы на следах...» Правду говорили чёртовы дети...

У нас с Марией у самих только и было одежды, что на себе. А уж сколько босиком набегались по холодной росе, по осенней грязюке, о том мои кости сейчас напоминают...

Однажды заговорили на селе, что приехал к помещику из Черновц знакомый пан и хочет он с мужиков картины рисовать.

Как и для чего рисовать — никто не знал, и каждый строил свои догадки.

По хатам ходил сам Косован, объявляя, чтоб девчата и молодичи шли в садик возле церкви.

Когда мы с Марией пришли, там уже собралось немало народу. Пришла не только молодёжь, но и пожилые люди. Недалеко от нас стояли паны — старый Бильграф с дочерью и зятем и приезжий панич.

— Понимаете,— громко говорил приезжий, откидывая длинные волосы,— я должен найти такую натуру, чтобы в ней была душа нации.

— Йа, йа,— соглашался помещик,— а какой нации?

— Нашей, украинской нации,— вежливо объяснил зять-галичанин.

— А-а,— удивился Бильграф и зевнул.

— Но вы понимаете,— продолжал панич,— я не могу найти натуру... — И тут, взглянув в нашу сторону, он вдруг широко улыбнулся, бросился к Марии и схватил её за руку. — Вот!

Это мне не понравилось, и я подошёл поближе, чтобы в случае чего быть возле Марии. Он же не выпускал её руки и не переставал трещать:

— Какая шея... какие глаза... какие тонкие линии!

«Кормили б тебя с детства сухой мамалыгой, так и у тебя были б не толще», — подумал я.

А он опять за своё:

— Посмотрите, господа, ничего мужицкого...

И пошёл, и пошёл... У нас, мол, нет мужиков и господ, есть только нация. Мужики с благородными чертами, а господа, дескать, с мужичьей душой...

Старый Бильграф не очень внимательно его слушал, да и не всё понимал по-нашему, а зять его смотрел на Марию такими масляными глазами, что я подошёл к ней поближе.

— Это ваша жена? — спросил меня панич. — Не бойтесь... Я не сделаю ей ничего плохого. Я только нарисую с неё картину.

Он отскочил на несколько шагов и стал осматривать Марию издали — За то, что я буду её рисовать, — обратился он ко мне, — вы получите от меня хорошее вознаграждение.

— А что она, пан, должна делать? — недоверчиво спросил я.

— Ничего особенного, — рассмеялся приезжий. — Несколько дней, по два часа в день, сидеть у окна... если хотите, в вашей же хате. У вас светлая хата?

— Светлая, светлая, — вмешалась Виндучиха, — им новая хата как с неба свалилась.

— Ну и прекрасно! Завтра с утра и начнём,— весело сказал панич.— За это я дам вам... Ну, сколько? Двести лей хватит?

В толпе ахнули. А дочка Худика, которую панич забраковал, даже побелела от злости и процедила сквозь зубы:

— Ну и везёт же этим голоштаннам!

Двести лей за то, чтобы просто сидеть без дела у окна, — такого ещё не слышали в наших Черногузах!

Паны уже было направились к фэзтону, но приезжий остановился и спросил у Марии:

— А приличная одежда у тебя есть? — И думая, что она молчит потому, что не поняла, о чём идёт речь, начал объяснять: — Каптарики¹ расшитый, черевички красные... Ну всё, что вы носите в праздник.

Мария опустила глаза.

— Нет у неё ничего такого! — крикнула дочка Худика, выпятив губу. — Она и на свою свадьбу одалживала... Если нужно, я могу одолжить, только чтоб не запачкала...

— Очень хорошо, — обрадовался панич, — возмёшь у неё на то время, пока я буду рисовать.

Мария стиснула зубы, кровь у неё отлила от лица и она стояла белая, как стена.

— Не буду я одалживать, — глухо сказала она. — И рисовать меня не надо. Не хочу.

— Иишь, какая гонористая! — не выдержала Винчучиха. — Такими деньгами швыряется.

Но Мария уже ничего не слышала, она быстро шла, почти бежала домой. Дома ни словом не обмолвилась о том, что произошло, как будто успокоилась и делала свою обычную работу. Зато мне в голову начали лезть такие мысли, которые ни к чему хорошему не приводят.

Посмотрю на стройную фигуру Марийки, на её смуглую шею, на красивые, будто выточенные, ноги и представлю себе: как бы она выглядела в красивом каптарики, в красных черевичках, с нитками мониста на шее... Увидит ли она со мной лучшую жизнь, не потеряет ли прежде времени свою красоту? И сам я в своих залатанных штанах, как скомоорох хожу: ноги босые, чёрные, потрескавшиеся... Неужели и Семенку такая же доля на роду написана?

На следующий год летом, как раз в жниво, Мария родила мне сына. Мы назвали его Олексой.

Хорошенький был парнишка: смуглый, глаза светлые да смышлёные, будто он и в самом деле всё понимает, только сказать не может.

Гляну я на малыша, и весело станет мне, радуется отцовское сердце. А посмотрю на полку или в кладовую, где и мышам делать нечего, — и задумаюсь.

Зима наступала трудная. Мария с лета не работала — на кого двух детей бросить? Да и ужин хоть какой-нибудь сварить надо: мне и Семенку борщика или капустки постной по миске, а уж себе — что на дне в горшочке останется. Но духом не падала. Всё надеялась, что жизнь к лучшему повернётся. Очень она любила меня.

Ещё когда только поженились мы, заметил я в Марии привычку как-то странно о нашей будущей жизни говорить. Слушаю, слушаю, и никак не пойму: то ли она сказку рассказывает, то ли в самом деле верит, что так будет.

— Вот, — говорит, — проснёмся мы с тобой, Таңасий, а зимы на улице нет... И никогда больше не будет...

— Как это не будет? — спрашиваю.

— А так, что не будет. Круглый год — лето. Сады три раза в году цветут. И хлеб так родит, и кукуруза... И мы уже, — говорит, — не с пяти, а считай с пятнадцати соток урожай собираем, и заниматься к чужим людям не нужно... Проживём с пятнадцати соток?

— А почему не прожить? — говорю. — Прожить можно. Только...

¹ Безрукавка на меху.

— А ты слушай... не мешай... Пойду я по воду, выташу ведро из криницы, гляну — а на дне что-то блестит... Вылью воду под ноги и быстро рукой за то блестящее, а оно — дукат золотой... Дождёмся мы с тобой воскресенья, в местечко поедем... Довезёт нас Метелик?

— Довезёт, — смеюсь.

— На тот золотой куплю я тебе исподники новые, Семенку чоботки, чтоб ноги не поморозил, а себе черевички... Хватит же и мне?

Прижму её к груди, поцелую — откуда у неё такое берётся? А ведь это ей, бедняжке, наша нищета так в сердце въелась, что она хоть в мечтах к человеческой жизни рвалась.

Ещё год пролетел. В ту осень намолота большого не было. Чем будешь зимоват? А «закутники» бегают по селу и тянут последнее тряпьё за налоги. Как жить дальше?..

Собрал я однажды вязанку плавуна, перетянул верёвкой и тащу домой, тороплюсь, потому что уже смеркалось. Подхожу к церкви и слышу — что-то дребезжит. Подошёл к ограде, присмотрелся — тот самый жестяной лист с парходом. Ветром край оторвало, он и дребезжит.

Пришёл на свой двор, сбросил плавун перед хатой на землю и вошёл в дом. Мария и Семенко сидели при каганце и ждали меня с ужином. Теперь уже и Семенку надо было накладывать полную миску — набегаются за день по лугу и ест, как хороший пропольщик или молотильщик.

Поужинали — похлебали жидкого кулешика, начали устраиваться спать. Семенко залез на лежанку, а младшенький, накричавшись и наплакавшись (Марии некогда было его забавлять), сразу заснул мёртвым сном.

Мария вышла, внесла плавун и положила под печку, чтоб просох... Когда в хате стало тихо, я сказал Марии так твёрдо, будто сам давно уже это решил:

— Поеду я, Марийка, за море. Живёт же там как-то мой брат Фёдор, вот уже пятнадцать лет, как поехал. Правда, не пишет он ничего, но я думаю, что если бы плохо ему было — вернулся бы. А туг... Занимать больше не у кого. Надо продать Метелика. Половину денег тебе оставлю, а с другой половиной поеду счастья искать.

Мария молчала.

II

*Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля...*

Т. Шевченко.

Возвращение

Случалось ли вам долгие годы быть на чужбине? Приходилось ли после разлуки дрожащей рукой братья за щеколду на двери родной хаты?

Если нет, то вы не знаете, как больно сжимается в такую минуту сердце, сколько дум и надежд, перебивая друг друга, теснится в голове, когда вы открываете эту дорогую, заветную дверь.

Увидев Марию, сидящую на скамье и латающую детскую рубашку, я чуть не заплакал от счастья. Всё было хорошо: меня не заваляло на смерть в шахте Бинфайт; я не издох от горячки в Виннипеге и не погиб во льдах Северного моря. Пусть больной, пусть без цента в кармане, но всё-таки я вырвался живым из этого пекла, хата моя цела, и вот,

близко, только ступить ещё шаг и протянуть руку — на скамье сидит моя жена и латает рубашку одному из сынов.

Возвращаясь домой, я не раз пытался представить себе, как меня встретит Мария. Кинется навстречу? Упадёт головой на грудь? Заплачет от счастья? А может, её в это время не будет в хате, она придёт позже и застанет меня здесь?

Вышло так, как мне ни разу и не представлялось. Не поднимаясь с лавки, Мария некоторое время смотрела на меня молча, будто не понимала, что произошло. Потом покачала головой и грустно так сказала:

— Боже мой, боже!.. Танасий! А я думала, ты уже не придёшь.

Она не плакала. Она и раньше никогда не плакала. Как я мог подумать, что она заплачет?

Я сел около неё, она гладила меня по голове натруженной, шершавой рукой, нежно и молча, как тогда, впервые, на поле Косована.

— Где же дети? — спросил я, оглядываясь.

— Семенко в поле, а Олекса где-то на улице, с ребятами, — сказала она.

Младший сын вбежал в хату грязный, с синяком под глазом, нельзя было смотреть на него без смеха.

— Как ты его целуешь? Такой грязный поросёнок, — забирая от меня Олексу, беззлбно сказала Мария. — Где ты так вывозился, горе ты моё?

— Бережановы... все трое... на меня... — пытаюсь отвернуть лицо от мокрого полотенца, говорил шестилетний Олекса, — Семенко скотину пасёт, вот они и обрадовались.

— Семенко, Семенко, — с некоторым раздражением перебила его Мария, — без Семенка и шагу ступить не можешь.

— Так их же трое, — оправдывался Олекса, — а он всё равно сильнее... Он им ещё покажет, увидите...

— Вот он идёт, может, заступится, — сказала Мария, выглянув в окно; открыл дверь на крыльцо, она крикнула: — Семенко-о!

— Не говори ничего, пусть сам увидит, — попросил я, надеясь, что старший-то сын меня узнает.

— Семенко-о, скорее домой! — снова позвала Мария. Но мальчик продолжал стоять, вертя прутиком в луже, и даже не оглянулся.

— Ты что, глухой, не слышишь? — уже громче крикнула она и вздохнула, как бы оправдываясь передо мной: мол, что ты с ним поделаешь?

— Всегда он такой... непослушный? — спросил я. — Что это с ним случилось? Был ведь парень, как парень.

— Такой и есть, — сказала Мария, глядя в сторону. — А начнёшь учить, говорят: «Конечно... не родная... вот и издевается».

— Кто же это говорит?

— Хотя бы и Мотря Гната... Упрекает, что обижаю парня. — И вдруг сердито добавила: — А ей какое дело? Пусть за своими смотрит... Мне всё равно... Мачеха, так мачеха. Не я первая, не я последняя.

— Семенко, — негромко позвал я, выйдя на крыльцо.

Он поднял голову, повернулся и сразу узнал меня, а может, догадался или почувствовал. Бросив прутик, спотыкаясь, он побежал напрямик через лужи, прижался головой к моим коленям и заплакал. Я взял его на руки, как маленького, и вошёл в хату. Почему он заплакал, я тогда не понял. Думал — от радости...

Не успел я осмотреться в родной хате, как один за другим начали собираться гости. Первой, конечно, пришла Винцучиха. Посидела она недолго, торопилась, видно, разболтать всем, что я вернулся из Америки таким же нищим, каким был. Но я узнал от неё все новости: Берник вот уже второй год как в тюрьме за то, что «людей баламутил и книж-

ки незаконные читал», Текля, его жена, которую он всё же привёл с верховины, осталась одна с ребёнком на руках, и если бы не такие соседи, как семья Крикливца, то давно уже пошла бы с сумой по хатам; к Гнату Крикливцу тоже жандармы приходили, каждую щель обыскали, но так ни с чем и уехали. Что они там искали?

Винцучиха говорила безумолку и даже подсакивала, радуясь, что наконец наткнулась на слушателя, который от неё первой узнает обо всех новостях. Рассказала мне, что Ульянка, младшая сестра Марийки, работавшая в Черновцах прислугой, принесла незаконного ребёнка, и что старуха Сорохачиха до сих пор его внуком признать не хочет.

Ну, словом, ничего не забыла, полную информацию сделала.

Пока Винцучиха тархтела, Мария куда-то выскочила из хаты и скоро вернулась, бережно прижимая к груди неполную бадейку пшеничной муки.

— На пирожок мужу заняла? — ехидно спросила на прощанье непрощеная гостья, и уже за порогом добавила: — Ничего, ничего, Маричка, не стыдись: говорят, в долг взятое — не краденое, было бы только чем отдать...

Когда дверь за ней закрылась, я посмотрел, нет ли поблизости детей, и, обняв Марию за плечи, спросил:

— Не таким, верно, ждала ты меня из Америки?.. Вари воду — вода будет. Вот так и мои заработки...

Она опустила голову и тихо сказала:

— Сил моих больше нет, Танасий. Тяжело.

Потом провела рукой по моей голове, словно вспоминала о чём-то давнем:

— Кудрей моих любимых нет, — шептала, — седой ты, ох какой седой... Посеклись волосы, глаза запали, такой ты стал, будто под землёй пять лет пролежал...

В дверь постучали. На пороге показался Косован.

— Слышал уже, слышал, — покачивая головой, бормотал он и вздохнул, будто ему и в самом деле было жаль меня. — Не повезло тебе, значит, за мрем... А вот другие богатеют. Это уже — кому какая судьба...

— Что-то не видел я, чтоб наш брат там богател, — ответил я, — славны бубны за морями, а приглядишься поближе — собачья шкура.

— Ты не видел, а люди видели, — продолжал Косован, — вот посмотри. — И он развернул передо мной на столе большой цветной плакат: — Не из головы выдуманно, видишь, всё аппаратом снято, как в натуре было...

Я искоса глянул на типографские рисунки, над которыми были знакомые мне лживые слова: «Все, кто хочет заработать много денег, — немедленно выезжайте в Америку...» Рядом с адресом черновицкого агента в рамочке чернилами дописано: «В селе Черногузы желающие могут обращаться к господину Косовану».

Я молча смотрел на белый пароход и думал, как он не похож на тот, в трюме которого нас, словно скот, везли за океан; смотрел на весёлых усатых дядек за ужином в баре — и вспоминал вонючие консервы, о которых рабочие говорили: «Ничего не поделаешь — на чужбине и жук — мясо»; видел пачку жёлтеньких долларов в руках весело улыбающегося рабочего — и вспоминал тифозную эпидемию в Виннипеге, братские могилы, где спят беспробудно тысячи моих земляков, а может, и родной брат Фёдор, которого я так и не нашёл в Америке...

— Вот, — перебил мои мысли Косован, — сам видишь, что не всем одинаково в жизни приходится. Как бы тебе там, Танасий, ни было, а язык за зубами держи, пусть себе едет, кто хочет.

— Разве по нём и так не видно, что в божьем раю побывал человек? — горько усмехнулась Мария.

— В чужом краю с человеком всякое случиться может, — не сводя с меня глаз, тихо, но многозначительно сказал Косован. — Один денежки заработанные в кошелёк складывает или домой жёнущке посылает, чтоб в долги не залазила, а другой — то водочки откушает, то в картах счастья попытает, а то и с заморской кралей... известно ведь: человек — не дерево...

— Сколько за душу берёшь? — в неистовстве, сам не слыша своего голоса, закричал я, подступая к Косовану, — почём земляков продаёшь, куда?!

Косован поднялся со скамьи, а я схватил плакат и начал рвать его и топтать ногами, выкрикивая:

— Вот тебе твоя Америка, вот она тебе, проклятая!

Не знаю, сколько я так бушевал — даже не заметил, что дверь открыта и с порога смотрят на меня удивлённые и испуганные соседи, пришедшие навестить меня, а среди них и моя тёща, старая Сороханиха.

— Да останови ж ты его, ошалел совсем, — крикнула она Марии.

— Чтоб завтра же мне весь долг отдали, — прорычал Косован, прыгая к двери, — из моей муки пироги жрут да на меня же и замахиваются...

Вот каким было моё возвращение в родную хату. Поздно вечером, когда мы уже и каганец загасили, пришли ко мне Крикливец с Мотрей, а с ними и Текля, Берника жена. Вконец уставший после трудной дороги, я не мог и языком шевельнуть, даже плохо слышал, о чём разговор идёт. Но вид Текли бросился мне в глаза: в этой измученной, согбенной женщине трудно было узнать ту молодую гуцульскую красавицу, которую я видел в Карпатах перед своей свадьбой...

Трудно мне, товарищ, жилось до Америки, ещё горше — на чужбине, а вернулся оттуда — опять не увидел просвета в своей жизни.

Моя Мария, бедую с двумя детьми в батрачках без мужа, за пять лет задолжала столько, что дай бог за десять расплатиться.

Косован встречается, издевается:

— Прогулял ты, шелопай, свои миллионы в карты... Вот так, значит: если ты не пирог, так и не маслишь, а нашивайся ко мне за харчи, голодранец.

Молчу, только кулаки сжимаю.

«Скорее в землю себя вгону, — думаю, — чем к тебе внаймы пойду...»

Однако, как ни гнишь, а в оглобли становись. И пошёл я к Гелке на пилораму.

Только не было уже у меня здоровья для такой работы. Целый день у штабелей тяжёлыми кругляками орудую, а домой приду, похлебав юшки, лягу на лавке — до первых петухов заснуть не могу, потому что усталого человека и сон не берёт. И что хуже всего — только улягусь, как перед глазами Америка та проклятая встаёт.

И чем больше вспоминал я про свою жизнь в Америке, тем злее становился. А на кого злился — понятно: на боссов тех голстых заморских, да на наших богатеёв, панов. Всех бы их на одну перекладину.

Погляжу на Гелку, на Косована, на Худика — так бы и задушил своими руками.

«Эх, был бы здесь Берник, — думал я, бывало, — тот бы не сидел сложа руки и меня научил бы, что надо делать...»

Тяжело было мне без друга. А тут ещё и дома споры и ссоры заели.

Мачеха

До моего возвращения Мария всё хоть надеялась на что-то. Увидев же, что ей, наверное, до конца жизни быть той хозяйкой, которая со всех мисок в одну сливает, она стала всё чаще хмуриться и заводить разговор о том, как будет с детьми и что мы им после себя оставим.

Семенка я видел редко, но замечал, что с парнем творится что-то неладное. На меня он глядел исподлобья, а на Марию старался и вовсе не смотреть, к тому же перестал называть её мамой. Обращаясь к ней, говорил просто: «Подайте жбаник» или: «Разве не слышите — батько зовут». А если говорил о ней, то: «Наказывали, чтоб к соседу зашли», не называя её ни мамой, ни Марией.

Однажды я спросил жену, не заметила ли она этой перемены. Мария раздражённо перекусила зубами нитку — она зашивала мне сорочку — и сказала убеждённо, как что-то давно продуманное:

— Известно, чужое — оно и есть чужое, хоть ты перед ним на цыпочках ходи.

Не помогла мне и беседа с Семенко.

— Ведь ты называл её мамой, когда был маленький, — начал было я.

Семенко помолчал, а потом отрубил:

— А сейчас не буду, потому что стал большой. Они ведь и не мама мне. Моя родная мамочка померли.

Я больше его не трогал, но стал приглядываться внимательней, стараясь понять истинную причину происшедшей в нём перемены. Ждать мне пришлось недолго.

Как-то, возвращаясь домой с поля, я услышал резкий, раздражённый голос Марии. Видно, у меня во дворе происходило что-то интересное, потому что соседки высунулись из окон, а некоторые даже выскочили на крыльцо.

Я подошёл ближе, остановился, прислушался.

— Будешь красть? Будешь? Говори: будешь? — дико кричала Мария, вцепившись Семенку в ворот сорочки.

Парень молчал, в глазах у него были не слёзы, не страх, а глубокая, неприкрытая ненависть.

— Я своё брал, — ответил он, ещё раз попытавшись вырваться.

— Людей постыдись, — тихо сказал я, подходя к Марии. — Пусти его.

— Два яичка под рябенькой были, где они? — не унималась Мария, тряся парня. — Мало тебе кушать дают, так ещё крадёшь?

— Пусти его, — ещё раз сказал я, беря Марию за руку. — Люди смотрят.

— И пусть смотрят! Пусть все знают, какая у меня жизнь с этим... хромоногим, — вскрикнула она каким-то чужим голосом и второй рукой хотела вцепиться Семенку в чуб. Но он увернулся, и рука Марии царапнула его по лицу, оставив тонкие кровавые полоски.

В глазах у меня потемнело, я отступил на шаг и ударил Марию...

Ворота были открыты настежь. По улице шли строем десятка два молодых парней из «премилитара».

Следом за марширующими бежали мальчишки, среди них был и мой Олекса.

— Бегай, бегай, сынок, приучайся! — с болью крикнула ему вслед Мария. — Калеку в солдаты не возьмут — ему и хата, и всё будет...

Здоровье моё с каждым днём ухудшалось, и Марии часто приходилось делать мужскую работу, потому что я, бывало, с печи слезть не могу, так меня скручивал ревматизм.

Работая на дворе, я мог лучше наблюдать своих ребят, которых раньше видел только за столом.

Старший, Семенко, был невысокий, но крепкий парнишка с крутым лбом и густыми бровями (за такие брови меня в детстве лешим дразнили). Он очень изменился за то время, что меня не было: вместо весёлого, смешливого ребёнка я встретил нелюдимого подростка, который избегал взрослых, даже не здоровался, когда кто-нибудь приходил в хату.

Олекса, наоборот, любил сидеть дома, когда собирались старшие. Он садился в уголке и, строгая ножом какую-нибудь палочку, мог внимательно слушать хоть до утра.

Ростом Олекса почти догнал Семенка. Тонкий, как лозина, смуглый, он был очень красив и лицом больше походил на девушку, чем на парня. Разговорчивый и быстрый, он ни минуты не сидел без дела. А дело у него было одно: орудовать ножом над какой-нибудь щепкой. Что бы ни попало Олексе под руку — толстая ветка или простой кусок дерева, всё это покрывалось искусным кружевом из звёздочек и треугольников.

У нас на Буковине резьба по дереву с давних пор процветает в природе. Пасёт пастушок стадо — в руках у него ножик, и насекает он узоры на коре ёлочки — то прямые, то косые, то поперечные. Кора тёмная, а дерево белое, узор получается яркий, — вот ему и интересно.

Однако не каждому это даётся. Один только для развлечения занимается, а другой до такого мастерства дойдёт, что от лавки, которую он изукрасил, или деревянного седла — глаз не оторвёшь.

Пригладелся я внимательней к работе Олексы — ловко у него выходит. Узор мелкий, аккуратный, а главное — каждый раз новый. Вначале он только перенимал те узоры, которые Гнат Крикливец нам на балках и на скамьях вырезал. А потом смотрю, своё придумывает: то накрест сведёт, то ленточкой пустит.

Выгребал я однажды навоз из-под овцы, разболелась у меня поясница, и сел я тут же в хлеве покурить. Слышу, за дверью мои хлопцы шепчутся.

«Ну, — думаю, — отодвинусь в тень, интересно, о чём братья между собой с глазу на глаз говорят?» Спрятал цыгарку в кулак, прислушиваюсь и смотрю, потому что мне сквозь щель всё видно.

— Ну, показывай же, показывай, — чуть не танцует Олекса.

— А ты не спеши. Ишь, какой нетерпеливый! — говорит ему Семенко, а у самого глаза светятся смехом. Разворачивает он тряпку, вынимает из неё что-то блестящее и подаёт брату. Взял Олекса в руки ту вещь, держит перед глазами, как будто нивесть что увидел. И так повернёт, и этак, и пальцем потрогает, и ладонью погладит.

— Ой, Семенко, — говорит, — где ты взял такой добрый резец? Чей он?

А тот сдержат себя уже не может, чуть ли не в голос смеётся.

— Твой, — говорит, — будет, если сделаешь то, что я попрошу.

Олекса его не слушает, обнимает, целует, ластится к нему.

— Где достал? — спрашивает. — Кто сделал? Сколько стоит?

— Да отвяжись ты, хватит тебе лизаться... Телёнок... — смеётся Семенко, а самому, видно, приятно, что угодил младшему брату.

Давно уже время за работу браться, а я и забыл о ней. Сижу тихонько, погасшую цыгарку в кулаке держу, слушаю.

А сыны мои уселись на кругляк возле хлева и продолжают разговаривать.

— Я ещё зимой кузнецу сказал, чтоб сделал тебе резец, — говорит Семенко. — Он вначале не хотел, а когда я принёс кое-что из того, что ты вырезал, — очень понравилось ему. «Добре, — говорит, — сделаю, только пусть мне Олекса, когда подрастёт, скрыню¹ резьбой отделает, а ты за моей коровой смотри, когда стадо пасёшь...» Я уже другую неделю, как смотрю за его коровой. И видишь, он не обманул, сделал.

— Добрый резец, — восторженно шепчет Олекса. — Мне один раз такой даже приснился. Нет, не такой, хуже... Я и не знал, что такие хорошие резцы бывают.

Наш кузнец, правду сказать, хоть и молод был в те времена, а хорошую вещь мог мастерить. Он и плотничские свёрла делал, да так закалял, что не крошились и не гнулись.

— Знаешь, Семенко, что я теперь этим резцом сделать могу? — таинственно шепчет Олекса. — Пойду к вуйку² Гнату и попрошу, чтоб научил меня сёдла резать такие, как он тому гуцулу в прошлом году сделал. Помнишь? А слышал, сколько ему тот гуцул дал за это? Две леи. Ей-богу, не вру, сам видел, когда он давал... Я заработаю денег и тебе в городе чоботы куплю... Добрые, как у Андрея Косована... Даже ещё лучше... Ей-богу! — И я увидел, что Олекса крестится, восторженно глядя брату в глаза.

Слушая младшего сына, я так живо представил себе Марию в дни нашей молодости, когда она придумывала свои сказки, что сердце у меня сжалось.

— Ну, когда ещё ты заработаешь! — улыбнулся Семенко. — А пока побожись, что не скажешь никому, кто тебе резец дал... Слышишь? Скажи, что сам у кузнеца выпросил.

— Да разве ж я когда-нибудь говорил... Я и слова никому никогда...

— Смотри, — перебил Семенко, — и она спросит — не говори, — строго добавил он. Лицо его при упоминании о мачехе сразу сделалось жёстким и упрямым. — Если хоть намекнёшь ей, у тебя и резца не будет, и шишку ещё на лоб заработаешь. Гляди! И так про яйца чуть было не проговорился...

Вечером, когда Мария ещё была на огороде, я послал Семенка по воду, а Олексу позвал к себе.

Мы остались вдвоём с младшим сыном, но я не знал, как начать разговор. Жизнь, полная тяжёлого труда и горьких забот, не приучила меня к беседам с детьми... Теперь вот, при советской власти, придёт ребёнок из школы, отец и спрашивает:

— А ну, сынок, какое ты стихотворение сегодня выучил? О чём учительница рассказывала?

А в те времена только и слышали ребятишки отцовский голос, когда он цыкнет, чтоб под ногами не вертелись или побыстрее садились ужинать, чтоб керосин зря не тратить.

Поставил я Олексу против себя и молчу. И он молчит, не понимает, для чего отец позвал. Старается, наверное, вспомнить, бедняжка, не натворил ли какой-нибудь беды.

— Слушай, хлопец, — говорю, — можешь ты родному отцу всю правду сказать? Только не бойся. Я ведь тебе не чужой, слава богу...

Растерялся парень, покраснел.

— Я, — говорит, — разве когда-нибудь врал? Я всегда правду говорю.

¹ Сундук.

² Дядьке.

— Ты Семенка любишь? — спрашиваю.

— А почему ж, — говорит, — мне его не любить? Он мой брат.

Вижу: не будет дела, не тот подход. И решил я:

— Не скрывай, — говорю, — скажи, о каких это яйцах ты проговорился матери? Что там у вас было?

Тут совсем растерялся мой парнишка. Покраснел, губы дрожат, видно, и отцу соврать боится, и говорить не хочет.

А я своё:

— Лучше сам признайся, потому что я всё слышал и видел, как тебе Семенко резец принёс.

Понял, сердечный, что никак ему не выкрутиться, схватил меня за руку:

— Побожитесь, тато, что маме не расскажете. А если не побожитесь — не скажу, хоть убейте.

Неловко мне перед ребёнком, но ничего не поделаешь: побожился. Тут он мне всё и выложил.

— Семенко, — говорит, — хороший, любит меня, никому на улице обижать не даёт. Мама ко мне добрые, а к Семенку относятся плохо. Я на них за Семенка не меньше, чем он, злой бываю... Только Семенко не разрешает заступаться. Говорит: «Поссорюсь». Взял я недавно из-под рябенькой курки яйца и съел. Семенка мама побили ни за что. А он чуть не поссорился со мной за то, что я признаться хотел. «Пусть, — говорит, — издевается. Я когда-нибудь за всё отблагодарю». Что ни сделает он для меня. — обо всём запрещает говорить... А я его так люблю... Только если вы кому-нибудь об этом скажете, тато, так мне хоть из хаты тикай, потому что я побожился...

Давно уже Олекса убежал во двор, а я сижу и никак в себя прийти не могу. Такое у меня на сердце творится, будто я от смерти спасся: не враждуют мои сыны, нет! Как тут не повеселеть!

Три дня молчал, а на четвёртый не выдержал. Хоть и не про всё, но рассказал Марии об Олексе и Семенке. Рассказал и жду, что она ответит. А она молчит и в глаза мне не смотрит.

— Что с тобой стало? — спрашиваю. — Может, тебя и в самом деле дурные люди сглазили? Или сердце у тебя перевернулось? За что ты злишься на парня?

— Сама не знаю, — говорит, — Поехал ты... Ждала я... Голода, холода натерпелась. Кулаки смеются, издеваются: «Миллионеркой скоро будешь»... Сил моих больше не стало. Посмотрю на детей — как ни крути, как ни верти, — то ли одному из них итти внаймы, то ли каждому на своей половине нищим оставаться.

— А если бы оба тебе родные были, как бы ты тогда делила?

— Не знаю, — говорит, — ничего не знаю. Лучше бы самой мне землёй стать, чтоб после смерти могла я своего ребёнка на ноги поднять, не дать ему внаймах мыкаться... А тут ещё думка — Семенку в войско не итти, а моему итти... И Семенко же старший, первый женится... А Олексе куда податься? Подумаю так — глаза б мои на неродного не глядели... Крикну, цыкну, бывало, ни за что, а потом жалею, так жалею, что сама себе противной становлюсь... Вспомню, как я его маленького забавляла и присматривала за ним, подойду, хочу приласкать. А он уже не верит, боится, волчком смотрит, удирает от меня. Как старше стал, совсем возненавидел. Что ни скажу, всё мне наперекор делает. Спрошу — молчит, позову — убегает. Упрямый он, злопамятный. Тут ещё и соседки науськивают. Приска Худикова чего только ему не наговорила... Рассказывают мне люди, как она Семенка встречает и начинает о родной матери напоминать, на меня наговаривать. «Лучше, — говорит, — чужую

полосу жать, чем мачехе угождать... Родная мать и пожалеть может, а мачеха никогда: если скажет — «Я тебе дам!», то уже так даст, что не отдышишься»... Придёт Семенко домой и всё это повторяет, а я от этого ещё злее становлюсь. Если мачеха — так пусть буду мачехой. Что мне делать, не знаю. Такое у нас с ним пошло... Чем дальше, тем хуже. К тому же и тебя не было.

— А может, теперь... Вернулся ведь я. Может, не поздно, Мария? — спросил я, хотя и сам в это не верил.

«Скынтейя»

Осенью 1938 года Берник вернулся из тюрьмы.

Я пришёл к Бернику вечером и решил поменьше его расспрашивать, чтоб не вызывать тяжёлых воспоминаний. Но Иван был, каким я его всегда знал: весёлый и людям открытый.

В хате собралось много народу, и мне долго не удавалось откровенно поговорить с другом, тем более, что зашёл и пан Косован, при котором надо было держать язык за зубами.

Нотариус был очень удивлён и даже разочарован, увидев вместо жалкого арестанта, вернувшегося искупать свои грехи, прежнего неунывающего, отчаянного плотогона.

— Наверное, тебя там кнышами в масле кормили, — криво усмехнувшись, сказал он Ивану, — что ты такой весёлый вернулся?

— Я весёлый потому, что на три года старше стал, — ответил Берник. — А раз старше, значит и умнее.

— Такой же, как был, — пробурчал нотариус, выходя из хаты, — голый, как бубен, а острый, как бритва...

Поздно вечером, когда гости разошлись, Берник так встряхнул меня за плечи, что я скривился от боли.

— Ну и скрутило тебя, парень, за морем, — покачал он головой. — Рассказывай, как там было.

— Разве сам не видишь? — ответил я, закашлявшись. — Осталось у человека от родителей одно наследство — здоровье, так и то забрали, всё высосали.

— А что я говорил тебе? Не поверил тогда... Вот по-моему и вышло: вели медведя к мёду — уши вырвали, а когда от мёда оттягивали, так и хвост оторвали.

— Не видел я там никакого мёда.

— Та-ак. Оно и понятно. Одним словом, разбогател в Америке, ухватил шилом патоки. Вот только плохо, что глаза у тебя больше не светятся. Как бы ни было трудно, а глаза должны светиться, голову надо держать высоко.

— Было бы от чего... Нужда кого хочешь согнёт.

— Нет, я не согнусь, — твёрдо сказал Иван, — и тебе не позволю. Знаешь, что сейчас на свете творится?.. Впрочем, всего за один раз не расскажешь. Приходи завтра, когда стемнеет, к Гнату, поговорим...

И он многозначительно посмотрел мне в глаза.

Гната Крикливца, к которому пригласил меня Берник, я очень уважал и любил. Да и все наши бедняки любили его — был он очень хороший человек и душевно относился к трудовому люду. Золотые руки у него, а жил бедно, в нужде. Вместо того, чтоб какому-нибудь богатей прислужить и себе лишнюю мерку муки принести — беднякам лавки, наличники и крылечки даром вырезал. Да и помогал как мог.

— Что это ты делаешь? — спросит иногда мужа Мотря. — И себе ни гроша, и тем бесхлебным небольшое счастье от твоих узоров.

Никогда не кричал на жену. Тихий, ласковый, как вода в безветрие. — То ничего, — говорит, — что у них хлеба нет. Зато моя работа глаз радует, гордости бедняку придаёт. Хоть и куска лишнего нет, а в хате не хуже, чем у богатого. Мне б, — говорит, — развязали руки, я бы по всей Украине добрым людям хаты резными узорами разукрасил.

В молодости я частенько заглядывал к Крикливцу. А когда вернулся из Америки, зашёл как-то и вижу: не до гостей ему. У него Пилип сидит, ещё какой-то человек из экономии, о том, о сём разговаривают, а сами, видно, ждут, пока я отгошусь. Поэтому после встречи с Берником я не совсем охотно шёл к Крикливцу, хотя и очень интересно мне было: какая же там беседа будет?

Когда я вошёл, Берника ещё не было. Мотря возилась у печи, дети, наверно, во дворе бегали, а на скамьях, у стены и за столом сидело немало гостей.

Был тут и Волощук, кузнец, который сделал моему сыну резец, и наймит Косована старый Пилип, и Крихта, и ещё двое хлопцев, работавших в панской экономии, и какой-то не знакомый мне парень в потёртом городском пиджачке.

Когда я вошёл, присутствующие оборвали разговор и удивлённо по-смотрели на меня. Тогда Гнат сказал:

— Ничего, это свой. Берник знает, что Танасий придёт.

Поздоровавшись, я молчал, чувствуя себя неловко: не следовало, верно, мне приходиться, если сам хозяин меня не звал. К счастью, через несколько минут пришёл Берник. Он бросил в угол толстый стебель подсолнечника, который принёс с собой, пожал всем руки и улыбнулся мне:

— Хорошо сделал, что пришёл, Танасий... Посидим, поговорим.

На столе появилась бутылка водки и закуска, но никто из присутствующих не собирался ужинать, все будто ждали чего-то.

Гнат глянул на окно. Мотря сразу же заметила и поняла этот взгляд, бросилась к окну и поправила коврик, которым оно было завешено. Тогда Гнат подошёл к печи, где над дымоходом сушилась горка тыквенных семечек, запустил руки в семечки и вытащил немного измятый цветной журнал. На обложке большими буквами было написано: «СССР на стройке». Все склонились над столом, рассматривая фотографии и читая пояснения к ним.

На первой странице был большой портрет, под которым можно было и не ставить подписи.

— Сталин! — сказал Крикливец и выпрямил плечи, словно помолодел. Мотря подкрутила фитиль в лампе и подняла её над портретом.

— У нас, недалеко от Яльвочоры, — сказал один из панских рабочих, пришедший сюда с верховины, — у одного плотогона такой же портрет, только поменьше, жандармы забрали... Уж били того Стефана палками, так били, что едва живой вернулся из постерунка¹. А портрет при нём же сожгли...

— Здесь не сожгут, — сурово сказал Берник и приложил руку к сердцу.

На второй странице — Днепрогэс. Над длинной бетонной плотиной светились фонари, а внизу бурная, как сто Черемошей, ленилась и кипела могучая днепровская вода.

— Вот это мельничка! — заметил Пилип, когда Берник рассказал нам о том, какая это сила...

— Так ты говоришь, Иван, будто сам всё видел, — с уважением сказала Мотря.

¹ Полицейский участок (польск.).

— Пока из газет и от добрых людей знаю, а жив буду, то и сам увижу, — повернулся к ней Берник.

— Может, через кордон собрался бежать? — спросил я.

— Нет, — покачал головой Иван, — дождусь, пока кордона не будет.

— Дождёмся ли? — вздохнул Пилип. — Близко уже воля была. В девятнадцатом году не один пан пятки салом смазывал, когда наши люди начали поместья жечь... Вот-вот уже богунцы и тарашанцы должны были нам помощь подать. Сам Щорс ими командовал... Не суждено было... Не дошли. Я сам из-под Хотина, потому знаю. Когда мы восстали, по нас румыны из французских пушек стреляли. Продали нас петлюровцы, и отступили повстанцы за Днестр. Сорок тысяч, говорят, пробилось к Красной Армии, с ними и братьев моих трое... А я раненый остался, удрал сюда, теперь вот внаймах век доживаю.

— Не всё вы, вуйко, сказали, — поднялся не знакомый мне парень. — У нас в Черновцах на трикотажной фабрике, на «Тринако» механик тоже из-под Хотина... Хоть и потопили паны в крови народное восстание — отцы, умирая, завещали детям не покоряться чужеземцам, а надеяться и бороться за волю. Разве ж мы забыли отцовские заветы? Разве мы не потомки Лукьяна Кобылицы? Разве не тут, в Выжиновке, он народ поднимал?

— Если б только кто-нибудь через кордон перенёс, — перебила его Мотря, — написать бы письмо в Москву... товарищу Сталину... Знает ли он, как мы ждём...

— Знает! — крикнул парень с «Тринако», и глаза его заблестели. — Товарищ Сталин недаром сказал: «Есть Украина в составе СССР. Но есть и другая Украина в составе других государств». Это он и про Буковину сказал... Наши братья помнят о нас, как мы бедуем в составе этих самых «других государств».

— Прислушайся к нему, есть чему поучиться, — шепнул мне Берник, кивнув на парня. — После забастовки ему с трикотажной фабрики пришлось уйти, теперь с тобой на пилораме будет работать...

Он перевернул страницу журнала.

— Это что за городок? — спросил я у Берника, силясь разобрать подпись под фото.

— «Колхоз имени Щорса на Запорожье», — прочитал Иван, — площадь Коммунаров».

— Село, значит? — недоверчиво спросила Мотря, разглядывая цветной снимок, на котором вдоль рядов домиков под черепичными крышами стояли электрические фонари, — как одуванчики, висели лампы на стеблях высоких столбов. По-городскому одетые парни и девчата стояли возле красивого дома с надписью «Клуб».

— Что же, они и землю пашут или так себе живут? — заинтересовался старый Крихта. За свой век он много земли перепахал для пана, работая в экономии.

— Ещё как пашут! — засмеялся Иван. — Тракторами. А урожай по двадцать девять центнеров с гектара собирают.

— И всё это их собственное?

— Конечно, собственное. Народное. Труд в советской стране — дело чести, доблести и геройства. Так сказал товарищ Сталин.

— Труд — дело чести... — задумчиво повторил Гнат и ударил ладонью о стол. — Очень правильно сказал товарищ Сталин. Рабочие руки достойны уважения. Они что угодно сделать могут...

— Там, на Большой Украине, говорят, всё тракторами больше орудут, — сказал Пилип, — а здесь на них много не наработаешь.

— Это почему же? — спросил Иван.

— А потому, что земля у нас какая? Там клочок, тут косячок, — попробуй развернись на машине.

— Дело поправимое, — перебил его парень с «Тринако», — панскую землю народу отдать, тогда и тракторам простор будет.

— У пана-то земля, небось, поровней, чем у тебя будет, — обняв Пилипа, засмеялся Иван.

— Ровнее, чем моя, нету, — вздохнул старый батрак, — моя земля вся под ногтями.

«Дали бы мне кусок доброй земли, — подумал я, — и без машины бы на ней прокормился».

— А я непрочь бы по панской долинке на тракторе прогуляться, — вставил своё слово другой экономский, молодой парень. Он до сих пор молчал и так внимательно слушал, что дотлевшая в зубах «козья ножка» чуть было не опалила его усы. — Я бы как зашёл от Известнякового яра — и давай до Худика поля, без остановки! Трактором! Для всех соседей! Бесплатно!..

— А Худик тебе что — брат или сват? — серьёзно спросил его Берник. — Если забирать землю у живодёров, так — без остановок, у всех!

— А Косован? Косована не трогать? — возмутился Пилип. — Перепахивай и его поле, а потом уже делить будем...

— Мне туда заезжать не с руки, — отмахнулся размечтавшийся парень, — туда через кусты да через канавы никаким трактором не пробьёшься!

— А ты от Выжиновки заходи, — посоветовал я, и тут же спохватился: зачем болтать попусту? — земля-то не наша... — Моя Мария тоже вот, вроде вас, — сказал я. — Её бы сюда — она бы сейчас не только богатеёв землю разделила, а в панских хоромах бы гулянье устроила... Любит она выдумывать всякое, чему не бывать...

— Как не бывать? — не в шутку рассердился Берник. — Думаешь, мы тут попусту языки чешем? Нет, брат Танасий, мы о будущей жизни мечтаем... Об одном только я жалею. Соберётся вас тут шесть-семь человек, посмотрите, поговорите, а на селе об этом никто не знает. Людей боитесь, от народа прячетесь. Вот Танасий — на что уж потерявший человек — и того ни разу не пригласили. А Хорбут, а Матеик — где они? Почему нет их здесь?

— Разве ж можно? — удивился Крихта. — Сразу сигуранца схватит.

— Не так страшен чёрт, как его малюют, — продолжал Берник. — Вот Пилип о рабочих вспомнил. Они держатся вместе, и в том их сила. Об этом вам лучше меня расскажет товарищ Гапий. Как ни бесилась сигуранца, а когда устроили забастовку на фабрике, хозяева так растерялись, что и жандармы не помогли. Всем, кому мы доверяем, надо рассказывать, как живётся в Советском Союзе. Разбить кулацкие выдумки, открыть людям глаза на правду.

— Тебе легко, ты всё знаешь, — вздохнул Пилип. — А мы сами тёмные, кроме этих рисунков, ничего не видели.

— Я тоже не по божьей воле поумнел. Что знаю, то и вы будете знать.

Тут Иван взял из угла стебель подсолнуха и вынул из него несколько тоненьких бумажек, свёрнутых в трубочку.

— Здесь все номера за последние три месяца. Черновицкие рабочие нам прислали... Кто понимает по-румынски — возьмите листовки, спрячьте, дома прочтёте.

За бумажками потянулись руки. Крикливец, Пилип и я взяли газетку, и, с трудом разбирая румынские буквы, Гнат прочёл заголовок: «Скынтейя».

Это была подпольная газета румынской компартии. По-нашему она называлась «Искра».

Перед ужином Гнат зѣпшел на крыльцо и тонко засвистел. Послышались лёгкие шаги, и через минуту в хату вбежали сынок Гната Тарас и мой Олекса. Я очень удивился, увидев своего парня здесь, а он растерялся и, переступая с ноги на ногу, не знал, что делать.

— Заходи, заходи, вместе повечеряем, — подбадривал его Гнат. — Прости, Танасий, — обратился он ко мне, — как-то не пришлось поговорить с тобою по душам. А детвора уже давно у нас сторожит, чтоб в случае чего подать сигнал. Да садитесь же за стол, а не то я вас... — по-отцовски прикрикнул он на ребят. И, налив взрослым водки, торжественно поднял свой стаканчик: — Ну, за Ивана, за то, что живой и здоровый домой вернулся.

В это время скрипнула дверь, и в комнату вошли дочь Гната Софийка и мой Семенко. Старший сын ещё больше, чем Олекса, растерялся, увидев меня. Но Мотря и Гнат быстро устроили их за столом и подсыпали в миску горячей капусты.

— Они тоже... сторожат? — спросил я у Гната, кивнув на эту пару.

— А как же! — ответил тот, пряча улыбку.

Семенко и Софийка сидели за столом напротив меня, и я невольно наблюдал за ними. Хотя они молчали, не вмешиваясь в общую беседу, и не забывали о горячей капусте, я сразу заметил, что сторожат они в паре неспроста. Софийка была всего на два года моложе Семенка, но ей никак нельзя было дать четырнадцать лет. Это была маленькая, худенькая девочка, смешливая и непоседливая. Чувствовалось, что и сейчас, за столом, ей очень трудно сидеть молча.

Нельзя сказать, что она была очень красива, но её звонкий голосок, ямочки на щеках и светлые волосы, кольцами спадавшие на лоб, любого заставили бы приветливо улыбнуться. Только левый её глаз казался каким-то тусклым.

Заметив мой взгляд, Гнат сокрушённо сказал:

— Да, ты ведь не знаешь: бельмо затягивает глаз. Беда, да и только.

Сердце моё сжалось. Да, это было большим горем, с таким «прида-ным» Софийка не могла ждать от будущего ничего хорошего.

— А вырезать бельмо нельзя? — спросил я несмело.

Но Гнат только рукой махнул.

— В Черновцах через людей узнавали. Шкуродёр врач просит пятьсот лей. Даже если чёрту душу продать, таких денег не выручишь.

После ужина мои ребята пошли домой, а дети Гната улеглись спать — кто на постель, а кто здесь же, за нашими спинами, на широкой лавке. Взрослые ещё немного покурили и стали прощаться.

Первыми вышли рабочие экономии, за ними Пилип, последними вышли Берник, я и парень с «Тринако», которого Берник назвал товарищем Гапием. Он шёл ночевать к Бернику.

Прощаясь на повороте, Иван спросил меня:

— Ну как, Танасий, ещё придёшь к Гнату, когда соберёмся?

— А что если не только собираться, — сказал я, — и не только журналы читать, а для начала поджечь помещика, потом и с Косованом расправиться?

Берник обнял меня.

— Накипело у тебя, Танасий. Погоди, на всё своё время, недолго им издеваться.

— Много их очень, — сжал я кулаки. — До всех не доберёшься... Здесь расквітаемъ, так за морем ещё сколько.

— Не бойтесь, — улынулся Гапий, — гнилое дерево по сучку уда-ришь, оно всё закачается. Выжиновские когда-то у Гелки забастовку устроили, а у шведского спичечного «короля» Крейгера, далеко за морем, поджилки тряслись — его капиталы здесь вложены.

— Эх, жаль... Не доживу я до такой жизни, какая там, на Большой Украине, — сказал я, прощаясь.

Берник, который уже протянул мне руку, резко опустил её и возму-щённо сказал:

— Как это — не доживёшь? А кто ж тогда доживёт? Разве ты сего-дня ночью помирать собрался?

— Ну, не сегодня ночью, — улынулся я, — но и не двести лет жить буду...

— А вот и доживёшь! Давай об заклад биться, что доживёшь! — с юношеским запалом воскликнул Берник.

А товарищ Гапий добавил:

— И одного дня жить не стоит, если не верить в это. Вот ведь добились своего люди в России...

— А знаешь ли ты, парень, — ехидно, как мне казалось, перебил я его, — что там, в России, простому народу посчастливилось на своём поставить потому, что есть у него вожаки, ком-му-нисты! А у нас разве они есть? — И убеждённый в том, что окончательно победил в этом спо-ре, я вытащил кисет и начал свёртывать цыгарку.

— А почему же нет? И у нас есть, — спокойно ответил Берник. — Есть, Танасий, — повторил он, крепко пожимая мне руку.

Начинало рассветать

Жизнь шла вперёд, а у меня в семье всё оставалось на месте, всё было, как в стоячем болоте. Мелкие ссоры, упреки, подозрения. Неве-сёлая жизнь, одним словом.

Попржнему волками смотрели друг на друга Семенко и Мария.

Олекса при всяком удобном случае удирал из хаты и весь день где-то слонялся, частенько даже обедать не приходил. Семенко, наоборот, больше был дома, у него возле хаты было всегда немало работы. Дер-жался он солидно и рассудительно, будто бог знает сколько лет на свете прожил.

— И не оглянешься, как жену в хату приведёт, — всё чаще говорила Мария, кивая на пасынка. Видно было, что эта мысль крепко засела у неё в голове и не даёт ей покоя.

Что и говорить — будь она даже родной матерью Семенку, всё равно было над чем призадуматься. Ни одному хорошему человеку не пожелаю делить между двумя сыновьями пять соток земли. Из-за этого родные братья в те времена становились врагами. И не удивительно было, что Мария иногда горько плакала, думая о том, что Олекса может остаться под открытым небом.

Иногда мне и самому казалось, что если бы Семенко пошёл в прий-маки, в моей хате стало бы светлее, и хоть на старости лет можно было бы легче вздохнуть. Нельзя человеку жить, ни на что не надеясь.

Трудно человеку, который привык только себе под ноги смотреть. Идёт он по пустырям, вперив взгляд в бурьян и в сухую, потрескавшуюся землю; набредёт на лужу и припадёт пересохшими губами к гнилой воде. Ему бы хоть глоток студёной, а приходится тянуть из болота, ещё хуже становится.

А посмотрел бы вверх, повеселел бы, увидев над собой долгожданные тучи. Вот-вот ударит гром, молния рассечёт небо, и польётся на землю чистая вода, наполнит высохшие криницы, разбудит подземные ключи, даст силу всему живому, что увяло от зноя...

Научили меня добрые друзья вверх смотреть. Почитаю подпольную «Скынтейю» — светлее в глазах станет, увижу перед собой дорогу, хотя иногда мне непонятно было, как это румыны на румынском языке так справедливо пишут против румынок и всяких других панов... От Берника я узнал немало нового, а теперь Гапий рассказывал нам много такого о Большой Украине, что крепко в душу запало.

Прошло уже полгода с тех пор, как в нашем селе поселился товарищ Гапий. О его работе знали лишь те, кто тайно собирался у Гната Крикливца. Но плоды её здесь, в Черногузах, очень скоро почувствовали и помещики, и кулаки.

— Слыхали, как на «Тринако» рабочие бастовали? — перешёптывались батраки в экономии у Бильграйфа. — Не вышли на работу — и всё, пока им не дали, сколько они требовали... Не то, что у нас: как пан хочет, так и платит...

— Говорят, на «Тринако» читали газету, где написано, что на Большой Украине землю навечно крестьянам отдали, и никакого выкупа за это не взяли.

Худик злился, зная, что Гапий приносит в село эти вести.

— Я ему язык обрежу, пусть только попадётся на горячем.

Но Гапий «на горячем» не попался. Десятники на лесопилке ничего плохого сказать о нём не могли, хотя Худик поручил им особо следить за новым мотористом. Он был аккуратен, неразговорчив, никогда не пил, но в день получки не отказывался немного угостить того же десятника.

— Не нужна мне гадюка за пазухой, — раскричался Худик, услышав, что рабочие всё чаще собираются у Гапия. — Пусть убирается ко всем чертям в свои Черновцы! — И уволил его, даже не уплатив того, что Гапий заработал.

В это время кулак Бережан поставил на мельнице моторчик. Он был рад случаю лишний раз досадить Худику. И наш Гапий очутился на мельнице, поселившись на той стороне села в хате у старого Хорбута.

Бережан смеялся над Худиком — тот сам отдал ему такого умелого и дешёвого моториста. Но очень скоро и он понял, что не для того, чтобы увеличить кулацкие прибыли, поселился парень с «Тринако» в нашем селе. Открыл ему глаза случай на последних «перекликах», в Известковой балке...

Однако вы ещё не знаете, что такое «переклики» и что это за Известковая балка...

Разве вы могли бы сказать, товарищ, посмотрев на наше село, что когда-то оно было разделено на две половины? Попробуйте догадаться, если мы Известковую балку, разделяющую село, сравняли с землёй, засадили деревьями, и сейчас у нас на том месте клубная площадь и летнее кино.

А раньше от шляха до балки была одна половина села, где жили и я, и Крикливец, и Берник, и ещё много людей, о которых я вам уже кое-что рассказывал. Тут над всеми пановали Худик и Косован. От балки до речки — другая половина села, и жили на ней старый Хорбут с сыновьями, Матейк, Платыка, в общем те, о ком я только собираюсь вам рассказать. Был тут хозяином кулак Бережан (он, правда, ещё и в Выжиновке хату имел).

На нашей половине, на высоком холме, стоял панский дворец, и за

это нас называли «помещиками». На другой половине, на берегу Выжинки стояла мельница Бережана (у него и в Выжиновке был мльнюк), и за это жителей той половины называли «мельниками».

Не могу вам объяснить почему, но издавна «мельники» и «помещики» враждовали между собой, ругали друг друга непристойными словами; при встрече вместо того, чтобы поздороваться по-соседски, выкрикивали чёрт знает что, а по большим праздникам сходились около балки «перекликаться», то есть ругать друг друга, иногда же доходило и до драки.

От своего отца я слышал, будто началось это из-за того, что дед Бережана помешал деду Худика купить мельницу, дав за неё пану на две сотни лей больше. Худики и тогда были кулаками, должников у них было чуть не полсела, — вот и выходило, что должники Худика его сторону держат, должники Бережана за него руку тянут. А чтоб ещё больше насолить Худика, Бережан жителям своей половины «льготы» дал — велел мельнику вне очереди для них молотить и меньше брать с них мельничного сбора. Вот и заварилась тут крутая каша.

Поедешь на мельницу осенью — они собак науськивают, лошадей пугают (а там такая грязь была, что чуть съедешь в сторону — до ночи не выберешься). Бывало, ещё и вилами мешок проткнут, если не досмотришь, — собрай тогда своё зерно в пыли и в грязи.

Зато и они от наших «шутников» немало терпели; когда ехали на базар — лугами объезжали нас, делая огромный крюк.

Так и «развлекались» люди кулакам на потеху.

Бывало, помолившись в церкви, сойдутся «помещики» и «мельники», станут по обе стороны балки и начинают друг друга обзывать разными непристойными словами.

Услыхал я случайно, что в воскресенье наши «помещики» собираются зыйти на балку «побеседовать» с «мельниками».

Первый, от кого я узнал об этом, был Денис Платыка — здоровенный дядька лет сорока, о котором говорили, что он одним ударом кулака может бугая убить. Был он человек бедный, имел троих детей, никогда не пьянствовал, потому что, сказать правду, не было у него на что пить. Я очень удивился, встретив его на улице пьяным.

— Есть-таки на свете добрые люди, — бормотал Денис, обнимая меня и стараясь устоять на ногах. — Нет кукурузы — на тебе мешок кукурузы. Нечем налог платить — на тебе три леи... Кто дал? Не скажу! И не спрашивай, всё равно не скажу, потому что поклался тому человеку... А «тринаку» я завтра угощу... Что мне «тринака»? Он у меня и не пискнет, вот увидишь, Танасий... Если я обещал человеку, то своё слово сдержу...

Платыка пошёл дальше, а я смотрел ему вслед и думал: «Неспроста он это говорит, уж наверняка кто-то подговорил его, чтоб он убил или покалечил товарища Гапия. Может, мне пойти прямо к старому Хорбуту, где живёт теперь Гапий, и предупредить? А может, к Бернику забежать, посоветоваться, или к Матеику податься — он же сосед Платыки, может что-нибудь знает».

Пораздумав, я решил пойти к Матеику.

Это был тоже очень бедный человек, имел такую же полосочку земли, как и Платыка, но не было на селе более злых врагов, чем эти два бедняка.

Рядом с их убогими клочками раскинулось панское поле, но не это поле застило им свет божий, а межа, разделявшая их сотки; из-за неё никак не могли помириться: какой-то там клиночек не поделили. За этот клиночек дед Платыки зарубил топором деда Матеика, и с тех пор в поле

на том месте стоял каменный крест, а сосед соседу не давал свободно вздохнуть.

— Живут, как Платыка с Матеиком, — говорили о муже и жене, если они часто ссорились.

— Хочешь, чтоб тебе, как Матеику, крест на меже поставили? — угрожал иногда сосед соседу.

Я не ошибся, придя к соседу Платыки. Мой расчёт на то, что Матеиха что-нибудь подслушала и расскажет мне, оправдался.

— А как же, — зашептала она, когда я спросил её о кукурузе. — Вчера замешиваю в хлеве поросёнку и слышу: «он» за стеною жинке говорит: «Что мне тот «тринака»! Сват или брат? Двину его раз — и всё! А мешок кукурузы и деньги где возьмёшь? Даром Худик не даст».

«Так я и знал: Худика работа», — думал я, торопясь на другую сторону села, чтоб предупредить Гапия.

— Эй, смотрите, «помещики» в гости приехали! — закричал Смолюк, увидев меня на «чужой» половине.

— Мерижанец идёт! — заорали «мельниковские» парни, что стояли с девушками возле тына и грызли семечки.

Спросив несколько раз «кто?» и «чего надо?», Хорбутиха впустила меня в хату. Гапий и старый Хорбут ужинали.

— Не бойся, — сказал Гапий, увидев, что я искоса поглядываю на Хорбута, — при нём можешь всё говорить.

— Ну и собака тот Худик, — подскочил старик, когда я всё рассказал. — Да не быть тому! Хорбут тоже что-то придумает... Хорбута вокруг пальца не обведёшь... тут головой думать нужно!

— Хорошо, что предупредил, товарищ Карпюк. Об этом мы ещё поговорим, — сказал Гапий. — А сейчас прочти это письмо, из Черновц. сегодня получил. — И он показал мне пальцем, откуда читать.

«...Поручение твоё выполнила, — писала Гапию его знакомая, работница трикотажной фабрики, — хотя и нелегко было. Адвокат Мейергоф просил двести, но продал «тайну» за сто. Деньги взяли в кассе взаимопомощи, никто из товарищей не возражал. Точно известно, что суд состоялся месяц назад, 26 мая. Поверенный Бильграйфа пришёл с Худиком к соглашению, чтобы продать обществу пастбище за четыре тысячи лей, которые черногузовцы должны ему отработать. Дав кому надо «бакшиш», Худик уничтожил поручение, которое имел от общества; он и Бережан уплатили все деньги наличными, так что луга записаны теперь на Худика и на Бережана».

— Понял? — спросил меня Гапий, отбирая письмо. — А есть ещё такие дурни, которые верят, будто Худик за общество стоит, к адвокатам ездит, с паном судится, да ещё свои деньги на это расходует...

— Неужели он думает, что удастся от людей скрыть? — удивился я.

— После косовицы всё скажет, не беспокойся — закричал Хорбут. — Люди ведь ему обещали на косовице отработать за расходы на адвоката. Ты что, вчера на свет родился, что до сих пор раскумекать не можешь?!

Об этих лугах уже давно шёл спор. Когда-то луга принадлежали обществу, потом пан заграбастал их себе и заставлял отрабатывать тех, кто пас там скот. Суд был далеко, закон стоял за богатых, — разговоры так и оставались разговорами.

Наконец, за это взялся сам Худик и пообещал, что доведёт дело до конца.

— Дай ему бог здоровья, — говорили доверчивые люди, — может, и высудит у пана те луга. Хоть и придётся отрабатывать, зато наши дети на своём лугу пасти будут...

Вот и высудил Худик, «довёл до конца», — теперь бедняки не пану, а ему и Бережану будут отрабатывать всю жизнь.

Гапий заинтересовался «добрыми делами» Худика. И сейчас, перед косовицей, решил добиться того, чтоб все узнали правду... Может, Худик и пронюхал об этом и потому подговорил Платыку на недоброе дело.

Ну, так вот. В воскресенье, прямо из церкви «помещики» подались к балке, вызывая «мельников» на «переклики».

Среди свиток и полотняных сорочек красовались новенькие каптарики зажиточных хозяев, которые держались поближе к Худик и Косовану.

«Мельников» ещё не было, только маленькие ребятишки на той стороне балки перебрасывались камешками, ожидая начала.

— Эй, ты, конопатый! — крикнул племянник Худика, верзила лет двадцати двух, запустив в маленького парнишку камнем. — Беги и скажи батьке, чтоб скорее шёл, я на его рёбра уже добрую дубину выломал...

Худик промко захохотал, и те, кто был поблизости, угодливо засмеялись.

— Посмотрим, как он после смеяться будет, — толкнул меня локтем Берник.

— Ой, господи, — зашептала Текля, — хоть бы ты, Танасий, моего сдержал. Пусть помолчит, бо заберут же его, останусь я опять одна сиротою...

Но она напрасно тревожилась: сам Гапий посоветовал Бернику сегодня молчать, чтоб не навлекать подозрений.

«Мельники» понемногу подходили и лениво перекликались с нашими, но настоящих «перекликов», ещё не было.

С женой, толстой и круглой, как опромная тыква, и с тремя такими же толстыми коротконогими дочерьми появился на той стороне чёрный, худющий Бережан. О нём говорили, что он худеет от зависти.

Бережан кивнул Худик, но «день добрый» не крикнул и фуражки не снял: он находился на «другой стороне» и имел право вовсе не здороваться с «помещичьими». Хотя Бережан вёл с Худиком дела, но был готов живьём его съесть за то, что он наживал капиталы, связавшись с Гелкой.

— А почему же «тринаки» нет? — громко спросил Худик. — Поселился у «мельников» — пусть по-мельничьи и брешет...

— Вот он идёт, — мрачно сказал Платыка. Он уже протрезвел и, наверно, раздумывал над своим обещанием Худик.

До этого он никогда не вмешивался в драку, боялся, что если попадёт кому-нибудь в грудь своим кулаком, то, помимо своей воли, может убить.

— Не думаешь ли ты напоятную? — шёпотом спросил его Худик, полагая, что я не слышу. — Если трусишь, так не берись. За такую цену я и без тебя нашёл бы...

Тем временем на обеих сторонах балки собралось уже немало людей. С нашей стороны вперёд выступил племянник Худика, а с «мельничьей» — Савка Смолюк, языкастый парень, из бедняков, но бродяга. Он по полгода не жил дома; говорили, что с каким-то выжиновским он попался на чужих лошадях, но удрал из тюрьмы...

Племянник Худика и Смолюк уже было и картузы набекрень сбили, и под ноги каждый себе плюнул перед тем, как начать перекликаться. Но в тот день им так и не пришлось показать своё искусство.

Гурий, сын Хорбута, оттолкнул Смолюка и промко крикнул:

— А чи правда, паны-помещики, что из ваших комор все мыши удрали, бо надоело им с голоду пухнуть?

— От нас удрали, а к вам не добежали, — ответил ему рабочий из экономии—Панас, тот, что сидел у Гната Крикливца, когда мы впервые читали «Скынтейю». — То ничего, что мы, как и вы, голоштанники, зато у наших хозяев заможных на сто лет для мышей еды хватит, не то, что у вас.

Косован стоял поодаль, считал, что ему, как мужу Чапей, да к тому же нотариусу, неудобно толкаться вместе с «мужиками». Он вытянул шею и прислушался. Видимо, что-то подозрительное почуялось ему в этой ругани. Худик, который ещё ничего не понимал, довольно хмыкнул, когда услышал, что его назвали заможным...

— Чихали мы на такое хозяйство, — перебил Гурий Панаса. — Такие, как ваш Худик, у нас вон где! Вот у нас хозяин, так хозяин! У одного Бережана столько земли, что на всех таких жебраков¹, как вы, хватило б. А в коморах у него, и в пивницах, и на ригах под жестью столько добра, что гниёт оно — до самой Выжиновки от вони продыхнуть нельзя!

Бережан был хитрее Худика. Услышав такую похвальбу, он помрачнел и перебил Гурия:

— Хватит! Выходи, Смолюк! Про Винцучиху давай!

— Слышали мы, что ваша Винцучиха, когда спать с мужем ложится... — начал было Смолюк, но Гурий не дал ему договорить.

— Эй, помещики-дурохвосты, — закричал он, потянув за козырёк фуражку на Смолюке и надвинув её ему на глаза, — одолжите нам вашего Косована, чтоб Бережана с Худиком помирил! Он — нотариус, человек умный, по-румынскому учёный, а наши хозяева должны общественные луга на двоих разделить...

— Про Хому-дурачка давай! Про Хому! — затопал ногами Худик, который только сейчас понял, в какое положение попал.

Но его уже никто не слушал.

— Эй, тише... Кто там о лугах сказал? Что вы слышали? — закричали с обеих сторон; и «мельники», и «помещики» одинаково были заинтересованы в выпасе для скота.

— Цыц! Хватит брехать! — ещё громче закричал Худик, подталкивая Платыку. — В языке — кривда, а в кулаке — правда! А ну, ребятки, чей будет верх!

Опустив голову, потупив глаза, на дно балки спустился Платыка и начал закатывать рукава. Все притихли, потому что Платыка никогда ещё ни с кем не дрался; все знали, что тот, кого он вызовет, может зараннее за попом посылать.

— Что? Нет охотников? — захохотал Худик, обрадовавшись, что люди как будто забыли о лугах. — Вызывай, Платыка, покажи им, кто такие «помещики»!

— А ну, «тринака», выходи, — махнул рукой Платыка в сторону Гапия. — Набирайся духу, буду я тебе сегодня вместо крёстного отца.

— Выходи, выходи, язва, — подпрыгивал Худик, — здесь тебе не на фабрике!

Люди вытягивали шеи, чтоб посмотреть на Гапия и услышать, как он ответит.

— Добре, вуйко Платыка, — спокойно сказал Гатий. — Не к лицу мне уклоняться, если у вас на селе такой обычай! Но драться надо честно, на совесть. Отдай-ка раньше деньги и мешок кукурузы тому, кто тебя подкупил, чтобы ты меня убил насмерть.

¹ Нищих.

— Кому ты нужен, сопляк, чтоб за тебя деньги платили! — крикнул Худик, побледнев.

— На воре шапка горит, — закричал старик Хорбут. — Думал, собака, чужим кулаком правде рот заткнуть?! А ну-ка мне заткни, попробуй! Говори перед народом, на кого записал луга, когда высудил их у пана?

— Бреешься! Суда ещё никакого не было, — отступая от балки, захрипел Худик.

— Был суд! Двадцать шестого этого месяца был, — наступал Хорбут, замахнувшись посохом. — Адвокат Мейергоф высудил, а вы с Бережаном...

— Отказываюсь! Цур им, тем лугам! — закричал Бережан, испуганно озираясь на прозно притихшую толпу. — Скажу вам, люди, как на исповедь... Подбил меня Худик. С половины откупил я с ним луга у пана. Не надо мне! Берите! И он пусть не идёт против бога. Только пусть мои деньги вернёт.

Тишина, нависшая над балкой, показалась, видно, Худикю такой страшной, что он заячьим голосом запищал:

— Смерти моей захотели? В тюрьме вас сгноят... Не подходите лучше...

И вдруг упал на землю лицом и, закричав «спасайте!», пополз под ногами у людей.

Я увидел, как прямо на Худика, сжав кулаки, с налитыми кровью глазами надвигался Платыка.

— Перепишу... обратно перепишу... — ползал на коленях Худик. — Бережан подбил... Пан-бог видит... Не бери греха на душу... детей пожалей...

И Косована, и племянника Худика, и других кулаков к тому времени из балки, как ветром, сдуло, и если бы Гапий, Берник, Хорбут и я, вчетвером, не схватили Платыку, быть бы ему в тюрьме, а Худикю — на кладбище.

Я думаю, лишнее будет вам объяснять, что после этого Худик не только не переписал луга на общество, а ещё и жалобу на Платыку в сигуранцу подал.

Повей, ветер, с Украины...

Пришёл сентябрь 1939 года. Погода стояла тёплая и ясная, как и всегда в эту пору на Буковине. Тихо было на склонах Карпат, не шевелясь, стояли высокие сосны...

Но не тихо было на селе. Как ни бесились богатей, что ни придумывали жандармы, — не могли они скрыть от нас, что советские войска вступили на землю Галиции и гонят оттуда всех панов и подпанков, освобождая братьев из вековой неволи.

Я так полагаю, что в те дни где-нибудь в Кицмане, возле Черновц, и там уже заговорили об этом люди. А каково же было нам, на самой польско-румынской границе? Ложишься вечером спать и мечтаешь: а что как проснёшься, а наши братья перешли через узкий Черемош и — прощай вековая беда!

Подпольная «Скынтейя» вот уже с месяц не попадала к нам в руки. Но у Гната, в маленьком хлевце, Гапий установил детекторный приёмник, и каждое утро на церковной ограде появлялись сводки о продвижении Красной Армии.

Возле этих сводок я никогда не видел толпы, но не было ни одного человека в селе, который не знал бы, какой город или местечко уже освобождены и сколько солдат и офицеров панской Польши за вчерашний день сложили оружие и сдались в плен.

Однажды в воскресенье низко над кукурузным полем пролетели самолёты — они удирали от Красной Армии. И сразу же через Черемош из Кут повалили толпы беглецов. Никогда я не видел сразу так много панского транспорта. Забрызганные грязью, покрытые пылью, медленно, как на похоронах, тащились по выжнецкому шляху фаэтоны, кареты, брички, коляски, старинные и новомодные, свежевывкрашенные или облупленные, как изъеденное червями дерево.

— Жаль будет, если им всем посчастливится удрать, — говорил Берник, показывая на беглецов в каретах с гербами, в бричках, заваленных панским барахлом. — Пусть бы их батраки отдали им хоть половину тех палок, которые сами получили от панов.

Слова Берника будто услышали выжиновские хлопцы: ночью они перекопали дорогу возле моста, и началось настоящее столпотворение.

Бросая узлы и чемоданы, беглецы пешком неслись через мост, не желая ждать, пока освободится шлях. Задние наезжали на передних, колёса ломались, рессоры трещали, а паны грызлись между собой, как псы.

Всё чаще стал появляться в селе зять пана Гелки — Драган. Как увидит, что люди в кучку сошлись — он тут как тут. В своё время он, чтобы жениться на дочери богатея-румына, сам на румына переписался, а теперь то и дело напоминал о том, что он «украинец». А как-то даже речь произнёс:

— Нам бы в «сечевое войско» собраться на случай, если Советы Черемош переходить будут. Мы ведь, говорит, на Буковине настоящие украинцы, вроде братья между собой, а на Большой Украине все «москалы», так что не ждите от них добра...

— Ты бы мне, «братец», землицы моргов пять уступил, — ехидно перебил его Терешко Бабюк, — да лошаде́нку бы дал без отработков, а то ведь сам знаешь: сытый голодного не разумеет, а пеший конному — не товарищ...

— Ах ты, жебрак, — заскрипел зубами Драган, забыв про свои медовые речи. — Я из вас, сучьи дети... сделаю... Чтоб вы и втроём козы не купили... Советов им захотелось!

Вскочил на своего чистокровного жеребца — и прочь из села.

— Видели, какой «щирый», — сказал Гапий, — такие, как он, продавали Украину чужеземцам в девятнадцатом году, и сейчас, за тридцать сребреников, как тот Иуда, готовы кому угодно продать.

— Чего не имеешь — того не продашь, — сказал Берник. — Какой из него украинец? Сидит на нашей земле и поганит её...

— А что, как и правда, — волновался старый Крихта, — соберутся вот такие проходимцы в «сечевое войско», да и помогут панам против наших братьев...

— Собирался заяц против медведя итти, да от страху подох, — сказал Берник, — у наших-то братьев войско, знаешь, какое? Там и полтавские, и киевские, и московские, и кавказские люди — все за одно стеной стоят! Там такая народная дружба, что её никакая сила не сломит...

А мой тесть Сорохан соберёт, бывало, вокруг себя детвору и начнёт... Там, смотришь, и парубки с девчатами подошли, и постарше люди оставились, опёрлись на палки и слушают.

— ...Давно это было, — говорил Сорохан, — когда ещё реки были, как моря, а сосны, как горы... Бегут с вершин потоки к речке широкой, а та речка — к морю, а по синему морю высокие буруны на воле гуляют. Бежит маленький поток с горы, щебечет издали: «Добрый день тебе, матенко-речка, принимай мои малые волны в свои широкие воды, холодно мне на вершине, дай мне согреться на твоей груди...» А речка

шумит, выпрямляет тёплую грудь: «Иди, иди, сынку, покатаем волны вместе, погуляем на просторе...» Но разразилась страшная буря, захотало небо громами, треснула надвое большая скала и, упав, загородила путь-дорогу потоку. Завертелся, бедный, разбиваясь о камни, не в силах пробить их. Уже не щебечет, а плачет тихо под голым небом, а над ним сосна склонилась и шумит, шумит, печалится, жалеет сироту, что к матери пробиться не может. Сколько лет минуло — не считано, сколько слёз пролито — не меряно, — окружили тот ручей болота, сосут из него воду ключевую, солнце его палит, пересыхает поток, всё уже становится, — только под тиной, под сыпучим песком, бьётся, словно живое сердце, глубокий родник, чистый, как материнские слёзы. «Ну, что, — квакают жабы из болотища, — нет у тебя родной матери? Не упрямясь, оставайся стоячим болотом». А сосна, что стоит на вершине, склонилась над ним, головой качает, шумит: «Неправда, я всё вижу, всё слышу — жива твоя мать! Шире всех речек стала, со всех концов земли её видно и слышно, потерпи — ещё встретишься с нею». «Дай тебе бог здоровья», — шепчет ручеек сосне и изо всех сил пробивает песок и тину своим чистым родничком...

— Ну и что ж, дед, — спрашивают слушатели Сорохана, — пробился тот ручеек к реке?

— А как же, — отвечает старик. — Прошло много лет и набралась река такой огромной силы, что ни одна скала перед ней устоять не могла, да как ударит в камень, а поток ей навстречу. Зашумели горы, повеселели люди...

— Людей ведь в сказке не было, — удивится кто-нибудь, слушающий впервые.

— А это и не сказка, — спокойно улыбаясь, говорит старик. — Сказка — для смеха, а правда — утеха... На сказки мне бог разума не дал...

О том, что в Кутах, на польском берегу Черемоша, стоит на посту уже не жолнер, а красноармеец, первыми узнали дети. В тот вечер можно было увидеть немалую толпу вокруг какого-нибудь замурзанного паренка, который божился и клялся, что собственными глазами видел красную звёздочку на пилотке солдата. Ему задавали вопросы и переспрашивали, а некоторые ещё и ещё раз требовали, чтобы поклялся, потому что уже стемнело и сами они до утра не могли проверить. Весть была такая, что целую ночь никто на селе уснуть не мог. Ещё бы! Сколько долгих тяжких лет мы, и деды наши, и прадеды ждали братьев с Большой Украины, и вот теперь своими ушами слышим, что они уже на том берегу Черемоша, который из Выжиновки виден так же хорошо, как отсюда, где мы с вами, товарищ, стоим, видно вон то кукурузное поле.

На рассвете другого дня и мы, черногузовцы, и выжиновские, и все люди из окрестных сёл пошли к Черемошу смотреть на советского часового.

Длинной цепочкой, спинами к реке, на нашем берегу стояли пешие жандармы, а конные старались остановить толпу на перекрёстках дорог. Но напрасно: разве можно гнилой колодой перегородить весной горную речку?

Людская толпа, наткнувшись на вооружённых всадников, обходила их полевыми дорожками, растекалась на множество маленьких ручейков и через несколько шагов снова сливалась в широкий мощный поток.

Чем ближе мы подходили к мосту, тем труднее становилось держаться друг друга. Я уже не видел Марию и детей, высокая шляпа Берника зеленела где-то далеко, возле меня шла Винцучиха со своей Доринкой.

Стало так тесно, что я уже не шёл, а только старался держаться на ногах. Меня несло, прибывало к берегу, и я остановился, только наткнувшись на высокий штабель, на котором уже стояло несколько выжиновских ребят.

Один из них подал мне руку и сказал:

— Сюда, вуйко, отсюда хорошо видно. Сейчас часовые сменяются.

Взобравшись на штабель, я увидел на той стороне моста, над караульным домиком, яркокрасный флаг, а на нём серп и молот. Это был флаг Советской страны. Он был близко, я его видел собственными глазами, и оттого, что он был близко и что я его видел, узкий Черемош, который всю жизнь разделял берега, уже перестал быть кордоном: он стал родной рекой, соединявшей и нас, и братьев за Черемошем, и тех братьев, что пришли под этим флагом из великой республики Советов.

— Эх, — вздохнул старый Сорохан, — и чего это польским панам не пришло тогда на ум и нашу Выжиновку себе заграбастать? Сейчас бы они и от нас драпанули и были бы мы вместе с кутскими под советской властью! А теперь гнишь тут, на румынской стороне, кто знает до какой поры.

— Недолго и нам ждать, — тихо сказал Берник, отводя Сорохана и меня в сторону, потому что стояли мы как раз недалеко от Худика. — Видите, наше кулачье тучей нахмурилось, чувствует свою гибель.

На той стороне, на небольшом плацу сменялся караул. Разводящий и сменившийся часовой повернулись налево кругом и чётким шагом пошли к домику. На берегу, лицом к нам, остался стоять молодой парень (совсем похожий на наших черногузских и выжиновских хлопцев!) в пилотке с красной звёздочкой.

Он смотрел на всех нас, а мне казалось, что он смотрит только на меня. Захотелось что-то крикнуть, приветствовать его, рассказать, как мы ждём...

Рука сама потянулась к шапке, и вот я уже подбросил её высоко над толпой, не думая о том, куда она упадёт. Парни, стоявшие рядом со мной, как будто только этого и ждали. Они тоже начали высоко подбрасывать шапки, чтоб всем было видно.

Где-то сзади засвистели жандармы. Прокатился глухой, угрожающий шум, словно вскрывалась река. Я оглянулся: большинство людей стояло с непокрытыми головами, а в воздухе над ними мелькали шапки, фуражки, шляпы.

— Най жие батько Сталин! — услышал я высокий взволнованный голос Берника.

— Ста-а-алин! — откликнулось эхо в предгорьях и прокатилось в Карпаты. Это имя молодым весенним ветром подбросило вверх ещё сотни шапок.

В этом море голов можно было по пальцам пересчитать богатеев, которые стояли в шапках.

Конные жандармы подъехали и попытались оцепить толпу на берегу. Задние ряды нажимали на передние, и жандармам, стоявшим на берегу, пришлось пятиться прямо в воду. Тогда один из них вынул пистолет и выстрелил в воздух.

Часовой на той стороне моста, услышав выстрел, подтянулся. Как бы из уважения к братьям, которые, рискуя жизнью, приветствовали в его лице Советскую страну и которым он в эту минуту не имел права помочь, красноармеец поднял голову и стал по команде «смирно».

Девчата, стайкой рассыпавшиеся на штабелях, сбились друг к другу, обнялись, и над Черемошем зазвучал высокий чистый голос Доринки. Песню подхватили, и она поплыла над водой, над прибрежными куста-

ми... Это была всем известная и не запрещённая румынами песня о любви и покинутых карих очах. Но сейчас её слушал советский часовой, её слушал народ, пришедший приветствовать его страну, сейчас девушки пели с необычной, глубокой страстью — всё это придавало знакомой песне особую силу.

Толпа постепенно затихла, и над нею, подхваченное в разных концах десятками голосов, зазвучало, будоража и волнуя:

Повій, вітре, з України...

Мы уже чувствовали свежее дыхание этого родного ветра, но желанную волю он принёс нам на Буковину только через год.

Воля

Это был июнь тысяча девятьсот сорокового года.

Далеко за нашим селом, под Выжиновкой, встречали мы наших освободителей... Как только добежали наши девчата до советских бойцов, сразу появились на штыхах у них цветы, на пилотках — венки, а в руках целые охапки всяких буковинских трав.

А там уж и молодёжи, и седые деды, и кто только ни был — окружили красноармейцев — и ну их обнимать и целовать.

Старый Хорбут совсем одурел. Только и делал, что перебегал от бойца к бойцу и спрашивал:

— Как тебя звать, пан-товарищ?

Посмеётся боец, что его «паном» называют, и ответит: Иван, или Гурий, или, например, Панько.

— Слышали вы, слышали? — кричит Хорбут, словно все вокруг него оглохли. — Его зовут Панько! И у нас Панько есть! Побей меня пром, если это не с нашей улицы хлопцы!

Ну, а когда детвора пробила, тут уж нам всем отступить пришлось.

И что это за мелюзга, скажите мне, пожалуйста, что своих так сердцем чуёт! Такое малое увидит, бывало, издали незнакомого человека и за плетни прячется, пирогом оттуда не выманишь, а сейчас примостилось себе, чертеня, на шее у какого-нибудь лейтенанта и улыбается.

Так дошли мы до села, смеясь, обнимаясь, плача, и там уже на каждом крыльце и пироги, и молоко, и мёд — у кого что было, всё вынесли, всё для дорогих братьев выставили.

Пулхера ещё вечером к Марии прибежала.

— Одолжи, соседка, хоть немножко муки, если есть. Слышала я от людей, что завтра встречать будем. Как же я без пирога в такой день?

На митинге все ещё больше разволновались. Берник, не закончив речи, обнял и расцеловал молодого капитана, который из рук в руки принял наше знамя и такими тёплыми, родными глазами смотрел на нас, что и слов никаких не надо было...

Правда, произошла на том митинге одна неприятность. Не дал Хорбут Смолюку до конца высказаться. Не успел тот с трибуны начать о том, как его румыны по тюрьмам гноили, дернул его старик за рукав.

— Кого, — говорит, — за правду, а тебя — за чужих жоней. Слезай!

Улеглась, утихла праздничность первых дней, свобода всё прочнее входила в нашу жизнь. Вышитые знамёна, которыми мы встречали советских бойцов, весёлым пламенем полыхали на панском доме, где теперь разместились клуб и сельсовет, и на хате у Косована, где была теперь школа.

Ещё за несколько дней до прихода Красной Армии, ночью, тайком удрали и пан Бильграйф с домочадцами, и Косован со своей Чапейкой, и выжиновские кулаки.

Исчезли куда-то жена и дочь Худика, а сам он остался в селе и даже выходил вместе со всеми на площадь, когда был митинг, и первый снял шапку, когда запели «Интернационал».

Винцучиха бегала по соседям в примелькавшемся всем платье Худиковой дочери и, между прочим, заводила разговор о том, что Худик хоть и был кулаком, всё же большого зла никому не сделал. Сейчас, мол, его, покинутого женой и дочерью, можно только пожалеть.

— А и правда, что это с Худиком произошло? — сказал я Бернику. — Наверное, понял всё-таки нашу бедняцкую долю: из хаты своей выбрался — слова не сказал, взял с собой только мешочек муки и немножко кукурузы, поселился в халупе у Терешка, как квартирант, и молчит...

— А ты уж и рот разинул, — рассердился Берник. — Не смотри, что он тихий: в тихом омуте черти водятся.

— Э, брат, он мне теперь не страшен, — засмеялся я. — Нет ему теперь простора, не на кого опереться. Так и привыкнет, приживётся...

Но Берник только головой покачал:

— Как же, дожидайся... К чему бычок привык, того и волом захочет. Не верю я кулаку, хоть бы он под ноги травой стелился.

Я на своём не настаивал. Что мне в то время было до какого-то Худика!

Выйдем с Марией под вечер в поле, станем на стёжке посреди золотой пшеницы или шелестящей кукурузы: красуется наша нивка под вечерним солнцем.

— Ну, что, — спрашиваю, — будет теперь чем сынов наделять?

А сам гляжу, не нагляжусь...

Окину бывало оком панское поле — казалось бы: что в нём за перемена? Какая была земля, такая и есть. А глаза-то на неё иначе глядят, потому что не панская она теперь, а народная, наша.

У стариков на первых порах никак это в голове не могло уложиться: неужто и в самом деле можно выйти на зорьке да пройтись по панским гектарам с косой в руках, и не батраком, а хозяином?!

Некоторые, прямо вам скажу, сомневались: то ли убирать хлеб на новом наделе, то ли погодить, приглядеться, расспросить, чтобы потом, неровен час, отработать не пришлось.

Старик Матеик, как только землемеры работу закончили, походил-побродил возле новой своей земли, на которой шумело дозревавшее жито, покачал головой да и побежал напрямик в сельсовет к Бернику: давай ему, видите ли, бумагу с круглой печатью, что земля ему дана по закону и что платить за неё не придётся.

— Разве ты не слыхал на собрании, — убеждал его Берник, — что советская власть бесплатно, навсегда народу землю дала?

— Слышать-то слыхал, — соглашался Матеик, — а ты мне на мою фамилию дай документ и чтоб не в сельсовете, а у меня в скрыне хранился, чтоб печать на нём была правильная, с серпом, с молотом... А то разговор, конечно, идёт, что бесплатно, однако небывалое это дело, так что, наверно, не возьму без печати...

Другие быстрее освоились. Ну, а Винцучиха, — та ещё и недовольная осталась: почему ей только на три души нарезали землю.

— Дочку, говорит, скоро замуж выдавать буду, давайте и на зятя, может быть я приймака себе хочу взять.

— Да пойми же ты, дурья твоя голова, что не будет у нас теперь приймаков, — кипятился Филип, который ведал в сельсовете разделом

земли, — какой бы жених у твоей дочери ни был, у него тоже своя земля будет, неужели вам на двоих со стариком этого надела нехватит?

Раньше всех свыклась с новыми порядками молодёжь. Мне даже иногда как-то обидно становилось: почему ни Семенко, ни Олекса не умиляются, как я, глядя на нашу новую нивку.

— Это ведь не чьё-то, а ваше... Ваше! — понимаете, хлопцы? — пробовал я втолковать им, какое великое дело совершилось на нашей земле.

— Знаем, что наше, — отвечал мне Семенко, — это вот такому малышу теперь, батько, известно.

— Так ведь мало того, что известно, — не сдавался я, — надо нутром это, хлопцы, прочувствовать, сердцем... Хозяевами растёте, а ещё вчера лузач-Косован вас в батраки себе прочил...

— Куда ему, куцому, — смеялся Олекса, — ему теперь крышка.

Думаете, только мои вот так рассуждали?

И Софийка, и сын Матеика, и Крихты сын — вся молодёжь, не успели старики ещё к мысли привыкнуть, что долгожданная воля пришла, — окунувшись в новую жизнь, как будто не вчера ещё они батраками росли...

Придут старики, поглядят, как девчата и хлопцы распоряжаются в панском дворце: мебель резную, шёлком-бархатом крытую, с места на место переставляют, картины в золочёных рамках на свой вкус перевешивают — клуб, видите ли, оборудуют, — удивительно на них смотреть, непривычно! Хозяева да и только!

Перешёптываются между собой старые люди, пальцами показывают:

— Доринка-то, Доринка, погляди, как в кресле расселась, будто всю жизнь в нём сидела...

— Запретил бы ты им, председатель, по коврам-то ходить... Что они, обойти сторонкой разве не могут?..

А Берник только смеётся да глазами поблёскивает. Его хлебом не корми, а дай на эту молодёжь вдоволь полюбоваться.

— Кому же, — отвечает, — и ходить по этим коврам, как не им? Хозяева они тут: молодёжи в клубе первое место...

Да разве только молодёжь изменилась? Посмотришь на вчерашнего бедняка — совсем не тот человек: как-то сразу выпрямился, плечи расправил, ходит смело, — одним словом, видно, что уважение к себе чувствует...

Ожили и наши хозяйюшки. Каждый день на столе и голубцы, и лапша в молоке, и кныши, а то и бануш — очень вкусная мамалыга, сваренная в сметане...

Как-то зашёл я к Терешке — на другой край села. Не успел поздороваться со мной, сразу повёл в хлев коня показывать.

Конь, как конь, — ни плохой, ни хороший. Не за что хулить, не за что и хвалить. Но вы учтите, что то был первый конь, которого человек поставил в свой хлев. Может, тому жеребчику, что стоял раньше на панской конюшне, не пришлось столько работы переделать, сколько Терешко на своём горбу перетаскал. Навозом поле удобрять — на себе, кукурузу на мельницу — тоже на себе. Был бы свой плуг, так, думаете, в плуг не впрягся бы? Кто скажет, что труднее: самому вместо коня плуг тащить или суглинок перелопачивать и кукурузу под сапку сажать?..

Косит глазом конёк на нового хозяина, а тот его и меж ушей почешет, и соломки под ноги подкинет, и в глаза ему заглянет, и поговорит с ним нежно, как с братом.

— Ты теперь чей? — спрашивает Терешко. — Говори! Не знаешь, глупыш? Мой, мой, Терешка Бабюка конь, слышишь? — И, обращаясь

ко мне, подмигивает. — Отзывается... До чего толковый! В воскресенье мне его дали, а уже голос узнаёт, откликается...

К сельсовету пойду, посмотрю на табличку: не по-румынски, по-нашему написано: «Председатель сельсовета тов. Берник».

И это хорошо, думаю. Какое слово ни возьми — всё хорошо выходит: и то, что «председатель», и то, что «сельсовета», и то, что не пан, а товарищ, и то, что не кто-нибудь стал нашим первым председателем, а мой лучший друг Берник.

«Ничего мне тот Худик не сделает, нечего о нём и думать», — вспомнил я свой разговор с Берником.

Но прав оказался всё же Берник. Вылезло-таки шило наверх. Перед жнивом Худик поджёг своё хозяйство и удрал. Выбрал же, подлец, время, когда всё сухое, аж скрипит, и ветер прямо на панское имение, где сложили и солому, и зерно прошлогоднего урожая, и лошадей собрали, и скот.

Я прибежал на пожар, когда там уже чуть ли не полсела было. Дом Худика, хлев и гумно почти сгорели, и люди растаскивали тлеющие брёвна, чтоб пламя не перекинулось на второе гумно, стоявшее в стороне. От хлева тянуло палёной шерстью. Спасённый от огня, скот уже не ревел, а стонал, в страхе ступая по горячему пеплу. Старая Докия, вдова Петра Бабюка, плача, обнимала низкорослую рыжую коровёнку, которая тяжело припадала на искалеченную ногу.

— Ой, ты моя красулёчка, — приговаривала Докия, — моя единственная. Это ж он её у меня в прошлом году за долги со двора вытащил... целая, живая...

Как ни боролись люди с огнём, как ни следили за ним, он чуть было не обманул их, по сухой траве незаметно подкравшись к кошице¹ для кукурузы.

— Заходи с той стороны... — крикнул Берник, подбегая к пылающей кошице с железными граблями в руках.

Винцусь и я кинулись помогать Бернику.

— Что это — твоё горит? Зачем в самое пекло лезешь? — крикнула вслед мужу Винцучиха. Но он, пожалуй, впервые за всю свою семейную жизнь не обратил внимания на крик жены. Только когда кошица была повалена, он сказал, ошупывая обожжённые усы:

— Ну и дурная баба... «Не твоё горит»... Оно, считай, теперь всё наше!

И он долго ещё бормотал что-то себе под нос, разгребая вилами тлеющие угли.

Сеяли на чужой земле, а собирать на своей посчастливилось. Разделили панское поле между людьми, дали и нашим черногузовцам, и выжиновцам, которые, живя на суглинке, отродясь не нюхали пахотного поля.

Началось жниво. Ещё солнце не взошло, махнули мы со старшим сыном в две косы. За Семенком Олекса вяжет, за мной — Мария. Иду, не оглядываюсь, только слышу, как коса вызванивает, будто песно поёт: «Коси, Танасий, своё косишь! Коси, коси, — своё косишь!»

Дошли до старого ореха, откуда начиналось новое поле вдовы Пулхеры. Вижу — вяжет старая с дочерьми за каким-то человеком. Изпод широкого брыля не видно лица, но ясно, что не здешний: штаны на нём покупные, и сорочка шёлковая, синенькая, с короткими рукавами.

«Бывалый косарь. Ишь, как ровно идёт и берёт широко, не хуже,

¹ Большая корзина.

чем я!» А я себя, чего греха таить, лучшим косарем на селе считал. Поровнялся с незнакомцем.

— Добрый день, — говорю.

— Здравствуйте, — отвечает.

Головой кивнул, но не остановился. «Горячий в работе», — подумал я и прибавил шаг. Хочу догнать его, чтоб наравне идти. Куда там! Будто и не торопясь идёт, а поравняться с собой не даёт. Был бы он молодым, так ему и сам бог велел старика позади оставить. Но видно ведь — моих лет человек...

Заметил он, что я изо всех сил тянусь, чтоб не оскандалиться, и кричит через плечо:

— Хотите, я вам четверть гона вперёд дам, всё равно сзади останетесь... Вызываю на соревнование. Кто до часовенки первый дойдёт, тот победитель.

Хоть и вспотел я так, что промок до нитки, а дошли мы с ним вместе — плечо к плечу.

— Добрый из вас косарь, — говорит человек, подавая мне руку. — А теперь будем знакомы: Никита Петрович Пономаренко, детей ваших буду учить...

Странно и радостно было мне слышать, как образованный человек, учитель, на нашем родном языке со мной разговаривает.

«Всё у нас теперь есть, — подумал я, пожимая новому учителю руку, — и школа, где на родном языке детей учить будут, и своё поле, и коморы хлеба полны... Свобода на Буковину пришла...»

Учитель

К хорошей кринице стёжка всегда протоптана. Так и к нашему учителю. Привыкли люди с ним советоваться.

Товарищ Пономаренко к людям был приветлив и внимателен. Зимой Софийку сам в Черновцы отвёз, поместил в больницу и проследил, чтоб операцию лучшему профессору поручили.

Так он с нашими людьми сжился, что не раз, бывало, рассказывая о какой-нибудь давней истории, черногузовец обращается к нему:

— Помнишь, мол, как покойник Хома на свадьбах хорошо пел? — и сразу спохватившись, засмеётся: — Вот дурная моя голова! Я и забыл, что ты у нас, Никита Петрович, новый человек.

Что и говорить, умница, образованный, и к любой работе приучен: косу ли в руки возьмёт, столярам ли, плотникам показывает, как сцену в клубе делать, — сразу видно, что практика у человека есть, трудовых родителей сын.

Роста он был высокого — не наклонившись, в дверь пройти не мог; характера весёлого — когда смеялся, слёзы у него на глаза выступали, а слышен его смех был на третьем дворе. Да он, пожалуй, тихо и говорить не умел. Жена его, Глафира Семёновна, всё, бывало, дёргала мужа за рукав, чтоб не грохотал на всю хату: не на собрании, мол...

А главное — многое он видел и знал: в колхозе на Харьковщине председателем был, потом институт окончил, школой заведывал, на финском фронте взводом командовал.

На что уж Берник образованный, обучённый, а и он многое перенимал у Никиты Петровича, к каждому его слову прислушивался.

Очень мне это нравилось. Другой бы на месте Ивана не раз уже своё «я» вперёд выставил: я, мол, и то, и сё, и по тюрьмам сидел, и подпольщиком был... А Иван Берник, тот — нет. Ещё внимательней к народу стал, ещё дольше по ночам над книжками сидеть начал, когда его председателем сельсовета избрали.

За одну зиму столько перечитал, что мне — куда там! Будто во всём такой же, каким был раньше, а разговор между нами уже не тот. Пока молодость вспоминаем или о семейных делах говорим — про детей, про Марию, про Теклю — полный контакт чувствую, а как только на широкий масштаб перейдём — вижу, что далеко отстал я, нагонять надо.

К газетам и книжкам, правду сказать, я не сразу привык. А что быстро освоил, — так это речи. Только взойду на трибуну — откуда и слова берутся! Говорю, говорю, сам себе удивляюсь: с каких это пор я такой красноречивый стал? Так и тешился я своими речами до Первого мая сорок первого года, когда Берник меня по-товарищески с высот на землю спустил.

А случилось это так: на торжественном собрании после докладчика взял я слово (докладчик из самой области был) и разошёлся минут на пятнадцать. Уж и хлопали мне слушатели!

— Ну как? — спрашиваю у Берника после собрания. — Всё в порядке? Не сбился?

— Да нет, — говорит, — всё правильно. Только знаешь, Танасий, о чём мы с Никитой Петровичем в президиуме говорили, когда ты выступал?

— Скажи — буду знать, — отвечаю.

— А говорили мы о том, — продолжал Иван, — что вот уже скоро год, как мы с трибуны нашей на каждом собрании только и делаем, что благодарим советскую власть за то, что она нам, буковинцам, и землю дала, и школы, и клубы, и больницы, и все вольные права, что в единую семью со всем советским народом нас воссоединила... А пора бы нам уже и о том с этой трибуны сказать, что мы на своём свободном поле сделаем, чтобы и нам советская власть, весь советский народ за работу спасибо сказал...

— Об этом я не думал, — говорю.

— А ты подумай, — говорит Берник. — Подумай, Танасий: двадцать два года в Советском Союзе братья наши новую жизнь создают. Сколько прекрасных людей в боях с врагами народа погибло, сколько крови и пота пролито за то, чтобы всему трудящемуся миру вольно вздохнулось... А сколько ещё перед нами работы! У нас в Черногусах, вижу я, кое-кто думает, что дала ему советская власть поле и коня, поблагодарил он её за это на собрании — вот и вся его линия в новой жизни...

Задумался я после тех его слов. Не обо мне ли эти слова? И запала мне его мысль в сердце не на день, не на год, а на всю жизнь...

Всё по-другому, всё по-новому стало в нашем селе. Изменилась к лучшему и моя семейная жизнь. Мария всё чаще вспоминала про Семенку, который весной сорок первого года уехал в Черновцы на тракторные курсы.

— Надо ещё солонинку хлопцу передать, — говорила она, хотя знала, что курсантов кормят хорошо, и Семенко в письме просил больше не посылать ему посылки.

Как-то в воскресенье, вскоре после того, как Семенко уехал на курсы, Никита Петрович пригласил меня и Марию на семейный праздник: исполнялось по одиннадцати лет его дочерям — Лиде и Лоре. Лида была его родной дочерью, а Лору, или Долорес, он взял в детдоме. Она была сирота, из Испании, где её отец и мать погибли в Барселоне на баррикадах.

С того дня, как Мария узнала, что Лора не родная дочь Пономаренко, она как замороженная смотрела то на девочку, то на Глафиру Семёновну, то на её мужа, словно любовалась ими и в то же время думала о чём-то своём, невесёлом...

Всего у нашего учителя было пятеро детей: кроме девочек, ещё три парня — Гриць, Мишко и старший Саня, ровесник моему Олексе. Шутя,

Никита Петрович называл свою весёлую и дружную семью колхозом имени товарища Пономаренко.

...Стол был уже накрыт, и гостям оставалось лишь поближе придвинуться, чтоб выпить чарку за именинниц, а хозяева всё ещё развлекали нас разговорами, всё прислушивались и выглядывали в окна. Очевидно, кого-то ждали.

Затарактели колёса, и разговор оборвался. Никита Петрович и Глафира Семёновна выбежали на крыльцо, за ними вышли и гости.

Пара лучших панских гнедых с грохотом подкатила к крыльцу лёгкий рессорный возок, в котором разместилась вся семья Гната Крикливца.

— Видишь, Никита Петрович, — сказал Гнат, привязывая коня, — как обещал, так и сделал: прямо с вокзала — к тебе на праздник. Даже домой не завернул.

— Спасибо, Гнат, — пожал ему руку учитель и бросился к возку, помогая сойти Мотре и Софийке.

— Ну, покажись, покажись, — говорил он, целуя девушку в обе щеки. — Немножко побледнея, зато глаза какие... Красавица!

Все столпились около Софийки. Она впервые после операции появилась на селе, и сейчас на нас смотрели её чистые и синие, как небо, глаза.

Мне показалось, что я никогда ещё не видел такой красавицы. За столом Мотря не хотела сесть рядом с дочерью, а нашла местечко напротив.

— Ещё ж не нагляделась я, — говорила она, всхлипывая от волнения. — Боже мой, боже, какое же счастье!

Последними появились на празднике Саня и мой Олекса. Саня подарил девочкам только что пойманного зайчонка, а Олекса — две резные шкатулочки для иголок и ниток: на одной было вырезано «Лоре», на другой — «Лиде».

— Смотри, какой ловкий, вспомнил о подарке, — улыбнулся Гнат, разглядывая работу своего ученика, — а я и не догадался...

— Ничего, — сказал учитель. — Вы, Гнат Васильевич, нам пионерскую комнату оборудуете: всем детям подарок будет.

Винцучиха, пробравшаяся-таки к именинному столу, перебивая всех, ежeminутно обращалась к Софийке, называла её «ясочкой» и «голубонькой», а когда у Мотри на глаза навёргывались слёзы, Винцучиха тоже всхлипывала, вытирая нос краем нового платка.

Мария наклонилась ко мне и, кивнув на Софийку, сказала:

— Жаль, что Семенка нет. Вот бы обрадовался... Теперь и в самом деле она, как цветочек.

Я ничего ей не ответил, но от того, что в её словах почувствовал настоящую доброту, сразу повеселел.

Смерть Сорохана

Умирал мой тесть, старик Сорохан. Умирал он в новой хате, которую дал ему сельский совет вместо старой халупы, где он прожил всю свою долгую и невесёлую жизнь.

За его плечами было семьдесят лет тяжёлой работы на чужих недобрых людей, и поэтому его скрещённые на груди руки были сухие, жилистые и даже перед смертью напряжённые, будто готовился он к новой работе.

По временам, открыв глаза, он молча останавливал взгляд на чистых стенах — без тех чёрных закопчённых щелей, какие были в его старой хате, на резных балках или на широких светлых окнах...

Бережан удрал вместе с Бильграфом и Косованом, и советская власть отдала эту хату Сорохану. Разве ж не он её настоящий хозяин? Разве ж не его измученная жена, мать голых и босых девчат, долгие годы работала на того Бережана за десятый сноп, увеличивая его богатство?

Тихо в хате, спокойно старику. Он знал, что умирает. Сказал, чтобы позвали священника. Всю жизнь слышал от него одно и то же: на том свете отплатится за всё, что терпел на земле. Верил или не верил? Трудно сказать. Не было времени подумать. Люди слушали, и он слушал. Пусть сейчас пан-отец посмотрит, как спокойно, счастливо, будто в раю, доживает свои дни на земле старый Сорохан.

Две комнаты в хате. В одной — Сороханиха, Мария с сёстрами и я. Молчим, а если разговариваем, то шёпотом: такая минута. Был врач из района, сказал: «Старенький он у вас, надо ко всему быть готовыми». В другой комнате, у постели умирающего, пан-отец. Грехи отпускает. А какие у Сорохана грехи? Может, чужое когда-нибудь взял? Нет, у него всю жизнь всё забирали — и труд, и силы, и последнюю мерку зерна за долги. Может, слово своё нарушил? Прелюбодействовал? Нет, это панов от безделья на грех тянет. А Сорохан недоедал, недосыпал, чтоб дочерей на ноги поставить. Может, церкви чурался, бога хулил? Нет, ни одной службы не пропустил, слушая о том, что перед богом все равны.

Вышел поп, головой качает:

— Нехорошо. Пусть ему бог простит. Совсем уже без памяти: говорит — нет у меня грехов...

Подошли и мы к старику.

Повернул к нам голову, зашевелил губами. Сороханина наклонилась к нему:

— Чего тебе? Может, напиться хочешь?

— Поднимите... Голову поднимите... — прошептал старик.

Подняли, прислушались.

— Хату... корову... коня... всё, что есть, сами делите... Теперь не поссоритесь... знаю...

И умолк.

— Какая там хата! — всхлинула Сороханиха.

— Внуков позовите, — громко сказал старик, — внуков!

Олекса опустился перед ним на колени, и старик положил левую руку ему на голову, а правой хотел перекрестить. Но рука бессильно упала на кровать. Тогда Ульянка, закусив губу, чтоб не заплакать, подвела к нему своего маленького сына. Старик посмотрел на внука, и его выцветшие, затуманенные глаза на мгновение посветлели и ожили. Он резко поднялся на локтях и поцеловал мальчика в лоб:

— Расти... расти... — хрипло проговорил старик. — Внучек... не байстрюк... слышите?!

Это были его последние слова. Будто звали они не оглядываться на старое, гнилое, что так долго стояло поперёк дороги людям.

Через час он умер. Похоронили его на большом панском кладбище и поставили высокий белый каменный крест, такой, какой хотела вдова.

Письмо Семенка

Перед уборкой получил я от Семенка письмо. Он писал, что кончает курсы и в скором времени приедет домой, но жить будет уже не дома, а в общежитии МТС. Хату, мол, — «или Олексе отписывайте, или делайте с нею что хотите, на здоровье, потому что мне она не нужна».

Я долго смотрел на подпись: «ваш сын Карпюк Семен», и не мог понять, обрадовался или загрустил я, прочитав эти четыре строки? «Хата ему не нужна», — повторял я, словно хотел сам себе объяснить, что это означает. Хата не нужна... отцовская хата не нужна...

А сколько перемучился я, переболел за ту хату! Из-за неё Мария мачехой стала. А теперь просто хата: фундамент, козлы, четыре стены, застрехи, дымарь, невысокое крылечко. Моя хата! По Черемошу её сплавляли, голову за неё чуть не сложили... А ему не нужна. Как же это так, что вдруг — не нужна?

Письмо мне почтальон отдал на улице, когда я возвращался с поля, и жена ещё не знала о нём.

«Что Мария скажет? — думал я. — Обрадует или огорчит её это письмо? Наверное, обрадует. Теперь у неё не будет причины жаловаться на пасынка: сам отказывается от того, из-за чего столько лет у меня в семье покоя не было».

Иду домой и думаю: «А что, если написать ему письмо, да не только от меня, а и от Марии, написать всё, о чём я передумал, и чтоб она от себя написала... Она ведь добрая женщина, моя Мария, хотя и виновата перед Семенком, ой как виновата»...

Входя в хату, я у самого порога наткнулся на скамью и чуть не разбил себе лоб. Мария стояла на столе и белила потолок.

— Что за причина? — удивился я, осторожно пробираясь между лавкой и скрыней. — Дня тебе мало?

— То-то и оно, — ответила Мария, вытирая вспотевшее лицо. — Лучше б стол пододвинул поближе к печке. А то вон Олекса взялся помогать, а сам запропастился.

— Нет, ты скажи мне, — настаивал я, пододвигая стол, — с чего бы это я белил, на ночь глядя?

— Значит, нужно, если делаю. Подай воду, — беззлобно буркнула она и тут же объяснила: — В сельсовет с курсов телеграмма пришла... Послезавтра сына жди.

— Ишь какой Семенко, — сказал я. — Неделю назад писал письмо, а о приезде ни слова.

— Может, он и не знал, — впервые за столько лет, как бы немного стыдясь этого, заступилась Мария за пасынка. — Может, их быстрее отпустили, чем он думал.

— Где у тебя другая щётка? Давай помогу.

— Куда уж тебе с твоим ревматизмом! Лучше воду смени. — И она, ту же стянув на голове косынку, быстро и весело замахала щёткой.

— Почему ты не ужинаешь? Бери кныши, сметана в жбанике! — крикнула она, когда я принёс воду и уселся у двери на лавке, забрызганной глиной.

Щётка мягко шелестела по потолку. Сотни раз слышал я и раньше этот звук, но сейчас с каждым движением уверенной руки Марийки в моей хате и на душе у меня становилось светлее.

«Сына ждём, сына ждём»... — слышалось мне в шелесте щётки. «Может, и без общежития обойдёмся? — мелькнула мысль. — Зачем ему где-то на стороне жить, если в отцовской хате его ждут?»

Но мы его в том году так и не дождались. Началась война, и Семенко прямо с курсов ушёл добровольцем в Красную Армию.

III

*І буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.*

Т. Шевченко.

Дорога к счастью

Сейчас пошла у нас мода колхозные музеи организовывать. Это после Вытилевки, у нас же на Буковине. Там первыми додумались. Прочёл я об этом в газете и говорю:

— Давайте и у нас организуем.

Так нет, экспонатов, видите ли, мало, академия, дескать, не разрешит. Там в Вытилевке, оказывается, не только современные вещи, а ещё какие-то стародавние черепки, доисторические копыя, ну, словом, чуть ли не кости мамонта... А я не согласен. И думаю, это неправда, будто академия не пойдёт навстречу. Как это так? Значит, если не откопали у нас, в Черногузах, мамонтовых костей, так и музей ни к чему? Нет, совсем наоборот! Есть и у нас, что показать нашим потомкам.

Вот, например, знамя, с которым мы встречали Красную Армию в 1940 году. Вс время оккупации Мария его в сене прятала, попортилось оно немного, полиняло, но слова, вышитые нашими девушками, — «Слава братьям-вызволителям!» — хоть и поблёкла позолота на них — видны очень ясно. Хотел я было вернуть его сельсовету, а сейчас говорю: нет! Будет музей — отдам туда. Чтoб на виду стояло, с соответствующей надписью, чтоб в души молодёжи запали эти слова! Или вот прокламация, которую писали в горах наши партизаны, а мы, те, кто остался работать в подполье, расклеили по Черногузам. Как пришли оккупанты, они на другой же день увидели, что народ наш им не поставит на колени!

А во дворе сельсовета под брезентом, знаете, какой экспонат лежит? Его не то что под брезент, а под стекло в музей поставить следует... Вот только где стекло такое достать, чтоб хватило прикрыть эти сбитые накрест две сосны?

Было это весной 1942 года. Берник, Гнат, внук Хорбута и ещё несколько наших активистов пошли в горы, в партизаны. Учитель наш в первый же день войны ушёл в армию, а меня Берник оставил в селе, явочная квартира у меня была.

Горько мне было, товарищ, ходить на работу к тому самому Гелке, который всю жизнь издевался над нашими людьми, но ничего не поделаешь: такое задание имел я от нашей партизанской группы...

Зима была лютая, а весна пришла поздняя. Только в мае зашумели горные потоки, защебетало птичье царство, зачернели поля. Много леса лежало в штабелях, не успевали вывозить по железной дороге, а Гелка получил строгий приказ — доставить с верховины ещё больше леса, весь он должен был пойти в Германию.

Оккупанты зашли далеко в глубь страны и, хотя считали, что их победа дело решённое, всё же торопились вывезти всё наиболее ценное к себе в Германию. А лес для них был большой ценностью. Наши люди, побывавшие в Германии, рассказывали мне, что там каждое дерево на учёте, чуть ли не под номером, а здесь такой лес — грабовый, букoвый — где ещё его возьмёшь? Да и даровая рабочая сила была. Чего же ещё нужно?

Как только начало таять, Гелка послал доверенных людей в Яльвочору, чтоб договориться с гуцулами о плотях. Десятники вернулись и передали, что всё будет хорошо. Оставаться там они не хотели, так

как в горах было беспокойно. Гелка презрительно ухмыльнулся, но не послал десятников обратно — в Яльвочоре были гуцулы, хорошо знавшие своё дело, и на них можно было положиться.

Первые плоты должны были прийти в понедельник утром. Выдался ясный, погожий день, и мы, отогреваясь под тёплым солнышком, дежурили на берегу. Несколько наших рабочих находились выше по течению, возле опасного места, где плоты могли сбиться и запрудить реку. Мы же должны были подтягивать их крючьями к берегу и складывать в штабеля.

Солнце поднялось уже высоко. Черемош в его лучах играл и шумел, вращая камни, а плотов всё не было. Гелка дважды выходил из конторы и, щурясь от солнца, приглядывался: на шумящих волнах не видно было ни щепки.

— Может, гуцулы сказали, во вторник? — спросил он у десятника.

Тот только пожал плечами: ведь не пьяный он был, когда уславливался.

Оккупантский инспектор, прибывший на место принимать лес, спрятал в футляр аппарат, который довольно долго держал наготове. Немец хотел иметь на память фотографию сплава карпатского леса.

Так мы прождали до вечера. Я слышал, как инспектор орал на Гелку, причём так часто вспоминал концлагерь Садегуру, что тот дрожал, заикался от страха и уверял, что всё будет «рихтиг».

Мы ждали три дня, но Черемош ничего не принёс с верховья. На четвёртый день в горы вызвался пойти зять Гелки — Драган.

— Я гуцулов не боюсь, — презрительно сказал он десятнику, пряча в карман маленький револьвер, — я сам по крови гуцул.

На пятый день Гелка первый заметил что-то в пенных водах реки.

— Плывёт! Плывёт, зыч! — поклялся он по-румынски, сам не веря своему счастью. — Гей, крючья готовы.

Мне стало не по себе. «Если с нашими всё благополучно, ни один плот не должен появиться! Всё ведь было подготовлено», — думал я. Но чем больше я вглядывался в то, что плыло по реке, тем легче становилось у меня на душе. На волнах вертелось и подпрыгивало что-то, не похожее на плот.

Все подошли к берегу и, задирая головы, смотрели вверх, на бежавший с гор бурный Черемош. Плывущий предмет нырнул под воду, вынырнул ближе, опять нырнул и опять вынырнул, и мы, наконец, увидели, что это всего только бревно.

— Заснули они там, что ли? — всердцах крикнул Гелка и погрозил кулаком в сторону Карпат. — Наверное, запрудило и рвёт плоты, а они почёсываются.

Бревно было уже близко, и я нацелился на него крюком. Но инспектор показал мне рукой, чтобы я отдал крюк ему. До того, как пойдут настоящие плоты, он хотел на лёгком показать свою ловкость. Течение было очень быстрое, намокшее дерево тяжело, и немца чуть было не затянуло в воду. Всё же он удержался и, ловко зацепив сосну крюком, стал тащить её на берег. Однако как он ни тужился, ствол не поддавался, глубоко погрузившись в гальку.

Гелка кинулся помогать немцу. Намучившись и вспотев, они, наконец, справились с этим делом, и немец испуганно уставился на то, что вытянул на берег. Это был огромный сосновый крест.

— Что здесь написано? — спросил немец у Гелки, тыча ногой в середину креста.

Гелка молчал, не решаясь перевести. На коре было вырезано чётко и ясно: «Гитлеру от гуцулов».

Драган не вернулся с верховины.

... Не так уж много было в наших местах партизан, но всё же частенько жгли они деревянные мосты через горные перевалы или устраивали налёты на полицейские постерунки. И ещё были у них в горах хорошие уши, и поэтому многое они знали. Сотни людей из уст в уста передавали радостные сообщения. Не знаю, как бы мы пережили то страшное время, если б не весточки с гор о том, что в Москву немцев не пустили, что народной мстью запылали белорусские леса, что «катиуши» беспощадным огнём бьют по фашистам, что обломали захватчики зубы о Сталинград.

— Откуда ты узнал об этом, вуйко? — бывало, спросит кто-нибудь, радуясь счастливой весточке.

— Москва передавала, — ответит рассказчик, и одно это слово поднимает, бодрит людей, потому что Москва — значит Сталин, а Сталин — значит победа...

Первую весточку о ковпаковцах принёс к нам в село румынский солдат, дезертир, хотевший сделать крюк и пройти по долине, где спокойнее. Он показал нам ковпаковское воззвание, в котором говорилось, что Красная Армия перешла в наступление и скоро освободит от оккупантов нашу родную землю. Это подтверждалось и письмами наших людей, которых загнали в Черновцы на работы. В этих письмах они писали одно и то же: «Не горюйте, что нет дождика. Гром уже слышен. Передавали мне верные люди, что мой вуйко скоро придет домой». Мы хорошо понимали, что такое «гром» и кто такой «вуйко» — это была наша Красная Армия. Румынский солдат, которого ковпаковцы взяли в плен и отпустили, рассказывал, что у Ковпака неисчислимая сила бойцов, снаряжения, артиллерии, что он освобождает от оккупантов и сёла и города, берёт в плен офицеров и генералов, а простых солдат отпускает домой, чтоб рассказывали людям правду.

Чем дальше углублялся Ковпак в Карпаты, тем больше ширилась его слава. А с нею рождались и легенды. В долине появился слепец-гуцул, он ходил, опираясь на плечо подростка, обутого в солдатские кирзовые сапоги, и пел высоким старческим тенором:

Ой ріжуть сірі воли,
Жовніри ся ділють,
А ті пани Джурджовани
Із того радіють...

То была старинная песня о тех временах, когда немецкие бароны заливали кровью наши земли, а Лукьян Кобылица поднимал народ на восстание... Когда же вокруг гуцула собиралось побольше людей, он обрывал эту песню и, легонько подтолкнув поводыря, чтобы тот подпел, начинал коломийки:¹

Гой, румун мене жахає,
А я ся не бою,
Бо наш Ковпак свое військо
Веде за собою.
Гой, жахає мене німець,
Я з того ся смію,
Бо сей рік на своїм пою
Для себе пою.

Гуцула охотно слушали, кормили, предлагали ночевать, но он никогда не оставался, а шёл всё дальше и дальше и пел свои песни.

¹ Карпатские частушки.

... Может, хотите посмотреть памятник на могиле Гната Крикливца? Мой Олекса вырезал его в марте 1944 года, как только Красная Армия выгнала оккупантов из Буковины. Стоит старый партизан со знаменем в руке, лицом на восток, и по утрам смотрит прямо на восходящее солнце, словно встречает новый, счастливый день...

Да, замечательный человек был Крикливец. И жил хорошо и умер со славой: в бою под Делятином он погиб, когда наши партизаны с ковпаковцами соединились и помогли им в тяжёлом бою...

... В первый же день, как только наши пришли, Мотря, Софийка, Лора, Текля, вместе с Глафирой Семёновной и Марией засадили цветами тот холмик, где Гнат похоронен, и с того времени ежегодно, не успеет ещё солнышко по весне как следует согреть землю, он уже всеми цветами цветёт, перешёптывается живыми лепестками.

А немного выше, на пригорке, два больших бука растут, шумят вершинами.

Вчера как раз было возложение венков на могилу. За линию железной дороги ходили, украсили цветами безымянную могилку бойца, погибшего ещё в сорок первом году, а могила Гната — та совсем скрылась под цветами и венками.

Одни только ребяташки из детского сада не меньше чем полсотни венков и букетов принесли.

И мои внуки тоже веночки принесли, хотя они ещё и не ходят в детский сад...

Хорошие у меня внуки. Старшенький Гнат, тот на Софийку похож, а Марийка, как из глаза у Семенка выпала, — вся в отца.

Вот как посмотрю на них, когда они спят: Марийка сжалась, как котёнок, а Гнат Семенович на всю кровать разлёгся, как богатырь, — сразу видно, что парень, — и думаю: дитя спит, а доля его растёт. Всюду ему дорога. Может, из Гната какой-нибудь агроном учёный выйдет или художник... А из Марийки, возможно, Героиня труда, а может, и певица знаменитая будет? Вот был у нас вчера праздник песни... Гостей много было, из районного партийного комитета приехали, из Дома народного творчества... Даже композитор один из Киева был, новые песни на ноты записывал. Одна ему особенно понравилась. И слова и музыку — всё здесь на месте наши девчата сложили:

Шумлять буки, шумлять рідні
На всю Україну.
Та й про нашу, про єдину
Щасливу рідину.
Шумлять буки зелененькі
Над розмай-водою.
Гей про нашу молодую,
Щасливую долю...

... Не те Черногузы теперь, и Черемош не тот... И люди не такие, как были. И доля их другая, счастливая.

Конечно, не будь у нас советской власти, разве подняли бы мы наш край за два года из развалин после такой войны? Разве не скопил бы людей голод в то засушливое лето сорок шестого года? Трудный был год!.. Об этом тоже стоит рассказать...

Дождь над Карпатами

Так вот, была весна 1946 года.

Май только начался, но и днём и ночью стояла такая духота, как перед жнивом.

Дверь нашей халупы, которую мы временно поставили вместо сожжённой оккупантами хаты, была открыта, и в неё виден был краешек неба без единого облачка и ствол ореха, казавшийся при свете луны белым, будто вымазанным известью.

Я вышел во двор и присел на сосновом кругляке у двери. Приближалась ночь. Не было ни ветерка, дым из люльки столбом стоял передо мной.

«Чтоб до сих пор капли не упало — такого испокон веков в наших краях не видели, — подумал я, выбивая люльку о сухой, будто каменный комок земли, — чего-чего, а дождей у нас всегда много было, иной год даже слишком много»...

Невесёлые мысли роились в голове. Только начали становиться на ноги после войны — так вот тебе, пожалуйста. Откуда он взялся, этот суховец? Налетел, разогнал тучи. Всю влагу, какая осталась от снега, высосал так, что и посеянное придётся пересеивать.

Ранней весной у нас в Черногузах создали колхоз. Председателем Филипа избрали, а Берника, Митрю Крикливца, Смолюка и меня — в члены правления.

Одно только огорчало меня: не думал я, что так мало людей из нашего села запишется в колхоз. Когда на общем собрании мы прослушали Устав сельскохозяйственной артели, а уполномоченный райкома товарищ Мирошниченко рассказал о жизни колхозников в восточных областях, я после Берника первый подал заявление и был уверен, что большинство односельчан сразу сделает то же самое. Но Иван Матеик, Денис Платыка, Яков Чертковский — все бедняки недавние — почему-то молчали. Сергей Лукавица, работающий, смыслённый человек, честный труженик, три часа мял в кулаке заявление, и всё же спрятал его в карман. Кишкан, Даниляк, Ефтемий Дикун слушали-слушали и разошлись по хатам, не сказав ни слова. «Ой, — думалось мне, — немало ещё придётся переделать, чтоб и капли от старых предрассудков не осталось!»

Посмотрю, бывало, на Терешка Бабюка или на Винцуся Зборовского, которые хоть и вступили в колхоз, всё же оглядывались: нет ли стёжки назад на всякий случай? — кажется, душу из себя вынул бы и вложил в них, чтоб прояснилось у них в глазах; так и крикнул бы всем: «Люди добрые! Разве не видите вы, что после долгой ночи день наступает? Так почему ж вы, как тот черногуз, голову под крыло прячете, чего боитесь?...»

Из этих размышлений меня вывел голос учителя.

Он подошёл, постукивая по твёрдой земле буковой палкой, и устроился возле меня на кругляке. Закурил цыгарку и, глядя на столбик неподвижного дыма, покачал головой:

— Такая тишь, дождём и не пахнет..

— Вот бы осенью, — сказал я, — такой урожай собрать, чтоб не меньше, чем по четыре килограмма на трудовень... Чтоб каждый увидел, какая сила — колхоз... Да где ж его возьмёшь, урожай, если не то что в поле — на прибрежных лугах сухо, как на току.

— То, что сухо, — это, конечно, беда, — согласился Никита Петрович, — но и при такой погоде колхоз непременно покажет свои преимущества. Не зря же мы и землю лучше унавозили, чем единоличники, и вспахали глубже, и посеяли раньше. Помяни моё слово, Танасий, осенью у нас ещё не меньше как тридцать-сорок хозяйств прибавится... — и вдруг показал рукой в сторону Карпат. — Смотри-ка!

Я посмотрел на горы: над ними вспыхнуло небо, а через несколько мгновений до нас докатился далёкий глухой гром.

Небо над Карпатами озарялось всё чаще, гром подкатывался всё ближе; воздух всколыхнулся, дунул ветерок, зазвенели цепи над криницей, зашуршала солома на застрехах.

— Олекса! — весело крикнула Мария, выходя на порог. — Иди в хату, не то промокнешь.

Из-под рядна на погребѣ высунулась взлохмаченная голова младшего сына. Парень посмотрел на небо и, увидев чёрную тучу, двигавшуюся на нас от Карпат, быстро соскочил на землю:

— А я уже выпался. Думал, что батько на работу зовут!

Олекса вместе со мной работал на конюшне, а по вечерам готовился в художественную школу, куда собирался поступить осенью. С ним готовилась и Лида Пономаренко. Теперь и я увидел, что из неё вышла искусная вышивальщица. Но тогда, сказать правду, нам с Никитой Петровичем думалось, что ей эта художественная школа по вкусу только из-за моего младшего сына. Ну, да мы как будто и не очень ошибались.

Загрохотало совсем близко, трахнуло так, будто дуплистый дуб раскололся надвое; заскрипели двери в хатах, показались люди. Протирая глаза, каждый смотрел на Карпаты, на тучу, и сразу становился веселее, надеясь на грозу. Из соседней хаты вышла Текля и подставила под водосточную трубу ведёрко. Следом за ней показался Иван.

— С дождиком вас, товарищи!

Большая туча остановилась над селом, будто раздумывая: тут ей пролиться дождём или проплыть немного дальше?

Люди улыбались туче, грому, свежему ветерку, кое-кто набожно крестился.

— Слава тебе, господи, — вздыхала соседка Пулхера, — смилостивился-таки над нами!

— А разве я вам, вуйна¹, не говорила? — дёргала её за рукав Винцуха. — Разве я не знала, что будет дождь? Если у меня закрутило в левой ноге, то так и считайте, что перемена погоды.

— Не говори гоп, пока не перескочишь, — проворчал старый Хорбут, и все прислушались, потому что в селе никто так, как он, не умел угадывать погоду. — Ветер слабоват! Не может этот ветер из ущелья тучи вытянуть. Разве вы не видите, что все они там вон, над Яльвочорой. Там и дождю быть, а к нам не дойдёт.

— Ну, если Хорбут говорит, что не будет дождя, значит и ждать нечего, — не то всерьёз, не то шутя сказал Берник и, взяв за локоть учителя, ушёл с ним, о чём-то беседуя.

«Как хорошо начиналась в этом году весна», — думал я.

Не успел ещё снег в поле растаять, как отмерили землю для молодого колхоза. Середина бывшего панского поля вся отошла к колхозу.

Накануне выхода в поле никто из колхозников долго не мог заснуть. Сходились группами, начинали беседу и всё об одном: как по-новому пахать и сеять будем?

Рано-рано, только небо краснеть на востоке начало, — всё село было на ногах. Колхозники пахать идут, а остальные смотрят, потому что у нас ещё никто не видел, как это гуртом за землёй ухаживать, да ещё так рано пахать. Каждому интересно, что из этого выйдет.

Впереди на двуколке ехали председатель колхоза Пилип и наш партгруппорг Иван Берник.

Возле переезда, там, где с дороги надо в поле сворачивать, поставили высокую арку с лозунгами, флажками, с портретом товарища Сталина. Под эту арку прошли два трактора с прицепными плугами, а за ними

¹ Тётушка.

волы и лошади, тоже в новенькие плуги запряжённые. Все сняли шапки, когда Берник, поднявшись на бочку с бензином, крикнул:

— Счастливой пахоты, товарищи, первые черногузовские колхозники! На будущий год нас ещё больше будет! Да здравствует наша родная советская власть и большевистская партия! Пусть родит буковинская земля, как никогда ещё не родила!

От столба к столбу арка была перетянута красной ленточкой. Выжиновский парень, тракторист из МТС, ехавший во главе колонны, открыл путь, разорвав ленточку трактором.

— Был бы дома Семенко, он бы впереди поехал, — тихо сказала мне Мария, — очень его хвалили, когда он на курсах учился...

— Глубоко берут! — закричал старый Хорбут и напрямик заспешил к борозде, воткнул в землю палку и поднёс ее к подслеповатым глазам: — Эй, подождите! Слишком глубоко!

— Так и надо, — сказал Пилип, — агроном объяснял...

Но Хорбут не слушал его и бежал за трактором, размахивая своим посохом. Первый трактор отъехал уже далеко, но второму, который вёл внук Хорбута Петрик, старик перегородил дорогу.

— Не позволю землю портить! Из колхоза выпишусь и внука заберу! У нас грунт неглубокий, нельзя так лемех запускать — кого хотите спросите...

Его с трудом оттащили от трактора, но старик ещё долго размахивал посохом и кричал: «Не позволю!». А тракторы шли и шли...

Когда в сороковом нарезали людям землю, панское поле покрылось свежими межами: кто палочек понатыкал, кто проволоку от кола к колу протянул, а кто и канавку успел прокопать.

За время войны сгнили и повалились палки, поржавела проволока, позарастали бурьяном канавки — половина земли стояла необработанная. Сейчас, как остатки снега под первым дыханием весеннего ветра, исчезали межи на бывшем панском поле.

— Смотри, смотри, нашу межу перепахивают, — толкала Терешка его жена, — теперь к Хорбутовой подходят.

Единоличники молча смотрели на соседнее широкое поле, где одна за другой исчезали межи, а лемеха входили в грунт так глубоко, как никогда ещё не было на нашей памяти.

«Ох, и хорошо начиналась весна! Откуда он взялся, этот суховей?» — в который раз повторял я про себя и прислушивался к грому, который сейчас уже удалялся.

При частых вспышках молнии видно было, как в горах, между чёрными вершинами, громоздились тучи; они металась под ветром, будто вырывались из западни на волю, но, обессилев, там же проливались дождём.

— Взяла бы, кажется, и на верёвке их сюда притащила, — чуть не плача, сказала Мария, отворачиваясь от Карпат.

— А что, разве я не говорил! — закричал Хорбут, презрительно посмотрев на Винцучиху, — левую ногу у неё крутит! Чихал я на это! Не будет дождя — и точка! Слишком слабый ветер, говорю вам! — Он ткнул посохом в сторону гор, над которыми без пользы проливался такой дорогой, такой долгожданный майский дождь. Далёкая гроза стихала, но народ не расходился. Небо было чистое и светлое, только одинокая туча всё ещё стояла над селом, и лёгкий ветерок выдёргивал из неё косматые клочки, как перья из большой чёрной птицы.

Горячая пора

Что и говорить, нелёгким было для нас лето сорок шестого года. Как с весны начало сушить, так до осени порядочного дождя мы и не видели.

Старики вспоминали, что такая засуха была в наших краях шестьдесят лет назад. Девяностолетний выжиновский дед Онишко говорил, что в тот страшный год «не снопы с поля возили, а людей на погост носили» — половина села с голоду вымерла.

— Как бы и сейчас такого не было, — сказала однажды при Хорбуте Винцучиха.

— Не то время, — гаркнул на неё старик.

— Хотя и не то время, а без дождя хлеба не будет, — залопотала она. — Туча — это тебе, дед, не трактор: залил бензином и давай ходу... Захочет бог — даст дождь, не захочет — распухнем мы...

— Чтоб у тебя язык во рту распух, — замахнулся на неё посохом Хорбут. — Не такие теперь порядки, чтоб народ пропал... Власть не та, дураковстка ты божья!..

Появилась на селе подозрительная нищенка. Она ходила по хатам, большей частью ночью и, выпросив хлеба или какой-нибудь еды, пророчила три голодных года за то, что люди, мол, о божье забыли, пашут землю машинами и записываются в колхозы. Сунулась она было и к Хорбуту, но он так угостил её посохом, что она бежала до самого леса, не оглядываясь.

— Ишь, какая нашлась — пугать меня, — кричал он. — Если б в колхозе плохо было — Хорбут не записался бы туда. Что она, дураком меня считает, что ли?

Нищенка исчезла, но появился в соседнем селе какой-то безработный ксёндз-униат. Он тоже угрожал голодом. Но ему трёх лет казалось мало для того, чтобы всех нас отправить в пекло, поэтому он обещал уже десять неурожайных лет за то, что наши люди чураются униатства и святого римского папы...

Какая ни стояла жара, а хлебá на колхозном поле дружно зазеленели. Хорбут не любит теперь вспоминать, как он кричал, что глубоко пашут. Наоборот, как только дед встречал вблизи колхозного поля кого-нибудь из единоличников, он показывал ему на дружные всходы и говорил:

— Это вам не по старинке в земле ковыряться, глубина нужна, когда пашешь, головой думать надо!

Жизнь в колхозе понемногу налаживалась. Однако не думайте, что была у нас тишь да гладь.

Однажды вечером возвращались мы с Берником домой (заседание правления у нас было), слышим:

— Спаси-и-ите! Спаси-и-те! — кричит кто-то во дворе Бабюка.

Мы перескочили невысокий заборчик и побежали на голос. Терешко Бабюк всклокоченный, с налитыми кровью глазами, пытался скрутить руки своей дочери Гальке, которая вырывалась изо всех сил, а Бабючиха, стоя в стороне, продолжала кричать.

Увидев нас, Бабюк выпустил Гальку и, тяжело дыша, прислонился к двери.

— Что здесь у вас? С ума посходили, что ли? — строго спросил Берник.

Терешко молчал.

— Сами видите... Как напьётся, так бешеный делается, — начала было жена Терешка, но девушка поднялась с земли и закричала сквозь слёзы:

— Неправда, мама! Не напились они... Пусть... Скажу, всё равно скажу. Преступник они...

— Цыц! Как ты смеешь на батька! — вскрикнула Бабючиха. — Вон! Иди сейчас же в хату!

— Не пойду! — И повернувшись к Бернику, Галька стала рассказывать: — Привязала я в полдень к тыну тёлочку, пусть, думаю, хоть на бурьянах попасётся. На лугу трава невкусная, повыгорела без дождей, а наша Зорька такая привередливая, издохнет, а не будет есть, если не вкусно...

— Не морочь людям голову, — крикнул Терешко. — Сказала мать: иди, значит иди в хату...

— Кинулась вечером, — не слушала его Галька, — нет моей тёлочки. Господи, думаю, и самой жалко, и отвечать за неё перед колхозом, ведь мы её с фермы на развод взяли. Полсела обегала. Мать ругается, что плохо привязала, а наша Зорька такая быстрая, если не доглядеть, непременно удерёт... Как стемнело, пошла я к погребу...

— Врёт! Не верьте ей! — Бабюк бросился к Гальке, но она увернулась, отскочила и торопливо закончила:

— А тёлочка уже в погребе привязана, и около неё батька с ножом... Пусть... Не буду молчать...

Бабюк опустил голову и вздохнул, будто ему стало легче от того, что Галька, наконец, обо всём рассказала:

— Такой, значит, из тебя хозяин? — нахмурился Берник. — Тебе из колхоза тёлочку дали, чтоб ты на будущий год корову имел, а ты...

— Так врёт же, — бормотал Бабюк, — вот она, тёлочка, пасётся. — Но тут же махнул рукой: — Пропадай теперь из-за родной дочери... Доучилась в своём комсомоле.

— Завтра на собрании перед народом расскажешь, как хотел свою колхозную совесть на пуд мяса променять. А ты иди со мной, — повернулся Берник к Гале, — у нас будешь ночевать, пока отец в себя придёт.

— Не боюсь я их ни капельки, — махнула рукой девушка. — Они протрезвились, им теперь самим стыдно — не первый год уже их знаю...

Я думал, что Бабюка на это собрание и за уши не вытянешь, но когда мы с Марией пришли во двор клуба, где под открытым небом были расставлены скамьи и стоял стол для президиума, Терешко уже сидел в заднем ряду, рядом с женой и дочерью.

Бабюки жили на отшибе, так что о вчерашнем никому не было известно, не считая, конечно, Пилипа и Никиты Петровича, с которыми Берник в тот же вечер всё это обсуждал. Я и с Марией ни словом не обмолвился — Иван просил, чтобы до собрания не было об этом никаких разговоров. Но Терешко об этом не знал. Он сидел, опустив голову, нехотя отвечал тем, кто с ним здоровался. Когда мимо него прошёл председатель, Терешко встрепенулся, но сразу же снова опустил голову и не поворачивался даже к дочери, которая всё время что-то шептала ему на ухо.

На повестке дня стояло два вопроса: приём в колхоз и сохранение скота.

В колхоз принимали Грицька Боровея и Танасия Крихту, которые в сорок третьем году ушли в армию и сейчас демобилизовались. Вместе с ними подали заявления и их родители, которые до возвращения сыновей никак не решались на это.

Обе семьи собрание приняло в колхоз единогласно, потому что это были работящие, честные люди.

О скоте докладывал я. Недавно нам передали полтора десятка коров, да и своих было столько же. Прибавьте к этому молодняк и две пары быков. Для такого колхоза, как наш, стадо немаленькое. Но что за вид был у этого скота! Зимой хороших кормов тоже было не вдоволь. Коров надо было хорошо подкармливать, и мы все надежды возлагали на летний выпас.

Но лето обмануло нас, дождей не было, корма были плохие.

Я доложил обо всём, что люди знали и без меня, и предложил для молочных коров и молодняка оставить зимний рацион, то есть резать сечку и примешивать к ней отруби или кормовые бураки. О лошадях я промолчал, хотя и они нуждались в хорошем питании.

Я хорошо знал, какие у нас запасы, и сам не очень верил в то, что таким способом можно спасти скот. Но что другое мог я предложить?

После меня взяла слово Зиночка, наш зоотехник. Она говорила только о молодняке. Я никогда не слышал, как наша Зиночка выступает на собрании, и не предполагал, что она умеет так остро и по-деловому критиковать.

Вы, товарищ, наверное, видели её на ферме — полная такая, румяная, с медалью «За доблестный труд».

Но тогда это была ещё маленькая худощавая девочка, недавно приехавшая к нам из Полтавы.

Зина начала издалека.

— Я, — сказала она, — дочь полтавских колхозников. Обучила меня советская власть. Если б я захотела, могла быть и инженером, и учительницей, и лётчицей, но я пошла в зоотехникум, потому что очень люблю эту работу... — И вдруг как врежет по существу: — Так скажите, — могу я спокойно смотреть, когда на моих глазах колхозный молодняк погибает?! Кто виноват в этом? Правление! А кто персонально? Смолюк!

И ткнула пальцем в сторону президиума.

Смолюк, который в это время беззаботно прочищал трубку, искоса посмотрел на Зину и, вытерев проволочку о голенище, лениво сказал:

— Я вам не туча, чтоб из меня дождило. Поливайте луга из вёдер.

— Не о лугах речь! — крикнула Зина, покраснев. — Третий месяц телятник строите... Где он?

— Не зима, не помёрзнут твои телята, — огрызнулся Смолюк и, обращаясь к собранию, пожал плечами: — Она думает — строить это всё равно, что на гитаре играть: трень-брень — и готово...

Кое-кто засмеялся, но Берник нахмурился. Пилип трубкой постучал о графин, призывая к тишине.

— У телят нет места, где бы они днём в тени побыли, — продолжала Зиночка, в упор глядя на Смолюка. — Они на жаре устают, а мы их вместе с коровами в тесный хлев загоняем. Хороший из них скот вырастет! Вам, может, всё равно, а у меня сердце болит...

— Сердце, паненка, береги для кавалеров, — захохотал Смолюк.

Тут Пилип так стукнул кулаком по столу, что вода из графина выплеснулась.

— Хватит шута разыгрывать! Она дело говорит! Почему строительство срываешь? Я проверял: гвозди на базе были, ты их трижды прозевала... Что ты делаешь в районе? По чайным свою биографию рассказываешь?

— Так его, так его, — подскочил старый Хорбут, — наел ряшку на колхозных хлебах! Какой мудрый нашёлся! На словах, как на цимбалах, а на деле одна балалайка.

Если хотите знать моё мнение, то и я с самого начала был против Смолюка. Как он попал в правление, я и сейчас не понимаю. Выступал, выступал на митингах и так ловко втирал очки, что его даже в районе активистом считали. А какой из него был активист? Пролаза да и только.

— Если мне каждый... в глаза плевать будет, — поднялся Смолюк, — так можете и не переизбирать. Я за это пенсии не прошу...

— Известно... чего там... не на себя работает, — слышались неуверенные голоса. — Как может, так и старается.

Почувствовав поддержку, Смолюк повеселел:

— Людям же хаты строю, себе ещё и фундамента не сложил... А телятник к зиме будет. Моё слово — закон. А то, что они, — показал он на Марию и Зиночку, — не всех телят по дворам роздали, я за это не ствечаю. Такое было решение правления...

— Такое решение, действительно, было, — громко сказал Иван. — Бескорванным давали, а пока помещения нет, можно было и колхозных присмотреть. Но мы перестали раздавать телят по дворам, потому что начали у нас происходить позорные вещи...

Я взглянул на Терешка. Он сидел бледный, как мертвец, губы у него дрожали.

— Единоличники Жижиян и Фивчук, которым советская власть дала тёлочек, — продолжал Иван, — зарезали их, свалив вину на волков. То же сделал со своей коровой и единоличник Грицай. Говорят, что и некоторые колхозники, поддавшись вражеским влияниям, пытались зарезать телят, которых им дали весной с фермы...

Терешко вытянул шею и закрыл глаза, словно подложил голову под колесо и ждёт страшного конца.

Но Берник не назвал его фамилию.

— Год нелёгкий, — сказал он, даже не глядя на Терешка, — из-за засухи мы переживаем трудности... Но государство нам поможет, надо смотреть вперёд! А те, кто тянет нас назад, помогают нашим врагам, всяким косованам и худикам, которые издевались над нами долгие годы...

— А я и не слышал, что колхозники режут, — громко сказал Смолюк. — С такими нечего нянчиться, выбросить из колхоза — и под суд! Тут ночей недосыпашь, болеешь за общественное добро, а они, продажные души...

— Сам продажный! — не своим голосом крикнул Бабюк и, расталкивая людей, побежал к президиуму. Он подскочил к Смолюку: — Я пойду под суд... пойду под суд... Но и тебе его не миновать...

Люди окружили Терешка, столпились у стола.

Бабюк сорвал с головы шапку и кинул её себе под ноги.

— Виноват... судите! — закричал он, облизывая пересохшие губы. — Хотел я тёлочку порешить... тоже на волка свалить думал... Куда ни подамся, всюду бабы про голод бубнят... А какие у меня запасы? Что в колхозе уродит, то и моё... А этот, — погрозил он кулаком в сторону Смолюка, — каждый день на ухо нашёптывал: «Зарежь да зарежь, а я в районе продам, на зерно сменяю... Половина мне, половина тебе...» А теперь «под суд!» кричишь, себя выгораживаешь? Верно, не одного уже подбил!

Собрание закончилось поздно вечером. Смолюк сознался в том, что возил на базар зарезанных телят и брал за это половину выручки, и его постановили отдать под суд, а Терешка Бабюка решили на первый раз простить за искреннее признание.

Вместо Смолюка надо было избрать нового члена правления.

Мы перебрали по пальцам всех наших колхозников и не могли ни на

ком остановиться. Много было работающих, честных людей, но руководить они ещё не умели.

— Надо как следует обсудить, чтоб человек не языком, а руками работал, за каждое зёрнышко душой болел, — сказал Иван. — Вот я и предлагаю...

И тут он как громом меня поразил.

— Я предлагаю, — сказал он, — товарища Хорбута!

— Да ведь он нас всех загрызёт, — не выдержал я, — всё ему не так, всё ему неладно...

— Критики бояться не надо, — ответил Иван. — А что он горячий — это хорошо, в нашем деле с холодком работать нельзя... Хорбут — горячий работник. Он принесёт пользу в правлении. Это не только моё мнение, это мнение нашей партийной группы.

— Правильная группа! — закричал с места Хорбут. — С самого начала меня надо было выбирать, а не Смолюка... Нашли активиста... Я вам всем покажу. — И кивнув Зиночке, которая вела протокол, ткнул пальцем в тетрадь: — Записывай!

— За вас ещё не голосовали, товарищ Хорбут, — улыбнулся учитель, — подождите минутку.

— Будет время, проголосуют... Дело небольшое, — отмахнулся от него старик. — Слушайте все, что я вам скажу, — обратился он к колхозникам. — Я теперь член правления, и вы должны меня слушаться! Строительство беру на себя. Так будет вернее. А тебе скажу, — махнул он посохом в мою сторону, — что если и дальше будешь пасти скот и коней на голом месте, так дулю от него получишь, вот что!

Во мне всё закипело. Пилип стучал о графин, останавливая Хорбута, но меня это мало успокаивало.

— Говори, да не заговаривайся! — крикнул я. — Что я могу сделать, если лето засушливое?

— Слышали уже, — закричал Хорбут. — От этого ворюги, который под суд идёт, слышали: «Я не туча, дождя из меня не будет». А мне такие слова — тыфу! — плюнул он, прямо мне под ноги. — Головой надо думать, если она не глупая.

— Хорошего члена правления получили, — сказал я, обращаясь к Пилипу, но так, чтобы услышал и Иван. — Теперь из дураков не вылезешь.

— Так что же вы предлагаете, дедушка? — спросил Хорбута Берник, делая вид, что совсем не слышит меня.

— Не перебивай! — сказал ему Хорбут. — Сам начал, сам и закончу. На лугах всё к чёрту выгорает. Если кое-где ещё и зеленеет, так всё равно не вкусное, не ест его скот. А завтра, может, и стебелька зелёного не останется, потому что дождём и не пахнет. Место открытое, все кусты румыны повыврубали, партизан боялись... Надо скот гнать на Чёрные пеньки, под горы, на свежую пашу!

— Полдня туда, полдня обратно? — перебил я его. — Глупости плетёшь, хоть и седой ты!

— Сам бегай туда-сюда, если ноги у тебя быстрые, — затопал на меня старик. — Скот не твой собственный, а общественный! Уважать ты его должен!

И когда я уже думал, что сердце моё разорвётся от обидных слов этого баламутного деда или я заткну ему шаткой рот, он, махнув кулаком перед моим носом, закричал:

— В табор! На всё лето! Как гуцулы на полонинах! Коней туда!

¹ Место выпаса скота в Карпатах.

Телят! Коров! Доярок туда же, чтоб на месте доили!.. Головой думать надо!

Закашлявшись и бормоча что-то себе под нос, Хорбут уселся в президиуме.

Это было неожиданное, но очень простое и очень хорошее предложение..

Надолго запомнились мне эти Чёрные пеньки! Во-первых, я из-за них крепко повздорил с Иваном, во-вторых... а это самое главное и самое интересное... Ну да об этом после!..

И надо же было мне приболеть именно в тот день, когда на правлении решался вопрос о таборной бригаде. Вы себе представить не можете, как я обиделся, когда узнал, что и меня посылают с бригадой на целое лето. Я даже не поверил Марии, которая мне рассказала об этом.

Сколько работы сейчас в правлении! Каждый человек дорог. Каждый день то тот, то другой приходит с каким-нибудь заковыристым вопросом. Один требует, чтоб ему коня на базар ездить ежедневно давали (конь-то, говорит, всё-таки мой, я его в колхоз сдал!); другой придумал выписывать жену из колхоза (у неё, говорит, дома дел по горло, а я в колхозе и на неё заработаю!); третий ещё чем-нибудь озадачит. И каждому надо объяснить, втолковать: новое ведь дело — колхоз!

А тут ещё, кроме фермы, постановили три дома для семей фронтовиков выстроить за лето: и за строительством проследить надо... А в клубе ремонт? А в школе?.. Как же это всё — без меня?

Пилип, председатель наш, хоть и дельный, уважаемый человек, а стар, очень уж стар: седьмой десяток пошёл. Берник лесопилкой колхозной заведует да к тому же и парторг. Целый день то в леспромхоз, то в райком ему надо; Мотря Крикливец — хороший работник, а что ни говорите — женщина: всё хозяйство на ней и дома лежит; ну а Хорбуту — ещё много чего толковать нужно...

— Ты, наверно, ослышалась, — возражал я Марии. — как же Берник здесь без меня обойдётся?

— Значит, говорит, обойдётся, если Крихта предложил, чтобы тебя по табору старшим назначить, а Иван и Пилип первые руку за это подняли.

«Что же это делается, — подумал я, — Хорбута в правление вводят, даже не обращают внимания на то, что он уважаемым людям чуть ли не в глаза наплевал; безусый паренёк Крихта не успел ещё после армии оглядеться по сторонам — уже на правлении выступает, предложения вносит, кого куда направить, Пилип обо всём с Берником советуется, а Берник и рад: ещё, мол, активист новый прибавился, а Карпюк что? Карпюка куда ни пошли, он по старой дружбе обижаться не будет, смолчит»...

Хотел я уже было на ночь глядя идти к Ивану со своими обидами, а он и сам тут как тут, и прямо с порога:

— Выздоровливай, старина, собирайся на новое пастбище, командиром там будешь...

— Спасибо, — отвечаю, — что не забываете о больном человеке, я уж там отдохну. Ты ведь знаешь, как мне по душе без дела целое лето сидеть...

— Тебе ответственный участок доверили, а ты ещё и в обиде, — возмутился Иван, — оно и заметно, что обиженный: щетиной зарос, как барсук; глаза злые, аппетит пропал! — И он, придвинув к себе мою миску с кнышами, преспокойно уселся ужинать.

Я пощупал свои заросшие щёки и присмотрелся к Ивану: ишь ты какой! Подбритый, подстриженный, в вышитой рубашке, ей-богу, ещё моложе стал выглядеть! Интересно, что-то он мне ответит, — думал я. Но Берник упорно молчал, а горячие кныши один за другим исчезали у него во рту, будто таяли.

Наконец он дожевал, закурил свою носогрейку, как ни в чём не бывало хлопнул меня рукой по коленке и заявил:

— У тебя, брат Танасий, на старости характер что-то испортился. Обижаешься на каждом шагу, словно красавица, которая в девках до седых волос досиделась...

— Надоели мне твои прибаутки, — закричал я на Берника, — неужели так-таки некого было послать на эти Пеньки, кроме члена правления Карпюка?

— Например? Кого бы ты посоветовал?

— Хорбут придумал — пусть бы и ехал туда на здоровье, а без меня тут трудней будет справиться...

— Хорбуту строительство поручили, ты сам за это голосовал, — возразил мне Иван, — и вообще — кто ещё в кормах понимает, как ты?..

— И тот не может, и другой не умеет, — перебил я Ивана, — а Карпюк, значит, в правлении — пятое колесо в телеге, без него обойдутся, пусть себе сидит на полянке, не мешает умным людям работать...

— Не кипятись, а то весь выкипишь, — попробовал ещё раз отшутиться Иван, но меня уже трудно было остановить. Чего-чего ни наговорил я тогда Бернику! И о том, что он про старую дружбу забыл, и что ему дороже какой-нибудь безусый мальчишка или старый ворчун, чем товарищ, с которым не один пуд соли съел за долгие годы... Одним словом, всё высказал, что с досады в голову лезло: больно уж обидно показалось мне, что без меня в руководстве обойтись могут, да ещё не день, не два, а чуть ли не целое лето...

Должен вам признаться, что я хотя и сильно распалился, нападая на Берника, но в душе всё же надеялся: вот сейчас он, как всегда, выслушает меня спокойно и начнёт по порядку доказывать: здесь ты не прав, а здесь ты ошибся.

Однако Берник на этот раз поступил неожиданно.

— Не хочу тебя слушать, надоело, — перебил он меня и взялся за шапку. — Было бы это несколько лет тому назад, я бы целую ночь учил, чтобы втолковать тебе, почему ты не прав. А ты, слава богу, для других уже пример: передовой человек, активист, в партию вступать собираешься... Подумаешь, разобиделся! А насчёт правления — ты меня не пугай. На Пеньках ты нужнее. Это, во-первых, а во-вторых, ни без тебя, ни без меня работа не остановится, незаменимых, брат, нет...

И ушёл.

«Ну ладно же, — подумал я, — мы ещё поглядим, кто лучше меня справится на новом пастбище со скотом!»

— Собирайся, Мария, — крикнул я жене, — завтра же утром в дорогу!

Табор на Чёрных пеньках

Хотя кое-кто и покачивал головой, когда правление приняло предложение Хорбута (дескать, как же с молоком будет, не очень ли далеко возить?); хотя были и такие, которые на собрании молчали, а после шептали за углами: «волкам на обед скот гонят» (волков и в самом деле немало развелось за время войны); хотя вспоминали о бандитах, которые время от времени появлялись в предгорье и стреляли из-за кустов или грабили ночью прохожих, — всё же большинство согласилось

с тем, что пастбище на Чёрных пеньках хорошее, нетронутое, заслонённое лесом от суховея.

Кроме меня и зоотехника Зины, таборный «штат» состоял из кухарки-завхоза Софийки, двух доярок — Марии и Доринки и двух сторожей — Тараса Крикливца и Саньки Пономаренко. Олексу, как он ни просил, пришлось всё же оставить дома при хозяйстве.

Старшим чабаном назначили Терешка Бабюка, а в помощь ему командировали семерых пионеров.

Тронулись мы на рассвете, по холодку, пока не наступила жара.

Наезженной дороги к нашему новому пастбищу не было. По песку телегой не проедешь, так что чугуны, бидоны, постель и всякую всячину мы нагрузили по-гуцульски на коней и на волов, а то, что не уместилось, тащили на себе.

Хотя было ещё темно, до околицы нас провожала целая толпа. Услыхав топот стада, щёлканье батоков и звон колокольцев на шеях коров, люди выходили из хат и напутствовали нас добрым словом. Были и такие, что провожали нас испуганным взглядом, ожидая беды.

За селом начинались пески. Кое-где навстречу нам попадались молоденькие ели и сосны, которые, как дети в воде, стояли по колено в песке; белели покрытые известью холмики, с них свисали сероватые гроздья полевого ленка, а внизу прижимался жёлтый, как сера, воловик-придорожник.

Лошади проходили мимо этой несъедобной зелени, даже не поведя на неё глазом; коровы останавливались и сразу же шли дальше; только глупые телята тыкали мордочкой в невкусную траву, но, приняв её и вымазав в извести носы, бежали, подпрыгивая, за стадом.

Рассветало. Я хорошо знал эти места, но и меня удивляла резкая разница: здесь известняки и пески, чуть дальше, на опушке леса, буйно зеленеет трава, цветут цветы, звенят ручьи, а выше, в Карпатах, раскинулись полонины, на которых трава такая густая и волнистая, что в пору в лодке по ней проехать.

Как ни рано вышли мы из дому, жара всё же застала нас в пути, и мне казалось, что, пройдя с километр по песку, под палящим солнцем, наш скот ещё больше похудел.

Глядя на выпирающие рёбра, на хвосты, бессильные отгонять мух, я подумал: «Что верно, то верно — не дай этим коровам и лошадям сейчас хорошего пастбища, не дождёшься от них ни молока, ни работы».

— Песню! — весело скомандовала Зиночка, и наши подпаски, которые уже устали и с трудом передвигали ноги, сразу встрепенулись, подтянулись друг к другу и запели о трёх танкистах.

— Когда-то наш танкист вернётся? — громко сказала Мария, обращаясь ко мне, но поглядывая на Софийку. Та, услышав, вспыхнула и повеселела, словно её свежим ветром обдало.

Солнце нежло нещадно, хотя было ещё далеко до полудня. Дорогу перегородил невысокий перевал, на котором торчало несколько кривых елей. Скот нехотя начал взбираться на отлогий холм, утопая ногами в песке и сплютываясь о корни елей.

Первым выбрался на гребень бык «Косован». Задними ногами он ещё стоял на склоне холма, но его глазам уже открылось всё, что было по ту сторону перевала. Задржав голову, он радостно заревел; потом быстро, как молодой телок, сбегал по склону холма в долину.

Услышав его рёв, коровы поспешили в гору; за ними поскакали телята. Не прошло и минуты, как всё это белое, чёрное, пятнистое, рогатое и безрогое стадо, не обращая внимания на окрики чабана и свистя-

щие в воздухе бичи подпасков, обгоняя друг друга, поднимая жёлтую тучу песка, ревя, бежало и бежало вслед за быком.

С детства я знал, что за известковыми холмами на Чёрных пеньках трава растёт буйная и сочная; я не раз ходил туда за грибами и ягодами. Но я никогда не обращал на это особого внимания, потому что и около села на панском выгоне пастбище было не хуже, только нам тогда нельзя было там пасти скот.

Увидев наше стадо на Чёрных пеньках, я понял, как изголодался скот на старом пастбище, где преждевременно поблёкла трава, так и не успев набрать за весну нужные соки.

Здесь засухи и не бывало. Широкою равнину пересекал извилистый горный поток. От него во все стороны разбежались маленькие ручейки, которые местами сливались в небольшие озёрца, на их берегах теснилась буйная зелёная поросль.

Старые люди рассказывали, что в этой долине был когда-то густой лес. Однажды панский лесничий поймал здесь бедного человека, который хотел срубить ёлочку, чтоб починить себе хату. Тут налетел и сам помещик, какой-то австрийский барон. Узнав в крестьянине сына одного из тех подолян, которые вместе с Кобылицей писали в сенат жалобу на своеволие панов, барон без всякого разбирательства и суда приказал привязать бедняка к ёлочке, подрубленной им, и тут же сжечь его. Люди говорят, что когда дерево вместе с несчастным догорало, поднялся страшный ветер и понёс, раздувая, искры с поляны в чащу. Всё вокруг сразу затрещало и вспыхнуло так, что барон и лесничий, очумев от дыма, из леса не выбрались. Весь он сгорел дотла. С того времени, мол, и называется это место «Чёрные пеньки».

Как было на самом деле, не берусь вам сказать, но чёрных, давно обгорелых, прогнивших пней было много на этом месте. Ни одного ствола не осталось на широкой равнине, от пеньков отлетала чёрная щепа, рассыпалась в пепел, и пепел тот разведали ветры, размывали дожди и снега, уносили прочь весенние потоки. Корни и пни покрылись мохом, как сединой. Но уже со всех сторон обступила долину молодая поросль.

На склонах холмов, даже на песчаных подступах к равнине рос шелковистый желтец-мохун; ближе к густым зарослям, на опушке, рядом с темнобагряными листьями волчьего тела стлалась густая пушистая поросль заячьей крови, зеленели кусты милостивца и выставляла свои твёрдые стебельки трава-тонконог.

Но скот и не смотрел на всё это зелёное богатство. Зачем нужны какие-то шершавые мхи, тонконог или мохун, если под ногами лежит манящий к себе волосатыми остюгами свежий, ещё никем не тронутый китник, а рядом с ним стоит на коротких ножках и выставляет свои щетинки такая вкусная трава-житница!

Коровы подолгу стояли на одном месте, до чёрной земли выедавая сочную траву у себя под ногами; быки важно прохаживались по пастбищу, время от времени сгоняя коров, будто им было мало места; телята и жеребятя перебежали от пенька к пеньку, словно не могли выбрать, где лучше трава — глаза у них разбежались от такой пышности; ещё не разгружённые лошади нехотя подвигались вперёд, всё время вытягивая шеи и пытаясь хоть немного пощипать на ходу. Глядя на повеселевший скот, люди забыли об усталости.

Зиночка, как маленькая, кинулась вместе с пионерами рвать цветы и плести венки, которые по гуцульским обычаям надевают на коров, когда впервые после зимы выгоняют стадо на пастбище, Терешко стреножил свою быстроногую тёлочку, которая попыталась было сразу же мет-

нуться куда-то в чашу; Мария и Софийка мыли в ручье запылившиеся молочные бидоны и тихо, согласно напевали.

За невысоким зелёным холмом раздались людские голоса, стук топоров, визг пилы. Не успел я подняться на холм, чтоб рассмотреть, что там такое, как увидел Хорбута, который, держа в руке топор, спешил мне навстречу.

— А-а! — закричал он, останавливаясь. — Здоровеньки булы! А мы уже для вас всё сделали. Вот загорожа для лошадей, вон там — для коров, а там — видишь? — телята будут ночевать. Если дождь пойдёт, — нарубите веточек, сделайте пол, чтоб телята ноги не промочили. А шалаши для себя ставьте сами, потому что и так, как паны, на готовое приехали. У меня времени больше нет, ещё в колхозе работы много.

Меня раздражал этот болтливый дед, но я ничего не мог ему возразить: всё, что он сделал, было полезно нам, и я подумал, что если бы не его бахвальство, я был бы ему только благодарен и за выбранное место, и за загородки, и за столбики, заранее обструганные и по-хозяйски сложенные на тех местах, где надо было ставить наши шалаши.

— Что? Вкусно? Едят? — хохотал Хорбут, показывая на коров. — И за уши не оттянешь, га? Ещё бы! Хорбуту спасибо скажите. А то обрадовались, что выгон под носом, и сидят на нём, как жук в навозе, а на том выгоне и травинки хорошей нет. Головой думать надо! — И взмахнув посохом, он закричал своим помощникам: — Шабаш! Складывай инструмент! Гости в хату — хозяева с хаты! И быстрее пошевеливайтесь — тут вам Хорбут, а не Смолюк!

Я понимал, что старик шутит, но настроение у меня сразу испортилось. Долго ещё после того, как Хорбут ушёл, я всё шептал про себя: «Ну и хвастун, ну и задира! «Я» да «я» — только и слышишь от него. И надо же было такого избрать в правление!»

Месяц пролетел с того дня, как мы стали табором на Чёрных пеньках. Скот нельзя было узнать: коровы стали гладкие, телята подрастали, как на дрожжах, лошади, хотя мы по очереди брали их на работу, тоже поправились, набрались сил.

Всё вокруг было спокойно. Ежедневно Саня или Тарас отвозили на ферму молоко, выезжая до восхода солнца, и никто ни разу не повстречался им на дороге, но они всё же перед каждым выездом тщательно чистили и проверяли свои берданки. О бандитах ничего не было слышно, но волки досаждали, особенно ночью, и нам каждый вечер приходилось разжигать большие костры во всех четырёх концах лагеря.

Недобро встретило нас предгорье в первую ночь. Отродясь не слыхал я, чтоб летом так близко от людей выли волки. Правда, и причина, по которой они чуть не взбесились и о которой я вам сейчас расскажу, тоже была необычной.

Всю ночь скот не спал. Коровы жались друг к другу, напуганные лошади тонко ржали, собаки охрипли от лая. Люди не отходили от костров. Временами казалось, что вся стая хищников вот-вот кинется на лагерь.

К рассвету вой несколько стих, однако не прекратился.

— Поминки у них, что ли, помилуй боже, — крестился Терешко, который всю ночь не отходил от загородки.

«Если так каждую ночь будет, то самая лучшая трава не пойдёт впрок нашему скоту», — подумал я.

Как только рассвело, Саня и Тарас с берданками и я с длинным колом пошли в разведку, прямо на волчий голоса.

Собаки жались к нашим ногам, только лохматый Гектор, внук того

Гектора, который был когда-то у Косована, бесстрашно бежал впереди, время от времени припадая к земле и принюхиваясь.

Чем ближе мы подходили к густым кустарникам, тем громче становился тоскливый звериный плач. Возле небольшого лесного озера мы остановились и залегли в зарослях.

Раздвинув ветки, на другой стороне озера мы увидели большую рыжую волчицу, которая бегала взад и вперёд по берегу, не отводя глаз от воды, и хрипло и жалобно выла.

— Как над утопленником, — удивился Тарас и начал взбираться на вербу, стоявшую у самого озера.

То, что парень увидел с дерева, наверное, очень его удивило. Он помахал нам рукой. Саня быстро взлез на вершину, к товарищу, а я, добравшись до середины, примостился на толстом сучке.

Прямо передо мной, на такой же вербе, на какой сидели и мы, скрытые густой листвой, висели рядом на ветке двое волчат. Снизу волчица не видела их, потому что ветка свисала над самой серединой озера. Зато волчица очень хорошо видела их отражение в спокойной, зеркальной воде. Ветка тихо покачивалась, и зверёныши, отражённые в воде, казались живыми.

— Додумалась какая-то сволочь, — возмутился Тарас. — Вредит тебе волк, так застрели, но зачем же мучить...

В кустарнике на другой стороне зашуршало, промелькнули один за другим несколько волков. Стая постепенно расходилась.

Тарас, не целясь, выстрелил по кустам. Эхо прокатилось над водой. Волчица нырнула в заросли. Из-под её ног обвалился ком глины, замутивший воду, и отражение волчат исчезло в густой ряби.

Мы обогнули озерко, срубили сук, на котором висели волчата, и, выкопав глубокую яму, зарыли их, чтоб волчица не выла больше на этом месте.

«Это кто-то нарочно сделал, это неспроста», — думал я, возвращаясь в табор.

После этого случая я ввёл ночной караул.

Жизнь в таборе текла спокойно. Пилип приезжал часто, а Иван за целый месяц наведаясь к нам единственный раз, и я, прощаясь, спросил его: не следовало ли бы парторгу почаще бывать на таком важном участке?

Он прищурил глаза, как будто вспомнил что-то очень весёлое, но сдержал улыбку и серьёзно сказал:

— Значит, парторг имеет полное доверие к члену правления, товарищу Карпюку, которого послали сюда.

Мы поговорили с ним о делах, осмотрели скотину, но настоящий «мир» так и не состоялся.

Вечером я зажёл фонарь, уселся в курене поудобней и начал перелистывать журнал «Украина», который я взял у Берника почитать. Не успел я перелистать три-четыре странички, как наткнулся на исписанный листок бумаги. Первые слова, которые бросились мне в глаза, были: «...то, что мы будто бы поссорились с твоим батей, то это, друже Семенко, всё чистая ерунда...» Я присмотрелся к почерку. Берник писал.

«Не для меня писано — не следует и читать», — решил я и тут же ещё раз взглянул на письмо и прочёл: «...А насчёт твоей матеши я тебе вот что скажу...» Я оглянулся — нет ли близко Марии, придвинул фонарь, махнул рукой и начал читать всё сначала.

«Дорогой друже Семенко! — писал Берник. — Не сердись, что так

долго не писал, ты ведь знаешь, что я всегда, как только получу от тебя письмо, так сразу и отвечаю».

«Смотри каков, подумал я про Ивана, с утра до вечера на ногах, а вот же находит время переписываться с моим хлопцем...» «Вчера у нас опять прибыло боевое пополнение: приехал из армии сын Платыки, Иван, а также Тодось Костецкий и подали заявление в колхоз. Про Крихту я тебе уже писал и про Грицька Боровея писал, так что актив наш растёт...»

«Вчера,— соображал я,— вчера, пишет он, приехали молодой Платыка с Костецким... значит письмо две недели тому назад писано, а это, паверно, черновик...»

«...Софийке своей скажи, — продолжал я читать, — чтобы она не писала тебе, чего сама не знает как следует. То, что мы будто бы поссорились с твоим батей — это всё чистая ерунда...»

Откуда же Софийка о нашем споре проведала, — удивился я, — не иначе, как от Марии. Они ведь теперь дружат, водой их не разольёшь... Ох эти женщины! Хоть молодая, хоть старая — всё равно не умеют держать язык за зубами!

«...Просто отец твой так увлёкся работой в правлении, что всё бы себе на плечи взвалил, и всё ему кажется мало и мало. А он больше пользы принесёт, если не будет за двадцать работ сразу хвататься. Он вст сердился, что мы его от важной работы устроили, а теперь и сам видит, что без него нам бы на новом пастбище со скотом не управиться...»

А я, по правде сказать, и в самом деле тогда уже сам видел: никто так хорошо не разбирался в кормах, как я. Кроме того, что с малых лет интересовался этим делом, сейчас ещё и книжечки и брошюрки почитывал, которые брал у Зиночки на зооветпункте. На новом пастбище, знаете, всё может случиться: наскочит скот на негодную зелень, молоко может стать горьким или кровавка прицепится, — опыт надо иметь для присмотра немалый.

«... А Хорбут в нашем споре вообще ни при чём, — разбирал я с трудом неровный почерк Ивана, — старик он, конечно, докучливый (что верно, то верно!), однако толковый и в правлении не хуже, чем другие работает. У меня сейчас забота не о нём, не о Танасии, не о Пилипе. Это люди бывалые, закалённые в борьбе, и на ногах твёрдо стоят. Хочется мне перво-наперво молодёжь выдвинуть, чтобы в правлении у нас был, например, такой замечательный хлопец, как Крихта, а может быть и председателем его выберём, стар уже наш Пилип, тяжело ему...»

Что и говорить, согласился я, прочитав, стоящий парень Крихта: в армии грамоте подучился и сейчас толково вместе с Хорбутом справляется по строительной части... Да и вообще молодёжь у нас неплохая, есть на кого положиться. Хоть бы и Софийка — как хорошо на ферме работает, не нахвалится Зиночка, в зоотехникум ей советует поступать... А Платыки сын? Золотые руки, кузнец.

«А насчёт твоей мачехи, — дошёл я до самого интересного места, — я тебе вот что скажу: неправильный у тебя к ней подход, не душевный. Вот ты писал мне, что от Софийки тебе известно, как с ней Мария подружилась. А ты удивляешься: как это, мол, так — была, была злая, да вдруг стала добрая. А подумал бы ты, Семенко, не тем умом, который у тебя был, когда ты по лужам босиком шлёпал, а тем, которым ты сейчас живёшь — кандидат партии, воин Советской Армии, одним словом — передовой человек. Горя-то она, знаешь, сколько хлебнула, когда отец в Америке бедовал! Недоедала, недосыпала, батрачила от зари до зари, а тебя на ноги поставила. А теперь, думаешь, сладко ей вспоми-

нать о том, что обижала тебя ни за что? Она ведь тоже теперь не та, что была. Это, знаешь, кривое дерево нельзя выправить, а душа человеческая, если ей дать свободы вдохнуть, расцветает, чистой, доброй становится... Написал бы ты ей, привет передал бы, праздник бы это был для Марии, она ведь тебя, Семенко, ей-богу, любит...»

Дальше я уже не мог читать. Зарябило перед глазами, запрыгали буквы — ничего на бумаге не вижу...

Марии я ни слова не сказал о письме, а когда она заснула, вынес фонарь на полянку и под деревом раз десять его прочёл, пока на память не выучил.

«Вот это человек, — думал я про Ивана, — а я... Нет! Далеко мне ещё до него. Прожил на свете много, а что я сделал?» Не мог я, конечно, сказать, что сидел сложа руки, нет! И никто бы этого обо мне не сказал. Но захотелось мне сделать что-то такое, товарищ, ну, одним словом, необыкновенное, чтобы всему народу от этого польза была и чтобы лично от меня эта польза пошла...

«Не так уж много времени у меня для этого, — думал я, — торопись, Танасий, не мешкай, каждый день для тебя, как золото, не растрчивай его без пользы: за десять лет, пока ещё чувствуешь в себе силы, ты должен сделать в сто раз больше, чем за все те чёрные годы, которые затратил в напрасной работе на чужих, ненавистных людей...»

... И вот совсем неожиданно нашёл я то, к чему так долго стремился.

Однажды вечером, закончив осмотр своего хозяйства, я взшёл на холмик и присел на пенёк. Широкая волнистая долина расстилалась вдоль леса, с двух сторон её защищал от ветра густой молодняк. При любой засухе здесь всегда будет достаточно влаги и от леса, и от горных ручейков, разбегающихся во все стороны извилистыми голубыми нитями.

Вся в пеньках, поросших зеленоватым мохом, долина казалась кочковатым дном высохшего озера, — редкие невысокие холмики торчали, как островки.

Что за разноцветье было у меня под ногами! Пригорок, на котором я сидел, горел желтизной горного вяза, а отцветавший лядвинец стал из жёлтого красноватым; к пенькам прижималось лесное чернозелье — будто на память о том, что на этом месте когда-то стояли высокие леса. Сейчас оно отцветало, становилось из багряно-красного синим, чтоб к осени совсем почернеть от верхушки до корня — за это и называют его чернозельем. Ещё дальше белыми ставками рассыпалось роман-зелье, и голубое море дикого клевера разлилось до самого леса, где покативались, расплывались, как далёкие берега, длинные полосы сизой полыни.

Почему мне в тот вечер так ярко вспомнилась моя прежняя жизнь? Вот я продвигаюсь шаг за шагом, пропалывая свои жалкие грядки, а следом за мной, с деревянной сапochкой в руках, босыми ножками ступает Семенко. От соседнего пустого участка горько пахнет полынью. Рядом, на опушке, нетронутые два гектара земли, заросшие бурьяном и чертополохом. «Сколько можно бы сделать», — думал я не раз, глядя на свои сильные руки. Но руки были скованы, земля была не моя, а кулака Бережана. Он откупил у Гелки лес на корню, вырубил его, и оставил пустовать. Ему торопиться нечего, у него ещё пятнадцать гектаров за выгоном.

«Мне бы вот от того соседнего пустого участка хоть соток двадцать, — вертелось в моей голове, а глаза сами так и косились на невыкорчеванную поляну, — я бы не посмотрел, что она покрыта пеньками, нашёл бы время (разве, кроме дня, нет у бедняка для работы ещё и

ночи?!), и сила в руках нашлась бы, чтоб выкорчевать пни, вырвать их с корнем, а потом сжечь корни вместе с сухим бурьяном и раскидать под лопату, перекапывая грунт. Где такое удобрение бесплатно найдётся?»

Раздумывал, стоя возле чужой межи, а руки сами тянулись к ближайшему пеньку, ощупывали его, пробовали, крепко ли он вцепился корнями в землю. Закрою глаза, и в глазах вместо пеньков — кукуруза и жито, аж сердце стучит сильнее...

... И вдруг эти воспоминания оборвались, всё исчезло: и пустырь Бережана, и маленький Семенко с деревянной сапочкой, и глечик с водой, в которой остались крошки от чёрствой корки...

Передо мной лежит колхозная земля, бескрайная зелёная долина. Я смотрю с пригорка на гектары нетронутой, покрытой полусгнившими пеньками земли, которая так щедро питает своими соками травы, буйно растущие под защитой леса.

Солнце скрылось за лесом, всё вокруг стало фиалковым, сизым, как туман над водой. И показалось мне, что вокруг меня не польнь и не дикий клевер синеют, а жито, пшеница, кукуруза, ячмень раскинулись на большом колхозном массиве, шумном и широком, как море.

Руки мои ощупывали пенёк, будто пробовали, крепко ли он сидит в земле. «Как бы он ни сопротивлялся, против нас ему не устоять», — подумал я, и кровь прилила к лицу от этой мысли. Не устоять! Можно всё это выкорчевать, запахать, засеять, и колхоз получит дополнительно не меньше, чем сотню гектаров хорошего пахотного поля.

Что со мной творилось! Не сиделось на месте, хотелось сейчас же кому-нибудь рассказать, с кем-то посоветоваться, поделиться радостью. Бы и сами, наверное, догадались, что прежде всего я подумал о Марии.

Тем временем совсем стемнело. Я шёл напрямик к таборному костру и думал о том, какая счастливая мысль пришла мне в голову, какая большая работа открывалась передо мной и моими товарищами.

Иногда я спотыкался о корень или о гнилой пенёк, и под ноги мне сыпались гнилушки, светившиеся в темноте золотыми угольками.

«Хорошее удобрение будет», — шептал я, набирая полную горсть гнилушек и поднося к глазам.

Вокруг костра собрался почти весь «штат» лагеря. Мария тоже была здесь, но я не мог с ней поговорить. Все слушали Доринку. Она не раз уже рассказывала о том, как убежала из немецкого плена. И хотя и знали её рассказ почти наизусть, заслушавшись, позабыли о костре, который начал понемногу гаснуть, только куча углей ещё ярко светилась.

Санька первый сорвался с места, схватил топор. Ударяя по дубовому пню, топор отскакивал, будто от наковальни.

— А ну, обрубай коренья! — скомандовал я. — Саня, беги за ломом, сн у меня в шалаше, возле двери.

Вскоре толстые корни свиша были обрублены, и мы трое, навалившись на лом, начали поднимать пень.

Затрещали, разрываясь, тонкие корни, посыпалась гнилая кора, пень закрихтел, закачался под ломом и одной стороной так стремительно поднялся над землёй, что мы чуть не упали на него.

Тогда мы зашли с другой стороны... и вот уже перед нами зияет глубокая яма, из которой врассыпную бегут покрытые пылью и мохом жуки, а пень, как огромный паук, лежит рядом, поджав под себя волосатые корни.

— Теперь мы тебе покажем, — сказал Саня, пнув его ногой, — теперь ты, голубчик, наш. — И ударил по пню топором.

— А что если бы все так, — вытирая мокрый лоб, спросил я у Тараса, — чтоб ни одного не осталось?

— Можно и все, — спокойно ответил мне парень, осматривая другой пень, будто собирался заняться им. — Только всем колхозом. И без тракторов, конечно, здесь не обойтись.

Мне стало очень весело и легко от его слов. Может, от того, что это был первый ответ на дорогие мне мысли? В этих словах, в этой спокойной уверенности сына покойного Гната я почувствовал как бы твёрдую опору. Да! Молодость идёт впереди нас.

Поздно вечером я рассказал Марии о своих планах, и мы с ней говорили до утра.

Вы ведь знаете мою Марию! Ей только дай помечтать, она вам такого нараскажет — заслушаешься! И про то, как люди в нашем колхозе через двадцать лет жить будут, и как электрические машины сами будут всю тяжёлую работу делать — и молотить, и косить, и бельё стирать, и хаты белить... А тут тебе не когда-нибудь, а хоть завтра начинать — есть на чём себя показать.

Перед рассветом я оседлал коня и отправился к Бернику. Хотя я в село приехал, когда солнце ещё не взошло, Ивана уже не было дома. Текля собиралась уходить в ясли, где она работала заведующей; Ивась сладко спал на широкой кровати, подложив под голову книжку, которую, наверно, читал перед сном...

— Иван в кузню поехал, — сообщила мне Текля, — там сегодня новый движок устанавливать будут

В кузне, действительно, молодой Платыка возился с движком, но Иван уже успел здесь побывать и отправиться дальше: не то на строительство фермы, не то в правление к телефону. Я поехал на ферму, и как только завернул за угол, увидел Ивана: он, Пилип и молодой Крихта стояли наверху, на стропилах и о чём-то горячо спорили, то и дело забирая друг у друга из рук потрёпанный план на синей кальке.

Они так увлеклись разговором, что не заметили, как я влез на стропила, и очень удивились, увидев меня.

— Откуда ты взялся, — с неба, что ли?

— С неба, — ответил я, — да ещё вдобавок с седьмого.

Я тут же рассказал им о своих планах. Берник обнял меня:

— Молодчина, Танасий! И как это тебе пришло в голову? Надо сообщить об этом в район.

— Не я — другой бы додумался, — ответил я. — Незаменимых-то нет! — И тут же шепнул: — А за то, что сыну письма душевные пишешь — спасибо, Иван, от всего сердца спасибо. — И сунул ему в руки журнал с письмом.

Берник улыбнулся и, положив мне на плечо руку, звонко, как в молодые годы, запел:

Ой да два нас, паренёк,

Два нас, да два нас—

Передний край

Я думаю, товарищ, вам интересно знать, что было дальше с Чёрными пеньками?

Много воды утекло в Черемоше с того вечера, когда мне пришлось на ум увеличить наш колхозный массив. — до того дня, когда осуществилась моя мечта...

Прежде всего, надо вам сказать, что в августе 1946 года вернулся домой Семенко. Недели за две до его приезда бригада Хорбута закон-

чила пристройку к Мотриной хате — в две комнаты с отдельным крыльцом. Софийка, наверное, успела написать об этом своему жениху, потому что он, прибыв из Черновца ночным поездом, пришёл со станции прямо туда, а не домой, чем, конечно, немного обидел меня. Мария тоже, конечно, надеялась, что он раньше к нам придёт, но сделала вид, будто так и надо было.

Если подумать, то оно, конечно, так: стояла ночь, а хата Мотри была ближе к станции, чем наша; кроме того, там были две его собственные комнаты, а наша новая хата ещё не была закончена (об этом он знал из писем). К тому же на другой день он сразу, даже не позавтракав, пришёл к нам в гости. И всё же, что вы мне ни говорите, а первую ночь после такой разлуки мог бы он в отцовской хате переночевать!

Вскоре начались в нашем селе большие дела, о которых наши внуки своим внукам с уважением будут рассказывать...

Ещё задолго до уборки каждому, кто смотрел на наши поля, было ясно, что в колхозе, хотя и не очень высокий, но приличный будет урожай, даже лучший, чем в прошлые годы.

У единоличников было хуже. Я уже не говорю об участках, которые когда-то принадлежали беднякам и многие годы не вспахивались: посадит какая-нибудь вдова среди бурьяна в неспаханный грунт кукурузу — что бог даст, то и уродит, ведь ни коня, ни плуга у неё никогда не было. Даже на бывшей кулацкой и панской земле, которая лучше обрабатывалась, не получили единоличники почти ничего, потому что вспахали мелко, унавозили по привычке как-нибудь, посеяли поздно, а дождей весной не было. Вот и получили одно горе — ни зерна, ни соломы.

На что уж кукуруза стойка, не боится безводья — и та выросла мелкой и редкой, ещё дозреть не успела, как листья на ней уже высохли, так что звенели, как ржавая жесть. А грунт под ней такой, что и ломом не пробьёшь.

Единоличник как взглянет на свою нивку, так потуже затягивает пояс, харчи экономит, над каждой крошкой дрожит, потому что зимы больше смерти боится.

— Как же мы зимовать будем? — спрашивали Ивана единоличники, — всё ведь чисто повыгорело...

— Государство поможет, — твёрдо отвечал Берник, хотя никакого постановления об этом ещё в то время не было.

Люди из уст в уста передавали его слова, до поздней ночи обсуждали их, спорили друг с другом, и все сходились на том, что парторг говорит правду: не могут они погибнуть при советской власти.

В то лето слово «колхоз» единоличники произносили уже не со страхом и удивлением, как весной, а с уважением и завистью, а ещё чаще — с надеждой. Теперь это было уже не только слово, не только название, а живая жизнь, которая сама говорила за себя.

Ещё с весны на длинных заборах белели выведенные мелом слова: «Буковинцы, вступайте в колхоз!» Теперь, кроме этих слов, в колхоз звали и наши хлеба, высоко стоявшие рядом с убогими нивками единоличников.

— Вон они, агитаторы наши, — показывал Берник на жита и пшеницу, которые дружно заколосились и налились зерном, несмотря на засуху.

Иван вернулся из района, и Пилип созвал внеочередное заседание правления с активом.

На повестке дня стоял один вопрос, но и его хватило, чтоб просидеть до глубокой ночи: «О помощи единоличникам во время осенней вспашки». Старый Хорбут, как всегда, не прося слова, сразу же высказался:

— Ага, поумнели! На готовый хлеб губа найдётся!

Его долго не удавалось утихомирить. Перебивая других, старик громко возмущался:

— Не слушали Хорбута, когда он призывал: записывайтесь в колхоз! А теперь у Хорбута же помощи просят. А дули не хотите?

— Не у Хорбута, а у колхоза, — строго поправил его Пилип. — И не просят, а мы сами должны им помочь. Не хлебом, конечно, на это у нас и силы нехватит, а тяглом, советами, руководством...

— Ещё лучше, — закричал старик, — возьми наших коней, а мы тебе ещё и поклонимся за то, что взял и не выругал!

— А что, разве не так? — поддержал его Винцусь. — Вопахать им поможем, а сеять чем они будут? Может, мы им и трудодни отдадим, а сами на пилораму подадимся?

— Зерно государство даст, — сказал Берник, — об этом можете не беспокоиться. А к будущему году надо уже сейчас готовиться. В райкоме тоже говорят, что мы должны помочь единоличникам вспахать под озимые, но не так, как они привыкли, а по-колхозному. Вот только скажите, хватит ли у нас силы и для себя всё сделать, и помощь оказать так, чтоб не осрамиться...

— Одно интересно, — выкрикнул Хорбут, — какое за это «спасибо» будет?

— А такое «спасибо», — отвечал Иван, — что мы в этом году двадцати поможем, а в будущем сорок в колхоз придут!

Началось обсуждение. Всё, что мы должны были вспахать для себя, сейчас надо было сделать втрое быстрее, чтобы своевременно прийти на помощь соседям. Сами понимаете, что нашлись такие, которые не обрадовались, услышав эту новость. Было ещё у нас немало несознательных.

Но Берник так повернул, что речь шла не только о помощи соседям, о сочувствии им, а о нашей колхозной славе, о колхозной гордости!

Как ни спорили, а сошлись на том, что «не посраим колхозную честь».

Заседание кончилось, но никто не торопился уйти.

В это время к правлению подъехала машина, из неё вышли секретарь райкома товарищ Мирошниченко и незнакомый человек с орденом Ленина на чёрном пиджаке.

— Знакомьтесь, товарищи, — сказал секретарь. — Это академик Крученых, представитель государственной комиссии по земельным вопросам на Буковине. В Черногузах его интересует район предгорья...

— Предгорья? — переспросил я так громко, что все с удивлением посмотрели на меня.

Молодой человек пожал нам руки, вынул из портфеля карту и план района и, расстелив их тут же на широком подоконнике, начал объяснять, что именно интересует его. Он говорил, что комиссия работает над вопросом: каким путём увеличить у нас площадь пахотных земель. Природа неравномерно распределила свои богатства: на Кубани вы и кустика не встретите, а здесь, в предгорных районах, — неоглядные леса и кустарники, негде развернуться зерновому колхозу...

— Вот мы и думаем над тем, — сказал академик, — что пора бы этому лесу отступить немного и освободить землю для пахотного поля. В первую очередь даже не лес, а кустарники и пни, из-за которых и лес не растёт, и пахать невозможно...

Дальше я уже не мог спокойно слушать: то, что он говорил, было передумано мною сотни раз и не давало мне покоя.

— Чёрные пеньки! На Чёрные пеньки посмотрите, это ж они и есть! Их корчевать надо! — закричал я, не подумав в то мгновение, что не-

удобно перебивать такого уважаемого и образованного человека. И рассказал я тут ещё раз о том, сколько площади может быть использовано для пахотного поля (полтора гектара! — я же всё перемерил своими ногами за лето). Я даже назвал, сколько пеньков на каждом гектаре (от девяноста до ста двадцати) и добавил, что треть из них гнилые, с которыми и делать-то нечего, но есть и такие, что попотеешь возле них.

Я говорил очень долго, но никто ни разу не перебил меня.

— Это закономерно, — сказал представитель, когда я закончил, — это закономерно, что мысль народа совпадает с передовой наукой. Ваши данные, с которыми я познакомился в районе, — обратился он ко мне, — соответствуют нашим общим наблюдениям. У нас есть уже данные по более широкому массиву, — и он провёл пальцем по карте через всё предгорье...

В воскресенье у колхозной кладовой раздавали единоличникам государственную помощь зерном (было объявлено такое постановление), а в понедельник утром наши колхозные кони и быки вышли в поле.

В супрягах с единоличными лошадьми, а то и отдельно от них, шли впряженные в плуги наши гнедые и буланы.

Кишкан, Данилюк, Ефтемий, Дикун, Лукавица, Чертковский — все, кто вздыхал и покачивал головой, когда мы весной записывались в артель, сейчас следовали за плугами, счастливые и немного смущённые.

Сколько на свете буду жить — не забуду случая, который произошёл на участках Платыки и Матеика в тот день, о котором я сейчас хочу вам рассказать.

К клочку земли, который получил Матеик от отца, прирезали ему в сороковом году ещё от панского поля, и теперь его земля граничила с колхозным массивом. Соседу же Матеика — Платыке — к его земле добавили кусок от Бережана, но на другом краю села, потому что он просил под огороды, чтобы к воде было ближе.

Матеик только начал пахать, а Платыка стоял поодаль, опершись на крест, и смотрел, как рядом с колхозной кобылой «Чапейкой» идёт его конь по соседской полоске, и не верил своим глазам: как под тем конём земля не провалится.

Навстречу Матеику по колхозному полю Семенко вёл трактор и уже приближался к проволоке, которая разделяла нашу и единоличную землю.

Заглядевшись на мощный ХТЗ-НАТИ, Матеик остановил коней и, как зачарованный, стоял, не двигаясь. Трактор немного не дошёл до межи и начал разворачиваться.

— Эй, — закричал Матеик, размахивая шапкой, и отвернулся от меня, словно стыдясь свидетеля. — Эй, Семенко! Слышишь? Не поворачивай! И мою землю перепаше!

Семенко обернулся, но не понял, а может, и не расслышал. Тогда Матеик, оставив плуг, побежал к нему по стерне.

— И мой перепаше, — кричал он, показывая рукой на землю. — Хочу трактором! Чтoб и мой, как у людей. Подаю заявление в колхоз! — повернулся он ко мне. — Скажи сыну, пусть не поворачивает!

— Давай вперёд! — скомандовал я. — На мою ответственность перепашивай межу.

Семенко выравнивал трактор, и через минуту ржавая проволочка разорвалась, как тонкая паутина, а Матеик бросился убирать концы, чтоб не путались под колёсами.

— Место освобождай! — закричал Семенко.

Матеик быстро отвёл коней на шлях и, не выпрягая их, смотрел на прицепные плуги, которые выворачивали чёрные лоснящиеся пласты.

Платыка, который за это время не сказал ни слова, вдруг ударил кнутом по голенищу и, топнув ногой, как в гопаке, пронзительно крикнул:

— Ге-йя! Давай! И мою перепаживай! Подаю заявление! Если он — так и я! И у жены не спрошу: что, разве я не хозяин?

Семенко вытер пилоткой вспотевший лоб и, уже не спрашивая, даже не взглянув на меня, перемахнул через неглубокую канавку и двинулся на поле Платыки.

Платыка стоял почти рядом с Матеиком и смотрел, как трактор, сделав последний заход, разворачивался, чтоб повернуть обратно.

Теперь уже не было межи ни между колхозным массивом и участком Матеика, ни между полосками Платыки и Матеика. Всё вокруг креста было вспахано, всё было чёрное, только возле каменного подножья желтело неспаханное пятнышко, покрытое увядшим старым бурьяном.

Хотя Платыка и Матеик не сказали друг другу ни слова, я верил, я знал, что это пятнышко под крестом было всё, что осталось от их старой страшной жизни.

І-буде син, і буде мати..

Весной прошлого года, когда мы Известковую балку засыпали и липами молодыми её засаживали, приехала к нам в село делегация румынских крестьян. Среди них было несколько человек из Кимпылунгского уезда. Мы встретили делегатов около сельсовета и повели показывать колхоз. Только подошли мы к балке, то есть к тому месту, где когда-то была балка, как услышали шум.

Гости спрашивают: что такое? А я ответить не могу, потому что и сам ещё не знаю, что там делается. Подошли мы поближе и видим, что на площади стоят наши комсомольцы, и Хорбут дирижирует ими, как хором. Оказывается, старый Хорбут вздумал, шутки ради, «перекликаться», как в прошлые времена.

— А правда ли, — кричит, — что у вас, «мельников», три души на воскресник не вышло, до обеда после кино отсыплются?

— А правда ли, — отвечает с другой стороны внучка Хорбута, — что вам землю лень было носить, так вы свой край мусором засыпали, а теперь он весь осыпается?

— Громче кричи, — приказывает Хорбут, — разве «мельники» так кричали? Нужно, чтоб до самой Выжиновки слышно было.

Киваю ему, показываю, что здесь посторонние люди, не время такой крик поднимать, — где там! И глазом на меня не повёл, так разошёлся.

— Поговори с ним сам, — говорю Бернику, — а я их на электростанцию поведу.

Ну, показал я им и клуб, и хату-лабораторию, и зерносушилку, и к Текле в детские ясли повёл. Разве перечислишь всё, что я им за день показал? Известное дело, жизнь идёт вперёд, и если в будущем году из Венгрии, а может, и из более далёких мест кто-нибудь к нам приедет посмотреть, то мы им ещё больше покажем. Например, Чёрные пеньки — выкорчеванные, запаханые и засеянные с осени на раннем пару.

Может, некоторые и не понимают даже, как это оно у нас получается. А нам, признаться, как-то странно, что они удивляются, потому что мы уже и сами иной жизни представить себе не можем.

Однако должен вам сказать, что румыны, осматривая наше село, не так удивлялись, как я, впервые услышав от очевидцев о колхозах.

У них, видите ли, тоже по-новому жить начали: кооперацию земельную организовали, панов побеспокоили — дескать, не век вам, толстопузые, на чужом горбу ездить, — а теперь и к кулакам подбираются...

Посмотрел я на делегатов, послушал и подумал: неужели эти честные, работающие руки могли против меня оружие поднять? А поднимали всё-таки! Хоть и не по своей охоте, а шли на чужое, вместо того, чтоб у панов своё отобрать.

Не успел я об этом подумать, как Винчучиха чуть не осрамила нас. Зашли мы на колхозную ферму, где Мария хозяйничает. Светло, чисто, над каждой кормушкой табличка висит: «Краля», «Зозулька», «Красолька», и рацион записан. Зиночка в первый же год ввела порядок, чтоб к каждой корове был «индивидуальный подход».

Ну, один делегат и спрашивает:

— При пане здесь тоже ферма была?

Винчучиха тут и ввязалась:

— Новое, товарищ, всё новое, — говорит. — И ферму, и конюшню, и клуб — всё, как есть, во время войны сожгли проклятые румыны...

Сказала «румыны» и поперхнулась, делает вид, что кашель ей мешает, — догадалась, значит, что не с той стороны заехала.

А один седоусый румын, похожий немного на Сорохана, положил ей руку на плечо и говорит:

— Не кашляйте, бабушка, потому что вы правду сказали. Но не будет уже того, потому что румыны теперь не те.

Эх, почему они, делегаты, не приехали этой весной? Показал бы я им, как мы Чёрные пеньки штурмовали!

Если хотите знать, какие самые счастливые дни в моей жизни, так запишите, товарищ, их в свою книжечку. Я их до последнего дыхания не забуду. Третьего мая меня в партию приняли, а четвёртого начали мы Чёрные пеньки штурмовать.

Случалось ли вам когда-нибудь на широком поле двигаться с косой впереди цепочки косарей? Вчера, когда за кем-то косил, работал как будто не хуже других: широко брал косу, легко пускал под самый корень. А сегодня — впереди пошёл и всё тебе другим кажется.

Глаза внимательно вперёд глядят, а уши прислушиваются: как там сади? Не отстал ли кто? Ровно ли идут за тобой косари?

Камень заметишь или железину какую-нибудь под ногами, так не то что, когда последним идёшь, обошёл — и всё. Нет. Оглянись и знак рукой подай, предупреди, чтоб кто-нибудь косу не сбил и не выщербил. Потому что ты сейчас не просто косарь, а передовой косарь. Чувствуешь, как на тебя все смотрят, равняются на тебя, ждут твоего знака.

На пятки тебе наступают — позор. Забежал вперёд, оставил косарей далеко позади, — тоже негодный из тебя вожак.

Трудное это дело быть передовым. Но слабое оно и дорогое, если всю душу в него вкладываешь. Десять человек ведёшь за собой — десять сердец в тебе бьются, сила десяти пар дружных рук в твоих руках. Десять тысяч ведёшь — всё равно за всех болеешь, радуешься, волнуешься... Вот что такое быть передовым!

Как же мне рассказать вам, что я пережил и передумал, слушая на бюро райпарткома, как Берник, Никита Петрович, выжиновские коммунисты друг за другом выступали и говорили обо мне, что я, Танасий Карпюк, теперь передовой человек, и что они от чистого сердца рекомендуют меня в ряды большевистской партии...

Доброе слово сказал обо мне и товарищ Гапий. Теперь он в Черновцах директором фабрики.

Вот я вам день за днём о нашей жизни рассказываю, потому что вас не только Танасий Карпюк интересует, а всё наше село, — как в нём люди жили и как сейчас живут. А начал я на бюро автобиографию излагать, — будто и говорить не о чем: родился, женился, в Америке пять лет горевал и здесь бедовал долгие годы, а теперь хорошо живу, в колхозе работаю... И выходит такая короткая биография, что и признаться стыдно.

Зато они, поручители мои, всё сказали, ничего не пропустили. И как «Скынтейлю» читал и распространял, и как с кулаками боролся. Вспомнил Берник даже о том, как я отказался от денег Худика, которые он мне на хату давал. В моей хате, которую оккупанты спалили, была явка, и об этом тоже говорили немало, и о том, как в правлении активно работаю и как за скотом колхозным смотрю... Послушал я: и в самом деле, не зря на свете человек живёт, есть за что добрым словом его помянуть.

А подумаешь, поразмыслишь, как следует, — что я такого сделал, чтобы меня за это хвалить? Разве ж было у меня две дороги? И появилась ли хоть раз у меня мысль спрятаться где-нибудь в норе и выглядывать, дожидаясь конца, когда чужеземцы топтали нашу землю? И разве колхозу я отдал свои силы не для того, чтоб наши дети и внуки вовек не знали такого лиха, какое довелось мне с малых лет вдоволь хлебнуть?

А когда за меня проголосовали, я поднялся и сказал: «Обещаю все силы отдать... оправдать доверие...». Тут что-то мне горло так сжало, что не мог и слова сказать.

Ночью я долго уснуть не мог, а только рассвело, был уже на ногах.

В шесть часов и люди и машины были уже на месте. Посмотрел я на тракторы — их десять штук из МТС прислали — послушал, как они начинают свой моторный разговор, будто советуются между собой, поздоровался за руку с трактористами (меня правление начальником на этих работах назначило) — и подумал: «Не мешкай, командуй, Танасий, дождался ты-таки счастья, настал твой день!»

Подошёл Семенко в военной форме при всех орденах (он был уже старшим механиком МТС, но сам сел на трактор, чтобы отцу уважение оказать). Берник тоже, как когда-то, идя на весенний слав, надел вышитую сорочку; пришли женщины с детворой, духовой оркестр собрался у пригорка. Только Марии со мной не было в это утро. Чуть свет она вместе с Мотрей и Семенком пошла провожать Софиюку в больницу и осталась там ждать: внук или внучка?

— Ты бы, сынок, ещё раз съездил туда, — сказал я Семенку, видя, как он волнуется, — какой из тебя сегодня работник?!

— Нет уж, останусь. За работой как-то быстрее время идёт, ожидать легче. — И пошёл к своему трактору...

Я поднялся по склону на пригорок, где сидел, когда впервые пришло мне на мысль отвоевать эту землю у кустарников и пеньков; вслед за мной поднялись Берник, новый наш председатель Крихта и товарищ Мирошниченко, секретарь райкома; Мотря Крикливец вынесла на высотку знамя колхоза. Берник принял его из рук Мотри.

Речей не было. Но как только знамя зашелестело под ветром, встрепенулся духовой оркестр, и Вася Величко, наш агротехник, махнул ребятам-музыкантам: давайте!

Люди стояли с непокрытыми головами.

Знамя то зыбилось, как вода на пруду, то разворачивалось и шумело, как море.

«Слава Союзу Радянському, слава», — выговаривали трубы, —

«Слава Вітчизні народів-братів», — отбивали литавры, хлопая серебряными ладонями. «Живи, Україно, Радянська держава» — шелестел бархатный стяг над головами колхозников, — «Воз'єднаний краю навіки віків» — слышалось и в грохоте тракторов ХТЗ, и в гудении ворошиловградских паровозов на далёкой железной дороге. Шумел вершинами буковинский лес на Карпатах..

Я трижды взмахнул шапкой, и атакующие двинулись с трёх сторон.

От Известковой балки и от песков пошли тракторы с прицепными плугами. «Корчевальники» с лемехами специальной закалки и прочными рамами легко выгребали пеньки толщиной в двенадцать-пятнадцать сантиметров.

Девчата стаскивали пеньки в одну кучу и жгли их. Густые дымы поползли от костров, низко стелясь над равниной, оседая в неглубоких впадинах и ямах, оставшихся от выкорчеванных пней.

С полчаса побыл я на этой стороне, потом поехал на широкую поляну в лесу, где ещё на моей памяти стояли коренастые дубы, которые Гелка вырубил для продажи, откупив у Бильграйфа лес. Тут почти не встречались гниляки и мелочь, пни были толстые, твёрдые и крепко держались за землю.

Каждый такой пень перед корчеванием подкапывали, обрубали вокруг него «лапы», то есть боковые толстые корни, петель или крюками прицепляли стальной трос и трактором вытаскивали из земли.

По плану всё было просто: выкорчевать пни на площади в 156 гектаров, по раскорчёванному мелко вспахать и оставить под ранние пары, а осенью, после лущёвки (чтоб и корешка от бурьяна не осталось) вспахать как следует, сантиметров на двадцать семь, а потом, как полагается, забороновать и посеять на этом месте пшеницу.

Имея десять тракторов, корчевальные плуги и таких хороших работников, как наши колхозники, мы могли надеяться, что если не через пятнадцать, то через восемнадцать дней уже будем пахать эту площадь.

Но пни не хотели так легко подчиняться нашему плану. Они крепко держались когтистыми лапами за грунт, притупляя стальные топоры, зажимая между корнями железные ломы, брызгая в глаза колючим дождём мелких щепок. Мёртвое не хотело давать место живому, и всё-таки живое наступало и побеждало.

Перед глазами у нас были лапчатые, раскоряченные пни, но мы уже видели на их месте зелёное море колхозного поля, а в стуже топоров и в гудении моторов слышали шелест пшеницы.

Я смотрел на наших людей, на их дружную и упорную работу, и мне подчас не верилось, что среди них есть такие, которые два-три года назад цеплялись за свою истощённую полоску, верили сплетням каких-то побирушек, боялись всего нового, непохожего на тяжёлую и бесправную жизнь их предков.

У самого склона, на свежесрубленных кустарниках, где ещё неделю назад подготовили место для корчевания, я увидел старого Хорбута. Вернее сказать, сначала услышал его.

— Голову надо иметь на плечах, а не тыкву, — кричал он на молодого Платыку и на Тараса Крикливца, — разве так высоко можно рубить? Споднизу подрубайте! Или мне надо за троих тут работать?

— Сами ж, дедушка, видите, что с этой стороны неудобно, — оправдывался Тарас, — если бы с той стороны зайти, тогда совсем другое дело.

Пень склонился над ямой, а его толстые корни впились в окаменев-

ший грунт нависшей стены. Подступиться к нему и в самом деле было не с руки.

— Может, сначала засыпать яму хотя бы до половины, а потом уже подрубать, — осмелился я подать совет, хотя заранее знал, что Хорбут не примет его.

— Если у тебя много времени, так засыпай, а у нас план есть, — пробормотал он насмешливо. — Выкорчуем пенёк, она сама собой завалится.

— Аммональчику бы сюда или толу, — сказал Платыка, недавний сапёр в армии.

— Цепляй трос! — закричал тракторист. — Пятый год без простоев работаю, а вы меня, как коня, тут привязали!

— Не вытащишь, — мрачно ответил Хорбут, — вон какие лапы ещё не подрублены. — Однако начал цеплять трос.

— Давай! — махнул я рукой, проверив, хорошо ли закреплено.

— Ещё проверяет, — обиделся Хорбут, отойдя в сторону.

Мотор запыхтел, трос задрожал, натянулся, и петля врезалась в пень. Затрещала и посыпалась кора, из-под левой «лапы» посыпалась в яму земля.

— Газуй, не жалей! — крикнул Тарас трактористу, и нам в лицо ударил густой едкий дым...

Вскоре и этот участок был расчищен. Ниже начинался молодой лес, где из-под кустов выглядывала трава-копытняк, а среди ёлочек белели дикие груши...

— Посмотрели и хватит! Пошли дальше! — кричал Хорбут на своих подручных. — Здесь вам не кино, чтоб смотреть!..

— Идут, — услышал я возле себя встревоженный, хриплый от волнения голос Семенка, — мама идут...

Я обернулся и увидел Марию. Она почти бежала, спотыкаясь о выкорчеванные пеньки, а Семенко, опершись о бочку с горючим, не сводил с неё глаз и не двигался с места, будто врос в землю.

Я рванулся было навстречу Марии, но она уже была почти рядом, будто не замечая меня, подбежала к Семенку, остановилась за шаг от него и, задыхаясь, сказала шёпотом:

— Сын! — и заплакала.

Семенко ещё какую-то секунду не двигался с места, потом широко шагнул к Марии и обнял её.

— Не плачьте, мамо, — тихо сказал он, глядя её седеющие волосы, — не плачьте, мамо, все буде добре!

Но она плакала. И как ей было не плакать, когда это были самые лучшие в мире слёзы — слёзы счастливой матери, вырастившей таких хороших сыновей и дожившей до счастливых внуков, которым будет ещё радостней жить на нашей родной, навсегда неразделимой земле.

Авторизованный перевод Л. Шапиро.



ВЕРА ИНБЕР

★

НОВЫЕ СТИХИ

Из цикла «Путь воды»

ПЕРСÉПОЛЬ

Персéполь — скопище дворцов
К юго-востоку от Шираза.
Истлели кости их творцов,
Каменотёсов-верхолазов.

Но славу Дария Гистаспа
Затмил рабочий, чьей рукой
По-царски, с щедростью такой
Холодный камень был обласкан.

Тот мастер, что с таким искусством
Дал поединок двух начал,
Кто торжествующим Ормуздом
Персидский мрамор увенчал.

Ормузд — бог света, тьму разящий,
И Ариман — исчадьё тьмы.
Полугиена-полуящер,
Зверь, помрачающий умы.

Теперь он мистер Ариман
(Он принял форму лишь иную).
Ища плутоний и уран,
Содрал бы он кору земную.

Он ампулы чумных бактерий
В карманах носит пиджака.
Материки несут потери
От колорадского жука.

На вылощенных лапах кровь
У господина Аримана.
Заводы Рура, нефть Ирана,
Сталь, уголь — всё ему готовь.

Он мирные поля страны
Бросал под гусеницы танков.
И снова факелы войны
Горят над капищами банков.

Грозит он зонами пустынь
Полям и рощам многолистным.
Но людям честным и простым
Война враждебна. Ненавистна.

Не бронированный кулак
(Им не удержишь и мотыги),
Не он лелеет хлебный злак,
Возводит зданья, пишет книги.

Не он, давая жизнь росткам,
Таким беспомощным и малым,
Ведёт всё дальше по пескам
Сеть оросительных каналов...

Минует срок военной службы,
Но сохранится навсегда
Рука, разжатая для дружбы
И собранная для труда.

Чтоб на любой из параллелей
Глубоким миром осенён
Был лепет детских колыбелей
И стариков дремотный сон.

Чтобы на выставке игрушек,
Глядим — а их уж нет как нет,—
Ни сабель, ни штыков, ни пушек,
Окрашенных в защитный цвет.

Дышать мы будем полной грудью
Прозрачным воздухом высот.
И ласточка гнездо совьёт
В стволе последнего орудья.

Но успокаиваться рано,
Ещё не кончен, длится бой.
И мы, читатель-друг, с тобой
С Ормуздом — против Аримана.

Нас ждёт победа. Но пока —
И кистью, и резцом, и лирой,
Пусть нами славится рука,
Вооружённая для мира.

ДЕТСКИЙ САД

Отвоёванный у пустыни,
Скрытый зеленью детский сад.
Над верандою, в небе синем
Грозди розовые висят.

С новорожденного ребёнка
Весом будет иная гроздь.
«Ну и райская же сторонка!» --
Воскликает заезжий гость.

Не природа наколдовала
Красоту этих дивных лоз,
А Ферганским Большим каналом
Щедро был орошён колхоз.

И колхозники первым делом
Детям отдали лучший дом.
Алебастровый аист белый
Охраняет их водоём.

И с восторгом глядят ребята,
Головёнки свои пригнув,
Как в водице голубоватой
Отражается красный клюв.

Сколько длительных нужно было,
Сколько огненных дней труда,
Чтобы в этой прохладе милой
Заиграла с детьми вода.

Чтобы в маленькой тубетейке
Пятилетняя Сабохат,
Поливая цветы из лейки,
Лепетала с водою в лад.

Чтобы радости полной мерой
Пил, как свежесть речной струи,
Мальчик, названный Алишером
В честь великого Навои.

А пока ещё не велик он,
Не справляется с буквой «эр»,
Он шалун ещё. «Подойди-ка,
Поздоровайся, Алишер»...

Осень, осень в Узбекистане:
Ночью — холодно, днём — жара.
Хлопок спит ещё. Но местами
Просыпаться уже пора.

Прихотливый, теплолюбивый,
Неуступчивый, как алмаз,
Многokrратно он ждёт полива:
Поливай его много раз.

Чтобы был этот куст прилежен,
Чтобы он, без иных забот,
Был коробочками обвешан,
Словно ёлка под Новый год,—

Помогай ему распушиться,
Не жалея для него труда.
Наша северная пшеница
Обходительнее куда.

Но когда он добром ответил
На труды человеческих рук, —
Белый хлопок — и сам он светел,
И светло от него вокруг.

Меж полей, на колхозном стане,
Стол, скамья, небольшой навес.
Хлопок держит здесь испытанье
И на качество, и на вес.

Утрамбованная площадка
До соринки подметена.
В небе — тоненькая, как прядка,
Молодая стоит луна.

Точно втайне облюбовала
Это место на небесах,
Под которым уже немало
Хлопка взвешено на весах.

Белым золотом серебрится
За день собранная гора.
Удивительный свет на лицах
В эти ясные вечера.

Хлопок собран до килограмма,
И в народе идёт молва,
Что на днях уже телеграмма
Будет послана: «Кремль, Москва».

А луна собралась в дорогу:
Урожаю хвала и честь,
Но в Союзе — республик много.
И повсюду успехи есть.

Да и хлопок не только житель
Андижана и Ферганы,
Он выходит, как победитель,
На великий простор страны.

Все сорта его и оттенки
У отечества на счету.
Хлопок с нефтью в одной шеренге.
Он с металлом в одном ряду.

От батиста до целлюлозы
В нём основы заключены.
Он для города и колхоза,
Он для мира и для войны.

Он в коробочке силу прячет,
Чтобы громом взрывных работ
Был ещё один, новый начат
Путь, которым вода пойдёт

Чтоб, отторгнувший у пустыни,
 Вырос в зелени новый сад,
 Где в безоблачном небе синем
 Грозди розовые висят.

ПЕРСИК

Был тонок, тоньше тросточки,
 И ростом невысок
 Из персиковой косточки
 Поднявшийся росток.

От засухи едва живой
 Карабкался юнец.
 И все, качая головой,
 Решили: «Не жилец».

Ещё врага широкий клин
 Над Волгой нависал,
 Ещё фон Паулос в Берлин
 Реляции писал, —

А был решён уже в Кремле
 Проект Фархадской ГЭС.
 Уже на кальке, на столе,
 Был дан её разрез.

Изображён был путь воды:
 Край изменил лицо.
 Здесь были целые сады,
 Не то что деревцо.

Их окаймляли тополя
 Зелёною стеной.
 Хлопчатник покрывал поля
 Роскошной сединой.

Завод там вырос, Беговат,
 Где, совершая труд,
 Десятки тысяч киловатт
 По проводам бегут.

Где излучает сталь в ковше
 Солнцеподобный свет,
 И сталевар, с огнём в душе.
 Сияет ей в ответ.

Голодная лежала степь,
 Как слёзы, солона.
 Теперь довольно ей пустеть,
 Ей будет жизнь дана.

Большие, новые места,
 Расти им и расти!
 Их надо было в жизнь с листа
 Теперь перенести.

И приступает Фархадстрой
К Большой Фархадской ГЭС,
Но трудности росли порой,
Казалось, до небес.

То лютый ветер валит с ног,
На всё кладёт запрет.
Не выпускает за порог,
Да и порога нет.

Землянок временный приют
Не греют очаги,
Оконца света не дают,
Несладко — хоть беги.

В пещере, где встречал Фархад
Красавицу Ширин,
С трудом был размещён отряд
Строителей плотин.

Не делается эта быль
От времени бледней.
Легенды золотая пыль
Тускнеет перед ней.

То сорок градусов в тени,
Змеинный блеск песка.
В арыках — трещины одни,
Казалось, смерть близка.

То превращается вода
Из друга во врага.
Минута каждая тогда,
Секунда — дорога.

Миг — и плотину бы снесло,
Гнев Сыр-Дарьи велик,
Не хочет в новое русло,
А человек велит.

Заклокотала Сыр-Дарья:
«Сейчас я упраздню
И человека-муравья,
И всю его возню».

Но над Большой Фархадской ГЭС
Встал человек-титан.
Пошёл реке наперерез,
Ответил ей: «Не дам!»

С лопатой, кетменём, киркой,
Под гул, и плеск, и свист
Рванулись на борьбу с рекой,
И первым — коммунист.

И был повёрнут вековой
 Реки могучий ствол.
 И разъярённый, грозовой,
 Стихает ропот волн.

Уже они бегут, стремясь
 Свой обновить приют,
 Уже, воркуя и смеясь,
 Свои воронки вьют.

А у плотины головной
 Они, как водопад,
 Дымятся радугой двойной
 И жемчугом кипят.

Вспоённые Фархадской ГЭС,
 Селенья зацвели.
 То был не мнимый рай небес,
 А зримый рай земли.

Корзину персиков в Москву
 В подарок шлёт колхоз.
 Их погрузили в синеву,
 Их самолёт унёс.

Узбечка, девушка-краса,
 В одежде из шелков,
 Разделена её коса
 На двадцать ручейков, —

Махнула лётчику рукой,
 Чтоб был полёт хорош:
 «Друг, не забудь — куда, какой,
 К о м у ты груз везёшь!»

И получает адресат
 Чудесные плоды.
 Взрастил их персиковый сад,
 Цветущий сын воды.

Они извлечены на свет
 И в вазе голубой
 Дипломатический обед
 Украсили собой.

И зарубежный дипломат,
 Галантный, как всегда,
 Отметил вкус и аромат
 Советского плода.

И дипломат, подняв бокал,
 На персик поглядел:
 Плод был наполовину ал,
 Наполовину бел.

Оратор молвил: «Шар земной
Напоминает он,
Который надвое — одной
Чертою разделён».

Но дипломат был близорук,
Он несколько косил,
Благодаря чему не вдруг
Он персик раскусил.

Лишь поднеся его ко рту,
Он понял, наконец,
Что заповедную черту
Перешагнул багрец.

Что пурпур, обтекая шар,
Повсюду проступал.
И гость, утратив речи дар,
Не допил свой бокал.

И был смущён, как никогда,
Тот мистер или лорд.
Хозяин улыбнулся: «Да.
Такой уж это сорт...»

Воскликнем же и мы вслед:
«Такой уж это сорт!»
С лица планеты алый цвет
Вовек не будет стёрт,

Чтобы алеющий Восток
Всё далее стремил
Всепобеждающий поток
Животворящих сил.

Июль 1950 -- январь 1951.



АНДРЕ СТИЛЬ

★

„СЕНА“ ВЫХОДИТ В МОРЕ

С французского

Рассказ

Андре Стилль — молодой французский прогрессивный писатель, активный деятель борьбы за мир. Детство провёл среди шахтёров Вье-Конде. Первый сборник его рассказов «Горняки» вышел в 1949 году. Публикуемый ниже рассказ входит в книгу Андре Стилля, подготовляемую к изданию на русском языке Издательством иностранной литературы.

Если Люану надо приналечь, понатужиться, и он при этом не вы- сунет кончик языка, значит всё в мире перевернулось. Ну вот, готово! Чемодан упакован. Пришлось же с ним повозиться, — сопротивляется, словно живое существо. А ведь и смотреть-то не на что — рухлядь, дряблый, развалившийся коробок. Скрипит, когда нажмёшь коленом на его картонное брюхо, обдаёт запахом сырой бумаги. Ну его! Может, к счастью, служит он хозяину в последний раз. Уж по одному его скрипу чувствуется, что он еле жив. Попадёт разок-другой под дождь — и конец, а уж сколько раз он мок под дождём, особенно в Париже на стоянках автобусов, когда Люан, пристроив свой багаж у ног, старательно прикрывал его полами потрёпанного габардинового пальто, впитывавшего воду не хуже промакашки, а в руке, как драгоценность, держал розовый талончик на очередь, и тонкая мокрая бумажка расплзлась, липла к пальцам, как пластырь; или на крытых перронах вокзалов — крытых только для виду — стоишь на сквозняке, в насквозь промокших башмаках и мокрых до колен брюках; или когда Люан, скорчившись и обхватив свой чемодан, тряся в углу грузовика под грудой смятых и мокрых брезентовых полотнищ, холодных и тяжёлых, как свинцовые листы.

А теперь лежит этот чемодан на деревянном некрашеном столе, битком набитый, с раздувшимися боками, стянутый, скрученный, связанный, как попавшийся бродяга-злоумышленник. Ух! Выпятив толстую нижнюю губу, Люан шумно выдувает воздух, будто хочет согнать муху, севшую на его приплюснутый нос с резким вырезом ноздрей; узкие глаза, словно на ветру, сощурились, и это подчёркивает выражение, свойственное его лицу, — кажется, что он всегда и всем дружески подмигивает. Готово! Вот и всё, что он увезёт из Франции.

Вокруг пусто, голо, прибрано; на тонких деревянных переборках кое-где поблёскивают кнопки, отмечая те места, где висели прежде фотографии или плакаты — вот почти и всё, что осталось. Через несколько часов, когда все, кто ютился здесь, уедут, барак будет свободен — займите новые жильцы, а прежних словно и не бывало здесь никогда. Соломенные тюфяки и одеяла уже сданы; остались одни оголённые

остовы железных коек. Исчезнет и запах человеческого жилья, — неверно, что он держится долго: постоят окна открытыми день-другой, да ещё в такой холод — на дворе январь — и всё выветрится.

Разумеется, самое главное, что увезёт с собой Люан, не в чемодане находится... Ну, хотя бы то, чему он тут научился... В госпитале, где лежал Люан, он привёл в порядок свои познания во французском языке. Прежде он схватывал разные словечки, обороты и выражения — то южного говора, словно натёртого зубчиком чеснока, то наречия северян, тягучего, словно густой кофе со сливками, — многое он успел усвоить с того времени, как стал мотаться по всей Франции, — с зимы 1939 года, с того злополучного утра, когда его и тысячи других вьетнамцев высладили в Марселе для пополнения военных рабочих команд. В госпитале в его распоряжении было много времени и была у него тоненькая книжечка французской грамматики; даже нашлась добрая душа — молоденькая сиделка, почти такая же робкая, как и он, учившая раненого вьетнамца правильному произношению, а это было самое трудное: из десяти слов восемь сначала обязательно клокотали в горле или где-то в носоглотке, как если бы Люан слишком поспешно глотал звуки французской речи, не смакуя их языком, губами, нёбом, не разгрызая зубами, как орешки. В госпитале он пробыл почти два года — такое странное оказалось ранение: неделю ходит, месяц опять в постели. Снаружи всё довольно скоро зажило, затянулось, но того, что было повреждено внутри, так и не вылечили. Осколок снаряда застрял под левой ключицей, и верхушка лёгкого разорвалась, как рыбацкая сеть, зацепившаяся на дне за острый камень, — дыра как будто и небольшая, но крупная рыба постепенно расширит её и уйдёт... Иногда казалось, что его починили, хорошо заштопали — и всё в порядке; неделю-другую Люан бывало чувствовал себя совсем здоровым, его выпускали на прогулку, и вдруг опять схватит такая свирепая боль, словно маленький чёрный осколок, ускользнув от ланцетов и скальпелей, блуждает по всему телу, замышляя выкинуть какую-нибудь злую штуку, переворачивается и старается врасплох подобраться к сердцу. Люан грохался тогда плашмя и лежал, не дыша, с широко раскрытыми глазами; очень скоро это проходило, и он поднимался на ноги, — только набивалась под ногти чёрная южная земля, которую он судорожно хватал руками, да в голове туман, точно с похмелья, и весь он в холодном поту, и страшно было сделать хоть одно резкое движение, чтобы не проснулся притаившийся в теле враг, ежеминутно готовый нанести смертельный удар. Случалось, приступы повторялись день за днём, неделя за неделей. Когда кончилась война, на груди Люана остался только небольшой шрам — красная впадинка с двойным узелком сросшихся мышц, тёплое и чувствительное пятнышко на коже, как раз в том месте, где прикрепляют на одежде боевые ордена, — всё как будто зажило, а припадки ещё повторялись.

Шло время, и в промежутках между приступами Люан изучал французский язык. Главы грамматики, как вехи, отмечали ступени медленного выздоровления; новые слова, оседавшие в памяти, казалось, навсегда останутся словно окутанными нежным девичьим голосом — голосом маленькой белокурой сиделки Мими, которая, наклоняясь к его изголовью, говорила: «Лежи, лежи, тихонько», когда у него начинался жар. Иногда его навещали товарищи — вьетнамцы и французы, бойцы Сопротивления. «Не беспокойся, тебя вылечат, вот увидишь». И как-то раз один из них сказал слова, значение которых Люан не сразу понял: «В здравоохранении теперь коммунист!». В самом деле, министерство здравоохранения всё сделало, чтобы его вылечили как следует. Когда Люан вышел из госпиталя, целых три месяца осколок сидел смирно...

Пробило двенадцать. Вокруг барака, построенного на территории порта против конторы, наперебой завывали заводские гудки. Экая сила взвилась! В одно мгновение будто вырос над городом другой город, с небоскрёбами, с высоченными стенами всех архитектурных форм и всякой раскраски, — вознёсся и тотчас исчез. И сразу же по мощёной дороге в порту зашуршали велосипедные шины. Первые велосипедисты изо всей мочи работают ногами и весело посмеиваются. «Нажимай-ка на педали, всех мы нынче обогнали, — поскорее за обед». А те, что замешкались, движутся кучей, косяком, задевают друг друга рулями, локтями; дребезжат звонки, квакают резиновые груши, мелькают педали и спицы колёс. Две тысячи человек оседлали велосипеды, и все несутся к тесному выходу, — порт расположен веером, пластинки этого веера сходятся к мосту над шлюзами, а мост не шире ладони. Сколько же тут вертится колёс! В двадцать раз больше, чем при старте рекорсменов на традиционных велосипедных гонках; все напирают, теснятся, как песчинки у отверстия песочных часов. А вслед за ними скоро затопают по мосту пешеходы — тоже, пожалуй, тысячи две, — нагонят колёсную рать и вольются в неё; а мальчишки-подручные, долго не раздумывая, шагают по железным перекладинам, выступающим за настил моста, переступают по ним, держась за перила, и поддразнивают взрослых. Как только густая толпа одолеет теснину моста, все ринутся вперёд, быстрее закружатся колёса, побегут ноги, — надо набрать скорости, потому что у портовых ворот или у первого перехода через улицу опять будет затор...

— Эй, старина, только и всего у тебя багажа?

— Гастон! Пришёл!..

Гастону лет двадцать пять — двадцать шесть. Весь он припудрен белой пылью, как мельник; стали белыми и синие брезентовые полуботинки и шерстяные носки, и пушок на лице, и волоски на пальцах, и ресницы. Только шевелюра осталась чёрной да на спине резким прямоугольником темнеет блуза — там, где её покрывал мешок, углом надетый на голову.

— Что это ты нынче грузил?

— Эх, и не говори! А внутри-то что у меня делается! Наверно, такая же пакость

И Гастон, смеясь, колотит себя кулаком в грудь:

— Наглотался этой дряни. Лезет и в глаза, и в нос, и в уши... Небось, всё внутри выбелило, чище, чем потолок. И за неделю не отхаркаешь. Сплюнешь — белая гуца и твердеет, как алебастр.

Но в мыслях Гастона уже другое. Он подходит к Люану и берёт его за отворот куртки таким мягким движением, каким кладут руку на плечо самому близкому другу, но проще, проще...

— Через неделю... А где ты будешь, Люан, через неделю?.. Ведь теперь уж не отменят... Уедешь, наконец. Ты уж, поди, и не верил, что уедешь. А всё-таки, скажи... не жаль тебе немного, а?

Люан разводит руками, поднимает плечи. Худое лицо его странно кривится. Он не знает, как выразить свои чувства.

— Ну вот, я же и говорю... А багажу у тебя только и всего? Я думал, нам вдвоём не унести, а тут мне одному делать нечего. Давай-ка сюда. Хоп!

И чемодан шлёпнулся на плечо Гастона.

Француз и вьетнамец выходят. За углом барака солёный морской ветер треплет блузу Гастона.

— Ну и пыль от тебя летит! Глаза щиплет, — говорит Люан.

— Она въелась в меня крепче, чем в тряпку, которой в школе доску вытирают, — усмехается Гастон и, помолчав, спрашивает:

— У вас в школах есть чёрные доски? Пишут у вас ребятишки мелом?

Он говорит первое, что взбрело на ум, что подвернулось, только чтоб не говорить о другом. Лучше уж говорить о пустяках, чем о другом, самом важном. Поэтому-то он сразу же и ухватился за чемодан. В словах слишком открываются мысли и чувства. В житейских делах их не так видно.

Люан ничего не ответил, только пошёл с наветренной стороны. Они шагали рядом, бок о бок, но не видели друг друга за чемоданом. Люан тёр глаза, и это напомнило ему ветренную погоду в те дни, когда он приехал сюда. Порт в то время был, словно огромный корабль, потерпевший крушение, давший течь по всем швам, увязший в морском иле и в зыбучем песке. На второй день после приезда Люан забрался на верхушку маяка; оттуда два дока с развороченными набережными казались двумя длинными белыми крылами исполинской чайки, испачканными синим. А огромные разбитые склады с вздыбленными железо-бетонными перемышками, перекладинами, балками, кучи битого кирпича и красных черепиц, искрошенных, как корм для голубей, походили на жалкую птичью голову, раздавленную каблуком. Море, разрезанное на кусочки, как будто прилипло к илу, и уж, конечно, никогда оно не было таким тихим. А город превратился в груды развалин, и тысячи лопат, ломов, кирок пытались найти под ними прежние улицы. Рабочие тянули лебёдками тросы и валили качавшиеся стены домов, как дровосеки валят деревья в лесу; сквозь зазубренные обломки зданий небо растекалось, как синие чернила по рваным краям промакательной бумаги; дул с юга сухой ветер и поднимал с земли белую жёсткую пыль, щипавшую глаза, хрустевшую на зубах, — едкий прах развалин, мелкий, как песок вдоль побережья, всё ещё огороженного двумя чёрными рядами колючей проволоки, натянутой на рогатки, такой же сухой и твёрдый, как белый гравий, который рассыпают на пути похоронного шествия. И днём и ночью кружилась в воздухе эта пыль, проникая во все щели, пронизывая всю жизнь. Война, смерть, великий гнев — вот что несла она с собою, оседая и на ломтях чёрствого хлеба, который ели рабочие в обеденный перерыв, и на губах влюблённых, и на страницах тетрадок, скрипя под перьями школьников, залетая при каждом порыве ветра в рюмки на террасах кафе, где чиновники из Управления восстановительных работ снова, как в прежнее время, потягивали свои аперитивы...

Длинная беспорядочная колонна рабочих всё ещё теснилась перед мостом — докеры, рабочие судоремонтных мастерских Северо-Западных верфей, канцелярский люд... Люану и Гастону пришлось пробираться, проталкиваясь сквозь их ряды к багажной кассе. Все смотрели на них, смотрели и на чемодан, который покачивался на плече Гастона... И все думали: «Что же будет после обеденного перерыва? Выйдет пароход в море или не выйдет? А если выйдет, то как? Во всяком случае, дело предстоит нелёгкое!.. На десяти грузовиках присланы деголлевские охранники из отрядов «республиканской безопасности»... стоят на заднем дворе префектуры... Опять префектура... Эх, префектура!..»

— Здорово, Гастон! И ты тут?

Люди здороваются с Гастоном, но смотрят на Люана. А те, кто знаком с Люаном, заговаривают с ним:

— Что, домой едем, Люан?

Люан поёживается, ему неловко итти налегке рядом с Гастоном. Он засовывает руки в карманы. Впрочем, и день студёный! Из-за холода никому не хочется говорить, все идут молча, длинной вереницей. Не

останавливаясь, стараются потесниться, чтоб дать дорогу Люану и его спутнику. И все рабочие, которые проходят мимо них, даже те, кто знакомы с Люаном и дружески окликают его, словно чем-то смущены, словно им стыдно перед ним. Он, конечно, понимает, в чём дело... Ведь там, на его родине, война... Рабочие, разумеется, тут ни при чём, не они в этом виноваты... Когда работаешь рядом, бок о бок, это яснее ясного... Но когда Люан вернётся туда, где льётся кровь его братьев, где в развалинах лежат селения и его опустошённую, измученную родину терзают палачи и захватчики, он в справедливой своей ненависти к ним, — а все теперь знают силу этой великой ненависти — вдруг да ошибётся, вдруг да не сумеет увидеть разницу... Ведь он будет смотреть на Францию издалека, через тысячи километров... И люди уж заранее как будто угадывают в глубине его сердца некую перемену, росток сомнения, укоризну.

- До свидания, Люан!
- До свидания, друг!
- До свидания! А?
- Да, да, товарищи!

Ну что ещё сказать на прощанье? Это ведь не обычные проводы приятеля: шутки, каламбуры... шлите с дороги открытки с видами, цветные или простые... Счастливым путь, господин Дюмролле!.. Нет, это совсем иное... Это ещё тяжелее, чем проводы солдата на войну.

Толпа редет и движется медленнее, потому что мост забит.

— Гастон! Ты сказал Люану насчёт обеда?

— Нет, отец, не сказал ещё.

Гастон повернулся всем телом с ношей на плече и, ответив отцу, так же грузно поворачивается к Люану.

— Пойдём нынче обедать к нам. В последний раз.

— Да совестно вас беспокоить.

— Вот чудак! Ведь старики зовут. Мать кое-что приготовила. И Клер придёт. Она нынче после обеда не работает.

Люан улыбается:

— Как дела, господин Поль?

Ну что тут будешь делать! Никак его не отучишь — величает старика Поля «господином». Пришлось с этим примириться. А ты возьми глаза в руки, глупый, да погляди, какой я есть «господин»! За шестьдесят лет перевалило, а всё ещё грузчиком работаю, благо кость широкая да крепкая. Пятьдесят лет таскаю на спине всякую кладь, состарилась машина, сколько внутрь набилось соли, песку и пыли всех тридцати шести сортов!.. А он, нате вам, — «господин»!

Высокий угловатый старик, сухощавый и крепкий, настоящий сын Фландрии, коротко взмахнул рукой и двинулся дальше, пробираясь меж велосипедов; он шёл, чуть сгорбив спину, и был похож на тех атлантов, что поддерживают роскошные балконы здания супрефектуры. Да, очень похож он на эти статуи, тем более, что весь он сейчас белый, как и Гастон, как и многие другие докеры. Ему недостаёт только каменной бороды. Он не носил бороды, зато его широкий костистый подбородок словно высечен из камня.

— Отцу не верится, что тебе всё-таки повезло наконец. Домой едешь.

Люан и Гастон идут дальше по набережной. Холодно, но уже прояснело. Кажется, вот-вот проглянет солнце.

— Дай я понесу, — тянется Люан к чемодану.

— Ещё чего! — отвечает Гастон и с подчёркнутой лёгкостью перепрыгивает через слабо натянутый канат.

Вдруг позади них раздаётся громкий крик. Они оборачиваются. Слу-

чилось какое-то несчастье. Люди хлынули обратно к мосту. Перегибаются через перила, смотрят вниз. Навалились скопом, того и гляди обломятся железные поручни. Да и мост, чего доброго, провалится. Вон сколько там народу набилось.

— Наверняка кто-нибудь упал в воду.

Гастон сбрасывает чемодан на землю и бежит с Люаном к мосту. В толпе за спинами людей им ничего не видно.

— Кто упал?

— Не знаю... Мальчишка какой-то.

Гастон и Люан пытаются протолкаться к берегу канала.

— Плавать-то он умеет?

— В такой холод сведёт судорога!

Теперь им видно, как между отвесными стенами канала барахтается в воде и кричит подросток. Ему мешает сумка, которая плывёт за его спиной и не тонет, оттого что её держит пустая фляга из-под кофе — горлышко её торчит над водой. Помочь ему! Но как? И Гастон и Люан слишком далеко от него.

— Чей? Не знаешь? — спрашивает Гастон.

— Нет. Знаю, что зовут его Пьеро. Один раз работали вместе на верфи, — отвечает Люан.

Никто не уходит, все вдруг позабыли, что надо пообедать. Человек погибнуть может. Не шутка! На мосту и вокруг него сотни рабочих смотрят, советуют, готовы оказать помощь.

— И каната тут нет, чёрт их дери!

— Гляди, посинел от холода.

— Вот оно что получается, когда акробатничают на мосту в гололедицу!.. Мальчишкам всё некогда, вперёд всех пролезть надо!..

Кто-то догадался, как помочь, и опускает свой велосипед по стенке канала, держа его за руль. Пьеро ухватился за заднее колесо. Но долго не продержись на заочневших руках, и он кричит:

— Утону я!

Мальчик плачет от страха и холода. Четверо рабочих тянут велосипед вверх, рама трещит. Вдруг не выдержит тяжести!.. А Пьеро совсем обесилел, повис, словно тук мокрых тряпок. Сквозь тучи пробилось солнце. Мальчик похож на утопленника, с одежды его льётся чёрная вода. А всё-таки крепко он держится. Руки точно приклеились к колесу. Струи воды стекают в канал и кругами разгоняют маслянистые радужные пятна нефти, плавающие на поверхности. Педаль застряла между булыжниками каменной облицовки. Четверо спасающих гневно ругаются, тянут велосипед с такой силой, что того и гляди своротят набережную. Наконец-то! Схватили Пьеро за руки, вытащили на берег. Мокрая куртка из синей парусины, к которой пристала земля, песок и мелкие камешки, вся уж обледенела на мальчишке. Парусина стала жёсткой и шершавой, как наждачная бумага.

— Тащи его в контору.

— Закрыта она на обед.

— Ну, в барак несите, к китаёзам.

— Какие ещё тебе «китаёзы»?! Что болтаешь?

У моста началась перебранка, слышатся сердитые голоса, а плачущего мальчика несут в тот самый барак, который только что покинул Люан.

— Какие ещё «китаёзы»? Поаккуратней выражайся!

— Эка! А что я такого плохого сказал?

И двое спорщиков угрожающе толкают друг друга велосипедами.

— Вежливей говорить не умеешь? «Китаёзы»!..

— Ну и что? Какой тут стыд, если человек — китаец. Совсем даже наоборот.

— Вот это верно! Наоборот!

В спор вмешиваются другие.

— Что ни говори, всё равно — нехорошо ты сказал: «китаёзы». Да ещё ты и не понимаешь ничего, они вовсе и не китайцы.

— Ну, правильно, согласен. Да чего вы привязались? Я же не со зла сказал, а чтоб скорее несли. Будет вам дурака валять!

— Ну, ладно, ладно. Раз согласен, значит ладно.

Спор прекращается. И очень кстати: на мосту образовалась пробка, позади спорящих поднялся оглушительный дьявольский концерт — звонки и гудки.

Теперь, когда мальчик спасён, все, как обычно, снова заторопились.

Люан и Гастон молча смотрели и слушали, не сказали друг другу ни слова, но всё воспринимали совершенно одинаково, и оба чувствовали это. Неудивительно, ведь они давние друзья.

Познакомились они три года назад. Люан тогда всего три-четыре дня как вышел из госпиталя, находившегося в бывшей южной зоне¹, и приехал сюда.

Бедный, разорённый край! Война ограбила его, а море, — его уже ничто не сдерживало, так как плотины были взорваны, — на десять километров затопило землю, уничтожив весь урожай. Армии «союзников» прошли мимо смертельно раненного порта, равнодушные к его судьбе. И сколько ещё месяцев немцы оставались хозяевами этого «мешка», они тут засели, как крысы, прижатые к разлившейся свинцово-серой солёной воде, которая всему тогда принесла гибель — и пашням, и рыбам в озёрах; однако это не мешало нацистам методически, спокойно уничтожать, разрушать пристань за пристанью, склады и все портовые сооружения: они, как крысы, изгрызли всё, доканчивая разрушения, начатые английскими бомбардировщиками...

Врага изгнали, а море отгеснили плотинами, да и земля впитала его немало, но весь край покрыт был обломками рыбацких лодок, на уцелевших домишках жалостно торчали голые остовы соломенных кровель, на ветряных мельницах повисли разбитые широкие крылья; побережье стало унылой пустыней, и всё побелело от соли. Вернулись жители и сначала с боязливой осторожностью ступали по земле неузнаваемого, так странно изменившегося родного края, где на каждом шагу их подстерегали неожиданности. Зачастую то тут, то там взрывалась мина — одна из многих тысяч мин, которые всюду поджидали их: в нарочно нетронутой траве, или между вывороченными булыжниками мостовой, или привязанные к заржавленной провололочной изгороди пастбища, где давно уже не было скота, или висевшие на щеколдах дверей — на всём, что даже в разрушении своём остаётся дорогим сердцу, на всём, к чему тянется рука человека, который издали вернулся в родное гнездо... Но все, все захотели вернуться, несмотря ни на что. Тысячи бедняков — тех, кто и раньше жил в нищете, и тех, кто впервые спознал с горькой нуждой, — теснились в каждой развалившейся хибарке, где хоть как-нибудь можно было приютиться, в подвалах, землянках, бомбоубежищах, в опустевших укреплениях.

Люана и его товарищей, человек тридцать, поместили на «острове» — в особом посёлке из временных барачков, построенных на песчаном холме с прозеленью редкой травы, открытом всем ветрам и поднимавшемся над развалинами города и гавани.

¹ То есть, в так называемой «неокупированной зоне», где находилось «правительство» Виши. Оккупирована немецкими войсками в ноябре 1942 г. (Примеч. ред.)

К тому времени уже была проделана немалая работа. После великой радости победы встала великая задача — сделать всё достойным победы, начиная с самих себя. На «острове» собралось много народу, были там и плохие и хорошие. Жили на «острове» французы, которых присылали сюда отовсюду, главным образом из Парижа, жили испанцы, итальянцы и соотечественники Люана, поселённые в отдельном бараке; жили бельгийцы; был тут и сомнительный сброд — типы, о которых ничего не было известно, кто они, что они; всего набилось в бараках больше шестисот человек. Разноязычное, разноплемённое население, люди из разных стран, но ведь труд, мечты о будущем и товарищество объединяют, принимают даже самых плохих, и в важные минуты, смотришь,— как будто все из одной страны.

В то утро Люана послали на земляные работы, на участок канала, что идёт от моря к первой пришлюзной гавани, и он копал у подножия огромных бетонных стен немецкой базы подводных лодок, отмеченной пятнами белых кругов с красными крестами, ярко алевшими оттого, что накануне моросил мелкий зимний дождь. Странное место работы — отрезок канала, отгороженный с двух концов,— со стороны моря и со стороны гаваней, так что на дне почти нет воды; сотни людей копошатся в этом ущелье, зажато в тиски высоченными заслонами в десять метров, сдерживающими грозную толщу воды; каждый землекоп нет-нет да и посмотрит с опаской на эти преграды, каждый чувствует, как море всей своей тяжестью давит на них. Воздух кажется упругим, как резина, — пневматические молотки и моторы так и подпрыгивают в нём. Но всё звуки приглушает тина, она лежит мягким пластом, и местами — у краёв больших луж жёлтой воды, которая слабо пенится, как прокисшее пиво, — ноги вязнут в ней выше щиколотки. А все орудия труда, все вещи здесь как будто съёжились, уменьшились в размерах. Да и у самого человека такое ощущение, словно он стал карликом, — ведь когда отработаешь положенные часы и, уходя, взглянешь с мостика над шлюзом на товарищей, которые ещё копошатся на дне канала, они кажутся маленькими, не больше оловянных солдатиков. Когда же сам работаешь внизу и чувствуешь, что на тебя смотрят с мостика, как на любопытное зрелище, вдруг ощущаешь, что и ты такой же крошечный. Но ещё выше вторая пригнетающая людей махина — огромный строящийся мост: одна половина его, с мостовыми устоями, перекрытиями и настилом, уже готова, а вторую половину ведут навстречу первой. Набережная взорвана только с одной стороны. Её уже начали восстанавливать: уже вырос бесконечный железный частокол, вдоль которого ползут два бульдозера, зарываются носом в жирную грязь, соскальзывают, вихляют, буксуют колёсами, движутся боком с недовольным и угрюмо-хитрым видом, как исполинские крабы, а всё-таки ползут, роют себе дорогу. На другой стороне цементная облицовка берега нетронута, и от её голой поверхности гулким эхом отражается разноголосый шум строительных работ: удары «бабы», заколачивающей сваи, быстрое хлюпанье лодки-насоса, которая расположилась на суше и безустали шумно глотает воду, пронзительный визг металлорежущей пилы, а подальше, там, где уже высится половина строящегося моста, басисто жужжат огромные ржавые волчки бетономешалок, скрежещут стальные зубья экскаваторов, сгребающих щебень и обломки, слышится неравномерное постукивание и позвякивание состава из пяти-шести вагонеток, которые, прихрамывая, тащит маленький чумазый трактор-тягач, и раздаётся сиплый звонок тяжёлого катка, утрамбовывающего землю вдоль будущей набережной.

Люану приятно слышать и видеть всё это, особенно в такой день, когда яркий солнечный свет лежит на всём, точно слой свежего сливоч-

ного масла на ломте хлеба. Он работает на отшибе, там, где почти нет людей, где переплелись, перепутались мягкие шланги и твёрдые трубы, лежат навалом неубранные рельсы, доски и шеренгой выстроились баллоны с кислородом. Около него из бетонных, ещё мягких кессонов густо торчат концы прутьев железной арматуры, будто волосы, остриженные ёжиком. Вокруг — свой особый мир, мир строителей, где постоянно испытываешь состояние приподнятости, неизвестности, опасности и непрестанного удивления, которые возникают только среди того, что нарождается, меняется с каждым часом и движется к поставленной цели. Кажется невероятным, что всё это завтра будет самым обыкновенным отрезком канала с покатыми бетонированными стенками, — таким же обыденным, как вон тот дальний отрезок, законченный несколько недель назад, где озорники-мальчишки уже нашли себе забаву и съезжают по скату, сидя на пустом мешке из-под цемента. Около Люана, чуть не над его головой, узкая трубка выплёвывает толчками струйку воды, мутной, как рисовый отвар, и она сбегает по куче песка до мокрой ямы, где пыхтит лодка-насос.

Люан любит всё это. И когда он выпрямляется, чтоб передохнуть, ему приятно постоять минутку, растирая рукой онемевшую поясницу, и послушать скрип лебёдок гигантских подъёмных кранов, когда они поворачиваются на своей оси, поворачивают в воздухе железную руку с огромным грузом, как ярмарочный силач свою гирию, и тогда мягко звякают натягиваемые цепи, как будто на наковальне осторожно выковыряют болт.

Но с Люаном в тот день творилось что-то неладное, и чем выше поднималось солнце, тем ему становилось хуже. Как-то беспокойно на душе. Стукнут где-нибудь поблизости — он вздрагивает. Тревожит даже равномерное глухое чавканье мокрой земли, которую лопатой бросает в вагонетку тот товарищ, что работает напротив, а кто он — Люану не видно в выкопанной им яме; кажется — француз.

А когда Люан смотрит вверх на двоих клепальщиков, которые висят в воздухе на концах огромной стальной балки, ещё не закреплённой, а попросту положенной на две поперечные балки, и удерживают на ней равновесие, точно дети, играющие «в качели» на гигантской доске, — ему делается страшно, что у них закружится голова, и у самого всё плывёт перед глазами, точно он пьян... И вдруг ему всё стало ясным... Он понял, что с ним, но уже поздно было крикнуть, позвать на помощь. Он успел только ухватиться за лестницу, приставленную к стенке дощатого склада инструментов, и вместе с ней полетел по откосу на самое дно выемки, прямо к ногам товарища, бросавшего землю в вагонетку. Должно быть, парень перепугался и застыл с лопатой в руках.

Люан услышал чей-то крик, пронизавший все шумы на канале, — точно стальная игла с ниткой проскользнула в отверстия огромных бус, и вблизи шумы вдруг смолкли.

Опять этот проклятый осколок!

И тотчас Люана подхватили; сквозь тяжёлую от налитшей грязи куртку он чувствует прикосновение чьих-то рук: вокруг него голоса — десять, двадцать, много голосов; кто-то наклоняется над ним, выпрямляется, топчут ноги, люди сбегаются к нему, спотыкаясь, тяжело перепрыгивая через трубы, кучи песка и ямы. Сколько голосов вокруг! Людей всё больше, как будто сбежались со всего канала.

— Изголодались они тут, бедняги!

— Да и силы-то, видать, у него немного.

— Ко мне несите, тут совсем близко, — говорит рабочий, поддерживавший Люана с правой стороны, когда тот открыл глаза.

И Люана несут куда-то. Глаза у него открыты, но он не может пошевелиться, тело стало вялым и тяжёлым, как комок сырого теста. Не надо двигаться — так лучше. Если заговоришь, поднимешь руку, опять разбудишь злобный кусочек стали, и он укусит. Когда встретишься с диким зверем, лучше всего притвориться мёртвым. Люана кладут на постель; она не такая жёсткая, как его тюфяк в бараке, но, видно, и здесь живут небогато: протёрлось ветхое вязаное покрывало из грубых ниток, — пальцы Люана зацепились за края дыры. Вместо стёкол в окнах промасленная бумага, сквозь неё просачивается какой-то жирный желтоватый свет, и от него всё кажется старым, особенно лица. Стёкол нет, и всё-таки на окнах занавесочки, тоже вязаные, как и покрывало, только нитки на них, верно, потоньше, думает Люан, и на минутку закрывает глаза...

В комнате много людей, топчутся, шушукуются.

— Ноги-то у тебя, господи! А у тебя-то! Грязи сколько наташили! Весь половик перелачкали! — тихо покрикивает старческий женский голос. Его, верно, привыкли слушаться. Ноги в грязных башмаках медленно, будто нехотя, топают по полу к порогу и уходят. Наступает тишина, только машины вдали не умолкают. Люан поворачивает голову, смотрит. В комнате теперь четверо. И лица уж не кажутся такими старыми. Все впечатления оседают на дно, как песчинки во взбаламученной воде. Всё успокаивается, светлеет. Теперь ясно видны лица всех четверых. Вон стоит молодой парень, смущённо вытянув руки, перемазанные глиной; пальцы он широко растопырил, точно боится испачкать их друг о друга. Поодаль стоит старик, покусывая спичку; видно, что он озабочен происшествием. Около него — бледенькая девушка, глаза у неё полны слёз, рука комкает белый носовой платок, как будто скатывает и уминает снежный шарик. И ещё тут старуха, та самая, которая говорила о половике. Лицо у неё подстать голосу, всё сморщенное и чуть-чуть улыбается — так, от доброго сердца, чтобы успокоить... От улыбки её лицо собирается в складки, как влажный песок на дне морском в часы отлива... Так улыбаются все здешние люди...

Люана разбудил стук тарелок, слышно было, как их моют в локани, ставят одну на другую и уносят дрожащей, позвякивающей стопкой. Осколок, должно быть, присмирел, отошёл куда-то от сердца. Всё прошло. Но отчего же это на канале стало тихо? И Люану кажется, что он спал очень долго, что уже кончился день. Слышен только шум ручного насоса — как будто кто-то плывёт в море широкими сажёнками... Потом кто-то принялся колоть дрова. Звук чистый, звонкий: поленья, видно, сухие, так сами и раскалываются.

Люан неторопливо открывает глаза. Он лежит лицом к окну; сквозь промасленную бумагу всё ещё пробивается солнечный свет. Потом в отворенную дверь из сеней входит девушка — та, которую он уже видел; она несёт вёдра с водой; на пороге, у каменного приступка, сбрасывает с ног деревянные башмаки; вода в вёдрах заколыхалась и выплеснулась на старый мешок, о который девушка вытирает подошвы босых ног.

— Мама! Иди-ка сюда. Он шевелится.

И девушка торопливо ставит вёдра. Сквозь полуопущенные веки Люану видно её взволнованное, как будто испуганное лицо.

— Поль, он очнулся! — кричит старуха и бежит к дочери, остановившейся в дверях, точно собирается убежать. Обе смотрят на Люана и что-то слишком уж долго вытирают мокрые руки краем фартука, а вытерев, беспокойно обдёргивают фартуки... Кто его знает, какая у него

болезнь, может, припадочный. Может, и в голове-то у него неладно. вдруг ещё сумасшедший какой-нибудь.

В комнату входит старик. Обе женщины всё ещё стоят у двери, смотрят. Старик, медленно ступая, направляется к постели, не сводя глаз с Люана.

— Ну как, парень? Полегчало?

Люан приподнимается на локте и замечает, что старик держится от него на почтительном расстоянии. Потом оглядывает себя. Положили его на постель, как он был, в мокрой измазанной куртке, прямо на белое вязаное покрывало. На лице у него засохла грязь, особенно на висках, — там стянули кожу два маленьких глиняных веера, так что ему и улыбнуться трудно и глаза как следует не закрыть.

— Спасибо, всё прошло! Спасибо!

Старик Поль подходит ближе.

— У меня уже ничего не болит. Я теперь могу встать.

Девушка вышла, а старуха, осмелев, тоже подходит к постели поближе, вслед за стариком, и спрашивает Люана:

— Что же это у вас? Болезнь такая?

Люан энергично мотает головой: нет, нет, не болезнь.

Девушка возвращается и приводит с собой молодого парня, наверно, брата; должно быть, сбежала за ним на канал. Парень решительным шагом подходит к постели и кладёт Люану руку на плечо, не обращая внимания, что оно всё в грязи.

— Ну как, братишка? Всё прошло?

— Да, спасибо. Я теперь могу встать. Долго я спал?

— Нет. Полчаса, не больше. Сейчас двенадцать... Ты, поди, есть хочешь?..

И тут Люан понял, почему стихли шумы на канале, — обеденный перерыв.

— А я думал, уже вечер. Всё я вам тут перепачкал!..

Старик и обе женщины тоже подошли теперь к самой постели.

— А раньше-то бывало с тобой такое? — спрашивает старик.

Люан принялся рассказывать, а парень, нажимая ему сильной рукой на плечо, заставил его лечь.

После перерыва Люан не пошёл на работу. Парень, которого звали Гастоном, дал ему свою спецовку, рубашку, и он переделся в чистое. Старуха не позволила ему мыться на холоде, у колонки, а налила для него тёплой воды в эмалированный синий таз с горбатым доньшком, стоявший на колченогом шатком столике. Как Люан ни старался мыться осторожно, он набрызгал вокруг и очень был смущён этим. Но старуха успокаивала:

— Не беда. Подумаешь, велик труд — пол подтереть. А что ж нам больше и делать-то, хозяйкам.

Её дети и муж посмеивались. Старуха явно взяла опять в руки бразды правления.

— Сейчас рыбой жареной вас покормлю. Нет уж, не отказывайтесь. Нечего, нечего. В одну минуту поджарю.

Когда он смущённо присел к столу и принялся за еду, Гастон отправился на канал.

— Ну, братишка, до скорого!

Потом ушёл и старик. Пока порт ещё не был восстановлен, он работал по разборке развалин вокруг вокзала; итти туда было недалеко. Потом ушла и девушка, поцеловав на прощанье мать, неловко протянув руку Люану:

— До свиданья...

Она работала на маленьком рыбоконсервном заводике, который не очень пострадал во время войны. Но нередко там случались перебои, и тогда Клер работала неполный день, часа два-три, не больше.

Люан остался один со старухой, которую, оказалось, звали Зейя. Сначала оба не знали, о чём говорить. Люан всё думал, как бы поскорее уйти... Покончив с едой, он встал, не зная, чем вытереть жирные пальцы. Он чувствовал себя очень неловко.

— Ну вот и хорошо. По крайней мере, бошам не достанется, — пошутила Зейя, убирая со стола тарелку. Видно было, что и её тяготило молчание.

Позднее Люан узнал, что эти слова говорят постоянно, почти машинально — они вошли в поговорку. Но тогда он впервые услышал их от неё.

— Верно, верно, — подтвердил он, смеясь, но тут же в голову опять пришли мысли о войне, о родине и о том проклятом осколке, про который он почти забыл.

Таз с прязной водой всё ещё стоял на столике. Люан ополоснул в нём руки и решил сам вылить воду. Он заметил в углу кухни раковину и выплеснул в неё воду.

— Ах, что вы это! Вот наделали дел, — вскрикнула Зейя. — Ведь сточной трубы ещё не приладили!

Вода разлилась по всему полу, замочила хозяйке и гостю ноги.

Старик нашёл эту раковину в развалинах привокзальной гостиницы и решил взять: один угол у раковины отбит, значит это нельзя считать кражей; а в доме-то пусто, всего лишились... На что она богатым? Не разорятся из-за кухонной раковины, да ещё разбитой... Зато жене она очень пригодится...

— А трубы он ещё не нашёл... Эх вы, натворили беды!

Люан от стыда готов был провалиться сквозь землю. Неловко балансируя, как медведь на канате, он перепрыгивал с одного сухого островка на другой; их становилось всё меньше. Глядя на его прыжки, на его смущённый вид, Зейя перестала ворчать и расхохоталась, и сразу же он стал как будто старым знакомым.

Сначала Люан от удивления замер на месте, прямо в луже воды, а потом тоже расхохотался. Оба они заливались смехом и не могли остановиться. Лёд был сломан.

«Ну что там! — думала Зейя. — Что ж я его стесняюсь? Ведь я ему в матери, а то и в бабушки гожусь».

И она заговорила с ним на «ты», быстро схватив тряпку, чтобы вытереть пол.

— На, вот тебе башмаки деревянные, надень-ка на ноги, только осторожней, там гвоздь торчит. Завязки, смотри, не оторви. Стой в углу смиренно, я сейчас подотру.

Ну как же после этого Люану было уйти? Всё-таки он сказал из учтивости:

— Сколько я вам хлопот наделал. Уж извините. А теперь я пойду.

Зейя перестала выжимать тряпку над большим старым котлом и, поглядев на Люана, насторожилась. Ну что ж, раз хочет уходить, пускай идёт. Всё-таки ведь чужой человек. И опять стала говорить ему «вы».

— Хлопот-то теперь уж с вами немного. И знаете, что я вам скажу: отдохните ещё чуточку... вот тут, у огня. Я кофейку оварю. От кофе вам сразу лучше будет. А хлопоты, что ж... без хлопот не обойдёшься...

И она тихонько подтолкнула его к печке — там она уже подтёрла. Люан не посмел отказаться и неловко сел в старое плетёное кресло, которое накренилось под ним вправо и затрещало, как солома на огне.

— Ноги подними, а то всё испачкаешь!

И, сев перед Люаном на корточки, Зея вытерла тряпкой подошвы его туфель.

— Ай-ай-ай! В чём ты ходишь! Тапочки на верёвочной подошве. Да разве в тапочках можно на земляные работы ходить? Насквозь они у тебя промокли. Ну-ка, снимай их!

И она положила матерчатые туфли Люана сушиться у огня, потом властно поставила его ноги на железную перекладину у печки, как делала это когда-то со своим сыном, когда он возвращался из школы в мокрых башмаках, оттого что всю дорогу играл в «футбол», подбрасывая ногами банки из-под консервов. От тапочек Люана повалил пар гуще чем от воды, закипевшей на плите.

Люан покорно позволял Зее распоряжаться им, не смея отказываться. И хотя он чувствовал себя смущённым, ему в сущности были приятны эти заботы. Немножко похоже на то, как было в госпитале, только ещё лучше — проще, по-домашнему. В госпитале чувствовалось, что Мими отчасти по обязанности ухаживает за ним... Вода для кофе уже кипела ключом. Слышно было, как в чайнике пляшет, стучаясь о стенки, устричная раковина, которую кладут, чтобы на неё оседала известь. Люан чувствовал большую усталость. Как хорошо было бы уснуть тут...

— Ну вот! Сейчас будем кофе молоть.

Зея села около Люана в широком своём чёрном фартуке, зажала кофейную мельницу между колен и быстро-быстро стала вертеть ручку. Старый стул под ней скрипел и покачивался. Иногда она останавливалась, выдвигала ящичек мельницы, посмотреть, много ли намолочила, опять принималась вертеть, а стул опять начинал плясать и жалобно скрипеть.

Старухе, видимо, хотелось поговорить, но Люан чувствовал, что глаза у него слипаются; сквозь дремоту он видел, как при каждом покачивании стула, на котором сидела Зея, перекладина внизу выходит из своего гнезда, и всё боялся, что она совсем выскочит, стул развалится и старуха упадёт, но он никак не мог стряхнуть с себя сонливость и сказать ей об этом. А перекладина всё больше и больше отходила от ножки стула; Люан видел, что Зея смотрит на него и хочет ему что-то сказать... Пора, пора её предупредить! Сердце у него забилося, словно вот-вот должно произойти настоящее несчастье!.. Но тут старуха встала, последний раз повернула одним пальцем ручку уже пустой мельницы и как будто бы вскользь спросила:

— А мать-то у вас ещё жива?

Он сразу вздрогнул и встрепенулся, как это бывает, когда проснёшься внезапно. Мысли тяжёлым камнем упали в глубину прошлого, отдалённого десятилетиями разлуки. Но он сказал только:

— Да, да... жива ещё...

Он так устал, что ему хотелось отогнать всякое сомнение в этом. И тогда ему опять стало хорошо, и он уснул спокойно, как ребёнок.

Когда он проснулся, Зея, стоя к нему спиной, усердно натирала наждачной бумагой чугунную плиту. Сало, на котором жарилась рыба, забрызгало всю плиту и, прикипев, оставило на ней пятнышки ржавчины. Да ещё когда Зея процеживала кофе сквозь ситечко, тоже летели брызги... Люан подумал, что всё это из-за него; и пол пришлось подтирать, и плиту чистить.

Зея уже кончала свою работу и принялась начищать плиту порошком графита, чтоб чугунные доски блестели, как лакированные. А так как огонь всё ещё горел, то от плиты шёл едкий, сухой запах, оттеснявший к потолку высокой кухни запахи жареной рыбы и кофе...

Солнце уже склонилось к самому горизонту. Начался закат, тот необыкновенный закат, какой бывает только у берегов моря, когда кажется, что земля приподнимается к небу. Последние лучи ещё освещали багровым светом верхние кирпичи в стене разрушенного здания, и кустик левкоя, выросший в её трещине, похож был на букет цветов, которым каменщики, закончив постройку дома, украшают конёк новенькой крыши. На канале уже всё стихло. А во дворе кто-то опять принялся колоть дрова, как в полдень; но удары топора стали иными — более быстрыми и уверенными. Теперь топор был в руках Гастона, вернувшегося домой.

Зeya обернулась, услышав, что кресло закрипело, и шутливо принялась стыдить Люана:

— Ах ты, бессовестный! Я тебя хотела кофеем напоить, а ты взял и уснул.. Пропало моё угощение! Хорошо, что Фанни заглянула.

Люан не знал, кто такая эта Фанни, но он ясно представил себе, как старуха-хозяйка и её гостя сидят рядышком за столом, пьют кофе и, близко наклонившись друг к другу, разговаривают шёпотом, чтобы не разбудить его: «Хороший кофе ты сварила, крепкий». — «Да уж не пожалела, его вот хотела угостить». А потом, должно быть, вернулся Гастон и тоже говорил шёпотом, старался не шуметь, не топтать грубыми своими башмаками с подковками, ходил на цыпочках.

— Ну, а теперь, милый мой, если хочешь кофе, придётся тебе жиденький пить, два раза уж доливала. Налить тебе?

Всё стало таким простым. Люан преспокойно встал с кресла и сказал: — Что ж, налейте.

Сонливость ещё не оставила его, и ноги плохо слушались, как будто он встал с постели после долгой болезни. Тяжело ему дался этот день. Люану захотелось выйти во двор, посмотреть, кто колет дрова, подышать свежим воздухом у двери...

Гастон видел, как Люан спит в отцовском кресле тяжёлым сном, и подумал, что ему совсем плохо. И когда Люан появился на крыльце, Гастон бросил колоть дрова и с топором в руке пошёл ему навстречу, нырнув под протянутую проволоку, на которой сохла, развеваясь на ветру, синяя блуза Люана. Зeya уже успела её выстирать... На лоб Гастону упала синеватая капля.

— Ну как, братишка? — спросил он, утирая лоб тыльной стороной руки.

Уж такой человек Гастон — почти всем говорит «братишка». Даже когда ругается с кем-нибудь, и то говорит «братишка». «Толкуй, толкуй, братишка! Сразу видать — продажная шкура». А ругается Гастон частенько, потому что характер у него горячий: «Ох, и дурень ты, братишка! Как тебе не стыдно! Срам какой! Да как ты такому вздору ещё можешь верить?.. Пошли ты их к чёртовой матери! Ты разве из Ротшильдов, братишка? Ты на чьей стороне стоишь?»

Потом вернулась домой Клер, а вслед за нею и старик отец. И когда все собрались, Люану опять стало неловко.

— Пора уже мне к себе на «остров» итти.

— Погоди, мы тебя проводим, — сказал Гастон.

— Я завтра принесу спецовку.

— А ты не торопись, нам не к спеху, — заметила Зeya.

И Люан отправился в бараки, всё ещё усталый и какой-то растерянный. Они шли втроем — Люан посередине, Клер и Гастон по бокам. Под ногами громко хрустел шлак, которым усыпана была длинная дорога, тянувшаяся вдоль берега канала. У Клер руки пахли солёной рыбой. Сначала этот запах был неприятен Люану. Но когда прошли шагов пятьдесят и подул свежий ветерок, поднимаясь между дюнами и тихо

пролетая над каналом, запах этот стал таким славным и запомнился вместе со всем, что было.

Красива ли была Клер? Вообще говоря, девушки в тех краях совсем не нравились Люану, казались ему слишком большими, промоздкими, толстыми и недостаточно женственными. Гораздо милее были ему девушки родной страны, фарфоровые, матовые тона их кожи, их тонкие изогнутые брови, выпуклый гладкий лоб с голубыми жилками, чёрные, блестящие и тугие косы, и весь их облик, — какой-то хрупкий и нежный, как бледные тона шёлка, в который они одевались...

И всё же Клер показалась ему красивой, когда они втроём с Гастоном пошли в воскресенье на маяк. На верхушке маяка вольный ветер, светлый простор, и тело делается таким лёгким и будто лучистым, точно на тебе одежда из стекла. Смотришь вокруг в радостном удивлении, голова немного кружится, а сердце ещё колотится изо всех сил, ещё не отдышался после трудного подъёма по узкой винтовой лестнице в триста шестьдесят пять ступеней. Какая ширь кругом! С одной стороны — море, большое-большое, всё в белых барашках, будто пенится вскипающее молоко, а с другой — земля, огромная доска темнозелёного мрамора с прожилками дорог и каналов, с крапинками деревушек; приплюснутые, развороченные бомбами доты, похожие на гнилые корешки зубов; пруды, озёра, кладбища с братскими могилами, — и всё это с маяка кажется совсем маленьким, хрупким, голым.

Ну да, Клер — красивая, вот и всё. Зачем о ней думать? В столовой — парадной комнате, где никогда не обедали, на буфете стояла фотография молодого солдата: лицо обыкновенное, не лучше, не хуже других. Гастон показал на неё Люану и, подмигнув, толкнул его локтем. Перед тем, как взяли солдата в армию, у них с Клер уж почти всё было решено. А теперь он был в Германии, иногда приходили от него письма. Звали его Жак, он был закадычным другом Гастона. Вместе они сражались против оккупантов, засевших в «мешке». Не раз по ночам в разведке вместе рисковали жизнью, когда плыли на лодках, потому что земля была затоплена, и неосторожный всплеск весла, полоска лунного света могли погубить их. Когда уехал Жак, как-то стало пусто, а теперь его место постепенно занимал Люан. Они с Гастоном переглядывались, как заговорщики, и лукаво подтрунивали над Клер, когда ходили втроём на прогулку и им встречался какой-нибудь военный. Всё было так просто. И Люана почти не смущало, что он стоит с Клер плечо к плечу, так же как с Гастоном, так же, как стояли все люди, теснившиеся на площадке у железных перил. Народу собралось тут много — маяк был открыт для публики только с прошлого воскресенья, и даже древние старики, которым приходилось раз двадцать останавливаться, чтоб передохнуть, всё же взбирались на маяк по бесконечной крутой лестнице, чтобы окинуть взглядом вновь обретенный край.

Давно это было — три года назад.

Когда сдали багаж, Люан сам предложил:

— Если Клер нынче утром работает, можно бы зайти за ней... Ты как думаешь?

Гастон скользнул по его лицу взглядом и нерешительно ответил:

— Зайдём, если хочешь.

Он, пожалуй, был против, но считал нужным показать, что в чужие дела не желает вмешиваться.

Завод был маленький, но хорошо оборудованный. Сразу видно, что не какой-нибудь старый заводик, где всё идёт по заведённой привычке. Хозяин из тех, кто сам «выбился в люди». После войны из трёх це-

хов два он уже отстроил, там всё оборудование металлическое, новенькое, даже краска ещё не слезла. Предприимчивый тип. Он сообразил, что у солёной рыбы есть будущее, и рискнул. Дело пошло успешно.

Вход свободный, как на ветряную мельницу. Сторож, правда, есть, но он вместе с тем и старший мастер и вечно пропадает то в цехе, то в подвале. Он ведаёт печами для копчения, а это ответственное дело. Печи для копчения селёдок похожи на шкафы-холодильники в мясных лавках. Словом, в проходной будке никого — стоят только автоматические контрольные часы и будто следят за каждым входящим, да у ворот спит в конуре собака, как на ферме. Двор и в самом деле напоминает крестьянский; там даже лежит куча мокрой побуревшей соломы, похожей на навоз, и по канавкам, обложенным новыми кирпичами, стекает мутная тёмная вода, точно жижа из хлева; в затвердевшей от холода грязи видны глубокие колеи — их проложили телеги рыболовецкой артели и грузовики рыбороторговцев. Земля во дворе изрыта, точно вспахана, а узкая просёлочная дорога, которая ведёт к заводу, вся в рытвинах, того и гляди ноги переломашь.

— Ты, смотри, не показывайся, а то девчонки засмеют. Такой шум поднимется, оглохнешь. Знаю я их.

В цехе светло, но в зимнее время холодно, от широких окон дует. Работает здесь около двадцати девушек; все они стоят за кафельными столами, вплотную друг к дружке, рядком, как сардинки в коробке; болтают, рассказывают всякую всячину, а руки у всех проделывают одинаковые быстрые и короткие движения и так ловко орудуют маленьким острым ножиком, как будто он — часть руки, шестой палец. Люан сразу замечает Клер — она стоит в середине ряда; вместо фартука на ней серая мешковина, перехваченная в поясе верёвочкой и на груди приколотая английскими булавками к голубому старенькому джемперу из грубой шерсти. Вокруг шеи шарф из той же шерсти. Клер улыбается, разговаривает, но руки не перестают двигаться. Их ловкость, умелость поражают Люана. Руки лоснятся, покраснели от холода, но как искусно, в три приёма, они справляются с каждой рыбой. Руки пляшут, как марионетки, и как будто прекрасно могут обойтись без самой Клер. Пусть девушка болтает, улыбается и даже мечтает о чём-нибудь — эти гибкие руки делают своё дело: три быстрых круговых движения в три секунды, и вот уже рыба разделана: в первую секунду содрана кожа, во вторую — вырезано филе, в третью — вынута икра в прозрачной нетронутой плёнке — блестящий, оранжевый, как корочка апельсина, брусочек, такой аппетитный, что слюнки текут; и вот уже лежит на изразцах глупый, ненужный рыбий остов, голый, чистый, чёткий, как рисунок в школьном учебнике по зоологии, и тупой стороной ножа рука отшвыривает его вместе с прочими отбросами на конец стола. При такой работе голова свободна. «О ком же думает Клер, в то время как руки её работают? Обо мне? О Жаке?»

— Да уходи ты отсюда, — говорит Гастон. — Уходи, а то они нас увидят и поднимут на смех. Пойдём, я тебе покажу одну штуку. Умора! Ты ещё не видел.

Через тёмный узкий коридор, заставленный коробками с золотистыми копчёными рыбами, они проходят в высокую комнату без окон, где в клубах пара и едкого дыма работают пожилые женщины и несколько мужчин. Тут трудно дышать. На стойках, похожих на вертушки для цветных открыток в табачных лавках, вертикальными рядами висят селёдки.

— Погляди на них, — смеясь, говорит Гастон. — Ты вот ешь селёдку, а наверняка не знаешь, почему у неё рот разинут. Смешные, а?

Правда, забавно. Люан тоже смеётся. Широко разинутый рот придаёт селёдкам трагический вид, как будто они умерли в страшных мученьях, а оказывается, раскрыт он просто оттого, что их насаживают ртом и жабрами на особые вешалки.

— Вам чего тут надо? — злобно кричит появившийся вдруг хозяин. Он взбешен. Однако ведь не в первый раз, поджидая работниц, сюда заходят чужие, особенно зимой, чтобы погреться в этом пекле.

— А что? Плохого мы ничего не делаем, — миролюбиво говорит Гастон.

Но хозяин орёт ещё громче. Это рослый и видный мужчина с волнистыми, напомаженными волосами; во рту поблёскивает золотой зуб; щегольские вельветовые галифе заправлены в высокие новенькие сапоги из красновато-коричневой кожи. Обычно он довольно приветливо и благодушно улыбается. Но сейчас почему-то рассвирепел, ревет, как бык, и сверлит взглядом Люана.

Сбежались работницы поглядеть, что случилось, испуганно жмутся друг к другу. Клер проскочила в первый ряд.

— Убирайтесь отсюда! Главное, ты убирайся, чтоб и духу твоего тут не было.

И хозяин надвигается на Люана, угрожающе потрясая кулаком. Но Гастон говорит Люану:

— Оставь, не связывайся, я сам...

И, оттолкнув Люана, делает шаг вперёд.

— Что это на вас нашло? Вот тебе на! Ни с того, ни с сего!..

Хозяин заикается от злобы.

— Нечего тут шнырять... Шпионить... подглядывать...

— Шпионить? Подглядывать? За вашими копчущками?

В самом деле, вот уж загнул, так загнул! Работницы хохочут. Даже сама хозяйка, которая исполняет обязанности старшего мастера в заготовочной и работает в цехе вместе с девушками, не может удержаться от смеха.

— Шпионы! Селёдок выслеживали!

— Скорей за жандармами посылай!

Хозяин, ошавев от злости, круто поворачивает.

— Ну вас всех к чёрту! Убирайтесь, не то собаку на вас спущу!

— Видел! — говорит Клер через несколько минут, шагая по мягкой грязи, уже оттаявшей на дороге. — У нас членов профсоюза немного, половины, поди, не наберётся, — они глупые ещё, девчонки совсем. А видел? Ни одна не испугалась, все над хозяином смеялись...

Зея накрыла на стол в столовой, где обычно семья никогда не ела. Вернувшись с работы, Поль заметил, что у жены заплаканные глаза. Старик догадался, что ей жалко Люана. За три года привыкла к нему. Он часто приходил по вечерам и почти каждое воскресенье бывал в доме, завтракал со всей семьёй, а потом шёл с Гастоном и Клер на футбол или в кино. У Люана тоже сердце немного щемит: через несколько часов в дорогу, — кажется, теперь уж наверняка. И всё же его охватывает лихорадочное нетерпение, огромная радость, светлая, как морской простор, который скоро засверкает вокруг него под солнцем. Увидеть вновь родную страну, вернуться на родину, какие бы ни ждали его там разочарования, страдания, опасности. Ведь он почти уверен, что, как только высадится, его и пятнадцать других вьетнамцев, которые едут вместе с ним, отправят в концентрационный лагерь, где будет во сто раз хуже, чем на «острове».

Зея ставит на стол суповую миску — этого Люан ещё никогда не видел в доме. Обычно она подаёт суп в большой красной кастрюле с закоп-

чёрным доньшком, а овощи, сваренные в ней, всегда разминает деревянной толкушкой.

Пятеро сидят за столом, и оттого, что у каждого сердце переполнено, не знают, как начать разговор. Клер очень бледна; слегка дрожат её руки, поглаживая скатерть, — стол нынче накрыт скатертью, видно, что обед необычный, торжественный, и от этого все чувствуют себя как-то стеснённо. Люан смотрит на Клер, но она избегает его взгляда. Гастон посматривает то на сестру, то на друга, но голова его занята иными заботами. Взгляд у него рассеянный и насторожённый, — взгляд человека, которому предстоит очень скоро что-то важное, и он думает об этом. Гастон думает о том, что будет после перерыва... А все остальные думают о том, что осталось позади и уже уходит в прошлое; их объединяют воспоминания, все подводят итог тому, что вместе видели, пережили, выстрадали, любили; хотят собрать всё, что сберегла память, как собирает и завязывает в узелок свои пожитки уходящий путник.

— Ну и горяч у тебя суп! — говорит жене старик.

— А что ж, на огне варился, — отвечает Зейя, приняв его слова за упрёк.

Люан почти не слышит их, все его мысли поглощены большим белым пароходом, что стоит у пристани и ждёт, тихий, безмолвный, словно покинутый, тот пароход, который Люан собственными руками помогал отремонтировать. И сердце Люана наполняется горечью, злобой, ненавистью; в душе у него нехороший груз, подобный тому, который повезёт «Сена», прихватив Люана и его товарищей. Она доставит свой страшный груз через моря и океаны в их родную страну. И вдруг память возродила то, что было необходимо вспомнить, то, что должно было служить напутствием перед тем, что его ожидало — вспомнилась вся жизнь этого порта, которая больше двух лет была и его жизнью, от которой почти не отрывал его даже короткий сон в четырёх дощатых стенах барака, жизнь, которой полон был и этот дом, потому что Поль и Гастон опять стали докерами, с тех пор как в порт вновь пришли корабли, преодолев ещё опасные морские пути, где блуждали, как медузы, последние мины. Вьетнамец Люан прочно вошёл в жизнь порта с того дня, когда работы на канале, у бывшей немецкой базы подводных лодок, прекратили «за отсутствием кредитов». Всё, что понастроили, бросили, всё стало добычей ветров и дождей, мороза и ржавчины, а Люан поступил чернорабочим в судоремонтные мастерские, расположенные в ограде порта.

Он вспоминает январь 1948 года. В сухих доках верфи глубоко врезалось в песок пять разбитых кораблей, — два из них, пожалуй, и не удастся починить. Посмотришь на них снизу — огромные железные дома с чёрными выпуклыми стенами, только глухими, без окон; громады, подавляющие своей высотой и гигантской тенью, которую они отбрасывают. Посмотришь сверху, с палубы «Сены», почти уже законченной, заново отстроенной, они лежат в песке, словно какие-то Гулливеры, которых лилипуты привязали множеством тоненьких, как нитки, верёвочек, прикрутив их к колышкам, вбитым в рыхлое дно. И вокруг каждого великана — строительные леса, сотни металлических, с виду непрочных стоек с перекладинами, похожих на лестницы...

За доком в белом утреннем тумане раскинулся порт, и когда посмотришь на него издали — кажется, что весь он ошестинился острями, как подушечка для булавок; всё как будто в хаотическом беспорядке — косо торчат иглы высоких кранов, а между ними мачты и антенны кораблей, тянутся канаты, точно перепутанные длинные нитки, вдетые в иглы; подальше — ряд высоких фабричных труб, соединённых лентой чёрного

дыма, который ветер сбивает в одну сторону, и маяк — тот, что на конце южного мола, — на нём, по случаю тумана, всё ещё мелькают огни, хотя давно уже утро. Когда смотришь на эти вертящиеся огни, кажется, что и сам ты, и весь порт, и всё море, и земля поворачиваются вокруг маяка...

От ветра у берега мелкая зыбь, и море издали зернистое, как корка недозрелого лимона, и такое же желтоватое с прозеленью у краёв дока; сквозь прозрачную воду видно песчаное дно. И ещё море похоже на жиденький бульон с блёстками жира.

Неподалёку стоят длинные строения мастерских, их застеклённые крыши отражают вздыбленные над ними, вибрирующие под ветром, огромные металлические буквы С.-З. С. М.¹

На «Сене» основной ремонт закончен. Уже очищают все углы и закоулки от накопившегося за время долгой стройки хлама, который почему-то напоминает о глухих заброшенных станциях, словно состоящих из одних лишь запасных путей, где умирают дряхлые паровозы, разваливаются товарные вагоны, брошенные тут ещё с прошлой войны, гниют шпалы и на рельсах вылезают из гнезд костыли. Сколько же набралось хлама! Кучи ржавых гвоздей, болтов и гаек, дырявые стальные пластинки, старые трубы, забитые грязью, мокрые и покрытые плесенью ящики, металлические и древесные стружки, грязные замазанные жгуты пакли, клейкие, как липкая бумага для мух, пустые железные баллоны для кислорода, гулко звенящие, когда Люан задевает их метлой. А Люан работает усердно, выгребаёт все эти отбросы, и у него такое впечатление, будто он помогает цветку выбраться из корявой почки, — так хороша эта металлическая громада, которая вырастает и поднимается с каждым днём, непреодолимо, как морской прилив, и точно отталкивает, отшвыривает весь этот мусор. На палубе всё ещё страшнейший беспорядок; лежат новенькие части машин, перенумерованные, помеченные мелом, железные листы, большие зубчатые колёса, красный якорь на корме, и повсюду точно заглядывают тебе в глаза чёрные отверстия для труб ста различных видов: одни трубы уже закреплены, другие валяются на палубе, а многие ещё ждут своей очереди, зарывшись в песок, около ступеней. Но уже везде поставлены, отделаны и окрашены, бросаются в глаза сверкающей белизной всевозможные перила на лестницах и мостиках, и уже бегут по бортам вокруг всей палубы широкие поручни.

Вчера сняли клетки с четырёх больших лебёдок, потому что больше уж ничего не надо подавать на борт, и потащили все четыре лебёдки по узкоколейке к остову другого корабля, поставленного на капитальный ремонт. Уже неделя, как перестал сновать по рельсам около «Сены» тяжело нагруженный состав платформ, которые ташил маленький паровичок, с нахальным видом пуская дым и пробираясь между кривыми бетонными лапами подъёмных кранов.

Теперь осталось только расставить всё по местам, закрепить, отполировать, разукрасить. Два, три месяца работы, не больше.

Наступает самая горячая пора, когда, как говорится, начинаешь понимать, что к чему, и уже видишь результаты своей работы. И хотя в отношении политики дело обстоит гораздо хуже, чем год назад, всё же приятно видеть плоды напряжённого труда, поглотившего много месяцев — большой заново отстроенный корабль, первый, который выйдет из верфи после войны. Основная работа сделана была ещё тогда, когда в правительстве были коммунисты. Времена переменились, ветер сейчас повернул в другую сторону, и всё-таки тот день, когда корабль спустят на воду, будет праздником победы, завоёванной именно в то время.

¹ Северо-западные судоремонтные мастерские.

И Люан, хоть он и позже других включился в эту работу, разделяет энтузиазм товарищей.

Только ему обидно, что на его долю выпала самая простая работа, что он вытребует мусор и орудует метлой вместе с мальчишками.

Половина двенадцатого. Люан спускается с корабля по длинным прогибающимся доскам, чтобы отыскать Гастона. Они всегда закусывают вместе, присев на мешок или на ящик; жуют хлеб, сидя у воды, если не очень холодно, как сегодня, или же устраиваются около жаровни с раскалёнными углями, над которой докеры греют руки.

С тех пор как Люан работает здесь, у него как будто открылись глаза на мир и на людей, всё стало ещё более ясным, чем в то время, когда он работал на дне канала меж двух заслонов, сдерживающих напор воды.

Он останавливается перед длинной баркой, выкрашенной в чёрный цвет и покрытой лаком; в её глубокий зияющий трюм грузят руду. На дне трюма по четырём углам толпится шестнадцать человек, они принимают четыре бадьи, которые по очереди спускаются, покачиваясь, и как будто колеблются, отыскивая что-то, прежде чем двинуться в тот угол трюма, куда их направляет сверху крановщик. Каждая бадья тащит не меньше тонны груза, а то и полторы тонны. Докеры как будто играют с ними в четыре угла — опасная игра!

За спиной Люана вдруг раздаётся оглушительное шипенье, точно выпустили пар из паровоза, и Люан, вздрогнув, смотрит через плечо: в трюм другой барки выплёвывает тонну каменного угля железный ковш, похожий на жабу, разинувшую рот.

Потом раздаётся знакомый голос:

— Что скажешь, друг, ходко идёт работа, а?

Люан оборачивается. Это Леон, секретарь местного Объединения профсоюзов. Люан хорошо его знает, — это он выдавал вьетнамцам профсоюзные билеты. Невысокий коренастый парень, рыжеволосый и румяный, крепкий телом и духом; совсем ещё молодой — лет двадцать пять, не больше, а как все уважают его за энергию и преданность рабочему делу. Весь день он в порту или на заводе, а по вечерам — в городе, ещё лежащем в развалинах, только окна барака, где помещается Объединение профсоюзов, светятся до позднего часа: Леон проводит собрания. Один вечер — строительные рабочие, другой — текстильщики, третий — докеры. И после собраний ещё долго не гаснет свет в одном окошке барака — Леон всё ещё там, работает в тишине. И когда это он, спрашивается, спит, когда бывает дома с молодой женой, которая, как и Клер, работает на консервном заводе? Известно, что за свою работу он получает не очень-то много. А ведь он квалифицированный рабочий и мог бы за станком зарабатывать куда больше. Раньше он был слесарем в судоремонтных мастерских. Во время недавней большой забастовки, когда докеры продержались до конца, до 10 декабря, Леон на части разрывался, но всюду поспевал.

— Да уж работают! Прямо страшно, — отвечает Люан.

Но видно, что Леону хочется поговорить с ним не о погрузке, не о погоде, а о чём-то другом... Он берёт вьетnamца за плечо и пытливо смотрит в глаза, как будто ему необходимо узнать, что Люан думает о некоторых важных делах.

— Ты что думаешь об этой махинации?

— Какой махинации?

— Ну, об этих переговорах Боллаэрта с Бао Даем.¹

¹ Боллаэрт — верховный комиссар Франции в Индо-Китае, Бао Дай — бывший император Аннама, с марта 1949 г. глава марионеточного правительства Индо-Китая (Примеч. ред.)

Ах, вот он про что! Люан усмехается, но невесёлой, гневной усмешкой.

— Твой Бао Дай...

— Это ещё что за новости — «твой Бао Дай»! — Леон энергично отмахивается.

А вьетнамец, сердито сплюнув, вдруг толчком отбрасывает Леона в сторону:

— Гляди! Вот что с ними будет, если они не уберутся со своим Бао Даем.

Леон, видимо, доволен и смеётся от души.

— Значит, не согласен, а?

— Пускай убирается к голландцам!

Они делают несколько шагов по пристани.

— Смотри-ка, скоро уж разгрузят пароход. Через час, самое большее, кончат.

В самом деле, белый киль «Джонни Аллисона» поднялся высоко, и пароход колышется на волнах, точно приплясывает от радости, что избавился от тяжёлого груза. С носовой части лебёдкой спускают груды длинных досок, перехваченных посередине стальной цепью. Сбоку по гнущейся доске скатывают мешки с удобрением; мешки скользят до узкого трапа, и там их мгновенно подхватывают на плечи докеры, несут на пристань и бросают в грузовик. Груда досок спускается, покачиваясь, в воздухе. Выскользнув из неё, небольшая доска падает на край пристани. Подходит старик-грузчик и наклоняется, чтобы её поднять. И вдруг происходит катастрофа, один из тех несчастных случаев, о которых потом говорят: «Я это предчувствовал». Груз потерял равновесие, цепь развязалась или сползла — кто его знает, как это вышло, — но всё летит вниз. Испуганные крики: «Берегись!» — и старик отскакивает назад, низко пригнувшись, как солдат, пробегающий по траншее под пулями. Длинные доски падают кучей, разбиваются в щепки, разлетаются во все стороны, как спички из упавшей коробки...

Люан не сводит глаз со старика, но тот смеётся, и другие смеются: «Хорошо, что не прихлопнуло!». И следа нет жуткого страха, он придёт позднее.

— Счастливо отделался старик! Он социалист, — говорит Леон, — как будто есть какая-то связь между двумя этими фразами.

— Эй, Леон, — кричит старик, — ты во-время пришёл!

— Я во-время пришёл, а ты во-время отскочил, — шутит Леон, пожимая руку старику и другим докерам.

— Мало народу на разгрузку наняли. Ну вот, ребята то ждут без толку, — а за простой им деньги не платят, — то гонят во-всю, свяжут кое-как, лишь бы поскорей, и вся кладь еле держится.

— Ты об этом говорил Эрнесту?

— Говорил, он тут сейчас был. А он говорит: «Некогда мне». Что-то ему теперь всё некогда. Очень уж занятой стал.

— Я сейчас найду его, — сразу помрачнев, говорит Леон. — Он займётся этим.

Эрнест — секретарь профсоюза докеров, несколько месяцев назад он был секретарём всего местного Объединения профсоюзов. Теперь в Объединении его заменил Леон. Новый секретарь — отчасти выученик Эрнеста — и перенял от него многие привычки, манеру разговаривать с рабочими, его жесты и даже щурил глаза так же, как Эрнест, точно ветер с моря дул ему в лицо. Но ученик рос быстро, а учитель стал сдавать и, хотя во многих отношениях оставался примерным руководителем

и прекрасным человеком, у него бывали теперь минуты усталости и душевного упадка.

Знакомая и всегда сложная история: два человека привязаны друг к другу, как отец и сын, — а вот идёт теперь между ними какая-то борьба, идёт и днём и ночью, потому что даже, когда они не вместе, оба переживают свои столкновения, резкие слова и обиды и отвечают за них перед своей совестью.

Эрнест познакомился с Леоном в годы войны. Леон тогда только что вступил в партию. Эрнест сразу почувствовал к нему доверие и стал вовлекать в работу. Потом Эрнеста арестовали. Полгода он провёл в Лооском централье; ему удалось бежать оттуда. И вернувшись, он увидел, что подпольная организация уцелела, она не развалилась, она действовала, и всё это благодаря Леону. Когда настали дни освобождения, партия направила Эрнеста на профсоюзную работу, он привлёк к ней Леона, и тот работал под его руководством. Вместе с ним Эрнест подготовлял первые собрания и поручал Леону проводить их. Леон стал секретарём секции механиков, а потом секретарём всего профсоюза металлистов, участвовал в департаментских профсоюзных конференциях, выступал с сообщениями в федеральном комитете партии. Леон робел и смущался перед выступлением. Эрнест всегда умел его ободрить. Сам он больше не выступал. Он считал, что лучше будет, если они с Леоном обсудят всё, что надо сказать о положении дел в порту, и пусть теперь говорит Леон. Так же поступал он и в местном Объединении профсоюзов, не раз поручая Леону делать на собраниях доклады вместо него, чтобы парень приобретал опыт. И вполне естественно, что он воспитал в Леоне те черты, которые должны быть у профсоюзного деятеля: скромность и преданность делу трудящихся, — те самые черты, за которые рабочие в порту уважали и любили Эрнеста; коммунисты и не коммунисты готовы были за своего руководителя профсоюза встать стеной, и они это доказали несколько недель назад во время забастовки, когда Эрнеста посадили за решётку: три дня подряд происходили демонстрации перед префектурой, весь город участвовал в них, и властям пришлось выпустить Эрнеста.

— Видишь ли, — сказал Леон, снова шагая с Леоном по пристани, — Эрнесту трудно приходится: сколько пароходов, сколько бригад грузчиков, сколько разных видов груза и условий погрузки или разгрузки, столько и всяких конфликтов возникает... И все разные. Трудно ему. На заводах или на верфи всё устойчивее. А здесь требования иной раз меняются чуть не каждые четверть часа. Не разорваться же Эрнесту. С одной охраной труда сколько забот. Видел, что было? И на каждой работе свои опасности. Да, можно сказать, в порту все работы опасные. Ребята, конечно, виноваты, но их тоже понимать надо. Если они работают сдельно или получают надбавку за высокую выработку, они не любят терять время — где уж тут принимать меры предосторожности. Ясно, что они вынуждены спешить. Видал, что с досками-то получилось? А ведь иногда и рельсы так падают. Это похуже. Спускают стальные полосы по двенадцать метров длиной, а цепь соскальзывает с них ещё легче, чем с деревянных балок и с досок.

Из трюма барки вылез молодой парень, чёрный, как трубочист, только глаза обведены белыми кругами, потому что время от времени он тёр глаза тыльной стороной руки.

— Ну и чумазый ты! — говорит ему Леон.

Парень смеётся, будто посмотрел на себя в зеркало.

— А ты знаешь, что это такое?

— Наверно, жжёная кость. Ну и красавец! Надо же так измазаться!

— Это ещё с полбеды — умыться можно, — лукаво подмигивает парень. — А беда вот какая — у меня невеста есть. Пойду нынче к ней, а тут глянь-ка, — он сплёвывает на синеватый гранит пристани. — Глянь-ка. Прямо вакса!.. Два дня уж так плююсь, и ещё три дня, не меньше, так будет. Ну вот, пойду вечером к невесте, а она посмотрит да отодвинется. Поцеловаться и не проси, что ни говори — не слушает. Думает, это болезнь какая у меня. Я, говорит, знаю, что это такое: пока она в тебе сидит, ты вроде как заразный... всё у тебя разъело. И вот уже два дня всё подальше от меня. Вбила себе в голову... А мне ещё три дня ваксой плеваться, понимаешь, какое дело?

— Зато теперь у тебя, может, время найдётся на собрание прийти, — шутит Леон и даёт ему тумака в качестве дружеского наставления.

— Вот ещё и это — видел? Тоже опасно, — говорит Леон, отойдя немного с Люаном. — Он шутит и дурачится, а сам боится не меньше своей невесты. Наверно всё думает об этом, поди и во сне видит. И не только доски на головы грузчиков сваливаются: позавчера на одного парня высыпалось девятьсот кило удобрений. Я сегодня был у него в больнице. Ему уже не встать. Да ведь не только раздавить может. А чего только люди не наглощаются здесь!.. Вот прошлым летом разгрузили какой-то «цинамид-кальцид» или что-то вроде этого — так и не запомнил названия, хотя столько пришлось писать из-за этой истории. У ребят захватывало дыхание, и кровь шла из носу. Это, друг, не легче, чем война... Контролёр вызвал врача, чтобы составить протокол. Ребята потребовали прибавки за вредность, пятьсот франков в день. Законное требование, верно? «В принципе» они добились удовлетворения, а денег до сих пор ещё не получили! Или вот когда шлак грузят, в глаза летят мелкие осколки, а очков не можем добиться! А цемент! А сера!..

На повороте навстречу им показался Эрнест. Сразу чувствуется, что это человек очень сильный и очень нервный. Голова, шея, плечи мощные, как будто высечены из цельной каменной глыбы. На лысой макушке плоский маленький берет. Впрочем, берет макушку прикрывает изредка, а больше находится в движении: разговаривая, Эрнест поминутно приподнимает его над головой, вертит то в одну сторону, то в другую, сбивает набекрень, изсовывает на нос, сдвигает на затылок. Прodelывает он это машинально, вроде того, как другие поглаживают себе лоб или почёсывают за ухом, чтоб собраться с мыслями.

— На разгрузке «Джонни Аллисона», — говорит Леон (Эрнест при этих словах сразу бледнеет), — чуть было не задавило Эжена.

— Ранен? — спросил Эрнест сдавленным голосом.

— Нет. А чуть было не зашибло.

Тут Эрнест рассердился, — зачем он постоянно пугается зря и понапрасну себя упрекает.

— Ах, дьявол! Ты же знаешь, Леон, мне с двумя моими контролёрами за всем не доглядеть. И так уж по всему порту бегаю, как угорелый. Эрнест — туда, Эрнест — сюда: всё Эрнест! Не разорваться же мне. Пусть сами о себе позаботятся. Что же это такое, в конце концов!

— Неправильно говоришь, Эрнест, — мягко возражает ему Леон.

Эрнест прекрасно понимает, что Леон не хочет объясняться при Люане, а не будь его тут, — ясно, что ответил бы ему Леон. Он бы напрямик сказал: «А что ты раньше говорил? Помнишь? Ты говорил — нельзя на рабочих вваливать ответственность. И со всеми делами можно справиться, если сумеешь организовать людей и сам будешь работать организованно. Главное в работе не канцелярщина, хотя бы даже и ответы на циркулярные письма департаментского профсоюзного руководства, а живое дело — порт, докеры. Циркулярные письма, что ж...

Недавно на конференции Монмуссо откровенно сказал Башлену из департаментского Объединения профсоюзов: «Это ваш недостаток, что вы циркулярами работаете».

— Ну, ладно, ладно... Конечно, я неправильно сказал. Но, ей-богу, я измучился. Ты поставь-ка себя на моё место... Мне уж не двадцать лет.

Люан смотрит на Эрнеста и спрашивает себя: о чём тот сейчас думает? Глаза у него ясные, чистые. В сущности, он гордится Леоном, видит в нём свою собственную возрождённую молодость, чистую, смелую, горящую тем огнём, который в нём уж чуть тускнеет, полную той силы, которая в нём изнашивается; гордится, что этот молодой парень несигибаемый, твёрдый, как сталь, тормошит, подталкивает, заставляет его оставаться молодым. Гордится он и собою — ведь всё, что делает Леон, даже когда нажимает на него, идёт против него и ломает его сопротивление — это плоды его, Эрнеста, работы; он воспитал для партии этого молодого борца, полного энергии и веры в свои силы... А всё же бывают минуты, когда у Эрнеста почти пробуждаются чувства, недостойные коммуниста, вдруг заговорит в нём какая-то зависть, и он готов видеть в Леоне целую уйму недостатков, пережитков старого: неблагодарность, карьеризм, демагогию, угодничество перед вышестоящими, самодовольство — «Я всегда прав», — и бог весть что. И тогда на него нападает ворчливость и дурное настроение, как у задремавшего усталого человека, которого взяли да и разбудили внезапно, хотя бы для того, чтобы сообщить приятную новость.

— Ах вот как! Тебе уж не двадцать лет? Бедный старичок! — хохочет Леон и, повернувшись к Люану, говорит: — Прошлым летом мы с ним боролись на пляже. Минут пятнадцать, не меньше, барахтались на песке, и в конце концов он меня одолел. Вот вам и «не двадцать лет»! Весь как сбитый, да мохнатый, да шершавый, как наждачная бумага, а как схватит — кости затрещат.

Но Эрнест не смеётся, смех Леона звучит одиноко и обрывается.

— Послушай, — говорит Эрнест, — я сейчас с «Филипвиля». Там такое творится, что мне на целый день хватит работы. Разгружают смолу, а она у них и в бочках и кусками — навалом. Во-первых, из-за этого путаница с расценками. А кроме того, уж не знаю, как её грузили в трюм, или машины тут виноваты, а только смола у них подтаяла. А ведь ты знаешь — в таком случае и плата полагается другая; есть две расценки — зимняя и летняя. Ну, ребята и требуют полуторной платы. По существу, они правы, а им отказывают на формальном основании: зимняя расценка установлена с 1 октября по 30 апреля, летняя — с 1 мая по 30 сентября, а у нас сейчас январь стоит. Ничего и слушать не хотят. А ребята извелись, посмотрел бы ты на них!.. Во-первых, очков им, конечно, не выдали, во-вторых, приходится руки и шею посыпать тальком, а он сразу же, как клей, делается. Да, уж тут мне хлопот на целый день хватит.

— А как у тебя жена? Получше ей? — спрашивает Леон.

— Всё ещё лежит. Доктор говорит — придётся второй раз операцию делать. Хорошо, что ты спросил, совсем забыл, что мне надо в аптеку сбежать.

Люан чувствует себя лишним при таком разговоре и отходит от них.

— И ещё вот с дочерью огорченье! Знаешь, какая беда? Дружок у неё появился. Да кто! Моблан! Молокосос Моблан, который не хочет вступать в профсоюз. Раньше был в профсоюзе, а теперь не хочет.

— Но он всё-таки не плохой парень. Тут Грегуар виноват: обидел его — вот он и не хочет. Не умеет Грегуар обращаться с людьми, орёт на всех.

— Да ну его, ну его! — сердито говорит Эрнест. — К счастью, ему скоро призываться. Всё позабудется.

— Вот как ты рассуждаешь! Все вы, папаши, такие. «К счастью», да «позабудется». А если не позабудется?.. А если его отправят? Ну, сам знаешь куда...

И Леон исподтишка поглядывает на Люана — не слышит ли тот. Люан медленно прохаживается в сторонке и старается смотреть на море, а не на них, но волей-неволей всё слышит. Заметив взгляд Леона, брошенный на вьетнамца, Эрнест догадался, что он хотел сказать.

— Конечно, могут отправить...

— Ну, вот видишь!.. Не так-то оно просто. Знаешь что, поговорил бы ты с ним до солдатчины.

— Я уж пробовал. Пришлось крепко поговорить — он сам ко мне явился. Видно, у них с моей дочкой серьёзные дела. Поглядел бы ты, как они друг на дружку смотрели, когда мы сидели втроём. И что ж этот молокосос ответил?.. «Эрнест, — говорит, — я теперь не во всём с вами согласен, у меня, говорит, другие идеи...» Слыхал? Идеи!.. Какие ещё у него идеи? Да он и понятия не имеет, что такое «идея», вот и вообразил, что у него есть свои собственные идеи. У моего пятилетнего сынишки тоже есть своя идея! Спроси у него, сколько будет девять да четыре, он выпалит: «Тридцать два». Хороша идея!

— Эрнест, ты опять придираешься. Сухарь ты какой, право! Ну, заблудился парень, вообразил, что у него правильные идеи. Слова глупые, а поступки неплохие. Сам посуди. В стачке он участвовал? Участвовал. Молодцом держался? Молодцом. Не сдрейфил в трудные минуты. В конце концов, это и есть самое важное. Да ещё подумай насчёт того, что я тебе сказал...

Они вспомнили о Люане — он всё ещё прохаживался в трёх шагах от них, не желая мешать. Эрнест подозвал его.

— А как ваши? Получили профсоюзные билеты?

— Да. Только до вас явились к ним с другими билетами и попробовали их всучить.

— А какие они, эти билеты? Я ещё не видел.

— Добавлено на них мелкими буквами «Ф. У.»¹ Кое-кого они могли подцепить, тем более, что денег не берут, — у нас, говорят, даром, ничего платить не надо, а у них (то есть в наших профсоюзах) вступительный взнос платят. «На острове» им не повезло — чуть было не швырнули их в воду.

Эрнест и Леон захохотали, — так забавно и энергично Люан произнёс «швырнули»...

Это было в январе 1948 года.

А сейчас пятеро молча сидят за столом.

Глаза Клер и Люана встретились. Её губы чуть тронула улыбка. Люан что-то хотел сказать, но в это время в дверь постучались. Ложки с супом остановились на полпути. Щеколда снаружи плохо отворялась — нажимаешь на головку, а она вертится без толку. Кто-то толкнул дверь уверенной рукой, — значит, знакомый. Это зашёл за Полем старик-докер. Они всегда ходили вместе на работу, если смена совпадала, и всякий раз возобновляли прерванную беседу.

— Не иду нынче после обеда, — сказал ему Поль.

— То-то я вижу — вы только ещё за стол сели. А ты, Гастон?

— И я не иду.

¹ «Форс увриер» — раскольническая профсоюзная организация во Франции, созданная в конце 1947 года. (Примеч. ред.)

— Что ж, значит, на пристани не будете в четыре часа?

— Как это не будут? Скажете тоже! — вдруг возмутилась Зезя.

Все захохотали.

Докеру хотелось проститься с Люаном, он снял сабо и вошёл в комнату.

— Я сейчас из-за этого чуть не подрался со своим мальчишкой. Не знаю, где у него только голова? О чём думает? Нынче вот свалился в канал. Ты слышал? Знаешь?

— Ах, чёрт, так это твой? Я и не знал, — говорит Поль.

— Ну да, мой. Привели его, а он весь мокрый, посинел, дрожит, как осиновый лист. Я его в постель уложил — пусть согреется. Доктора пока ещё не звали, думали — подождём до вечера, посмотрим, что будет, а то ведь, знаешь, сколько они дерут. Где взять-то! А он, подумай-ка что отмочил: «Всё равно, говорит, пойду к четырём часам» Я говорю — не пойдёшь. А он мне в ответ: «Я окошко разобью и вылезу. Мне, говорит, с охранниками надо посчитаться за прошлое дело». А это, знаешь, такое дело — в сорок восьмом году его один деголловец схватил за шиворот и такую дал затрещину, что у парнишки дух занялся... Ишь что выдумал — «посчитаться!» Мальчишка, от земли не видать, а туда же! Взрослым себя воображает, а у самого ещё молоко на губах не обсохло.

— Ну и как же? — спросил Люан, глядя на него.

— Что с ним будешь делать! Упрямый! Я сказал матери — не пускай, куда ему в холод такой. Да ведь не послушает, удерёт. Ну ладно. Ты как думаешь — серьёзное дело заварится, а? Я встретил сейчас Леона около Объединения — он пошёл перекусить. Ну так вот, он мне сказал, — только смотри не проболтайся, — хорошо дело идёт, ещё никогда так не было. Если они вздумают всё-таки погрузить свои поганые штуки и нагонят для этого солдат, — с «Бристоля» дадут гудок. Англичане-матросы с «Бристоля» согласны. А тогда в судоремонтных мастерских рабочие всё остановят, и к нам присоединятся. В городе во всех мастерских тоже бросят работу и пойдут в порт. Все зашевелились — посильней, чем в сорок восьмом году, и даже в сорок седьмом. С текстильной фабрики тоже придут, а их ведь труднее всех поднять. Профсоюзы согласны — не только наши, а даже из «Форс увриер» — и даже «дикие»... Волей-неволей поддержат, не посмеют против нас пойти.

— Нам на консервном ничего не говорили, — заволновалась Клер.

— А ты чего ждала до сих пор? Сама-то не могла их поднять? — сердито сказал Гастон. — О чём только твоя голова думала? Всё мечтаешь!

Клер поняла, что хотел сказать Гастон, и сразу на глаза у неё навернулись слёзы, как будто только и ждали предлога. Гастон заметил это. Увидел также, что и Люан понял намёк и, может быть, дурно его истолковал.

— Гастон, что это ты? Какая муха тебя укусила? — с укором сказал отец.

— Никакая, — буркнул Гастон и уткнулся в тарелку.

Он сдержался и рад теперь, что не сказал чего-нибудь обидного; всердцах он чуть было не выпалил: «Очень уж чувствительные вы оба. Развели канители! Мудрите много! Напутали, накрутили и не видите, куда идёте. Решайте напрямик — или так, или этак. А иначе я знаю, чем это кончится. Будешь ты плакать завтра, Клер, тогда пеняй на себя».

Перегнувшись через стол, он взял сестру за руки, как будто просил извинения. Потом сказал:

— Ну, ничего, не горюй, мы и без твоих девчонок справимся. У нас —

сила! Надо только захотеть по-настоящему, и весь порт будет с нами. Вы помните, как было, когда спускали «Сену»?

И в памяти Гастона мгновенно прошло всё то, что было при спуске «Сены», как будто он мысленно кому-то рассказывал об этом.

Это было в августе 1948 года. Атмосфера в порту накалялась, как и везде. Забастовка государственных служащих, покушение на Тольятти, берлинские события, чрезвычайные декреты Рейно... Чувствовалось, что пружина напрягается всё сильнее и сильнее. В Лилле докеры, которые вошли было в «Форс увриер», всем скопом вышли из неё и вернулись во Всеобщую конфедерацию труда. В порту об этом много говорили и по меньшей мере половина тех, кто был в «Форс увриер», последовала их примеру. «Сену» ещё не совсем закончили, но снаружи это не было заметно. Оставалось только кое-что доделать внутри. А для этого её незачем было держать в сухом доке. Теперь уж она могла ходить под парами. Спуск назначили на 15 августа. Рабочие решили воспользоваться этим и добиться удовлетворения своих требований. В то время основными требованиями были прожиточный минимум в двенадцать тысяч девятьсот франков, автоматическое повышение ставок заработной платы при возрастании цен и поясной тариф. Мысль воспользоваться спуском «Сены» пришла ребятам из судоремонтных мастерских. Они-то главным образом дрались за сорокачасовую неделю, потому что «Сену» уже заканчивали, один пароход сняли с ремонта, и им угрожала безработица. Они требовали гарантированных сорок часов в неделю и чтобы не уменьшали заработную плату — платите, как раньше, когда работали по сорок восемь часов. Ладно. А для нас, докеров, первое дело — вопрос очерёдки: так мы называли Центральную контору по найму рабочей силы. Она у нас с сорок пятого года, и хозяевам очень не по вкусу пришлась такая система. А мы решили её отстоять. Люди на себе испытали, как погано получалось, когда не было очерёдности, не было единой конторы найма, — я-то не помню, ещё молод был, но отец мне рассказывал. Бегают от парохода к пароходу — наймите, пожалуйста; на одну и ту же работу просятя двое-трое, а хозяева и подрядчики торги устраивают: берут того, кто поговорчивее, кто дешевле возьмёт. С шести часов утра выходили на поиски работы, и иной раз до полудня ищут, да так ничего и не найдут, возвращаются домой с пустыми руками, только время потеряли. А с тех пор как у нас очерёдка, наряд на работу выдают с половины восьмого. К девяти часам, самое позднее, всё уж распределили. Если кого не наняли, делают ему отметку — получишь гарантийную зарплату; и ты уже свободен — не потратил зря времени; да и споров, ссор между товарищами нет. Хозяевам досадно — при прежних порядках мы у них были в кулаке. Ну вот. На нас стали всячески нажимать.

Вот, например, мы никак не могли добиться, чтобы перед очерёдкой устроили крытый навес. Хозяева рассчитывали так: будут грузчики по утрам ждать разнарядки под дождём или в тумане — поднимется недовольство, и всё пойдёт по-старому. А мы видели их насквозь, и этот самый навес, хоть он как будто и пустяковый — всего-навсего столбы да крыша — несколько квадратных метров волнистого железа, — а он у нас стоял на первом месте в наших требованиях. Опять же с подрядчиками. Подрядчики — тоже акулы, не хуже хозяев. Вот берут они подряд на разгрузку или погрузку, прикинут и говорят: «Мне на работу надо поставить сорок человек». И берут с хозяев за сорок человек, а сами нанимают только тридцать — остальные деньги себе в карман кладут;

заставляют тридцать грузчиков работать за сорок человек и за переработку самую малость дают прибавки. Ну, мы и решили научить их счёту: сорок равно сорока, а не тридцати. Это вам не задачки-головоломки для ребятишек: «Что тяжелее — сто кило пуху или сто кило свинца?» Тут дело ясное — забыли арифметику, надо напомнить. Ладно. Ещё мы решили требовать, чтоб работа шла «сплошняком», а не «вперебой». «Сплошняком» — это значит восемь часов работы, с перерывом в полчаса на обед, а «вперебой» — четыре часа работы, четыре часа — сменные заступают, а потом ещё четыре часа. Ну, это уж не жизнь! Сам себе не принадлежишь. Четыре часа работай, четыре часа болтайся в порту, некуда деваться, не знаешь, что делать, — разве только сачком рыбу ловить... А хозяева говорили, что за первые четыре часа грузчик вымотается и уж после обеда меньше сработает, а главное — им не хотелось давать нам эти полчаса на обед. Да ещё много чего они не хотели нам давать... И поэтому когда рабочие верфи подали мысль, докеры сказали: «И мы с вами!».

Пришло воскресенье, народу в порту набралось — не протолчешься! Жара, солнце палит. Праздник тройной: воскресный день, пятнадцатое августа и спуск «Сены». Пятнадцатого августа здесь всегда народу уйма — такой уж обычай повёлся. Со всей округи съезжаются сюда, на берег моря, — по железной дороге едут, в автобусах, в автомобилях. В этот день, кроме того, празднуют конец учебного года, устраивают сюда поездки в награду за успехи. Словом, рекордный день. Мы и говорим начальству: «Вы свой пароход на воду не спустите, если не удовлетворите наши требования. Так и знайте». А ведь нам не меньше их хотелось, чтобы он вышел в море. Пароход этот был нашей гордостью, и не только ребята из судоремонтных мастерских, которые его заново отстроили, гордились им, а весь порт, весь город. И поэтому-то мы не хотели, чтобы его спуск обратился против нас. Профсоюз выпустил воззвание к населению, чтобы все пришли и чтобы обычай «крещения» корабля получил новый смысл.

Прибыл префект, супрефект, собрались окрестные мэры, прибыло несколько оркестров, и даже прислали воинскую часть с полковым оркестром. Такой парад закатили, дальше некуда! У горнистов трубы с атласными треугольниками, из рукавов выглядывают белоснежные манжеты, барабаны перевиты белыми лентами. Красота! А поглядишь — вон и оборотная сторона медали: выстроены чёрными шеренгами и стоят колоннами охранники из отрядов «республиканской безопасности»... И всё же власти в мундирах с золотыми галунами, с позолоченными пуговицами и в белых перчатках чувствовали себя, как видно, не очень-то уверенно. Но уж, конечно, они не ожидали того, что произошло.

А кругом стоят рабочие люди, любуются на свой пароход. Вот красавец! Весь покрыт лаком, весь так и сверкает на солнце, переливается, и уж не знаешь, что больше блестит — огромный чёрный корпус или широкая белая кайма сверху, — как будто надетый для парада крахмальный воротничок, — а по ней опять же чёрными буквами выведено «С е н а». Ну, зеркало, прямо зеркало! Даже видно, как в нём отражается подъёмный кран, — притащили этот кран на край пристани, он поднимался, как великан, ещё выше парохода и стоял согнувшись, как будто рассматривал праздничную толпу, ошалевшую от солнца, от шума, от ярких красок и восторга.

Помню, рядом со мной стоял маляр с женой и сынишкой, — малышу лет семь было, не больше. Отец показывает ему, что на корпусе у кормы — длинный столбец цифр для определения осадки судна. Маляр сел на корточках около своего мальчишки и говорит: «Видишь, сы-

нок, цифры? Вон те, что идут от сорока двух до семидесяти четырёх, — это твой папа нарисовал. Видишь? А ну-ка, читай, ведь ты немножко умеешь читать. Читай». Мальчик попробовал и сбился — в столбце цифры шли, перескакивая через одну, и ему трудно было разобраться. Тогда он стал читать их с самого низу, одну за другой, а отец кивал головой: «Так, так, верно!» Все вокруг заинтересовались, и когда мальчишка замнётся, все уж губами шевелят — хочется подсказать. Он дошёл до сорока двух, и отец сказал: «Вот отсюда уж мои цифры начнутся. Читай, сынок». Он подтолкнул жену, она наклонилась, поглядела на отца, и у обоих слёзы в глазах были, ей богу! Малыш читает: «Сорок два... Сорок четыре... Сорок шесть», а отец слушает и гордится... Гордится, что сын уже умеет цифры читать и что цифры эти написал он, его отец. Мальчуган дошёл до семидесяти и запутался — дальше не знает счёту... Тогда маляр за него все их до одной громко прочитал, поднялся и взял своего грамотея на руки.

— Сейчас увидишь, сынок, — опустятся эти цифры в воду, а потом поплывут вместе с кораблём и увидят все моря и океаны и всяких, всяких рыб в морях и океанах...

В последнюю минуту мы ещё раз послали делегацию к дирекции верфи и к подрядчикам, которые собрались на трибуне вместе с властями. Я был в составе делегации. Вели нас Леон и Эрнест. Эрнест им сказал:

— Можете сколько угодно бутылок с шампанским разбивать о корпус парохода. На смех вас поднимут, вот и всё. Спустить на воду корабль могут только рабочие, и никому другому этого не сделать.

— Ах вот как! Вы уверены в этом? — с усмешкой сказал префект.

И сейчас же подал знак начальнику отряда, а тот скомандовал охранникам, и они выхватили свои резиновые дубинки. Вот так картина! Это в самый-то разгар праздника!.. А только не беспокойтесь, у нас тоже свой план был. Мы вернулись к пароходу, как было предусмотрено, а там уж сгрудились рабочие, — между подъёмным краном и трибуной, обтянутой трёхцветными полотнищами с синими, белыми, красными полосами; к трибуне уже прикрепили длинную верёвку, а на конце её привязана была бутылка с шампанским, тоже украшенная трёхцветной розеткой. Ну вот, с одной стороны, значит, рабочий люд около парохода, а с другой — начальство на трибуне, а между ними двойная шеренга охранников. Вся толпа как будто почувствовала — настает торжественная минута. Пятьдесят тысяч человек разом смолкли. Тишина. Только вверху, высоко над нами, полощутся на ветру вымпелы и флаги, поскрипывают снасти да чайки кричат хриплыми голосами. Мы двинулись к трибуне, и все за нами пошло — одним хочется помочь нам, другим любопытно посмотреть, что будет. Охранники принялись колотить изо всей мочи дубинками — тут, там падают наши ребята, боишься, как бы не наступить на них. А тот маляр, что своему сынишке говорил про цифры, — как сейчас вижу, — передал его на руки жене и тоже с нами идёт. Как нажали мы, шеренга охранников поддалась, и ребята со всех ног кинулись к трибуне. Лестницу приступом не возьмёшь, там охрана была солидная. У верхней ступеньки, видим — стоит префект, машет руками, мотает головой — старается уговорить жену директора верфи: «Бросай, мол, бросай бутылку, крёстная мамаша». А она боится, не хочет. Нашим ребятам лестница и не нужна, принялись карабкаться по столбам. А внизу началась схватка между охранниками и рабочими. На трибуну карабкалось четверо, и, гляжу, один из них — Леон! Первым взобрался молоденький парнишка. Толпа же всё молчит. У некоторых рта раскрыты, честное слово! Префект вдруг струсил, испугался

мальчишки, и скорей по лестнице стал спускаться. Парнишка схватил бутылку, поднял над головой, всем показывает и смеётся. Даже горлышко ко рту приставил — будто пьёт. Мы смотрим, а у всех сердце колотится — страшно за него. Ведь кругом эти мерзавцы — охранники, вдруг вылетит пуля... Скажут — случайный выстрел. Но парнишка бросил бутылку, она разбилась о корпус корабля, и ребята, поставленные для спуска, принялись за работу. «Сена» потихонечку заскользила по спусковой дорожке. В толпе закричали «ура». Корабль скользит быстрее, быстрее, «ура» всё громче, музыка заиграла Марсельезу — верно, так было условлено. И вдруг трубы, флейты в беспорядке смолкли — дали приказ остановить оркестр: Марсельеза не для нашего брата. Толпа от удивления тоже смолкла. И как раз в эту минуту пароход спустился на воду, нырнул носом, взбил облако пены, закружил водоворотом волны, выпрямился, великолепно нашёл равновесие и, покачиваясь, поплыл, как лебедь. И вдруг тонким и немного дрожащим медным своим голосом корнет-а-пистон в одиночку запел Марсельезу — какой-то парень в оркестре не выдержал и решил оказать нам честь. И что ж ты думаешь! Вся толпа, как один человек, подхватила, вступили музыканты, и загремела Марсельеза. Я никогда и не слышал, чтобы так пели! Понеслась наша песня над городом, долетела, верно, до пляжа, и там все застыли от удивления: и люди, что купались в море или жарились на солнце, и те, что играли в шары, остановились, держа в руках голубые, красные, жёлтые шары; папаши бросили строить для своих малышей крепости из песка, мамыши, которые вязали, сидя на шезлонгах, под полосатыми зонтами, перестали ковырять крючком, и все подняли головы...

Власти и охранники с дубинками в руках пришли в смущение. Там, где стояла на стапелях «Сена», было теперь пусто, и глазам всех открылось то, что заслонял красавец-пароход! Все увидели разбитый корабль, который сняли с плана восстановления «за отсутствием кредитов», — брошенная, жалкая, несчастная развалина, поднятая на подпорки; теперь о них ударялись волны, которые пошли во все стороны от «Сены», смочив брызгами и развалину.

Охранники опять принялись махать направо и налево дубинками. Но нам теперь было на них наплевать, и мы спокойно отступили. Шли мы по улицам, расцвеченным флагами, шли довольные и тем, что сделали, и хорошей погодой. Помнится, на террасе первого же ресторанчика я опять увидел маляра. Сынишка сидел у него на коленях и внимательно смотрел, как поднимаются в стакане с лимонадом пузырьки газа — должно быть, думал: вот так будут выплывать рыбы, которых встретят в морях и океанах отцовские цифры.

— ... Да, весь порт будет с нами, надо только крепко захотеть, — повторил Гастон.

— Правильно! — подтвердил старик-докер. — Ну, мне пора, — сказал он, надевая деревянные башмаки.

— Постой, сначала выпей стаканчик, — засуетилась Зейя. — Как же это я! Забыла угостить, совсем у меня голова кругом пошла! Ну и хозяйка!

И она налила гостю вина.

— Ну что ж, спасибо. Только уж не обессудьте, я одним духом, а то опоздаю.

И, стукнув доньшком стакана о стол, словно взяв разбег, он залпом выпил вино.

— Что скажешь? Неплохое? — спросил старик Поль.

— Винцо-то? Очень даже неплохое, — ответил докер, хотя второпях и не заметил, что его угостили не какой-нибудь кислятиной. — Прямо можно сказать — особенное... сразу чувствуется.

И старик ушёл, а Зея, шаркая шлёпанцами, принесла второе блюдо, немного уже остывшее — варёное мясо и овощи, приправленные острым соусом и посыпанные петрушкой. И как бы извиняясь, что в такой день подаёт обычное воскресное блюдо, она сказала:

— Не очень налегайте. У нас ещё кролик сегодня.

— Ты думаешь, мы не учуяли? Верно, Люан? — сказал старик Поль, чересчур старательно втягивая носом воздух. — Помнишь нашу белую красноглазую крольчиху? Два раза подсаживали к ней кролика, а приплоду всё не было, ну мы её и пустили на жаркое...

— Это верно, — вместо ответа сказал Люан, думая вслух о другом. — Когда уезжаешь, всё вдруг вспомнится... как жили вместе, что делали.

И он всех окинул взглядом, одного за другим, но от Клер сразу отвёл глаза, словно остерегался пробудить какие-то воспоминания, и посмотрел на Гастона.

— Помнишь, Гастон, как у нас с флагом вышло?.. Уж этого я никогда не забуду!..

...Как сейчас всё вижу, — вспоминал Люан, — было это в середине ноября 1948 года, в воскресное утро. В праздники по утрам у нас всегда встреча друзей. И хотя тогда была забастовка, обычай не изменили, наоборот... Горняки держались стойко. Докеры начали недели на две раньше их. В течение нескольких дней забастовщики удерживали порт. Все выходы забаррикадировали бочками с гудроном, мешками с цементом, окаменевшим под дождём... А потом явились войска и пробрались в порт через дыру в заборе около вокзала, напали на нас врасплох — не могли мы везде поставить охрану. Баррикады разрушили танками, и солдаты заняли порт. Вьетнамцы и все, кто жил на «острове», оказались, как в плену, за оградой из колючей проволоки, — настоящий концентрационный лагерь. В то воскресенье, утром, мы, как обычно по праздникам, подняли свой национальный флаг на высокую мачту — она стояла перед нашим баракком посреди круглой клумбочки.

Мы собирались, как всегда по воскресеньям, поиграть в пинг-понг или в волейбол, а до начала игры сидели вокруг маленькой чугунной печки, раскалённой докрасна; это было в самом большом из трёх наших барачков, — в том, где мы устроили библиотеку. Нгуен Ван Гуонг сделал нам доклад о Китае — в то воскресенье была его очередь. Говорил он сухо и скучно, нового ничего не сказал; после его доклада не было ни вопросов, ни прений. А всё же и этого было достаточно, чтобы пробудились наши мечты. Все сидели задумавшись, и вот Тран Ван Хоа встал и запел песню. На лицо его падали красноватые отблески огня, а он пел песню гребцов и покачивался и взмахивал руками, как будто грёб в лодке. В песне говорилось про любовь. Встали ещё трое — Фан Гуан Ан, Гуин Ван Дай, Ле Ван Ланг — и тоже запели высокими, тонкими голосами. Нам сначала смешно показалось, потому что они изображали хор девушек, но скоро мы перестали улыбаться — вспомнилась родина. Мы забыли, что там война, мы мечтали о мирных временах. А они всё пели. Тран Ван Хоа начинал низким голосом, который шёл как будто из самой глубины груди, а потом вдруг становился высоким, гортанным и замирал, дрожащей трелью пробиваясь сквозь сжатые зубы, а вслед за ним — трое тихими тонкими голосами выводили песню девушек-невест. И вдруг слышим сухой короткий хруст — как будто ветер сломал древко нашего флага на верхушке мачты. А ветра не было. Нгуан Нгок

Люан сидел около двери, он открыл её, выглянул и закричал: «Идите скорей!» Мы выскочили, смотрим: деголлевский охранник слезает с мачты, и в руке у него наш сорванный флаг! Мы бросились к нему, вырвали у него флаг. Но охранник-то не один был. Явилась их целая банда, человек сорок, — больше чем нас, и у всех в руках дубинки. Они хотели стянуть у нас флаг, мы не даём, отбиваемся, но отступаем. И вдруг слышим, кричат по всему «острову», изо всех барачков бегут товарищи нам на помощь. Флаг или другое что, они всё равно стали бы защищать от деголлевцев. Раз на что напали деголлевцы, — уж значит это дело хорошее, надо его отстоять. И без долгих разговоров ребята бросились на них. Охранники опешили. Они ведь рассчитывали, что сила на их стороне — нас было всего человек тридцать, а тут вдруг перед ними три сотни решительных парней — французы со всех концов Франции, бельгийцы, испанцы, итальянцы. Теперь пришёл черёд отступать охранникам. А позади у них — канал. Вода в ноябре месяце холодная! Они, верно, решили, что лучше удрать по добру по здорову, и берегом, берегом, да и улизнули... Ну, мы тогда укрепили флаг на мачте, подняли его опять, а сами не расходимся, ждём, не вернуться ли, и все хором поём, — всяк выговаривает по-своему, как умеет, слова французской песни:

Победа с песнями раздвинула все стены...
 Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля...
 Ведёт Свободу за собой...

Охранники так и не вернулись. И тут мы, вьетнамцы, больше узнали, чем из доклада Нгуен Ван Гуонга. Раньше... Ну, раньше мы поддерживали требования... да ведь всё время мы были под контролем военных властей... Какая у нас жизнь была в нашем бараке! Мы больше ради других принимали участие, ради здешних товарищей... из солидарности... Хотели помочь. А у самих сердце разрывается на части при воспоминании о родине, истекающей кровью, и одно у нас стремление: унять эту кровь, отомстить за неё. Каждый нёс в себе раны своей родины, у каждого она жила в душе, попанная врагом, унижённая, истерзанная, у каждого все думы о том, что надо же, надо покончить с этим! И вот, смотрим, — слились два людских потока — и наш и здешних людей — и соединились у нашего флага. Да, это было для нас настоящим уроком.

— А как же будет? — спросила вдруг Клер. — Если удастся не допустить погрузку, пароход всё-таки уйдёт?

— Не знаю... Это от многого зависит... — ответил Гастон. — Но думаю, что уйдёт. Ему и в Марселе надо ещё груз взять... Так я думаю.

— И я так думаю, — сказал Люан.

— К тому же в нашем фарватере ему в такой час нельзя задерживаться — отлив начнётся. А послезавтра из Марселя туда же должен отправиться «Ангулем», ну, они и вообразят, что послезавтра им, пожалуй, лучше удастся, чем нынче...

— Да, я тоже думаю, что он уйдёт, — повторил Люан.

Старуха Зей посмотрела на дочь, заметила, как дрожит на скатерти её рука, каким бледным стало её лицо. Потом взглянула на мужа. Старик перемешивал кусочки варёного мяса с размятой картошкой, репой, морковью и упорно не поднимал от тарелки глаза...

...Как всё это произошло? — вспоминала Клер. — Когда Жак перестал мне писать из Германии, я спросила у его матери, не знает ли она, почему это. Она мне посоветовала, чтобы я первая ему написала. А я не

захотела. Странно,— и Гастон меня поддерживал: «Конечно, не пиши первая». У меня было такое чувство, что он знает, в чём дело, а только не хочет, не решается мне сказать. Ему-то Жак писал довольно часто, но Гастон, верно, договорился с почтальоном и при мне не приносили писем. Ничего я не могла понять, и всё плакала, плакала. Потом я узнала, что Жака из Германии послали в Индо-Китай, как и большинство наших солдат, которых взяли в армию после освобождения Франции,— он написал об этом родителям. И тогда мне показалось, что вот и разгадка, что он перестал писать из-за Люана. В предпоследнем своём письме я ему всё рассказала: как Люан упал, когда работал на канале, как его к нам принесли, и как мы с Гастоном пошли проводить его до «острова», и как потом вместе с ним ходили на маяк. Не знаю, может быть, Жак что-нибудь подумал. А может быть, когда он получил это письмо, он уже знал, что их отправят туда... Когда человек далеко от тебя, разве узнаешь, что у него в мыслях? Но я всё-таки хотела написать первая, а Гастон вдруг рассердился и сказал: «Он, слава богу, не маленький, понимает, что делает... Да я и адреса его не знаю...» А всё-таки он жалел меня, даже как-то ласковее стал со мной обходиться. Должно быть, замечал, что я плачу... Но у меня всё было такое чувство, словно я сама виновата, что у нас с Жаком размолвка... Я на него не сердилась. Наоборот: всё корила себя, зачем я послушалась Гастона и не написала первая... И всё-таки, как всегда, послушалась его совета... Гастон зря говорить не станет.

А потом всё ещё хуже перепуталось, когда я почувствовала, что обязательно что-нибудь будет между мной и Люаном оттого, что мы всегда вместе. Это уж заранее чувствуешь. И ещё я догадалась об этом, когда он посмотрел на буфет и сразу заметил, что там уж не стоит фотография Жака. Эту карточку Жак подарил Гастону, а Гастон вдруг убрал её с буфета... Я, конечно, знала, что он это сделал для того, чтобы она не напоминала мне о Жаке. Пожалел меня Гастон. А Люан,— я сразу это поняла,— подумал, что я сама убрала фотографию. Не скажу, чтоб он запрыгал от радости, но он сразу заметил, что карточки нет, и о чём-то задумался — наверно, ему пришли в голову мысли, каких раньше у него не было. Потом начались такие спокойные дни, я почти уже не плакала, даже стала думать, что и плакать-то не из-за чего, — ведь по-настоящему ничего не было решено между мной и Жаком. Не он бросил меня, а, скорее, уж я сама нехорошо поступила. Я всё думала — вот Жака послали на войну, и как ему там тяжело, сколько он там страдает — малярия, болота, дикие звери, ядовитые насекомые и всякие страсти!.. И я корила себя, какое я имею право всё порвать, да ещё из-за Люана...

А потом вдруг приходила другая мысль: стыдно так говорить — «да ещё из-за Люана», просто даже гнусно. Ведь и сам Жак, если только он не переменялся и не называет теперь белое чёрным, если он всё тот же, каким я знала его, не может чувствовать никакой ненависти к братьям Люана, против которых его заставили драться,— я уверена в этом. Но в другие дни всё опять перемешается, перепутается — то так думаешь, то совсем иначе, и даже становилось страшно, потому что я чувствовала, что Люан мало-помалу занимает в моей душе то место, которое раньше занимал Жак, даже больше, чем Жак. Невозможно, просто невозможно было в этом разобраться...

Может быть, ещё и потому я не могла разобраться, что видела — с Люаном творится почти то же самое, и он ещё больше мучается, чем я. Вначале он был как будто равнодушен ко мне... А впрочем, разве его разгадаешь!.. Взгляд у него такой живой, а лицо почти всегда, как ка-

менное, а то, наоборот, вдруг засмеётся, всё лицо засмеётся, и каждая чёрточка в нём затрепещет от радости... Кто его знает, что в нём делается! А потом я хорошо поняла, что и он тоже борется, сопротивляется. И скоро уж я не сомневалась — это он от меня защищается.

А потом у меня вышел серьёзный разговор с Гастоном. Ещё до того как Жак перестал со мной переписываться, он написал Гастону письмо, и всё сказал откровенно. Оказывается, он переписывался ещё с двумя девушками. Что ж... у нас с ним не было ничего серьёзного, и ничего мы как следует не решили, и когда Жака взяли в армию, он ещё не знал, какую из троих выбрать. Мы и упрекать-то его могли только в том, что он от нас это скрывал. А потом, по своим воспоминаниям, а может быть, по нашим письмам он понял, что ему по сердцу только стенографистка Мартина, и перестал мне писать. Гастон всё знал уже несколько месяцев, но всё не решался сказать, не хотел меня огорчать. Он ведь не догадывался, что я тоже переменялась. Но подумать только, когда он выбрал время сказать всё это! Когда уже стало известно, что Люан уезжает!..

Вот из-за этого-то мы с Люаном ничего друг другу не сказали... Но всё равно нам и без слов всё ясно.

А в прошлом месяце я чуть было не сказала Люану. Он тогда был у нас и опять упал без памяти, как в первый день... Уложили его в постель, а меня оставили посидеть около него. Я сидела около изголовья, и так близко было его лицо. И тогда мне пришла мысль: «Скажу ему», но я не посмела... Он тоже ничего не сказал. Мне думалось иногда, что он только из робости не говорит. А я вот не из робости... Просто не могла сказать, не могла. Зачем говорить? Я думала — война, и наше правительство, и все эти моря между моей и его родиной. Может быть, между людьми разных наций есть какое-то чувство, похожее на робость. Странно это!

Вернулась «Сена» из своего первого плаванья и привезла четырёх убитых — один был из нашего города, а остальные из соседних деревень, привезли человек десять раненых и потом ещё демобилизованных: среди них возвратился и Жак... У всех только и разговору было, что о «Сене». Все уже знали, что она пойдёт в обратный рейс и увезёт часть вьетнамцев — тех, для кого уже не было тут работы, — а может быть, с ней пошлют оружие... И как-то в субботу вечером — Гастон тогда должен был идти на собрание — мы сидели у нас дома: нас четверо, да Люан и Робер, молодой парень, ему как раз приходил срок призываться, и разговор шёл, понятно, обо всех этих делах... Хотя отец не любил, когда мы про это говорили; он всегда просил нас: «При Люане не надо говорить, нехорошо это». А Гастон с ним не соглашался... Потом Гастон ушёл на собрание, и разговор у нас оборвался, все почему-то притихли. Мы с мамой вязали, Люан играл в шашки с Робером, — они начали партию ещё до ухода Гастона. Люан любит играть в шашки и играет замечательно. Отец сидел рядом с ним, следил за их игрой. Сначала всё шло как будто хорошо, но потом я заметила, что Люан и Робер не говорят ничего, слишком уж долго обдумывают каждый ход, и я поняла, что на уме у них не шашки, а что-то другое. Отец не играл, но больше, чем они, интересовался их игрой. Стало вдруг так тихо, что было слышно, как спицы позвякивают в руках у мамы, и мне это действовало на нервы. Я старалась вязать совсем бесшумно. Люан и Робер молча передвигали шашки по доске, и чувствовалось, что к игре примешивается другое, что оба они думают о том разговоре, который шёл при Гастоне, и о том, что Роберу в этом году призываться...

Отец тоже заметил, что игра идёт вяло, и то на Люана посмотрит,

то на Робера, а они как будто и не видят его, играют, точно слепые... Я чувствовала, что надвигается какая-то беда, не знала, какая, но сердце всё сильнее сжималось от тоски, словно я ждала несчастья, и когда у Люана из рук выпала шашка, и он, покачнувшись, стал медленно сползать со стула, я мигом очутилась рядом и подхватила его... Так вот и вижу, как чёрная шашка катится по доске через белые и чёрные клетки...

И вот теперь они все вместе идут к пристани. Мост перегородили рогатками, переплели их колючей проволокой, а перед мостом ещё протянули толстые цепи, какие употребляют таможенники на границе.

— Смотри, Клер, вон там нынче утром выудили из воды того мальчишку, сына Гектора.

И Гастон указал рукой на другой берег канала, где замёрзла на плитах большая лужа и по всей каменной облицовке сверху донизу блестяли обледенелые потёки, — как будто от холода лопнула водопроводная труба.

Леон стоит тут же. У перегороженного моста собралось пока немного — человек пятьдесят мужчин и женщин. Ещё рано. У другого конца моста насмеются охранники... Они ожидали, что будет демонстрация... Зоя и Клер спокойно подошли к мосту, как будто провожали кого-то. Так же держались и старик Поль, и Гастон, и другие... Всех, кто был свободен, просили прийти после обеда и прогуливаться здесь по набережной.

За отрядом охранников на пристани, около «Сены», выстроились железнодорожные платформы, — шесть платформ, и на каждой стоял грузовик.

— А танкетки где? — спросил Поль.

— Их не видно, закрыли брезентом, — ответил Леон. — Да вон погляди налево, — из-за угла очерёдки торчит одна.

— Верно! — тихо вскрикнул Люан, заметив торчавший горбом зелёный брезентовый чехол.

— Что-то мало народу пришло! — недовольно заметил Гастон.

— А больше сейчас и не надо, — возразил Леон. — Посмотрим ещё, как дело повернётся.

— Послушай... — сказал Люан, — они ведь меня не пропустят. Вот увидишь.

— Пожалуй, не пропустят. Ступай попробуй.

— Я с тобой пойду, — сказал Гастон.

Они направились к заграждению. Пятеро охранников зашагали им навстречу. Начались переговоры. Охранники машут руками — нет, нет. Показывают на барак вьетнамцев, потом на пароход, — должно быть, говорят, что из барака на пароход дорога вовсе не идёт через город, — зачем Люан выходил из порта?

Люан и Гастон объясняют им. Охранники нерешительно посматривают друг на друга, совещаются, потом один из них идёт к пароходу. Люан и Гастон возвращаются.

— Пошёл за распоряжениями.

— Смотри-ка, — говорит Гастон, поглядев вслед удалявшемуся охраннику. — На пристани — Эрнест!

Леон развёл руками.

— Что с ним поделаешь: «пойду и пойду». Говорит, что его место там, с нашими ребятами. В другое время, конечно, правильно — там его место, а только уж не сегодня... Сейчас ему там совсем не надо быть. Сразу же арестуют его, а кому от этого польза? Ведь он нужен для

дела. И никак ему не втолкуешь, что сегодня его место не там, а уж скорее здесь. А он прёт на рожон, верно, так ему больше по душе. Как будто хочет показать свою храбрость. Ни к чему сейчас его храбрость. Да ещё говорит: «Я с комиссаром порта скоро уж пять лет как знаком». Ну, ладно, знаком — что из этого? Как с ним не быть знакомым? — он всё трется около Объединения профсоюзов, во все секции залезает под предлогом, что он страх как сочувствует рабочим. Чересчур доверчив наш Эрнест.

Прошло не меньше четверти часа, наконец, охранник возвращается. На набережной прибавилось народу — человек десять мужчин и несколько женщин. Всем уже холодно, мёрзнут ноги. Люди топчутся на мостовой, чтоб согреться. Разговоров мало. Охранник подходит к мосту, что-то говорит другим охранникам. Потом подходит к заграждению и машет рукой Люану.

Люан идёт к мосту, и ему даже и в голову не приходит, что это конец, — он ни с кем не простился, не поцеловался с Зеей, со стариком Полем, с Клер, с Гастоном, не пожал руку Леону... И Гастон не догадался, что друг уже совсем уходит и не пошёл поэтому вместе с ним к заграждению.

И вдруг все слышат — охранник кричит:

— Нет, нельзя... Сейчас же иди... Проходи, живо!

Люан пытается протестовать, пьитися, но трое охранников набрасываются на него, хватают и ведут к пароходу, точно арестованного.

Гастон смотрит на провожающих, особенно на мать и на сестру. Нечего сказать, упростили господа охранники проводы, здорово упростили!..

В каюте шестеро вьетнамцев, в углу свалены их чемоданы, неизвестно когда и кем сюда доставленные. Снаружи доносится только обычный шум работ в порту. Не слышно ни криков, ни топота.

Нгуен Ван Гуонг рассказывает Люану, что он узнал от одного из матросов: погрузку должны были начать уже час или полтора часа назад. Но никто даже и не думает приступить к ней. Вьетнамцы долго молчат. Наконец Ле Ван Ланг говорит:

— Может, выйдем из каюты, а? Я попробую.

Он выходит и не возвращается, тогда и другие решаются выйти на палубу. Ле Ван Ланг стоит там, облокотившись на поручни, и смотрит вниз. И остальные пятеро становятся рядом с ним. Каждую минуту они ждут, что их прогонят. Но никто не подходит к ним.

Внизу, на пристани стоят кучкой докеры — человек тридцать; стоят, скрестивши на груди руки, и среди них видна голова Эрнеста в маленьком берете. И там же, в этой кучке, напротив Эрнеста — мягкая шляпа: комиссар порта. Идёт жаркий спор. Комиссар пожимает плечами, жестикулирует, недоумённо разводит руками, видно убеждает: «Ну, право, я не понимаю вас... Как это можно! Вот уж не ожидал. Это просто непостижимо!».

Шагах в тридцати выстроились солдаты, совсем ещё молодые — новобранцы. Все в касках, но без оружия, держат руки по швам, ждут. «Поди, замёрзли братишки», — сказал бы Гастон.

Люан бросает взгляд на перегороженный мост. Народу около моста теперь в два раза больше. Гастон и Леон затерялись в толпе, но Люан различает в ней Клер — узнал её по цвету пальто, — и старуху Зею, по чёрной накидке. Они стоят рядом, прижавшись друг к другу. Им холодно, так же как и старику Полю — он всё шагает взад и вперёд перед

заграждением, пытается согреться. Все они так далеко, что нельзя разглядеть их лица.

Солдат, наверно, пригнали на погрузку — думают без докеров обойтись. Да только удастся ли этот фокус. Ведь надо ещё и крановщиков заставить работать...

— Гляди, один нашёлся! — крикнул Люан.

— Кто нашёлся? — спрашивают вьетнамцы и, задрвав головы, смотрят туда, куда глядит Люан. Сперва они подумали, что он следит за какой-то птицей, но, оказывается, он смотрел на застеклённую кабинку одного из трёх высоких кранов. В самом деле — в кабине сидит человек, но лица его никак не разглядишь — он как будто прячется от глаз.

— Смотри, иду.

Комиссар кончил свои переговоры с Эрнестом. Взирается на паром по трапу вместе с командиром охранников и ещё с каким-то человеком в мягкой шляпе. Докеры и Эрнест провожают их насмешками и криками. Видно, что комиссар уже начинает злиться... Как только начальство вступило на палубу, перед ним появилась делегация матросов и спрашивает, что теперь намерены делать. Что говорится, не слышно, но всё можно понять по жестам. Комиссар показывает то на солдат, то вверх, на крановщика, сидящего в кабине... Один из матросов, рослый здоровенный детина, который стоит впереди, поднимает кулак, отставив торчком большой палец, как будто говорит: «Только один?» и пожимает плечами. И все матросы тоже пожимают плечами, всяк на свой лад. Потом другой матрос, тонкий, увёртливый, как угорь, вышел вперёд, засунув руки в карманы, и, верно, отмочил что-то очень смешное — все дружно захохотали, хлопая себя по ляжкам и подталкивая в бок соседей. И вдруг один матрос, который бил себя кулаком по ладони, фыркая и даваясь от смеха, вдруг этот матрос зашагал по палубе, оседая на ноги, пошатываясь, покачиваясь, как пьяный, выбрасывая руки то вправо, то влево. Матросы хохотали, Люан и его товарищи тоже не могли удержаться от смеха. Матрос хотел показать, что солдатам не сумеет как следует укрепить груз, всё в трюме начнёт болтаться от борта к борту, и корабль перевернется вверх килем. Потом матросы стали серьёзными и все качали головой: «Нет, нет»... Комиссар и двое его спутников спустились по трапу.

Клер и Зея всё ещё там, за мостом — две тёмные фигурки в первом ряду; на берегу толпа всё прибывает. Теперь уже стоят и ждут человек триста, не меньше.

Крановщик следит сверху, из своей клетки. Должно быть, понял, что зря он залез в неё, соскакивает с сиденья и начинает спускаться по длинным железным лестницам. Очутившись на уровне палубы, он останавливается, — верно, хочет передохнуть; держится одной рукой за перила, поворачивает голову и, повиснув в воздухе, смотрит в лица вьетнамцам.

Крановщик — старый человек, ровесник Полю. Видно, что ему холодно. Посмотрев на вьетнамцев, он говорит:

— Ну что ж, прощайте, друзья! — и снова начинает спускаться по лестнице. А внизу Эрнест и докеры уже кричат ему:

— Что, много взял, эх ты!

— Как тебе не совестно? Зачем полез?

Крановщик не выдерживает и отвечает на укоры, ещё не добравшись до конца лестницы. Он уцепился за перила, нагибается, повисает над докерами — кажется, вот-вот свалится на них — и орёт во всю глотку:

— А что я мог поделаться? С полицией за мной пришли.

— Срам-то какой! Опозорился! Вот срам-то!

— У меня пятеро детей!

— Ну и что ж? У меня шестеро!

Крановщик спускается, наконец, и попадает в самую гущу толпы докеров. Его толкают, стыдят, корят, и, втянув голову в плечи, он убегает под свист и улюлюканье.

И как раз в эту минуту арестовывают Эрнеста. Его ведут в контору, чтоб запереть там. Эрнест отбивается, его волокут силой. Докеры бросаются на выручку. Комиссар из осторожности держится в стороне. Вероятно, рассчитывает, что теперь Эрнест станет створчивее и можно будет кой-чего добиться. Но вдруг с «Бристоля» дают гудок — дрожащий, слабый гудок, за оградой порта его, наверно, и не слышно. Но этот гудок — сигнал. В ответ вдруг завывла мощная сирена в судостроительных мастерских и подняла на ноги весь город.

По всем проходам на пристань бегут рабочие с верфи, грузчики с других кораблей — и вот уже их многие сотни. Никто ещё хорошенько не знает, что происходит. Думали, что созывают их, как было условлено, потому, что солдаты начали погрузку. Все несколько удивлены и даже растеряны, увидев, что новобранцы стоят неподвижно, что под слишком большими для них касками молодые их лица почти испуганы. Рабочие бросились одни вправо, другие влево, а некоторые прямо на пикет охранников, но большая часть сразу же кинулась к платформам, на которых стояли грузовики и танкетки и, смяв по дороге охранников, оберегавших этот груз, захватила платформы, ещё не зная хорошенько, что с ними делать. Теперь рабочие теснятся вокруг них. Но тут долго думать не приходится. Решение принимают сразу. Человек десять взбираются на первую платформу, гружённую какими-то тяжёлыми ящиками. Ящики миглом летят на пристань, и слышно, как трещат доски под ударами каблуков. Справились быстро. На второй платформе — грузовик. И вот уж он дрогнул, дёрнулся, закачался...

— Сторонись!

Толпа расступается, грузовик катится, как заводная игрушка, два раза перевёртывается и останавливается у самого края пристани, прямо перед пароходом.

И вдруг раздаётся дружный крик. Все застывают на месте и смотрят на пароход — там уже убирают трап.

— Отходит!

— Готово! Отходит!

В самом деле, буксирный пароходик уже оттягивает «Сену» от пристани. Должно быть, напугались, — а вдруг сотни рабочих, собравшихся сюда, заберутся на борт посмотреть, во что превратили их пароход...

На другом берегу, за мостом, у всех из груди вырвался радостный крик: увидели, что пароход тронулся. Теперь уже собралось больше тысячи человек, и у них на глазах разводят мост, чтоб пропустить «Сену». Значит в самом деле пароход маневрирует перед отплытием, отплывает раньше назначенного часа. Правда, на море поднялась сильная зыбь, и через час будет трудно выйти из гавани.

Волны вдруг расцветают белыми цветами, и шквальный ветер, налетая порывами, подбрасывает вверх клочки пены, похожие на чаек. Пошёл частый, мелкий дождь, как будто посыпались крошечные градинки, а по временам неслись тучи обледеневшей водяной пыли и звонко щёлкали по тонким железным стенкам и высоким окнам сторожевой будки. «Где-то она совсем близко около нас», — думает Люан.

А в порту разбежавшиеся были охранники собрались у конторы и опять построились. Подняв ружья, как дубинки, прикладами вверх, они бегут теперь плотными рядами к платформам. Теперь их гораздо

больше, чем было раньше. Рабочие не вступают с ними в схватку и бегут стороной к конторе — должно быть, уже знают, что там заперли Эрнеста.

Большая часть охранников осталась у платформы. Теперь рабочие захватят контору.

Ветер уже мешает пароходу маневрировать. Буксир тянет его, заставляет описать широкую дугу в просторной гавани, как будто кружит его перед пристанью, где идёт борьба, и уже вползает в канал, пробираясь между высокими его стенками, и тихонько, осторожно тащит за собою пароход. Если даже корабль идёт плавно, по прямой, и то между его корпусом и стенками канала расстояние не больше метра. Сквозь тучи и дождь проглянуло солнце, тусклое багровое солнце, предвещающее бурю, и кажется, что лучи от него идут горизонтально. А небо всё-таки чёрное, с какими-то ржавыми пятнами и с прожилками на горизонте, точно старая мраморная плита, и черечёркнуто косыми полосами — вдали, в открытом море, идёт дождь. Разводной мост поднят, и за ненужным теперь ограждением толпа рукоплещет буксирному пароходнику, который ползёт перед нею.

Но маневрировать трудно, да и штурвал, верно, плохо слушается. Под напором ветра пароход даёт крен, ползёт боком, как краб, — того и гляди распорот себе борт о край набережной. Матросы едва успевают подбежать и бросить между стенкой канала и бортом «Сены» кранцы — толстые канатные жгуты. Корпус всё-таки трещит, сплющивает огромные узлы канатов и, хоть не получил раны, всё же ушибся и как будто стонет и вздрагивает от боли всей своей громадой. Потом штурвал поворачивают, пароход скользит к другому берегу, и матросы бегут к левому борту, опять бросают канаты. «Сена» грузно подпрыгивает, её бросает от одной набережной к другой, точно исполинский резиновый мяч.

Когда пароход проплывает мимо конторы, дверь её распахивается. Выходит Эрнест. Сверху, с палубы плывущего корабля, всё кажется таким лёгким и совсем не опасным. Вдруг на пристани в толпе рабочих Люан видит Гастона и Леона, и ему вспомнилось утро, теперь уже далёкое утро этого дня, когда Гастон сказал, заслоняя его от хозяина консервного завода: «Оставь, не связывайся. Я сам...»

Рядом с Гастоном — его приятель Жак.

— Гляди-ка, и ты теперь здесь! — говорит Эрнест Леону.

Пароход так близко от берега, что слышно каждое слово.

— Да, теперь и я здесь, — отвечает Леон. — Но теперь нас больше тысячи. Теперь — дело другое!

— Идём, ребята, сбросим их танкетки в воду!

— И грузовики в воду!

— Нет, грузовики не надо! Ещё скажут, что мы вредительством занимаемся.

— Ничего, можно на этот счёт объяснить, — отвечает Леон, вдруг помрачнев.

— Ну, валяй, ребята!

— Сбросим их в воду!

— Посмотрим, — говорит Леон. — Посмотрим! Следите хорошенько за тем, что делается на другом берегу. Подождите, пока мост сведет опять. А тогда посмотрим!..

Наступает на минуту тишина, как будто передышка.

Охранники попрежнему стерегут платформы. Рабочие, сгрудившись вокруг Леона и Эрнеста, смотрят, как плывёт пароход. Слышно, что они обсуждают маневрирование.

Увидев Люана и его товарищей, все кричат, приветствуют, проща-

ются. Облокотясь на поручни, вьетнамцы смотрят на них, замёрзшие, промокшие от холодного дождя, и радостно, громко смеются.

— Люан! — кричит Гастон. — Клер всё ещё там, на другом берегу. До свидания, Люан!

Люан бежит к другому борту корабля. Да, вот они — и Клер, и Зея, и старик Поль, всё ещё стоят у моста, в первом ряду. А за ними собралось уж тысячи две народу, по зову сирены сбежались со всех концов города, со всех предприятий. С палубы Люану видно, как движутся ещё и ещё люди по широкой дороге, которая ведёт к воротам порта и дальше — до рыбного рынка, к той пристани, где стоят рыбацьи лодки с изодранными, обмякшими сейчас парусами, и ещё дальше — до прежней ратуши, разбитой, развалившейся, уже потерявшей в последнюю бурю половину крыши и кусок стены...

На берегу забралось в бадью лебёдки человек тридцать молодых парней — верно, строительные рабочие; всех подняли вверх, и бадья покачивает их в воздухе над собравшейся толпой. Их голоса слышнее всех:

— До свиданья! До свиданья!

Народ теснится на набережной; в первом ряду человек двадцать женщин, все кричат, смеются и машут руками. И среди них одна, вся в чёрном, уже пожилая, стоит неподвижно, прямо, не кричит, не улыбается. Люан видит её лучше всех, он никогда не забудет эту безмолвную, неподвижную фигуру.

Старик Поль, Зея и Клер не плачут. Вместе со всеми они кричат что-то, смотрят на Люана. Он не слышит, что они кричат; слова их теряются в мощном и разноголосом гуле, который несётся к пароходу, его не может заглушить даже гудок буксира, уже добравшегося до конца мола. Люан видит только, как открываются рты, шевелятся губы, протягиваются к нему руки, — но всё это похоже на звуковой фильм, когда аппарат вдруг испортится, или как это бывает во сне... Люан ничего не слышит. Но, конечно, они кричат то же, что другие, то же, что доносит до него мощный голос толпы народа.

— До свидания! До свидания!

— До свидания, Клер! — кричит Люан изо всей мочи.

В эту минуту только он один кричит с парохода, и, может быть, Клер услышала его. Люан уверен в этом. Сам того не замечая, он шёл вдоль борта, против движения парохода и оказался у самой кормы. Он видел, как сомкнулись две половины моста и друзья его затерялись в толпе, хлынувшей вперёд. Но Люану совсем не грустно.

Когда пароход уже набирает скорость у самого конца мола и вместе с лентой дыма из трубы вырывается оглушительный гудок, Люан видит, как там, на берегу, кто-то влезает на бочку с гудроном и широко взмахивает рукой — наверно призывает к чему-то всю толпу... Он угадывает, что это Леон. Пароход уже так далеко, что нельзя сказать с уверенностью, он ли это. А потом Люан увидел, как тёмная человеческая волна, едва отличимая от морской волны, всколыхнулась и ринулась в ту сторону, где охранники всё ещё стерегли платформы. На море сильная зыбь, всё труднее различить, что происходит в порту. Люан спускается в каюту. Никого из вьетнамцев там ещё нет.

Он смотрит в иллюминатор, из которого виден порт, и спрашивает себя — о ком же он думает больше: о Клер или о Леоне?

Перевод Н. Немчиновой.



ВЛАДИМИР ФЕДОРОВ

★

ЛЮБОВЬ МОЯ

1

Когда в пути проводница
Степной городок называет,
На полке мне не ложится,
В вагоне мне не сидится —
Всё в памяти оживает:

Знакомая гладь перрона,
Где с Галею мы расстались...
Пройдусь,— до отхода ровно
Пятнадцать минут осталось.

А рядом — в лучах заката —
Вокзал.
Как он светел, строен!
Я помню: тогда, в сорок пятом,
Его начинали строить.

А дальше — сады до центра,
А дальше — над Росью церковь
И сквер, где бродили в тот вечер,
И школа там, на Заречье.

Она на бугре высоком,
Как прежде, свободно, дерзко
Свои распахнула окна,
Задорно глядит на церковь.

В том взгляде есть общее что-то
С девчонкою из Заречья,
Что, первую сдав зачёты,
Мне выбегала навстречу...

2

Шёл год сорок пятый.
В теплушках солдатам
Не усидеть.
Нет, это не снится,—
Прощай, заграница!
Здесь русские лица,
Родина здесь.

Девчата, старушки
По-русски, по-русски
Здесь говорят,
По-русски встречают,
Души не чают,
Чем есть угощают
Всех подряд.

Наш край возрождённый,
Освобождённый
Лишь год назад!
На полустанке
Ржавеют танки,
Ещё землянки
В снегу дымят.

О, год сорок пятый!
В теплушке солдаты
Сидят, поют:
«Едем, Галя, с нами,
С нами, казаками...»
Машут руками,
Девчат зовут.

Пению с рвением
Вторит трофейный
Аккордеон.
Дощатые нары.
На нарах парень
Поёт в ударе,
Слегка не в тон.

И впрямь на вокзале
Встретиться с Галей
Ему суждено.
И в сквере частенько
Стихи Шевченко
Читает со студенткой,
Ходить в кино...

3

В студенческом общежитье
В субботу полы трещат.
Попробуйте привяжите,
Попробуйте удержите
Сейчас за столом девчат!

Домашней завивки кудри.
В кармашке — в кино билет.
— Девчонки, забыли пудру!—
И Галка хохочет вслед.

Могли об заклад все биться,
Что Галке вовек не влюбиться,
Мол, что вы, сошли с ума!—
Скорей за Полярным кругом
Распустятся пальмы юга,
А юг заметёт зима.

Но с ночи на воскресенье —
Всё прахом.
Где юг?
Где север?
Аж в первом часу домой
С горящим лицом впорхнула,
На спящих тайком взглянула,
Шепнула:
— Ох, боже мой!..

Потом «Спартака» достала,
Легла, до зари читала.
Кто ж, Галка, знакомый твой?
Он вовсе не гладиатор,—
Не конник, не авиатор,
А гвардии рядовой.

4

А где-то в казарме —
Вот наказанье!—
Не спит солдат.
Явился в волненья
Из увольненья
Он час назад.

Свой пыл обрушил
На холодный ужин,
Нырнул в постель.
Но жарко стало
Под одеялом.

Он так хотел
Толкнуть соседа,
Вступить в беседу
И шепотком
Спросить:
— Ты знаешь,

Ты понимаешь,
Ты представляешь—
С кем я знаком!
Она такая...
Совсем другая...
Студентка... Галя...

Но спят вокруг.
На ближней койке
Храпит спокойно
Земляк и друг.

Прошли со взводом
Огонь и воду
Они вдвоём,
Скучали вместе,
Мечтали вместе
В краю чужом.

Когда б не спал он,
Спросил бы парень:
— Не просто ль вдруг
Ты с новой силой
Во всю Россию
Влюбился, друг?

5

Люди бегут по городу.
Холодно нынче, холодно!
Щёки крапивой жжёт
Морозец тридцатиградусный.
Только гвардеец не спрятался,
Стоит и кого-то ждёт.

Видно, приучен смолоду,
В стужу ему не холодно,
Летом не жарко, видать.
Ой ты, шинелька суконная,
Ой ты, студентка знакомая!
Как на часах солдат.

Скрип двери. Неужто милая?
Зажмурься. Одно усилие.
Откроешь глаза: она!
Зарделась — морозец крепенький!
Подмышкою — стопкой учебники
И с «Зоей» старый журнал.

6

Солнце по-весеннему
Старается для всех.
Вы слышали, в Туркмении
В разгаре сев!

Всё радостно, всё молодо —
Горячая пора!
Весна под нашим городом
Заводит трактора.

И, как бы между прочим,
Лесок за лугом
Подбила, оторочила
Зелёным пухом.

И в ночь сердца влюблённые
Свела у речки.
Вокруг — кусты зелёные,
В траве — кузнечики.

Бредёт парнишка с Галей
Между кустами.
И вот облюбовали
Белый камень.

Уселись, над пучиной
Ноги свесив.
Задумалась дивчина,
А парень весел.

Сплелись девичьи руки
С его руками.
Сидит солдат с подругой
На белом камне.

А ветерок чуть слышный
Листву колышет,
Совсем забыв, как видно,
Что третий—лишний.

Им вместе в ночь весеннюю
Встречать рассвет.
Одних объяснений
На тыщу лет!

7

— Приеду — ждут везде меня,—
Имеем опыт!
Окончил академию
Наш брат в окопах.

Я со стрелковой ротой
Юнцом безусым
Прошёл четыре фронта —
Четыре курса.

Но думаю частенько:
Ещё бы надо
Окончить твой техникум
И — порядок!

— Верю, ты сможешь
Шагать прямо,
Мой хороший,
Мой упрямый!

Вот сидим покуда
Над рекою вместе,
А где я летом буду,
В котором месте?

Улетит Галка
Километров за тыщу.
Скажи, не жалко?
Скажи, отыщешь?

Родной мой, слышишь,
Нет, я не плачу.
Эх, рукава повыше,
Зоотехник младший!

Вот так говорила
Она с ним часто.
Наверное, это и было
Счастье.

8

Улетела Галка...
Ее унёс,
Увёз паровоз
В далёкий совхоз.

Галка ты, Галенька,
Эх, не говори!
Работает маленькая
За четверых.

Жизнь возле Галки
Бурлит, клокочет.
А писем-то, писем!
Знакомый почерк.

Отныне студентом
Стал гвардеец,
Он пишет попрежнему:
«Жду, надеюсь».

Но слишком они
Друг на друга похожи,
Так похожи,
Что мороз по коже.

Друг ей пишет:
«Жить будем, конечно, у Роси».
А она:
«Не у Роси, а в нашем совхозе»

Предлагает она:
«Летом в Киев поедем».
Он в ответ:
«Нет, пешком
К знаменитым соседям!»

И такие незрячие,
И такие смешные
Их души горячие,
Молодые!

9

Когда в пути проводница
Степной городок называет,
На полке мне не ложится,
В вагоне мне не сидится —
Всё в памяти оживает.

Ну, что мне теперь здесь нужно?
Случайная остановка...
Я в Киев по делу службы
Направлен в командировку.

Оставь надежды на встречу!
Она не бежит навстречу.
Но сердце пророчит чудо:
Не в домике на Заречье,
Пушкой далеко отсюда,
А всё-таки встречу, встречу
И рядом стоять с ней буду!

Отныне, родная Галка,
Все мелкие перепалки
Долой!
И сердца в груди
Взволнованней станут биться.
Любовь моя, смелая птица,
Какой простор впереди!



ЗА МИР, ЗА ДЕМОКРАТИЮ!

И. ВОЛК, В. КОРНИЛОВ, А. ВАСИЛЬЕВ

★

КОРЕЯ В БОРЬБЕ

Первые впечатления.

Весной 1949 года наш пароход приближался к маленькой, расположенной среди трёх морей стране. Впереди на горизонте высились горы. По мере того, как судно приближалось к корейской земле, они, казалось, отодвигались вглубь.

Порт Вонсан. Чистая белая пристань, домики с причудливо изогнутыми крышами. Блестящая черепица походит на рыбу чешую.

На пристани группа женщин. Это торговки яблоками. У одной из них за спиной малыш в ярком одеяле. На нём круглая войлочная шапочка, и он смешно таращит чёрные глазёнки, пытаясь освободиться от одеяла, удерживающего его за спиной матери.

Несмотря на раннюю весну — был конец марта, — женщины в лёгкой белой одежде. Чёрные волосы их собраны на затылке в большой узел и придерживаются длинными шпильками. Головы непокрыты. Даже зимой корейки не носят платков.

Корейские пограничники осмотрели наши вещи, проверили документы. Один из них довольно отчётливо произнёс: «Добро пожаловать!» — и засмеялся, гордясь своим умением говорить по-русски.

Легковая машина помчалась по прямым асфальтированным улицам живописного городка. Он вытянулся вдоль побережья, лаская взгляд белизной своих домов, яркой зеленью лиственниц и платанов. Буйно шёл миндаль, и розовые лепестки его, казалось, вспыхивали под солнечными лучами.

К берегу то и дело подходили лёгкие суда. На расстеленный брезент рыбаки вываливали огромных темнозелёных крабов и длинную, узкую рыбу ментай, которая водится только в Японском море.

Утром надо было уезжать в Пхеньян, но мы решили сначала познакомиться с жизнью Вонсана, этого маленького приморского городка. Председатель городского Народного комитета Кан любезно предложил быть нашим проводником.

На паровозоремонтном заводе мы пробыли почти весь день. При японцах это предприятие было крохотной мастерской. Командные должности занимали японцы, а корейцам разрешалось лишь убирать цехи, подвозить сырьё и инструмент. За четыре года существования Корейской народно-демократической республики маленькая мастерская превратилась в крупное промышленное предприятие, оснащённое первоклассным оборудованием. Директор завода, бывший машинист, сказал нам:

— Прежде я работал здесь чернорабочим. Однажды я тайком пробрался в цех и попробовал обточить деталь. Мастер вызвал полицейских, и те жестоко избили меня. Так закончилась моя первая попытка получить специальность... Когда Советская Армия освободила нашу страну от японских захватчиков, я стал работать грузчиком на железнодорожной станции. Но меня влекло к машине, и я подолгу следил за тем, как кочегары бережно обтирают свой паровоз. Видимо, в глазах моих было столько любопытства, что советский машинист спросил через переводчика: как меня зовут и что я умею делать? Я сказал и добавил, что мечтаю стать машинистом.

Он посоветовал вечером зайти в депо. Там русские специалисты обучали молодых корейцев. Я присоединился к этой группе и стал железнодорожником. А теперь мне доверили руководство предприятием. Я горжусь этой честью и стараюсь оправдать её.

На паровозоремонтном заводе мы разговаривали со знаменитым кузнецом Чо Дон Хва. Его бригада давала не меньше двух с половиной норм в смену. На станке юной фрезеровщицы О Дин Э развевался красный флажок победительницы трудового соревнования.

На запасном пути, блистая свежей краской, стоял новый паровоз.

— Это наш подарок Ким Ир Сену,— сказал директор.— Машина собрана из частей разбитых паровозов. На днях она пойдёт в первый рейс...

Вечером мы побывали в рабочем клубе. Фрезеровщица О Дин Э оказалась способной певицей, а кузнец Чо Дон Хва, сменив комбинезон на яркий халат, исполнил народные мелодии на старинном корейском инструменте гаягуме.

На следующий день мы поехали в сельскохозяйственный институт. Дорога шла мимо рисовых полей, они походили на прямоугольные бассейны. На полях, по колено в воде, работали люди.

Показалось красное здание.

— Когда-то здесь был институт шпионов,— пояснил Кан.— Тут размещалась одна из многих в Корее немецких миссий. «Миссионеры» собирали сведения о Корее и спекулировали чем могли. В Корее никогда не было специалистов сельского хозяйства. На помощь корейскому народу пришли советские люди, советская наука. Впервые были организованы сельскохозяйственные учебные заведения. Теперь здесь сельскохозяйственный институт. В нём учится более двух тысяч корейских юношей и девушек — будущих агрономов, мелиораторов, животноводов.

— В Корее не знают, что такое молоко,— сказал молодой доцент Чен.— Японцы завозили к нам только рабочих волов. А мы решили вырастить свои породы молочного скота, привить нашему населению вкус к молочным продуктам. В Корее не было овец, хотя страна располагает хорошими высокогорными пастбищами. Но скоро мы будем иметь не только шёлк, но и шерсть.

Молодой специалист лесного хозяйства Лим говорил:

— Мы разведём новые леса на месте тех, что хищнически уничтожены японцами, создадим зелёные пояса вокруг городов и сёл, на горах, вокруг полей, чтобы оградить их от губительных ветров...

Из института мы отправились в санаторий. К самому морю сбегали темнозелёные сосны. Между ними стояли белые домики с террасами. В одном из них отдыхала старая работница Чонгдинского металлургического завода Тон Син Э. Она рассказала:

— В каждом корейском доме над женской половиной начертаны иероглифы: «Много, много терпеть»... И мы терпели, мы работали, выбываясь из сил. В этом бесконечном терпении проходила жизнь. Советская Армия, великий Сталин принесли нам счастье. По-новому зажил корейский народ, и я соскребла со стены острым ножом ненавистные иероглифы! Здесь я живу всего лишь вторую неделю, но уже чувствую, как отдохнули мои руки. Это первый отдых за всю мою жизнь, и его дала мне народная власть. Я послала письмо Ким Ир Сену, всем сердцем поблагодарила его от имени работниц.

У ворот санатория с лирическим названием «Сад, волны и сосны» нам встретилась группа малышей, одетых в цветные халатики. Они шли попарно, направляясь к морю. Это были дети работниц, отдыхающих в санатории, как объяснил наш спутник.

Из санатория автомобиль помчал нас сквозь сосновый лес. Дорога круто поднималась в гору, и машина быстро потеряла скорость. Нас окружили обросшие седым мохом, лесистые горы — те самые, очертаниями которых мы любовались с парохода. Тишина нарушалась только ровным гудением мотора и криками птиц.

Возле крутого поворота шофёр затормозил. Над самым ущельем прилепилась избушка, крытая хвоей. Кан пригласил нас войти в неё. Когда глаза освоились с полутьмой, мы увидели цементное ложе, по которому струился светлый ручеёк.

— Корейский нарзан,— сказал Кан, наполняя привязанные цепочкой кружки.

От ледяной, чуть-чуть отдающей жестью, воды заломило зубы.

— Такие ключи нередко встречаются в разных местах нашей страны,— сказал Кан.— В местечке Ондон-Ни (Горячие ключи) из земли бьют фонтаны кипящей воды. Она исцеляет людей от ревматизма и кожных болезней.

Мы двинулись дальше в горы. Скоро над дорогой показалась арка с иероглифами.

— «Сюда приближайся только с чистым сердцем»,— перевёл Кан и пояснил: — Это первые ворота буддийского храма...

Мы проехали ещё двое таких ворот, прежде чем попали в храм. Навстречу, вежливо кланяясь, вышли два буддийских священника в белых халатах.

Справа и слева в крытых галлереях располагалось множество деревянных статуй, ярко раскрашенных старинными неблекнущими красками, секрет изготовления которых до сих пор не разгадан. Пятиметровые боги Севера и Юга, Запада и Востока грозно протягивали вперёд деревянные мечи, тарасили выпуклые глаза.

Мы поднялись по широким ступеням и вошли в храм. На бронзовых пьедесталах были установлены три золочёные статуи Будды, сидящего со скрещёнными ногами. Перед статуями на подставках лежали горсточка риса, кусочки мяса, овощи, принесённые в дар верующими.

Справа, в особом отделении, хранилась огромная коллекция статуэток, изготовленных из фарфора и белого камня семьсот с лишним лет назад. Статуэтки изображали более 500 богов: бога ума, бога хорошей погоды, бога радости, бога печали, бога трусости, бога храбрости... Одни боги смеялись, другие плакали, грозно хмурились или подмигивали. Это была ценнейшая сокровищница произведений народного искусства...

Несколько мест, предназначенных для статуэток, были свободны. Там лежали бумажки, на которых было что-то написано. Кан, стараясь не улыбаться, пояснил: — Священник говорит, что некоторые боги рассердились на своих соседей и перешли в другой храм. Эти бумажки — их новые адреса.

— На что же они рассердились?

Буддийский священник, любезно поклонившись, ответил:

— Я простой смертный и не могу знать, на что сердятся боги...

Так и не выяснив недоразумения, происшедшего между богами, мы покинули древний храм.

Выше облаков поднимаются величественные вершины горной цепи, перерезываемой почти весь полуостров. Над ней господствует сверкающий пик Биро-бон — «Гора священного огня». В часы заката яркие блики, подобно огненным языкам, загораются на скалистых пиках. Любуясь ими, ещё в глубокой древности люди говорили восхищённо: Кымгансан! «Горы, сверкающие, как алмаз!»

Когда над страной встаёт голубой вечерний сумрак, на древних выветрившихся скалах Манмулсан чётко вырисовываются то контуры лошади, то злобно оскаленная пасть тигра, то цветок чонгари, то фигура матери с ребёнком на руках. Много веков подряд ветер и вода работали в этой удивительной природной мастерской. И старики, живущие в горных селениях, рассказывают предание: именно здесь, на Манмулсан — «Горе десяти тысяч образов» — природа училась создавать людей, животных и растения, вырезая их изображения на гладкой поверхности скал.

Многие смельчаки пытались взобраться на невысокую, почти отвесную вершину. Но это редко кому удавалось. Непрístupный пик этот носит название Каным — «Вершина человеческого счастья».

Причудливо вьётся горный поток, образуя водопад Ендюдам — «Девичье ожерелье». Как бусы, лежат в каменных чашах круглые озёрца, перехваченные природными скалистыми плотинами.

В горах, занимающих более 400 квадратных километров, множество своеобразных памятников, свидетельствующих о древней культуре талантливого народа. На лесистых склонах виднеются буддийские храмы, построенные искусными руками неизвестных зодчих. То тут, то там высятся многометровые золочёные фигуры Будды.

Издавна эти живописные места привлекали богатых бездельников из разных стран. Сюда ездили члены семьи японского микадо, американские, английские и прочие дельцы. Только настоящие хозяева гор — рабочие и крестьяне Кореи — не имели права бывать здесь. И горы, и море и даже воздух — всё принадлежало японскому колонизатору Куруми. Иностранцы пытались отнять у корейских гор самое их имя. Они называли Алмазные горы «Восточными Альпами», «Азиатской Швейцарией»...

Так было до тех пор, пока доблестные войска Советской Армии не изгнали из Кореи японских колонизаторов. И тогда тысячи и тысячи трудящихся корейцев получили возможность проводить свой отпуск в туристских походах по Кымгансану, в санаториях и домах отдыха, выстроенных на его зелёных склонах...

...Поезд мчался по восточному побережью, то ныряя в тёмные тоннели, то снова выскакивая на свет. От Вонсана до Пхеньяна тоннелей насчитывалось более десятка.

В маленьких вагончиках места только для сидения, хотя поезд идёт по побережью почти двое суток. И так на всех магистралях Кореи.

Станция Ковон. Отсюда начинается крутой подъём к самому высокому горному перевалу. Чёрный от копоти старый японский паровоз заменяют электровозом — таким, какие ходят у нас в Подмоскowie.

Переводчик объяснил:

— Всего месяц назад два паровоза с трудом тянули состав через перевал. Сейчас этот участок электрифицирован. Электровозы, присланные нам из Советского Союза, легко преодолевают перевал с самыми тяжеловесными составами.

На маленьких станциях шумно. Торговцы в белых халатах продают дымящийся рис в прямоугольных коробочках из шепы. Сверху лежит приправа к этому национальному блюду: крохотные жареные рыбки, ломтики жареной свинины или курицы, шепотки яркокрасного перца и солёной кимчи — китайской капусты. Разносчики нараспев предлагают яйца, упакованные в пакетики из рисовой соломы. По вагонам снуют лотошники. Они продают сушёную каракатицу — плоскую, как камбала, с пучком длинных щупалец, свешивающихся сзади, и огромных бледнорозовых крабов с толстыми мясистыми клешнями.

Пассажиры, узнав в нас русских, заинтересовались, откуда мы едем. Услышав знакомое слово «Москва», одобрительно закивали головами. Старый кореец в чёрной волосяной шапочке, которую имеют право носить только те, кому исполнилось 60 лет, протянул нам яркокрасные яблоки и повгородил несколько раз:

— Москва — Сталин! Москва — Сталин!

Все, кто был рядом, зааплодировали. Мы присоединились к ним, растроганные тем, что далеко от родины, в маленьком вагончике корейского поезда, незнакомые люди знают нашу страну, любят и славят её великого вождя.

Стемнело. Вспыхнули матовые лампы. В вагоне появился молодой человек в синей студенческой форме с университетским значком. Он что-то говорил пассажирам. Некоторые, слушая его, смеялись, другие отмахивались. Через несколько минут он уже дирижировал, а почти весь вагон пел. Потом девушка в яркой кофте, завязанной на груди широкими лентами, звонким голосом запела «Катюшу». Она пела по-корейски и ей подпевал весь вагон. Девушку сменил «дирижёр» этого импровизированного концерта. Студент спел песню о Сталине. Последние слова песни потонули в бурных аплодисментах. В эту минуту мы в первый раз услышали слова «мансу муган!», что значит по-корейски — «десять тысяч лет жизни!» Это была здравица Сталину.

Студент подошёл к нашему переводчику и о чём-то оживлённо заговорил. Переводчик сказал неуверенно:

— Для русских друзей каждый постарался спеть песню. Может быть, и русские друзья споют нам?

Не сговариваясь, мы начали песню о Москве. Её подхватил почти весь вагон. Под мелодию песни о русской столице поезд подошёл к Пхеньяну.

Пхеньян.

Широкая вокзальная площадь была украшена яркими плакатами. На видном месте — большие портреты Ким Ир Сена и Сталина. С афишных будок, с крыш здакий свешивались транспаранты и шёлковые флаги всех цветов радуги. Жители Пхеньяна готовились к выборам в местные Народные комитеты. Плакаты призывали избирателей отдать свои голоса за кандидатов Единого демократического национального фронта Кореи.

Машина тронулась. Обе стороны улицы застроены крохотными лавчонками, в которых торговали яблоками, сушёной рыбой, земляными орехами, овощами. Тут же висели широкополые шляпы из рисовой соломы, шёлковые флажки, венки из бумажных цветов, пачки деревянных и костяных палочек, которыми едят рис, и множество других самых разнообразных вещей. Очень много маленьких ресторанов и закусовых, в окнах которых разложены на тарелках образцы тех блюд, которые может заказать себе посетитель.

Среди этой пестроты сверкали зеркальные витрины государственных магазинов и столовых. Они появились сравнительно недавно, но быстро входили в быт, вытесняя грязные лавчонки.

Машина вырвалась на широкий простор живописного проспекта имени Сталина — центральной магистрали Пхеньяна. У тротуаров зеленели корейские клёны, похожие на наши липы. Почти посредине улицы раскинулся сквер. Над большим бассейном застыл бронзовый рыцарь, возносящий меч в извивающегося дракона. Из пробитого горла дракона бил фонтан.

Машина свернула около высокого здания почты и телеграфа, миновала украшенный флагами дом Общества культурной связи Кореи с СССР и промчалась мимо белого здания театра, обрамлённого лёгкой баллюстрадой. Ещё поворот — и машина остановилась возле невысокого домика. Его стен почти не видно под выющимися растениями.

Это типичный корейский домик с черепичной крышей, чуть приподнятой вверх по краям, с высокой ступенькой при входе, на которой наш переводчик оставил свою обувь. А мы, неискушённые, в запylённых ботинках двинулись по блестящему полу, оклеенному жёлтой вощёной бумагой. В этом домике мы будем жить.

Переводчик тронул какую-то ручку в стене. Стена раздвинулась, превращая комнаты в просторный зал. В боковых стенах — шкафы, внутренность которых напоминала купе наших железнодорожных вагонов с двумя полками и нижним сиденьем. Задвижки, которыми закрываются эти «шкафы», искусно сплетены из стебля молодого бамбука и украшены прихотливыми узорами.

В Корее очень любят цветы. Это видно и по саду, который окружает дом.

На деревьях ещё не было листьев, а сад уже в цвету. На клумбах рассыпались лиловые колокольчики, цвели фиалки. Уже набухали почки сирени. Скоро должны были распуститься яркожёлтые розы «бара».

Утро в Пхеньяне возвещали цветочницы. В мягких остроносых туфлях они проходили по тихим улицам, неся на голове огромные тазы с яркими цветами.

В эти утренние часы хороша «Гора цветов» Моранбон. Вершину её венчал Моранбонский летний театр, построенный после освобождения. А ещё выше, почти касаясь облаков, колыхалось трёхцветное знамя Корейской народно-демократической республики.

Японцы, много лет властвовавшие в Корее, запрещали корейцам появляться даже вблизи Моранбона, а сейчас это любимое место отдыха пхеньянцев.

В память об освобождении Кореи Советской Армией на горе Моранбон из сурового серого камня сложен монумент во славу советского оружия. Издалека виден этот величественный обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. На его постаменте на русском и корейском языках выбиты слова: «Всенародная благодарность великому Сталину, вдохновителю и организатору победы над японскими империалистами, скрепившей кровью дружбу между народами великого Советского Союза и Кореи. Вечная

слава Армии Великого СССР, освободившей корейский народ от японского рабства и обеспечившей свободу и независимость Кореи».

Тысячи людей возлагали цветы у подножья монумента, приходили на Моранбон полюбоваться видом, открывающимся с горы на свой родной город. Всегда многолюдно было в расположенном здесь же Государственном историческом музее. В нём хранился, между прочим, якорь с американского судна «Генерал Шерман». Осенью 1866 года оно поднялось вверх по реке Тэдонган. Американцы, собиравшиеся пограбить корейский народ, были уничтожены, их корабль сожжён, а якорь и пушка сохранились в музее на Моранбоне, как вещественное доказательство агрессивных попыток американских империалистов в прошлом...

Полноводная Тэдонган делит Пхеньян на две части. По реке медленно двигались тяжёлые баржи, гружённые углем и рисом, солью и лесом, рыбой и овощами; проносились лёгкие джонки, подняв плетёные из камыша чёрные от угольной пыли паруса.

Левобережье — старый город: узкие пыльные улицы с маленькими, лишёнными всяких удобств постройками. Прежде рабочие семьи ютились здесь в хижинах с тростниковыми или глинобитными стенами и бумажными дверями, которые легко можно было проткнуть кулаком. Эти жалкие дома обогревались ондолом — дымоходом, расположенным в толще цементного пола.

Правый берег — новый город: трёх-четырёхэтажные жилые здания со всеми удобствами, окружённые садами коттеджи, больницы и клубы, театры и кино, университет и школы.

С Моранбона хорошо видны были корпуса первого высшего учебного заведения Кореи — университета имени Ким Ир Сена, в котором обучалось более двух тысяч студентов — юношей и девушек из крестьянских и рабочих семей. Первые камни университетского городка были заложены в 1945 году, когда над Горой цветов взвилась знамя свободной Кореи.

На западе реял флаг над зданием кабинета министров, а напротив, на другом берегу Тэдонгана, обрисовывались контуры многоэтажных корпусов комбината «Нодон Синмун» — «Трудовой газеты», органа Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Ещё дальше, почти на горизонте — терриконы Садонских шахт, снабжающих Пхеньян топливом.

У самой реки высился древний памятник — Восточные Ворота. Это высокая каменная арка, увенчанная беседкой с двухъярусной крышей, — остаток крепостной стены, некогда окружавшей город. Рядом, за металлической оградой, висел бронзовый колокол. По преданию, его звон раздаётся лишь в дни великой радости. Старик-сторож уверял, что звуки этого колокола, молчавшего много лет, впервые раздались в день всенародных выборов в Верховное Народное Собрание Кореи.

По вечерам вспыхивали огнями вывески пхеньянских театров и кино. На сценах и на экранах оживали древние народные сказания, звучали народные напевы, воссоздавались образы национальных героев. Лучшая балерина Кореи — Цой Сын Хи ставила здесь народные балеты: «Глядя на реку Тэдонган», «Пламя борьбы». Последний посвящён партизанам Южной Кореи. В Государственном драматическом театре шла пьеса «Полководец Ыль Ти Мундек» — о легендарном герое, более полутора тысяч лет назад поднявшем корейский народ на борьбу против иноземных угнетателей.

Корейцы живо интересуются советским искусством. С огромным успехом шли пьесы: «Плстон Кречет», «Любовь Яровая». Ведущие роли в них играла дочь пхеньянского часовщика драматическая актриса Пак Ен Син.

— Я была в Москве, — рассказывала Пак Ен Син. — Познакомившись с жизнью и бытом наших русских друзей, я сейчас воссоздаю на сцене их образы с таким воодушевлением, которого не испытывала никогда.

Молодой драматург Син Го Сон написал пьесу «Счастливые люди» — о дружбе советского и корейского народов, о том, как советские люди освободили Корею и теперь помогают возрождать её экономику и культуру.

Пхеньян — крупный политический, промышленный и культурный центр Кореи.

В нём сосредоточены многие предприятия. На новом заводе сельскохозяйственных машин выпускались плуги, на текстильном комбинате изготавливались шелковые ткани, на крупнейшей табачной фабрике Кореи производились папиросы и табак, на заводе «Коксан», название которого в буквальном переводе означает «производящий продукцию из зерна», обыкновенная кукуруза превращалась в множество разнообразных продуктов.

15 августа 1949 года корейский народ отмечал четвертую годовщину со дня освобождения страны войсками Советской Армии. В Пхеньяне в эти дни открылась первая в истории Кореи выставка достижений народного хозяйства. Каждое предприятие показало на ней процесс своего производства. Врубовая машина, сделанная на новом заводе, рубала уголь в маленькой шахте — точной копии шахты Садонского бассейна. Девушки-контролёры зажигали лампочки, только что изготовленные на конвейере электролампового завода. Автоматы химического завода выбрасывали аккуратные куски мыла. Светились искусно сделанные модели новых домен, электростанций, фабрик, заводов.

Все модели на этой выставке работали. Стремительному речному потоку преграждала путь бетонная плотина, вращались турбины электростанций, вопыхивали электрические огни. Стучали шелкоткацкие машины, и волны разноцветного шелка мягко падали вниз, собираясь в рулоны. То спускаясь в ущелье, то взбираясь на кручи, бежали электрические поезда, мигали огни светофоров. В долине виднелись виноградники, сады, плантации риса, гаоляна.

— Это не просто выставка, это съезд корейских заводов, — сказал переводчик Ем Дон Ук.

Пожилый мастер одного пхеньянского завода Ким Ге Ван добавил:

— До освобождения я был чернорабочим, месил глину в гончарной. Многие из моих друзей умели делать только горшки и черепицу. В Корею и теперь делают горшки и черепицу, но мы строим также домны и новые заводы. И мы всегда помним, что всему этому нас научили советские люди — лучшие друзья корейского народа. Советские специалисты помогли нам восстановить старые заводы и построить новые. Поэтому в нашей стране так часто вспоминают старую корейскую поговорку: добрый сосед лучше далёкого родственника.

Великая дружба.

Хорош был в Пхеньяне октябрь — предзимний месяц, полный особой прелести. Багряную листву чуть шевелил тёплый ласковый ветер...

В один из таких дней по улицам потянулась бесконечная процессия людей, несших венки из живых цветов. Они шли к величественному обелиску на горе Моранбон.

В этот день и в Пхеньяне, и в Нампхо, и в Вонсане корейцы несли цветы к памятникам, воздвигнутым в знак любви и дружбы к великому соседу и другу — Советскому Союзу. Любовно украшались могилы советских воинов, погибших в боях за свободу и независимость корейского народа. Пхеньянские текстильщицы прикрепили к памятнику шелковый листочек со стихами Пак Нам Су:

Здесь стоит могила одиноко
На горе высокой и крутой,
И весной и осенью глубокой
Сторожат цветы её поной.

Но какая горькая досада,
Что никак мне имя не узнать,
Кто же он, за каменной оградой,
Где родимый дом его и мать?

Но я знаю, знаю это имя:
Кто его с любовью не прочтёт!
Это русский воин на чужбине
Пал в боях, спасая мой народ.

Годы пролетят, и нас не будет,
И морям и рекам высохнуть,
Но пока на свете будут люди,
Здесь цветам всегда благоухать.

Так отметил корейский народ декаду дружбы с Советским Союзом. В эти же дни здесь началась подготовка к событию, которое отмечали трудящиеся всего мира: к 70-летию со дня рождения великого Сталина. Коллективы корейских предприятий и организаций, рабочие и крестьяне, деятели науки и культуры послали в короткий адрес: «Москва, Кремль, Сталину» около семи тысяч писем. Специальная делегация повезла в Москву подарки, любовно изготовленные корейским народом.

Тридцать пять дней лучшие чеканщики Кореи выводили чёткий рисунок на серебряных стенках хваро — чаши для угля, от которого зажигаются длинные корейские трубки. На восьмигранных стенках серебряной хваро — изображения птиц и растений, символизирующих бессмертие, и всюду выведены крохотными буквами слова «мансу муган».

Закончив работу, один из чеканщиков сказал:

— Мы сделали подарок отцу и брату. И самой лучшей наградой нам будет то, что глаза Сталина увидят нашу хваро, а руки Сталина зажгут от неё трубку...

Искусные мастера изготовили трубку из куска самого прочного дерева — железной берёзы, под которой отдыхали в 1945 году после боя с японцами герои-партизаны Ким Ир Сена.

Девушки и женщины сшили национальные одежды из лучшего шёлка, искусно украсив их затейливыми узорами.

Много месяцев искали старики-крестьяне Южной Кореи корень жизни — женьшень. Они нашли его далеко в горах, в провинции Кенги-до, а потом пришли к партизанам и вместе с ними по тайным тропам вынесли его к 38-й параллели. Через лисынмановские кордоны и заставы, с риском для жизни пронесли люди этот корень — подарок лучшему другу корейского народа товарищу И. В. Сталину.

Корень жизни, хваро, трубка, национальный костюм вместе с сотнями других подарков были доставлены в Москву специальной делегацией. Она вручила эти подарки товарищу И. В. Сталину в день его 70-летия как свидетельство безграничной благодарности и любви корейского народа к вождю, учителю и отцу трудящихся всего мира.

Советский Союз всегда был неизменным другом корейского народа и последовательным защитником его интересов. Советское правительство оказывало молодой демократической республике братскую помощь, которая вдохновляла корейский народ на трудовые победы, вселяла в него уверенность в своих силах.

Благодаря бескорыстной помощи Советского Союза в течение только 1949 года были восстановлены доменная и коксовая печи на металлургическом заводе в провинции Хванхэ, проведена техническая реконструкция металлургических заводов в Кансэне и Сэнгдине, Хыннамского химического комбината и других предприятий. Многие восстановленные и вновь выстроенные предприятия были оборудованы советскими машинами и станками. Эти заводы начали выпускать свои станки, сельскохозяйственные машины, инструмент и другую продукцию, которая раньше ввозилась из-за границы.

В Корею приехали советские учёные, чтобы помочь подготовить кадры для всех отраслей народного хозяйства. Сотни корейских юношей и девушек были приняты в высшие учебные заведения Советского Союза.

Советские учёные передавали свой опыт корейским друзьям, укрепляя связь науки с жизнью, приближая её к интересам народного хозяйства Кореи. Так, по инициативе советских ботаников была создана комплексная экспедиция на гору Пектусан, где изучались альпийские луга. Группа советских и корейских учёных совместно работала над проблемой коксования корейских углей. Разрешение её избавит Корею от необходимости ввоза коксующегося угля.

Советские врачи провели поистине героическую борьбу с эпидемиями, которые ка-

ждый год уносили много жизней. На севере Кореи было открыто 17 больниц Общества Красного Креста и Полумесяца. Более 700 тысяч корейцев получили медицинскую помощь в них. В ноябре 1949 года 15 больниц со всем инвентарём были безвозмездно переданы Корейской народно-демократической республике.

Советский Союз всегда выступал и выступает как защитник интересов корейского народа. Эта сталинская политика дружбы народов, равенства малых и больших наций была последовательной, неуклонной; она проводилась и проводится в жизнь до сегодняшнего дня.

Со всех концов страны.

25 июня 1949 года в Моранбонском театре собрались представители населения со всех концов страны. Здесь были люди различных политических убеждений: рядом с Ку Чан Су, двадцатилетней партизанкой из Южной Кореи, сидел буддийский священнослужитель Ли Сек Ту, рядом с прибывшим с юга инженером-горняком Пак Пан Су — видный корейский писатель Ли Тхя Дюн, крестьянин Мян Дон Ха и многие другие представители всевозможных партий и общественных организаций.

Через весь зал протянулось полотнище с призывом — «Да здравствует единая демократическая Корея!».

Четыре года родные братья — жители Севера и Юга Кореи — боролись за воссоединение страны под руководством двух прогрессивных организаций — Демократического национального фронта Южной Кореи и Единого демократического национального фронта Северной Кореи. Однако отсутствие единого центра, руководящего всеми прогрессивными организациями страны, не давало возможности народу окончательно сплотиться и более организованно выступить за единство и независимость родины. Поэтому в мае 1949 года восемь крупнейших демократических партий и организаций Южной Кореи обратились к Единому демократическому национальному фронту Северной Кореи, ко всем политическим партиям и общественным организациям с предложением создать Единый демократический отечественный фронт Кореи.

«У нас есть все условия для объединения родины, — говорилось в обращении. — Наш народ един, у нас один язык, общая экономика, культура, природные богатства. Но несмотря на это, Корея разделена 38-й параллелью на две части. Самостоятельное существование корейского народа находится под угрозой... Ответственность за разделение нашей родины ложится на американских империалистов, которые стремятся превратить её в свою колонию и военную базу...»

К моменту созыва учредительного съезда Единого демократического отечественного фронта Кореи в нём изъявилo желание участвовать 72 партии и общественные организации, в том числе 52 от Южной Кореи.

Трудно было делегатам Юга пробираться на съезд. 28 делегатов было арестовано ещё по дороге, многие погибли при переходе 38-й параллели. Однако большинство преодолело все препятствия. 25 июня вместе с представителями Северной Кореи они пришли в театр на горе Моранбон. 667 делегатов присутствовало на этом историческом съезде, имевшем огромное значение для судьбы корейского народа.

Взволнованные и страстные речи звучали на этом съезде. Люди говорили о своей родине, искусственно разделённой надвое, требовали немедленного вывода американских войск из Южной Кореи, мирного воссоединения страны, создания единого народного демократического правительства на основе всеобщих выборов.

В глубине сцены зажглись огни, и взорам делегатов открылась рельефная карта Кореи. Над ней переливался герб единой Кореи, воплощающий единодушное стремление миллионов корейцев Севера и Юга...

На всю страну прозвучали слова обращения о мирном объединении Кореи.

Лисынмановское правительство тщательно следило, чтобы ни одно сообщение о съезде не просочилось в южно-корейскую печать. Лакеи американских империалистов пытались скрыть от народа решения Учредительного съезда Единого демократи-

ческого отечественного фронта Кореи. Однако это им не удалось. Подпольные типографии издали текст обращения, и Ли Сын Ману ничего не оставалось, как выступить со специальным заявлением, в котором он пытался исказить существо народных решений.

Народ Южной Кореи поднялся на борьбу за мирное объединение страны. 20 июля 1949 года в Южной Корее началась всеобщая забастовка. В Сеуле остановились трамваи, прекратилась телеграфная и телефонная связь с другими городами, стали поезда на основных железнодорожных магистралях. Забастовали рабочие всех отраслей промышленности. В разных районах Сеула состоялись многолюдные демонстрации. Рабочих поддержали крестьяне, организовавшие демонстрацию под лозунгом: «Корея должна быть единой».

Народ всей Кореи единодушно требовал мирного объединения родины, заявляя о своей решимости до конца бороться за выполнение решений Учредительного съезда Единого демократического отечественного фронта, за единство и независимость Кореи.

Старинная свадьба.

Быстро пролетела корейская зима — очень тёплая. Иногда выпадал снег, но потом быстро таял, покрывая улицы липкой грязью.

В зимний погожий день нас пригласили на корейскую свадьбу — женился наш переводчик Чо, уроженец Пхеньяна. Родители его невесты потребовали, чтобы свадьба происходила с соблюдением всех старинных обрядов.

К назначенному часу мы подошли к дому Чо. В дверях толпилось много народа — родственники, знакомые, даже прохожие стремились взглянуть на невесту. Она сидела рядом со своей пожилой родственницей за длинным столом, накрытым красной скатертью (красный цвет в Корее означает бессмертие). На столе стояли блюда с жареными курами, кусками свинины, яйцами, картофелем, яблоками, ячменём, рисом, сладостями. Всё это символизировало богатую жизнь невесты в доме будущего супруга.

Невеста, одетая в национальный костюм, с длинными серьгами-подвесками в ушах, сидела неподвижно, не поднимая глаз.

Чо, сменивший свой обычный европейский костюм на белый шёлковый халат жениха, был чем-то опечален.

— Она очень застала, — шепнул он нам. — Она сидит так с восьми часов утра... Старый обычай заставляет наших невест мучиться целый день, пока ими не налюбуются зеваки. Они не смеют ни есть, ни пить, ни улыбнуться, ни даже пошевелиться. Я бы давно увёл её, но нельзя обижать стариков...

Начался свадебный пир. Все сидели на корточках перед низкими столиками. Родственники невесты и жениха подносили всё новые и новые тарелочки с кушаньями. Здесь была кукса — круглая, длинная лапша, в остром перцовом соусе плавали куски курятины, прозрачные тог — хлебцы из рисовой муки, окрашенные в розовый, зелёный, голубой цвета. Гостей обносили горячими блинами с запечёнными в них ракушками, особым соусом из осьминога, маленькими жареными пельменями с острой пахучей травкой. Крохотные чашечки всё время наполнялись сури — рисовой водкой.

В дверях появилась невеста — Ли Нен Э. Закончилось выполнение скучного обряда, и она прибежала сюда, чтобы посидеть рядом с женихом.

Ли Нен Э весело смеялась и шутила. Она совсем не была похожа на то изваяние, которое всего несколько минут назад мы видели у входа в дом за длинным красным столом.

Неожиданно друзья Чо набросились на него, связали ему руки и ноги полотёнками и подвесили головой вниз на вбитом в стену крюке. Чо притворно кричал, изображая страшный испуг и злобу. Оказалось, что это тоже один из старинных обычаев. Если невеста хочет спасти своего будущего мужа, она обязана крепко

поцеловать его или спеть песню. Невесту долго уговаривали спасти жениха. Наконец она поцеловала Чо, и его тут же выпустили на свободу.

На вторые сутки свадебный пир продолжался в доме родителей невесты, куда перекочевал и красный стол со всем его убранством.

В деревне.

В январе корейские крестьяне начали подготовку к весеннему севу. В деревню пришли первые тракторы. Мы разговорились с крестьянином Ким До Суном из деревни Янсунри, на поле которого трактор прокладывал первую борозду.

— Я видел, как по этому полю проносились японские танки, сминая посевы, — говорил Ким До Сун. — Помню, как чёрными коршунами кружились над моим домом японские самолёты. Но трактор я вижу впервые... Недавно я получил письмо из Южной Чоллы. Родственник пишет мне, что туда зачем-то пришли американские танки. А тракторов там никогда не видели.

Ким До Сун закурил трубку с длинным — в полметра — мундштуком и продолжал:

— Я знаю, что тех, которые хотят управлять тракторами, в сто, в тысячу, в миллион раз больше, чем тех, которые хотят броситься в огонь на танках. Пусть об этом подумают американские империалисты!

Молодой тракторист первой в Корее машинно-тракторной станции сказал нам на прощанье:

— Мой дед и отец никогда не имели ни земли, ни дома. Они работали на помещика и голодали, потому что за землю, воду и семена он забирал две трети урожая. Сейчас в нашей деревне все крестьяне построили новые дома. А я — сын бедняка — научился водить трактор.

Председатель Народного комитета уезда Консо — Пак Кван Су рассказал о деревне Ченсанри:

— Ни одно из ста одиннадцати хозяйств этой деревни не имело земли. Крестьяне арендовали крохотные участки у помещика и обязаны были отдавать ему шестьдесят процентов урожая в качестве аренды, не считая особой платы за орошение. Кроме того, крестьянин платил государственный налог и всевозможные «пожертвования», которых набиралось до пятидесяти двух видов. Они отнимали почти треть дохода. Таким образом, крестьянину оставалось не более одной десятой его урожая. Этого не хватало даже до декабря...

В деревне Ченсанри царили нищета и голод. Крестьяне жили в тростниковых лачугах, а одиннадцать семей — в пещерах. Медицинской помощи деревня не знала, и в 1939 году много жителей погибло от эпидемии холеры.

Из 200 человек населения Ченсанри только восемь были грамотны. Крестьяне не могли посылать детей в школу потому, что нечем было платить за учение и не на что купить учебники...

— С приходом к власти Народного демократического правительства деревня как бы родилась заново, — продолжал Пак Кван Су. — Безземельные батраки получили более тысячи гектаров земли. Помещичьи оросительные системы стали собственностью государства. За четыре года крестьяне Ченсанри построили на государственные кредиты около ста домов, обзавелись скотом. В деревне появились электричество и радио, был организован клуб с хорошей библиотекой.

Пак Кван Су познакомил нас с высоким, широкоплечим человеком, одетым в новый халат. О Тха Ен повёл нас в свой бывший дом — полуразваленный сарай, занятый теперь под курятник.

— В 1944 году я получил с арендуемого клочка земли около пяти тонн риса, — сказал он. — Три тонны пришлось отдать помещику за пользование землёй, полтонны — за орошение участка. Больше полутонны ушло на налоги. У меня осталось около 700 килограммов риса. Пришлось уже осенью идти на поклон к помещику. Тот дал мне займы рису, но потребовал, чтобы я, моя жена и мать в знак благодарности бесплатно мололи ему на ручных жерновах рис и кукурузу в течение трёх месяцев. Так мы голодали из года в год, и у меня не было даже рубашки...

В 1949 году О Тха Ен получил со своего надела 11 100 килограммов риса. 2 790 килограммов из них он сдал государству как натуральный налог и на полученные деньги купил на государственном складе удобрение по твёрдым ценам. Три тонны риса он продал на базаре, а остальное оставил на питание семьи и хозяйственные нужды.

Старый крестьянин Ли Чун Ен пригласил нас в гости. Сбросив с ног обувь, мы вошли в его новый дом. На циновках, расстеленных на полу, сразу же появился лакированный столик с деревенским угощением. Ли Чун Ен снял с полки простую чашку с голубыми разводами, поставил её на стол и сказал торжественно:

— Из этой чашки Ким Ир Сен ел со мной рис. Он обходил много деревень, чтобы посмотреть, как живут крестьяне при новом законе, и убедился, что наши чашки всегда наполнены рисом.

Ли Чун Ен обещал Ким Ир Сену выращивать урожай вдвое выше, чем у других крестьян, и крепко держит своё слово. Он показал нам отборные семена, приготовленные для посева. Крупные, почти прозрачные зёрна казались стеклянными.

— Старики говорили, что в каждом зёрнышке риса есть капля человеческой крови. А я учу молодёжь растить такие зёрна, чтобы в каждом из них была капля нашего счастья,— сказал Ли Чун Ен.

Знакомясь с жизнью корейских крестьян, мы узнали об обездоленных людях, получивших прозвище хваденминов, что значит — «люди огненных полей». Они бродили по горам, выжигая крохотные участки земли и обрабатывая их каменными мотыгами. Не лень, не тяга к бродяжничеству породили хваденминов, которых в старой Корее насчитывалось более трёхсот тысяч. В горы вынуждены были уходить рабочие, выгнанные с предприятий по болезни, увечью или за резкое слово по адресу японца-надсмотрщика; ряды хваденминов пополнялись из крестьян, разорённых непосильными поборами и налогами японских колонизаторов и корейских помещиков.

Японские жандармы рыскали по горам, выслеживая этих несчастных людей, чтобы обвинить их в поджоге лесов и пополнить ими армию даровых рабочих — каторжников, спроевших стратегические дороги и военные объекты в Корее и Японии.

Одичалые, обездоленные, не имея никаких средств к существованию, в вечной тревоге за завтрашний день, брели по горам сотни тысяч корейцев, ничего не видя впереди и ничего не ожидая от будущего. Так жила и семья хваденмина Пак Чан Хва. Его жена Ким Хва Иль была тоже дочерью «человека огненных полей». Их дети — шестнадцатилетняя Хан Хва Дзя, девятилетний Пак Киль Ун, семилетняя Пак Сен Ун и совсем крохотный Пак Чон Ун никогда не пробовали мяса, не знали, что такое настоящий дом и что на теле может быть надето что-нибудь другое, кроме домотканной одежды из крапивных волокон.

Однажды у жалкого шалаша хваденмина появились незнакомые люди. Они ласково заговорили с Пак Чан Хва. Как чудесную сказку, слушал он рассказ о том, что советские воины навсегда изгнали японцев и что солнце свободы развеяло ночь, висевшую над Кореей сорок лет.

— Народное правительство послало нас сюда,— сказали приезжие,— чтобы передать хваденминам, что им помогут встать на ноги, получить работу и землю.

Семья Пак Чан Хва впервые покинула горный лес. На Самсинской шахте близ Пхеньяна хваденминов встретили тепло и радушно. Директор поздравил Пак Чан Хва с новосельем. Ему, как и другим хваденминам, согласно решению Народного правительства, выдали безвозвратную денежную ссуду на покупку необходимой одежды и продуктов питания.

Пак Чан Хва поступил на курсы и вскоре овладел профессией шахтёра. Его старшие дети учились в школе. По вечерам семья Пак Чан Хва посещала клуб, а иногда просто отдыхала возле своего уютного домика. Мать шьёт, младшие дети играют, а 42-летний отец и 10-летний сын читают что-нибудь вслух: читать они научились одновременно. Заработок Пак Чан Хва превышал четыре тысячи вон в месяц. Он завёл свинью и кур, посадил огород, собирался приобрести радиоприёмник.

Счастье пришло в семью хваденмина Пак Чан Хва и в сотни тысяч таких же семей, спустившихся с гор и получивших право на труд, на отдых, на образование.

Летом 1950 года в Корее началась подготовка к торжественному дню 15 августа — к пятилетию со дня освобождения. На фабриках и заводах рабочие встали на трудовые вахты в честь Праздника Освобождения. Дорожные рабочие приводили в порядок мостовые, маляры красили дома. Но светлый праздник был омрачен грозными событиями...

«Конгиок!»

Июньское утро было прохладным, как и каждое летнее утро в Стране Утренней Свежести. Знойный, почти тропический климат смягчается здесь и океанскими муссонами, и порывистыми горными ветрами. Ночью перепадают дожди, а к рассвету тучи расходятся. Вершины гор медленно розовеют, и над страной встаёт горячее солнце...

В это воскресное утро нам впервые довелось познать горький смысл короткого корейского слова «конгиок» — нападение. Первым его произнёс диктор пхеньянской радиостанции. Он сообщил корейскому народу о предательском нападении войск продавшей американистским империалистам клики Ли Сын Мана на границу Корейской народно-демократической республики.

«Конгиок!» — это слово стояло на сотнях нарисованных от руки плакатов, призывающих трудовой народ Кореи дать сокрушительный отпор наглým провокаторам. Такие плакаты расклеивали юноши и девушки с треугольными значками Союза демократической молодёжи.

Короткое слово «конгиок» слышалось в этот день повсюду в возмущавшем за несколько часов Пхеньяне. Тяжёлые шторы из рисовой соломы повисли на окнах; на тротуарах появились бочки, наполненные жёлтым песком. По улицам шли отряды добровольцев, отправляющихся на фронт...

В эти тревожные дни мы встретились с Ким Ир Сенем. Это была уже вторая наша встреча с ним. Ещё так недавно, стоя у карты Кореи в своём скромном, отделанном светлым деревом кабинете, он с увлечением рассказывал о новых стройках, о том, как помогают переделывать патриархальную деревню советские тракторы, как выросла культура корейского народа. Сегодня мы увидели его совсем другим. Это был человек, уверенно взявший в руки судьбу своей родины, поднявший весь народ для решительного отпора наглому врагу. Он стоял у микрофона. Радио несло в эфир его слова, обращённые к народу.

— 25 июня армия марионеточного правительства предателя Ли Сын Мана начала наступление на территорию севернее 38-й параллели. Мужественно сражавшиеся охранные отряды приняли на себя удар, в упорных боях приостановили наступление войск марионеточной армии Ли Сын Мана. Правительство Корейской народно-демократической республики, обсудив создавшееся положение, отдало приказ нашей Народной армии перейти в решительное контрнаступление и разгромить вооружённые силы врага...

Ким Ир Сен призвал корейский народ встать на защиту родной страны. И народ достойно ответил на призыв вождя.

На пхеньянском заводе искусственного волокна более пятисот рабочих собрались на спортивной площадке.

— Мы выполняем сейчас полторы нормы, — взволнованно говорил бригадир Нам Зен Цен. — Мы будем выполнять по две. Это мы обещаем нашим дорогим воинам. Рабочий Чо Сун Хен сообщил:

— Мой брат вчера ушёл добровольцем на освободительную войну. С сегодняшнего дня я работаю за него и за себя. Я выполняю и буду выполнять по две нормы в день до тех пор, пока мы сбросим в море последнего захватчика.

В Пхеньян потянулись крестьянские повозки. На них везли рис, овощи, фрукты — подарки воинам.

— Пусть не беспокоятся наши солдаты, — говорил старый крестьянин Ким Чан

Сун из деревни Сонсенри. — Мы, крестьяне, дадим продуктов столько, сколько потребуется нашей Народной армии.

Вечером на улицах Пхеньяна появились экстренные выпуски правительственных газет. В них было напечатано сообщение о том, что Трумэн приказал американским войскам вступить на корейскую территорию. У витрин, на которых были расклеены эти газеты, толпились возмущённые люди. Общее настроение выразил пожилой рабочий в синем комбинезоне:

— Американским империалистам мало того, что они вооружили клику предателя Ли Сын Мана и послали его против нас. Теперь они сами хотят бомбить наши города и убивать наших людей!

И новые сотни и тысячи добровольцев двинулись к фронту, на защиту родины..

Те, кто готовил агрессию.

Созданное в 1948 году американскими империалистами марионеточное правительство Ли Сын Мана вело южную часть страны к катастрофе. С его приходом к власти положение крестьян — основной массы населения Южной Кореи — не только не улучшилось, но стало ещё более тяжёлым, чем во время японского господства.

На юге расположены важнейшие сельскохозяйственные районы Кореи. Поэтому вопрос о земле являлся здесь самым жизненным, самым первостепенным. Однако никаких изменений в системе землепользования не произошло. Земля попрежнему принадлежала помещикам, и крестьяне вынуждены были её арендовать на кабальных условиях. Огромные поместья, принадлежавшие раньше японским колонизаторам, прибрали к рукам колонизаторы американские. Поместья, располагавшие лучшими в Корее землями, были переданы в ведение так называемого «Общества новой Кореи», которое лишь вывеской отличалось от японского «Восточного колонизационного общества». Это «общество» выкачивало из крестьян гигантские прибыли, сдавая им землю в аренду.

Корейский народ бурно протестовал против политики ограбления трудящихся масс, проводимой американскими монополиями. Дело дошло до вооружённых столкновений. Это принудило американские оккупационные власти в марте 1948 года распустить «Общество новой Кореи» и объявить о продаже бывших японских земель. Но крестьяне не имели денег, и земля снова попала в руки помещиков, ростовщиков и спекулянтов. Они составляли всего 3,5 процента сельского населения Южной Кореи, но им принадлежало 63 процента земли. Крестьяне или совсем были лишены земли, или владели крохотными участками.

По закону, установленному американской военной администрацией, арендная плата составляла одну треть урожая. Марионеточное южно-корейское правительство дополнило этот закон специальным решением об обязательных поставках продовольствия. В 1948 году на основании этого грабительского решения у крестьян было отобрано около 60 процентов валового сбора риса — основной продовольственной культуры Кореи.

Подвергаясь двойному гнёту — американских колонизаторов и марионеточного правительства, крестьяне Южной Кореи разорялись, были вынуждены массами бросать насиженные места и уходить в горы, становясь хладенниками.

Не лучше было и положение трудящихся города. Рабочий день длился 10—15 часов. Широко применялся труд детей и подростков. За одинаковую работу женщинам и детям платили немногим более половины зарплаты мужчин. Реальная заработная плата катастрофически падала. К 1949 году цены на продукты питания выросли по сравнению с довоенными больше, чем в тысячу раз, а заработная плата — лишь в двести раз.

Обнищание трудящегося населения Южной Кореи превзошло даже те пределы, которые существовали в самые мрачные годы японского владычества. Продажа детей в публичные дома, воровство и грабежи становились массовым явлением.

Лисынмановский режим терял почву под ногами. Внутри правящей клики царичи грызня и разложение. Луиза Им — любовница Ли Сын Мана, которую он вывез из Америки, — утвердилась на посту министра торговли и промышленности. Она открыто брала огромные взятки с купцов и промышленников и оказалась замешанной в крупных спекулятивных сделках. Скандал оказался так велик, что фаворитку пришлось убрать с министерского поста.

Не имея поддержки в народе, марионеточное правительство Ли Сын Мана держалось на американских штыках. Империалистам США оно служило ширмой для укрепления своих позиций в Южной Корее и превращения её в военный плацдарм для подготовки нападения на Советский Союз и демократический Китай.

Послушное заправила Уолл-стрита, марионеточное правительство Ли Сын Мана установило в Южной Корее полицейский режим. Помимо многочисленной полиции, лисынмановцы создали 100-тысячную армию «национальной обороны». Эта армия была одета в американское обмундирование, вооружена американской техникой, обучалась американскими инструкторами. Важнейшие её командные посты занимали американские «военные советники». Американский посол при марионеточном правительстве Ли Сын Мана — Муччо и генерал Робертс неоднократно инспектировали части южно-корейской армии. Всё это в сумме и составляло так называемую «американскую помощь» Корее.

Под крылышком американских захватчиков из уголовных элементов плодились, как грибы после дождя, многочисленные террористические и диверсионные группы. Их систематически перебрасывали через 38-ю параллель на территорию Корейской народно-демократической республики.

Так, уже задолго до начала войны Южная Корея фактически была превращена в плацдарм агрессии. Военные приготовления марионеточного правительства Ли Сын Мана мало чем отличались от подобной же «деятельности», развернувшейся в своё время в фашистской Германии и милитаристской Японии.

Характеризуя свои намерения, Ли Сын Ман неоднократно пробалтывался. В его переписке, захваченной в числе других документов корейской Народной армией, освободившей Сеул, были обнаружены наглые признания. 21 января 1949 года Ли Сын Ман заявил: «Я стремлюсь к тому, чтобы Южно-корейская армия пошла вперёд, на север». 7 февраля, выступая в Национальном собрании, он кричал «о военном походе на север», подчёркивая, что «армия должна пойти на Северную Корею, если не удастся присоединить её посредством комиссии ООН».

Осуществляя планы американских империалистов, части марионеточной армии Ли Сын Мана постоянно нападали на деревни, расположенные севернее 38-й параллели. Они грабили и убивали мирных жителей, сжигали их жилища, уводили скот. Только с января по сентябрь 1949 года было совершено 432 таких нападения на суше и 92 с моря, не считая нарушений 38-й параллели авиацией.

Комиссия Единого демократического отечественного фронта, производившая расследование провокационных нападений лисынмановских войск на территорию севернее 38-й параллели, установила, что многими из них лично руководили американские «военные советники». Одновременно к месту происшествий трижды выезжала так называемая «комиссия ООН». Но она не стремилась выяснить подлинные обстоятельства столкновений на границе и разоблачить их виновников. Она заявила даже о «неизбежности» подобных конфликтов, оправдывая и поощряя агрессивные и провокационные действия лисынмановской клики.

Пока лисынмановцы занимались провокациями на 38-й параллели, американские империалисты развивали бурную деятельность. Они создавали в Южной Корее сеть военно-морских баз и аэродромов, снабжали оружием марионеточные войска, подстрекали Ли Сын Мана к нападению на Северную Корею и, в конце концов, развязали преступную войну. Она была необходима им как повод для вооружённой интервенции, которая залила кровью весь полуостров...

Первые дни войны.

Суровой жизнью военного времени жил Пхеньян. С фронта шли хорошие вести. Отразив провокационное нападение лисынмановцев и передовых американских частей, Народная армия перешла 38-ю параллель и начала продвижение на юг. Единокровные братья, изнывавшие под тяжёлым сапогом американских колонизаторов, восторженно встречали воинов-освободителей. В Южной Корее разгоралось пламя партизанского движения.

Героизму воинов Народной армии не уступал героизм рабочих и крестьян, самоотверженно трудившихся в тылу. Никогда ещё не были так велики трудовые успехи металлургов, машиностроителей, текстильщиков и железнодорожников демократической Кореи, как в эти дни, последовавшие за вероломным нападением интервентов и их лакеев из лисынмановской клики. Каждый трудился за двоих, заменяя товарища, ушедшего на фронт.

Наступило 29 июня — четвёртый день войны. Трудовой день подходил к концу. По улицам Пхеньяна мчались трамваи, переполненные рабочими первой смены. Матери вели за руку или несли за спиной своих малышей, взятых из яслей. И вдруг над мирным городом впервые завывли сирены. Люди остановились, вглядываясь в безоблачное небо. На горизонте появились бомбардировщики. Несколько минут — и первая волна самолётов, резко снизившись, прошла над Пхеньяном. На машинах, несущих смерть и опустошение, — американские опознавательные знаки. Вниз — на школы и больницы, на жилые дома, на людей, густо усеявших улицы, обрушились сотни бомб...

Поздно вечером мы проезжали по дымящимся улицам. Люди тушили пожары, рыли бомбоубежища.

Город жил в напряжении. Утром, днём, вечером, почти через каждые два часа раздавались оглушительные свистки постовых. Им вторил звон колокольчиков, подвешенных над воротами. Затем тревожно выла сирена. Начиналась очередная воздушная тревога...

На рассвете 3 июля в небе над Пхеньяном стало тесно от американских самолётов. Бомбить мирных людей прилетели реактивные самолёты, штурмовики, «летающие крепости». Истребители неслись над самыми крышами, поливая огнём своих пулемётов и пушек улицы, трамваи, повозки крестьян.

На окровавленной мостовой улицы Сенгиори два трупа: молодая женщина и привязанная за её спиной крохотная девочка с раздроблённым личиком. Ярко горят лёгкие домики. В клубах чёрного дыма здание выставки, посвящённой четырёхлетию со дня освобождения Кореи.

Жертвой разбойничьего налёта стал и талантливый 19-летний художник Юн Чан Гын, сын крестьянина из села Сопхари. Его пейзажи привлекали внимание посетителей выставочных залов. Он вдохновенно работал над большим полотном, рассчитывая закончить его к пятой годовщине освобождения своей Родины.

— Мне хочется написать картину, прославляющую мирный созидательный труд моего народа, — говорил Юн Чан Гын.

В эти дни мы вторично встретились с девушками Ко Ен Ми и Ли Джан Че, с которыми познакомились ещё весной в университетском саду. Одетые в синие костюмы студенток, они сидели тогда на скамье и читали стихи Маяковского, переведённые Те Ги Ченом.

Подруги были жительницами Южной Кореи. Они тайком пробрались в Пхеньян, услышав, что здесь открывается университет имени Ким Ир Сена. Девушки ночью крались мимо американских часовых, и вслед им летели пули. Они переплыли холодную, покрытую шугой пограничную реку. Мужественно преодолев все преграды, они осуществили свою мечту: стали студентками.

Тогда, весной, Ко Ен Ми рассказала о трагедии, только что постигшей её. По приказу американцев в Южной Корее были расстреляны её родители по подозрению в связи с партизанами. Эту страшную весть только что принесли двое крестьянских

парней — её земляков, пробравшихся в Пхеньян, чтобы поступить на подготовительное отделение университета.

— Я скоро стану педагогом, — сказала Ко Ен Ми. — Я сумею рассказать своим ученикам, кто друзья и кто враги нашей родины. Я буду будить в них гнев к поработителям, гордость за свою отчизну...

Сейчас Ко Ен Ми и Ли Джан Че были одеты в солдатские гимнастёрки. Они шагали по мостовой во главе колонны студентов-добровольцев, уходящих на фронт. Узнав нас, они подошли попрощаться.

— Я иду мстить за мать, за отца, за Родину, — сказала Ко Ен Ми. — Наш народ победит. Мы вернёмся с победой!

За первые три дня американские самолёты сбросили на Пхеньян более полутора тысяч бомб разного веса. Почти без перерывов выла сирена, возвещающая воздушную тревогу. Но едва раздавался отбой, каждый спешил продолжить прерванное дело. Огонь жестоких испытаний закалил волю и мужество свободолюбивого народа, его решимость в борьбе и уверенность в победе.

Народная армия, ломая сопротивление интервентов и их продажных союзников, уверенно продвигалась вперёд, очищая южные районы от наглого врага. Вот уже окружён Сеул. Ещё одно усилие — и, мощным ударом прорвав укрепленные рубежи, солдаты Народной армии вступают в древнюю столицу Кореи...

К югу от 38-й параллели.

Три часа дня. Раскалённые лучи солнца плавят асфальт. Прозрачные воды Тэдонгана стали почти горячими. Несмотря на тропическую жару, пхеньянцы собираются группами возле уличных репродукторов. Диктор голько что сообщил: через минуту слушайте выступление Ким Ир Сена.

И вот раздаётся знакомый голос:

— Сегодня в 12 часов дня части героической Народной армии освободили столицу нашей родины — город Сеул...

Радостью вспыхнули лица людей. Две девушки, взявшись за руки, закружились в танце. К ним присоединяются новые пары. И вот кажется, что весь город кружится, ликуя.

...Мы выехали в Сеул. Несколько часов пути, и машина приблизилась к 38-й параллели. По обочинам дороги всё чаще попадаются груды исковерканного металла, уже тронутого ржавчиной, — следы недавних боёв.

Машина замедлила ход. Впереди невысокая, заросшая хвойным лесом гора. У её подножья петляет быстрая речка Имдинган.

— Здесь, — говорит шофёр-кореец, и лицо его темнеет.

С этой горы, перебросив по понтонному мосту танки и орудия, на рассвете 25 июня захватчики бросились на мирные города и сёла демократической Кореи. И как их первая жертва, на самом берегу речки поникло обожжённое дерево шелковицы.

Патруль остановил нашу машину. Внимательно проверив документы, солдаты приветливо улыбаются.

— Москва! — мечтательно говорит один из них.

Все жмут нам руки.

Извиваясь вдоль Имдингана, дорога привела к разрушенному мосту. Множество людей трудились над его восстановлением. В поисках переправы мы добрались до маленького полустанка. Железнодорожники погрузили нашу машину на дрезину, а мы перебрались через реку на рыбацкой лодчонке.

Дрезина не достигла ещё и середины километрового моста, когда из-за горы вынырнули американские самолёты. Воздушные пираты сбросили несколько десятков бомб, не причинив, однако, вреда мосту. Дрезина благополучно достигла другого берега.

— Мы уже привыкли к этому, — улыбаясь, сказал пожилой железнодорожник Чу

Дон Хе.— Американцы почти каждый день бомбят наш мост. Всю рыбу в реке поглушили...

Километрах в пяти от 38-й параллели попадает первая обитаемая деревня. Немолодой крестьянин в широкополой соломенной шляпе — Киль Дю Ха — рассказывает:

— Ещё 18 июня к нам ворвались полицейские и приказали убраться отсюда. Мы ушли в солки. Лисынмановские солдаты вырыли вокруг деревни глубокие траншеи, привезли много пушек. На рассвете 25 июня начался такой грохот, что мы убежали ещё дальше в горы...

Целый день лисынмановские войска шли на север, а к вечеру побежали обратно. Крестьяне вышли из ущелий и бросились навстречу бойцам Народной армии.

— Я бедный человек, и мёд большое лакомство в моём доме, — говорит Киль Дю Ха. — Но моя жена отдала солдату с севера единственный горшочек мёда, который хранился у нас с прошлого года.

Киль Дю Ха, как его отец и дед, никогда не имел своей земли, а арендовал её у помещика.

— В прошлом году я собрал 30 мешков риса. 25 мешков пришлось отдать хозяину за землю, воду и за старые долги. Потом мне сказали, что я должен пожертвовать четыре мешка риса в фонд государства. Я не мог оставить ребятишек голодными и отказался. На следующий день пришли полицейские с подводой и забрали все пять мешков. Жена не выдержала, бросилась на полицейских. Они так избили её, что она неделю харкала кровью...

— Прошло немного времени, а как изменилась наша жизнь, — говорит Киль Дю Ха, и в его глазах вспыхивают радостные искры. — У нас уже создан Народный комитет. Земля, наконец, стала моей!

Мы проезжаем ещё множество деревень, беседуем со множеством людей. И все они повторяют в один голос:

— С Народной армией к нам пришла свобода...

Но война идёт, её ожесточение нарастает. Американские империалисты бросают в бой свежие части, всё в большем количестве прибывающие из США. С каждым днём интервенты всё более откровенно показывают свой звериный лик. Дороги, ведущие к Сеулу, уже находятся в тылу. Днём на них не видно ни одного солдата, ни одной военной машины. Но они непрерывно обстреливаются. Американские самолёты гоняются за повозками крестьян, охотятся на сельских жителей, работающих в поле.

Вот бьётся в судорогах издыхающий бык, а в повозке, раскинув руки, лежит его хозяин — старый крестьянин. По разбитому лицу струится кровь. Маленькая девочка случайно осталась жива и горько плачет, зовёт, тормошит дедушку. Молодая женщина берёт ребёнка на руки, осторожно утешает, пытается узнать, откуда ехала повозка. Но девочка ничего не знает, она плачет ещё громче. Всего полчаса назад американский истребитель с бреющего полёта обстрелял этих мирных людей...

— Будьте вы прокляты, бандиты! — восклицает женщина. — Пусть погибнете вы на нашей земле, и пусть плачут ваши матери о своих сыновьях...

Всюду — в сёлах и рыбацких посёлках, в городах и на железнодорожных станциях Южной Кореи — народ с энтузиазмом встречал воинов-освободителей. В них простые люди видели своих братьев и своих защитников. Жители возвращались в покинутые города и сёла, начинали строить новую жизнь. Один за другим возрождались Народные комитеты, велась подготовка к проведению земельной реформы, открывались школы. Сбывалась вековая мечта крестьян Южной Кореи — они становились хозяевами земли, на которой трудились из поколения в поколение.

В волости Тэсон, уезда Кепун, провинции Кенги в выборах Народного комитета приняли участие все жители. Председателем его стал Ли Те Сун — батрак, просидевший несколько лет в Содаймунской тюрьме за участие в октябрьской стачке 1946 года; его заместителем — бедняк Ко Ден Мун.

В короткий срок Народный комитет успешно завершил земельную реформу. Земля тэсонских помещиков навсегда перешла в руки крестьян. В эти дни около

400 патриотов — больше половины всей молодёжи волости — добровольно ушли в ряды Народной армии. Каждую ночь крестьяне по собственной инициативе трудились на восстановлении переправ через реку Имдинган, перевозили боеприпасы для частей Народной армии.

И не только в селе Тэсон — повсюду на юге бурно возрождалась новая жизнь. Её самоотверженно строил народ, впервые познавший радость свободного труда.

Власть — народу, землю — крестьянам, работу — рабочим — вот что несла трудящимся Южной Кореи Народная армия.

В Сеуле.

Вот и Сеул, расцвеченный флагами Корейской народно-демократической республики. Плакатами обиты трамваи и автобусы. По улицам, отбивая шаг, идут добровольцы — молодые патриоты Сеула.

Девушка протягивает горсть слив молодому солдату, неподвижно застывшему у входа в банк. Тот отрицательно качает головой: ведь он на посту! Тогда девушка расстилавает возле ног солдата платочек, высыпает в него жёлтые сливы и убегает довольная: она всё-таки угостила солдата-освободителя! Вместе с ней радостно смеётся наш спутник — военный корреспондент газеты «Нодон Симун» Сон Хак Ен. Вместе с передовыми частями Народной армии он вошёл в Сеул. Корреспондент рассказывает, как от души хохотали солдаты, обнаружив в студии сеульской радиостанции подготовленный к передаче текст очередного воззвания продажных лисьян мановских пропагандистов, начинавшегося истерическим возгласом: «Северянам не войти в Сеул!».

Нало было начинать передачу.

— Скажем то, что чувствует в эту минуту каждый из нас, — предложил кто-то из офицеров.

И вот впервые за пять лет по сеульскому радио зазвучали простые, идущие от самого сердца, правдивые слова. Они притягивали жителей Сеула к репродукторам. И радиослушатели рукоплескали словам своих братьев, освободивших древнюю столицу Кореи.

Сеул раскинулся на берегах полноводной реки Ханган. Тут, у подножья Трёх Гор, люди поселились ещё в одиннадцатом столетии, основав город.

На самой вершине Трёх Гор сидит райская птица,
 Над глубокими водами Ханган мчится стрелой рыцарский конь.
 Вершины Трёх Гор, как острия пик, стерегут город.
 Густой молодой сосняк держит в своих объятиях Южные Горы.
 А дальше змеей вьётся река Ханган,—

так воспевали Сеул древние поэты Кореи.

Прекрасные парки, скрывающие в своей зелени дворцы и музеи, широкие улицы, площади создают неповторимый архитектурный ансамбль.

В парке «Пагода» к небу тянется восьмиугольная башня. За кружевной оградой прижита опромная гранитная черепаха — древний памятник корейского искусства, символизирующий бессмертие. 1 марта 1919 года здесь состоялась грандиозная демонстрация независимости — первое массовое выступление корейского народа против японских поработителей.

Красивое здание с колоннами. Широкие мраморные ступени ведут в роскошные залы. Здесь заседало марионеточное «Национальное собрание» Южной Кореи. Кабинет Ли Сын Мака отделан в американском стиле: тяжёлые и грубые кресла, массивные шкафы. На стенах развешаны фотографии американских хозяев марионеточного «правителя» Южной Кореи.

Таков же и дом Ли Сын Мана — типичный американский коттедж, построенный у подножья горы Самбек. Дом набит драгоценными вещами, украденными из музеев Сеула. Полы устланы древними коврами и гобеленами. В вестибюле — резной макет памятника Ли Сун Сину — знаменитому полководцу. На скульптуре сохранился знак

музея Кендок-Гун (Дворца Счастья и Богатства). Из других музеев: из Чандок-Гуна (Дворца Больших Благодеяний), Доксу-Гуна (Дворца Долголетия) — украдены древние фарфоровые вазы, картины.

Многоэтажный фешенебельный Банто-отель (гостиница «Полуостров») Ли Сын Ман «подарил» своим американским хозяевам. Здесь помешалось американское посольство или, вернее, контора по выкачиванию богатств из страны. Опустевшие комнаты отеля носят следы поспешного бегства.

В кабинете американского посла — пресловутого Муччо — молодой корейский офицер разбирал секретные документы, извлекая их из сейфа. Невесело усмехнувшись, он протянул нам какие-то бумаги.

— Копия этого документа была найдена в разведывательном управлении армии Ли Сын Мана, — сказал офицер. — А вот и оригинал...

Это была тщательно составленная инструкция американских хозяев овоему лакею. В ней с хвалёной американской деловитостью всё определено и уточнено. Разделы этого документа носили названия: «Разрушения», «Убийства видных деятелей», «Поджоги», «Экономические диверсии», «Бактериологические диверсии»... Не забыта и «Школа подготовки кадров диверсантов», и пункты, где должна была совершаться переброска шпионов и диверсантов в Северную Корею. Тщательно разработаны методы: для взрыва учреждения — подкупать часового, для взрыва предприятий — дать взятку инженеру, для проникновения к видным деятелям — обещать награду секретарю.

Главное, что подчёркивали составители этого руководства для бандитов, — это оплата тех или иных «заданий». Американские хозяева великодушно обещали своим подручным хороший бизнес: «Даже за выполнение 90 процентов задания можно получить хорошие деньги», — значит в разделе «Экономические диверсии». Далее шёл прейскурант: 1 200 тысяч вон стоила диверсия в государственных органах Корейской народно-демократической республики, 2 400 тысяч вон — диверсия в Трудовой партии Южной Кореи и т. д. и т. п.

Дрожащим от возмущения голосом корейский офицер читал вслух этот чудовищный документ, предусматривающий заражение целых районов чумными и холерными бактериями. С отвращением отбросив в сторону бумаги, он сказал:

— Торговцы смертью определили в долларах цену каждой капли человеческой крови. Но они забыли, что не всё можно купить за деньги. Честь и совесть наших людей не продаются...

Корейский офицер показал нам топографическую карту, испещрённую множеством торопливых пометок. Это была карта Кореи, но все города, населённые пункты и реки страны на ней названы по-английски. Жирные чёрные стрелы, нанесённые на карту, были направлены на север...

Тот, кто изучал эту карту, кто делал на ней пометки на английском языке, — не думал, что этот изобличающий документ попадёт в руки корейского народа. Ибо это был тщательно разработанный американскими «советниками» Ли Сын Мана злодейский план нападения на Северную Корею.

Глядя на эту карту, не трудно было обнаружить, что злодейское нападение в ночь на 25 июня было совершено именно так, как его планировали американские империалисты. Вот чёрная стрела, упирающаяся остриём в Пхеньян. Именно по этому направлению двинулись войска лисынмановцев под командой американцев, начав военные действия от побережья Жёлтого моря до местечка Коранпхо. Вот вторая стрела — это вторая армия начала продвижение от Коранпхо до восточного побережья. Третья стрела указывает направление движения южнокорейских частей, которые были сосредоточены на левом фланге: из района Снедин на Синчион и далее на Саривон. Скопление треугольников и квадратов, нанесённых на карте, — условные знаки, обозначающие ударные части прорыва, расположенные у самой 38-й параллели, а также дислокация резервов в направлении главного удара. Но корейский народ, мужественно отразивший первый натиск противника, за несколько часов опрокинул расчёты американских генералов, немало потрудившихся над этой картой.

Мы выходили из Банто-отеля с чувством горячей ненависти к тем, кто составлял эти гнусные планы.

— Это была, если можно так сказать, американская теория, — сказал знаменитый поэт и старый подпольщик Лим Хва. — А теперь познакомимся с людоедской практикой американских империалистов...

И он повёл нас в сеульский застенок — тюрьму Содаймун. К нам присоединился член Трудовой партии Кореи Тэ Че Рен. Осуждённый лисынмановскими палачами на пятнадцать лет тюремного заключения, он около четырёх лет томился в Содаймуне и был освобождён войнами Народной армии.

В 1946 году по приказу американских хозяев Ли Сын Ман начал расширение Содаймунской тюрьмы. За короткое время были выстроены 15 четырёхэтажных бетонированных корпусов, окружённых кирпичной стеной. Сюда лисынмановцы бросали без суда и следствия патриотов, повинных лишь в том, что они горячо любили свою родину и ненавидели её врагов.

По обе стороны узких мрачных коридоров — двери камер. В каждой камере, рассчитанной на 4—5 человек, томилось по 17—18 заключённых.

— Мы не могли даже сесть, — рассказывал Тэ Че Рен. — Прижавшись друг к другу, полустоя-полусидя коротали томительные дни и ночи. Раз в день нам давали тёплую воду, в которой плавало несколько чечевичных или гаоляновых зёрен...

Во внутренней тюрьме был особый коридор. Клетушки, выходявшие в него, содержали по два «чугунных гроба». Без света, без воздуха, шаг в длину и полшага в ширину — таков размер этих страшных камер смерти, куда лисынмановцы бросали лучших патриотов Кореи после нечеловеческих пыток. Здесь, за чугунными дверями, в духоте и смраде, люди умирали в невероятных мучениях.

Лим Хва осветил карманным фонариком стену «чугунного гроба». В самом углу можно было разобрать крохотные буквы, нацарапанные на металле неизвестным узником: «Мансэ Ким Ир Сен!» («Да здравствует Ким Ир Сен!»).

Крутые ступеньки ведут в подземную камеру пыток. Тут сохранился полный набор страшных инструментов, с помощью которых лисынмановские палачи пытали свои жертвы в присутствии американских «тюремных советников»: плетёные трёххвостые бичи, покрытые запёкшейся кровью, щипцы для выдёргивания ногтей...

Тэ Че Рен взял в руки небольшой голубой чайник.

— Из этого чайника мне капали воду в нос — капля по капле. А когда я потерял сознание, меня бросили на этот электрический стул и, пустив ток, привели в себя.

Лим Хва тоже длительное время томился в Содаймунской тюрьме, брошенный сюда за страстные стихи, направленные против лисынмановского режима и американских захватчиков.

— Моя камера находилась далеко отсюда, — вспоминает он, — но мы не могли спать по ночам из-за страшных криков, которые неслись из подземелья.

Мы идём дальше. В одной из комнат навалена огромная груда обыкновенных брючных ремней. Сколько надо убить людей, чтобы собрать такое количество этих «трофеев»! В другой комнате — груда обуви. Часть её уже тщательно рассортирована: мужские ботинки, плетёные башмачки крестьянок, туфельки подростков. Невольно вспоминаются Майданек и Освенцим...

Во дворе тюрьмы лёгкий, похожий на ярмарочную палатку, павильон. Внутри — подмостки, стол, несколько стульев, перед ними — занавес. За занавесом — петля, свешивающаяся с потолка. Кто-то из спутников нажимает кнопку. Пол в нише быстро опускается. Это — механизированная виселица. В павильон приходили американские офицеры, на обязанности которых лежало присутствие при казнях. На столе их ждали бутылки с виски и коробки сигар. Они пили, курили, ожидая, пока поднимется занавес... Иногда усовершенствованная виселица «пропускала» более двухсот человек в день.

Трупы повешенных автоматически опускались вниз и ночью вывозились по узкоколейке к особым воротам в каменной стене Содаймуна. Здесь на специальном лифте их поднимали на вершину Западной горы и закапывали.

В сеульской тюрьме томилось больше девяти тысяч политических заключённых. Редко кто выходил отсюда живым...

Очувтившись, наконец, за воротами проклятого застенка, мы медленно шли по улицам Сеула. Ворота какого-то здания охраняла женщина — солдат Народной армии. Лицо её, строгое и неподвижное, показалось нам удивительно знакомым. Женщина смотрела на резвившихся тут же ребятишек, а на глазах её блеснули слёзы. Она подняла руку, чтобы смахнуть их, и мы увидели на её пальце старинное треугольное кольцо.

— Ким Сун Э!

Это была молодая ткачиха, с которой мы познакомились в Пхеньяне при посещении яслей имени 8-го марта.

— Как вы узнали меня? — спросила Ким Сун Э. — Вы видели меня молодой, а сейчас я почти старуха.

Голос её подчёркнуто спокоен. Она рассказала, что в одну из бомбёжек ясли вывозили за город. По дороге машину обстрелял американский самолёт. Автобус загорелся, и все дети погибли. Через два дня во время бомбёжки Ким Сун Э потеряла мать и сестру, а ещё через неделю жертвой воздушных бандитов стал её муж.

— Я осталась одна, — сказала Ким Сун Э. — Теперь у меня есть только Народная армия, в которой я могу сражаться. Теперь в моём сердце живёт только одно чувство — ненависть к подлым захватчикам...

Несмотря на непрерывные бомбёжки, сеульцы быстро восстанавливали нормальную жизнь города. Шли трамваи, работали почта и телеграф. Текстильщики, обувщики, табачники, наскоро отремонтировав пострадавшие во время боёв цехи, стали за станки. Все предприятия города — большие и маленькие — работали в ускоренном темпе, выпуская продукцию для фронта. Люди впервые трудились для себя, для своей родины после долгих лет тяжёлой работы на завоевателя и хозяина.

...Поздно вечером мы покидали Сеул. По улицам шли колонны добровольцев. Молодые солдаты Народной армии пели песню, написанную Лим Ха:

На фронт, на фронт
Идёт народное ополчение.
Развевается над Кореей народное знамя.
Плечом к плечу идёт на фронт народное ополчение.
Как вулкан, кипят сердца молодёжи,
Как лава в вулкане, льются ряды молодёжи,
Ненавистью к врагу горят её глаза.
На фронт, на фронт идёт народное ополчение..

В штаб-квартире журналистов.

Мы ехали в Корею, чтобы своими глазами увидеть благородный творческий труд освобождённого народа, уверенного в светлом будущем. Мы хотели рассказать советским читателям о новых людях Кореи, строящих фабрики и заводы, школы и театры; о первых тракторах в деревне; о новой жизни, рождающейся в Стране Утренней Свежести. И вдруг мы услышали грохот артиллерии и жуткий вой авиационных бомб, увидели корейскую землю, залитую кровью её лучших сынов. И надёвкой над Утренней Свежестью казались горькая пыль развалин и смрад пожарищ.

Свободолюбивый и мужественный корейский народ жаждет мира и стремится только к миру. Американские агрессоры ворвались в мирную страну, пытаются подчинить её грабительскому диктату Уолл-стрита. По корейской земле, растапывая поля, поползли американские танки; в небе заметались американские «летающие крепости» и реактивные истребители, сбрасывая тысячи тонн бомб на мирные города, поливая огнём и свинцом мирных людей.

Всё, что было честным в Корее, дрожало от возмущения, трепетало от ненависти. Долг советского журналиста превратил нас в военных корреспондентов. Оплаченной

лжи американских гангстеров пера надо было противопоставить живую, кровоточащую правду. Мы не имели права не писать о чудовищных преступлениях лакеев американских монополий, преступлениях, совершаемых с американской деловитостью среди бела дня на глазах у всего мира; преступлениях, цинично прикрытых голубым флагом ООН.

Нас было ~~вначале~~ только трое. Потом приехали специальные корреспонденты «Правды», «Комсомольской правды», «Литературной газеты». Под земляную крышу бомбоубежища во дворе нашего домика в Пхеньяне стали часто навещаться приветливый Лю — корреспондент китайского агентства Синьхуа и его коллега — китайская коммунистка Тин. Талантливый корейский поэт Те Ги Чен написал тут стихи о любимом городе:

Я вам пишу, дыша свинцовой гарью
В кольце непотухающих огней,
Слезами мальчика, что здесь, на тротуаре,
Застыл у трупа матери своей,
Ручонками в её вцепившись платье,
Проходят люди молча, не спеша...
Но это молчаливое проклятье
Страшнее бомб фашистов США.

Оно в боях солдат на подвиг водит,
Оно без промаха накроет цель,
Оно убийцу ищет и находит,
Хоть скрылся б он за тридевять земель.
Кто может покорить такой народ!
Народ, познавший радости свободы.
Нет, солнце на Востоке не зайдёт,
С восточного поднявшись небосвода!

Вскоре «Юманите», «Дейли уоркер», «Женьминьжибао», «Трибуна лоду», прислали в Корею своих корреспондентов. Это были опытные журналисты, смелые и умные люди, преданные делу мира и демократии.

Когда же к нам заезжали Ки Сек Пок, редактор газеты Трудовой партии «Нодон Синьмун», директор корейского телеграфного агентства — Ли Мун Ир и другие корейские журналисты, то наша корреспондентская штаб-квартира напоминала пчелиный улей.

22 июля газетчики понесли первую тяжёлую потерю: погиб талантливый журналист О Ван Мук — редактор журнала «Новая Корея», издававшегося в Пхеньяне на русском языке. Он никогда не был военным, этот скромный, прямодушный человек. Он писал о мире, а погиб как солдат. Вместе с ним погибла вся его семья.

Почти каждую ночь кто-нибудь из журналистов уезжал к фронту, на заводы и фабрики, в сёла и рыбацьи посёлки. Только ночью. Днём американские стервятники шарили по дорогам, бомбя и обстреливая не только автомашины, но и отдельных пешеходов.

В эти трудные дни было радостно сознавать, что вместе с корейским народом — все честные люди мира.

С гневом и болью писал Марьюс Маньен в «Юманите» о стёртом с лица земли Вонсане. Маньен не видел Вонсана прежде, а для нас первые впечатления о Корее были связаны с этим приморским городком; директор Вонсанского паровозоремонтного завода, молодой доцент сельскохозяйственного института, работница, отдыхающая в санатории, — были первыми людьми, через которых мы начали познание этой страны. Груды кирпичей и поникшая вековая сосна на берегу моря — всё, что осталось от санатория. Не существовало больше сельскохозяйственного института. Догорали цехи паровозоремонтного завода...

И французский журналист, глядя на руины мирного городка, сказал, стиснув зубы:

— Этого нельзя простить!

Страстные строки выливались из-под пера невозмутимого на вид англичанина Аллана Уиннингтона. Его корреспонденции помогали читателям «Дейли уоркер» понять

«достоинства» старшего партнёра, с которым связали судьбы их родины Эттли и Бевин. Поляк Хвалиш, увидав дымящиеся, окровавленные развалины Пхентхека, Су-вона, Тэджена, Дондучена и других городов Кореи, в своих статьях в «Трибуне люду» проводил параллель между их судьбой и судьбой Варшавы 1939 года, между фашистами гитлеровского и трумэнковского образца.

Китайские журналисты ежедневно передавали в Пекин сообщения о подвигах корейских воинов и о несокрушимой уверенности в победе правого дела, которая владеет корейским народом.

Каждый из нас хорошо понимал, что простые люди во всём мире, открывая утром газету, ищут прежде всего сообщений из Кореи. И это обязывало нас больше видеть, лучше слушать. А наступали тревожные дни. Американские интервенты рвались к Сеулу, пытаясь, не шадя пушечного мяса, высадить десант в районе Инчона (Чемульпо). Озверевший враг пытался окружить части Народной армии, действовавшие южнее 38-й параллели, поставить корейский народ на колени.

Положение создавалось грозное. И настала ночь, когда журналистам нужно было снова спешить к Сеулу...

Под Инчоном.

Мы едем по знакомым дорогам. Шоссе вьётся по чёрной, выжженной пустыне. Справа и слева — только пепел, руины, щебень да частые холмики, под которыми покоятся трупы невинных жертв.

Нас обгоняет грузовик. Его кузов полон девушек в военных гимнастёрках с санитарными сумками. Они едут на фронт, к Инчону. Девушки поют песню о Ким Ир Сене. Машина скрывается за поворотом, но ветер ещё долго доносит их голоса.

Над дорогой показываются три «летающие крепости». Мы маскируем машину и больше часа пережидаем свирепую бомбёжку. Затем двигаемся дальше. Это удаётся с трудом, так как дорога основательно испорчена. Поодаль горит деревня. Красные отблески ложатся на стёкла машины.

Около кювета несколько корейцев. Они стоят неподвижно и смотрят вниз. Мы останавливаем машину и видим на дне ямы разбитый грузовик — тот самый, что совсем недавно обогнал нас. Вокруг — трупы девушек...

В Сеул приезжаем ночью. В городе воздушная тревога. Несколько десятков американских самолётов бомбят переправу, железнодорожный узел, жилые кварталы. Тёмное небо густо прошито разноцветными трассами светящихся пуль и снарядов. Кое-где, медленно покачиваясь, повисают в нём огромные осветительные ракеты.

В штабе узнаём обстановку, сложившуюся на фронте. Американцы подогнали к маленькому острову Вольми-до, защищающему подступы к Инчону, около трёхсот военных судов. Пятьсот самолётов день и ночь бомбят остров и порт.

— Там сейчас очень трудно, — сдержанно говорит полковник Ким Вон Гир.

Дальше мы едем вместе. Машина некоторое время петляет по горящему городу, потом стремительно сбегает вниз, к берегу Хангана. Ким Вон Гир говорит:

— Сеульская переправа...

Здесь не так давно был большой мост. В ночь на 28 июня по нему бежал Ли Сын Мая, прихватив с собой свою американскую жену и чемоданчик, в котором лежали слатки золота и платины, украденные из Южно-Корейского банка. Он так боялся за свою шкуру, что, едва вступив на противоположный берег, приказал взорвать мост.

В это время по мосту катилась лавина отступающих. Все, кому встреча с бойцами Народной армии не сулила ничего хорошего, спешили убраться из Сеула. Но приказ был выполнен. Мост взлетел на воздух вместе с лисьянмановцами.

Потом на месте этой могилы, уготованной Ли Сын Маном своим соратникам, сеульцы возвели переправу. Ночью по ней идут танки, орудия, войска — всё необходимое для фронта. Днём десятки американских самолётов налетают на переправу, стараясь разрушить её. Но добровольные дружины сеульцев, пренебрегая опасностью, самоотверженно исправляют повреждения. И переправа живёт...

Мы подъехали сюда в ту минуту, когда с неё сходила небольшая группа людей, одетых в синие комбинезоны; головы их были, по обычаю корейских рабочих, повязаны полотенцами. Полковник Ким Вон Гир остановил машину и дружески протянул руку высокому человеку, шедшему впереди.

— Со Тэк Чхон — герой сеульской переправы, — представил его нам полковник.

Со Тэк Чхон... Слух о нём идёт по всей Корее. Он и его бригада отказывались уходить с переправы даже во время самой сильной бомбёжки.

— На мосту не опаснее, чем в любом другом месте города, — объяснил Со Тэк Чхон. — Не так уж метки американцы, а переправу надо восстанавливать: она нужна фронту...

Мы тронулись дальше. Впереди вставало зловещее зарево. Это горел Инчон.

Слышались звуки канонады. Дальнобойные орудия американских военных судов вели бешеный огонь по берегу.

Навстречу нашей машине медленно двигались отходящие войска. Невысокий офицер с повязкой на лбу, прихрамывая, вёл свой батальон. Отвечая на вопрос полковника, он рассказал, что произошло в Инчоне.

— Мы держались четверо суток, — говорит он. — Наши артиллеристы потопили шесть неприятельских эсминцев и десятки десантных судов, прорвавшихся к берегу. Тогда американцы решили нас уничтожить во что бы то ни стало. Мы были готовы ко всему, отрыли глубокие траншеи, приготовили бочки с водой и цыновки, чтобы тушить пожары. Но то, что сделали американцы, превзошло все ожидания. Они стали сбрасывать на нас баллоны с горючей жидкостью. Разливаясь по земле, эта жидкость воспламенялась, превратив остров в пылающий костёр. Они выжигали нас, понимая, что только уничтожив всё живое, они смогут вступить на землю Кореи... Мы зарывались глубоко в землю, прикрываясь накатами из мешков с песком, обёртывались в мокрые цыновки, но не прекращали огня. Наши артиллеристы вели огонь до тех пор, пока в расчёте оставался хоть один человек. Раненые, которые могли ещё держаться на ногах, продолжали стрелять. Только два часа тому назад, на четвёртые сутки, американцам удалось высадить десант...

— Мы уходим, — закончил раненый офицер. — Но мы ещё вернёмся!..

Дорого обошёлся американским интервентам их первый десант в Корее. Им удалось вступить в Инчон ценой огромных потерь, только после того, как островок Вольми-до и инчонский порт были превращены в перепаханную бомбами, выжженную пустыню. И на этой земле закончили своё существование десятки американских самолётов и танков, нашли свою могилу сотни захватчиков.

Вскоре мы возвратились в Сеул. Воздушные гангстеры со всё возрастающей жестокостью продолжали бомбить столицу Кореи, расстреливать её мирных жителей. За несколько дней в Сеуле было уничтожено 44 предприятия, 8 больниц, много школ, более 4 тысяч жилых домов. Погибли сотни жителей города. Но патриоты мужественно оборонялись. Ежедневно более 11 тысяч горожан под огнём доставляли боеприпасы для Народной армии, которая вела тяжёлые бои с превосходящими силами противника на подступах к Сеулу.

Однажды на окраине города девушка, почти ребёнок, остановила нашу машину. В руках у неё была маленькая корзиночка, босые ноги девушки были окровавлены.

— Я очень спешу, — как бы извиняясь, сказала она переводчику и села рядом с ним.

Мы думали, что она собирается выйти из горящего города. Но девушка откинула тряпку, прикрывающую её корзиночку, и показала автоматные диски, аккуратно уложенные на дне.

— Сегодня я уже четвёртый раз несу их к реке...

Маленькая корейяночка потеряла родителей во время очередной бомбёжки.

— Я осталась одна, и я помогаю армии, — сказала она.

Почти у самого берега она вышла из пламени и торопливо побежала вниз, к переправе...

В полном боевом порядке медленно отходила Народная армия на новые рубежи, изматывая и обескровливая противника в жестоких арьергардных боях. Большая часть населения была эвакуирована на север; вывезена или укрыта значительная часть оборудования предприятий и продовольствия. Вышла из окружения и шла на соединение с Народной армией основная часть южно-корейской группировки войск. Она сумела сохранить тяжёлое вооружение и обозы.

С юга на север потянулись бесконечные колонны эвакуируемых. Шли ночами, а когда наступало утро — укрывались в сопках, в зарослях гаоляна от налётов американской авиации. Уходили от интервентов мирные жители — рабочие заводов и фабрик, служащие государственных учреждений, женщины, дети, старики. Они двигались на север под защитой Народной армии.

Героически оборонялся город-герой Пхеньян. Трое суток шли ожесточённые бои на берегах Тэдонтана. Из каждого чердака, из каждого подвала, из-за развалин били по врагу корейские снайперы, пулемётчики, артиллеристы. И даже овладев городом, американцы не могли чувствовать себя спокойно. Пленный американский солдат показывал позже на допросе в штабе Народной армии, что интервентам пришлось опоясать Пхеньян тройным кольцом усиленных патрулей. Но и это не сделало их хозяевами города. Захватчики попрежнему чувствовали под ногами горящую почву. Днём и ночью была слышна перестрелка в разных районах города. Смерть поджидала янки за каждым углом, на каждой улице, в каждом доме. Это мстили врагам корейские патриоты. И по ночам ни один американец не осмеливался показываться на улицах.

Так было не только в Пхеньяне. Так было во всех городах Кореи, занятых интервентами, но не побеждённых. Невидимые руки разрезали телефонные и телеграфные провода, взрывали автомашины с боеприпасами и склады, бросали гранаты в окна зданий, где размещались американские офицеры. Лысымановские полицейские сбивались с ног, срывая со стен домов листовки, призывающие к беспощадной борьбе с американскими захватчиками.

Дорогу, тянущуюся по восточному побережью, американцы называли «дорогой засад». На борьбу с партизанами, действовавшими в районе Вонсана, интервентам пришлось бросить целое авиационное соединение.

Разъярённые народным сопротивлением, американские фашисты стали ещё более варварски бомбить города и сёла, дороги и мосты, сопки и леса...

8 ноября Синьйчжу бомбило около 70 «летающих крепостей» в сопровождении пикирующих бомбардировщиков и реактивных истребителей. 300 американских самолётов участвовало в варварском налёте на мирный городок. В нём насчитывалось 120 тысяч жителей. На их головы интервенты за несколько часов сбросили 90 тысяч зажигательных бомб и баллонов с горючей смесью. Город превратился в пылающий костёр. Матери бросались в бушующее пламя, чтобы спасти детей, получали тяжёлые ожоги или сгорали заживо.

Американские стервятники кружились над дорогами, над каждой тропкой, которая выходила из города. Вырвавшиеся из огненного кольца люди попадали под их обстрел. Кое-кому удалось вырваться из этого ада и укрыться на лесистых склонах прилегающей к городу сопки. Но и там их настигали американские бандиты, обрушивая с высоты сотни баллонов с зажигательной жидкостью. И на темнеющем небе зловеще обрисовывались контуры горячей горы. Все, кто видел это чудовищное злодейство — солдаты, партизаны, мирные жители, — никогда его не забудут.

— Огонь горячей сопки зажёт наши сердца, — сказал пожилой крестьянин.

Этот священный огонь мести ничем нельзя потушить!

Позже мы с возмущением читали дневичное описание бомбёжки Синьйчжу, состряпанное американским гангстером пера — «военным корреспондентом» Бойлом.

«В наш век силы и скорости смерть может быть быстрой и ужасной. Глиняные стены разваливались на части, соломенные крыши горели, деревянные постройки были охвачены пламенем, люди умирали или бежали...»

Надо перестать быть человеком, чтобы так писать о смерти тысяч невинных людей! Мы прочитали выдержки из гнусной статейки Бойла корейским друзьям, и солдат Ким Ди Пхан сказал, подняв сжатый кулак:

— Американцы сполна расплатятся по кровавому счёту!

Лицо убийц.

Американских интервентов — тех, кто грабит, жжёт, разрушает маленькую страну, зверски убивает её гордых, свободолюбивых людей, мы видели в пхеньянском и сеульском лагерях, в колоннах пленных, конвоируемых солдатами Народной армии. И каждый раз, разговаривая с американцами, мы точно окунались во что-то грязное, липкое.

Страшные вещи рассказывали эти люди, рассказывали непринуждённо, совершенно не чувствуя глубины своего падения.

В сеульском лагере для военнопленных содержался некий Дональд С. Сирман из Филадельфии. Это был отпетый убийца, обстреливавший со своего истребителя улицы Пхеньяна, убивший немало мирных жителей города, женщин, детей.

Вот стенографическая запись нашего разговора:

Вопрос: Почему именно в воскресенье и праздники, а не в будни над мирными городами и сёлами появляется огромное количество американских самолётов и размах бомбёжек увеличивается в несколько раз?

Ответ: В воскресенье мы привыкли пить виски и вообще развлекаться. Поэтому командование отдало приказ: за вылет в воскресенье — двойная оплата. Тогда мы на время отложили в сторону бутылки. Главное — выгодная работа.

Вопрос. Сколько же вы успели «подработать», как вы выражаетесь?

Ответ: Я не сразу понял, как это выгодно, и поэтому потерял целых три воскресенья.

Вопрос: В США печать твердит, что американские лётчики бомбят и обстреливают только военные объекты и войска, но мы сами видели, как лётчики-истребители снижаются и обстреливают улицы городов, повозки на дорогах. Как вы это объясняете?

Ответ: Прежде всего мы имеем точную инструкцию — истреблять каждого корейца. А потом, знаете ли, когда видишь, что люди бегут, невольно охватывает азарт охотника, и начинаешь бить по цели.

Вопрос: Каково ваше отношение к тому, что происходит в Корее? Нужно ли Америке это массовое истребление людей?

Ответ: Мне кажется, что тут Трумэн что-то напутал. Нам говорили при выезде из Америки, что корейцев слишком много и стесняться с ними не следует, но никто не думал, что убьют столько наших.

Вопрос: Ну, а лично вам нужна эта война?

Ответ: Я поехал сюда, чтобы подзаработать денег и купить виллу в Филадельфии. Больше меня ничто не интересует.

Вопрос: Как с вами обращаются?

Ответ. Кормят хорошо, табак дают, и постель сносная.

Вопрос: Может быть, у вас есть какие-либо заявления?

Ответ: Я хотел бы, чтобы русские журналисты сообщили через печать моей жене Дженни, что я жив, здоров и война для меня, слава богу, кончилась...

Противно было глядеть на тупое лицо этого матёрого бандита, довольного тем, что он сохранил свою шкуру.

Собратья Дональда С. Сирмана по бандитскому ремеслу — сержант Морис Милтон из Алабамы сначала фотографировал корейские сёла, потом вместе со своими подчинёнными жёт их и снова фотографировал. Американские солдаты и офицеры охотно раскупали его «произведения». Морис Милтон «делал бизнес» попутно, действуя по приказу своего командования: «Сжигать дотла корейские селения».

Да, такая формула существует. И она является пунктом инструкции.

Капрал Лайл Эдвард Вуд торговал сувенирами. Он «организовывал» экзотические вещицы вроде корейских костяных палочек для риса, девичьих бус, блестящих головных шпилек и посылал всё это в Америку. Там его жена выгодно сбывала этот «модный товар».

Все эти гангстеры приехали в Корею для того, чтобы нажиться, и в погоне за наживой не брезгают ничем. Вступив в корейский город, они сначала грабили жителей, а потом силой принуждали торговцев открывать лавчонки и покупать у них награбленное.

— Американские солдаты, торгующие всем, чем хотите, начиная с американских сигарет и кабённого белья и кончая кулями риса, добытого неведомыми путями, — обычное явление на базарах оккупированных городов, — рассказывает бежавший с юга старый крестьянин Ли Дян Силь.

Но животный страх овладевает этими рабами доллара, когда внезапно появляются воины Народной армии, корейские партизаны. Мориса Мильтона нашли в горах почти обезумевшего от страха, переряженного в корейскую одежду и широкополую крестьянскую шляпу. В этой шляпе он щеголял и в пхеньянском лагере для военнопленных.

В этом же лагере находился и лётчик Эрнест Ривз, сбитый молодыми корейскими ассами. Он выбросился из своей «летающей крепости» на парашюте. А когда его на земле задержали партизаны, Ривз со слезами молил о пощаде.

Среди военнопленных мы видели некоего Виктора, совсем недавно работавшего шoferом в Иллинойсе и приехавшего в Корею потому, что «солдатское ремесло оплачивается лучше». Он сказал откровенно:

— Дома мне не каждый день удавалось пообедать. А здесь, по крайней мере, каждый день кормят, да к тому же можно пожить...

Виктор из Иллинойса не оригинален в своих высказываниях. Примерно то же самое, только в других выражениях, мы слышали и от Дональда С. Сирмана, от Лайла Эдварда Вуда, Мориса Мильтона, Эрнеста Ривза и от капитана Пауля Э. Миллера, бросившего своих подчинённых и скрывшегося в горах, когда корейские части подошли близко. Ничем не лучше и многие другие представители «цивилизованной Америки», которых сейчас немало в корейских лагерях для военнопленных.

Не только офицеры, но и «полководцы» интервентов не слишком смелы, когда им приходится сталкиваться лицом к лицу с Народной армией. Макартур однажды решил осласлвить своим посещением войска, чтобы распець генералов и поднять дух солдат. Об этом визите рассказал пленный лётчик Эрнест Ривз:

— Макартур прилетел в Сувон в сопровождении четырнадцати истребителей. Он предполагал пробыть у нас три дня, но ему не понравилась обстановка, и он поспешил смыться досрочно.

Но есть среди американских солдат немало и таких, которые попали в Корею по принуждению. Они быстро поняли, что их заставляют участвовать в чудовищном преступлении. Поэтому многие из них бросали своё оружие.

Сейчас, когда на весь мир прозвучали простые мудрые слова товарища Сталина, сказанные им в беседе с корреспондентом «Правды», как яркое подтверждение этих слов, невольно вспоминаются высказывания некоторых пленных американских солдат по поводу войны в Корее.

Фермер Айти Петерсен из Мичигана, с которым мы разговаривали в лагере для пленных американцев, рассказал нам грустную историю о том, как он попал в Корею:

— Мне сказали, что я еду на военные манёвры и буду участвовать в всенной игре. На самом деле меня привезли в Корею, выдали винтовку и сказали, что утром мы пойдём в атаку. Всю ночь с моим другом Эдвардом Смайлом мы не спали. Мы толковали о том, что нас обманули, и придумывали, как бы получше выпутаться из этого грязного дела. Наконец, мы договорились, что оба не будем стрелять. Я успел бросить винтовку вовремя и сласья в плен. А вот мой друг был убит. Я не знаю, кому нужна была его смерть. Его мать и его жена прольют немало слёз. Я никогда

не прощу нашим генералам смерти друга. Мы совершаем большое преступление, воюя против корейского народа, и я хочу рассказать всем, что я думаю об этой войне.

И Айтин Петерсен и многие другие военнопленные выступали по радио. Напрасно американские и английские радиостанции пытались глушить голоса правды, голоса обманутых людей. Уже многие американские солдаты, как говорил товарищ Сталин, «...считают навязанную им войну глубоко несправедливой... выполняют в силу этого свои обязанности на фронте формально, без веры в правоту своей миссии, без воодушевления». Поэтому крах агрессивных замыслов американских империалистов неизбежен.

Друзья из Китая.

В холодную ноябрьскую ночь мы впервые повстречались с китайскими добровольцами — мужественными людьми, которые пришли в Корею, чтобы помочь своим братьям. Они шли на юг — к фронту.

За спиной у некоторых были старые японские винтовки, но большинство добровольцев вооружено американскими автоматами. На их пулемётах и орудиях также выбита надпись: «сделано в США». Иногда раздавался резкий автомобильный гудок, и по дороге проходил новенький американский грузовик, в кузове которого сидели всё те же люди в синих и зелёных ватниках.

— У нас сложилась такая поговорка: «Идёшь в бой с одной винтовкой — возвращаешься с двумя», — весело сказал молодой китайский доброволец. — По этой поговорке мы и воюем. Впрочем, мы стараемся брать не только винтовки, но и танки, и орудия, и грузовики...

Кто эти добровольцы из Китая? Ещё вчера они были рабочими, крестьянами, студентами. И молодой крестьянин Лю Сун-сэн из уезда Тунгхва, и работница Мукденской текстильной фабрики санитарка Тин, и учитель Цзинь Ван из провинции Гирич, и доцент Чанчуньского университета Чан Лян-чи взяли в руки оружие, чтобы помочь корейскому народу в борьбе с общим врагом — американскими интервентами.

Китайские патриоты вступают в добровольческие отряды целыми семьями. Из уезда Супхуа на корейский фронт ушло около двух тысяч крестьян. Старая женщина провожала трёх сыновей.

— Возвращайтесь с победой, мои орлята, — наказывала она. — Пусть от руки каждого из вас погибнет столько врагов, сколько зёрен в рисовом колосе!

В Мукдене состоялась многолюдная демонстрация в честь освобождения Пхеньяна. Рабочие и крестьяне, служащие и студенты в национальных костюмах проходили по улицам, неся портреты Мао Цзе-дуна и Ким Ир Сена. Развевались флаги с надписями на китайском и корейском языках: «Да здравствует освобождение Пхеньяна!», «Да здравствуют герои Кореи!», «Слава китайским добровольцам!».

Китайские добровольцы хорошо знают имя Ли Ху Рина. Этот мужественный сын Кореи несколько лет командовал группой героических корейских воинов, которые помогали китайцам громить врагов их родины.

— Мы знаем, зачем мы пришли из мирного Китая сюда, где доблестный корейский народ борется против американских интервентов, — сказал молодой учитель Цзинь Ван. — Мы не можем допустить, чтобы враг подошёл к нашим границам, чтобы он бомбил наши пограничные города и сёла. Мы помним и никогда не забудем, как американцы пытались поработить нас с помощью своих продажных слуг — гоминдановцев. Мы будем сражаться за корейской земле до тех пор, пока на ней останется хоть один американский солдат.

— Мой отец погиб в боях с гоминдановцами — верными слугами американцев, — говорит Лю Сун-сэн. — Танки, которыми гоминдановцы давили беззащитных женщин и детей, были американскими; самолёты, которые бомбили наши города и сёла, были американскими; автоматы, из которых предатели расстреливали китайских патриотов, были американскими. Сражаясь за счастье и свободу братского корейского народа, мы сводим старые счёты с американскими империалистами. Мы мстим за злодеяния, которые совершили они в нашей стране руками своих презренных лакеез — гоминдан-

новцев. Сражаясь за Корею, мы стоим на защите границ Китайской народной республики.

Эти слова молодого крестьянина выражают общее мнение всех китайских добровольцев. Героически сражаются все эти люди рука об руку с корейскими солдатами и партизанами, действуя по планам, разработанным Верховным командованием Народной армии Корейской народно-демократической республики.

...Над небольшим городком разыгрался воздушный бой. Два молодых китайских пилота вступили в неравный бой с десятью американскими реактивными истребителями. Молодые лётчики, отлично овладевшие новейшей техникой, так стремительно и смело атаковали врага, так ловко уходили из-под огня, что в короткие минуты им удалось сбить три американских истребителя и подбить ещё два. Остальные американские лётчики удрали на юг.

В Йоню нам пришлось ехать на грузовике вместе с группой китайских танкистов. Один из них, бывший шофёр из Цзиани, Ли Фун-чен, рассказывал:

— Мы начали войну пехотинцами, но на днях наш добровольческий отряд добыл шесть новеньких машин. Это оказалось не слишком трудно. Американские танкисты испугались окружения, бросили свои машины прямо на дороге и удрали на проезжавшем мимо грузовике. Они могли бы удрать и на танках, но боялись, что нехватит горючего...

Несколько дней спустя начальник штаба одного из отрядов рассказал о подвиге трёх танкистов-китайцев. Ночью, воспользовавшись темнотой, они пристроились в хвост танковой колонны лисынмановцев и вместе с ними вошли в населённый пункт. На привале, когда вражеские танкисты вылезли из машин поразмяться, китайские добровольцы в упор расстреляли несколько опустевших танков. Среди захваченных врагловх интервентов поднялась паника, воспользовавшись которой китайские танкисты благополучно скрылись.

— Душой этой рискованной операции явился один из наших молодых танкистов Ли Фун-чен, — добавил начальник штаба.

Кровные узы дружбы издавна связывают Корею и Китай. Об этом хорошо сказал старый крестьянин Цой Тэ Ук из села Червон, провинции Северный Пхеньян.

— Китай — наш старший брат. И когда два брата идут рука об руку, они непобедимы.

Идея кровного братства двух народов Азии — китайского и корейского — прочно вошла в сознание воинов. И она проявляется не только в битвах с общим врагом — американскими интервентами. Она проявляется каждодневно и повсеместно. Ею пронизаны повседневные отношения людей. Мы видели, как группа китайских солдат помогала корейской крестьянке, лишившейся крова, восстановить её жильё. В другой деревне китайские солдаты кормили рисом осиротевших корейских ребятшек.

Пожилый китайский солдат Сяо Хэй из Сучжоу сказал:

— У меня семеро детей. Вчера я послал жене письмо с корейским мальчиком, которого я буду считать теперь восьмым сыном. Маленький Ким потерял отца и мать во время зверской бомбёжки в Синьйчжу. Мы воспитаем его мужественным человеком, научим любить свою родину и ненавидеть её врагов.

Участие китайских добровольцев в освободительной войне корейского народа вызвало большой подъём среди воинов Народной армии, среди тружеников тыла, среди героических партизан. Небывалой популярностью пользуется плакат неизвестного художника. Его можно встретить в городах, в сёлах и рыбацких посёлках Китая, на перекрёстках дорог сражающейся Кореи. На этом плакате под трёхцветным знаменем Корейской народно-демократической республики изображён мужественный китайский доброволец. Это — символ единства двух братских народов, символ дружбы, издавна скреплённой кровью в общей борьбе за свободу и независимость. И в этой тесной дружбе, в этом единстве — залог будущей победы.

Корея будет свободной!

Мощный удар, который нанесли совместно воины Народной армии, китайские добровольцы и партизаны Кореи, был совершенно неожиданным для американских интервентов. Этот удар готовился заблаговременно и был нанесён точно и решительно. Интервенты дрогнули и начали стремительно откатываться...

Началось победное шествие армии-освободительницы.

Возле Синьчжу, который уже начинал медленно оживать, стояла группа усталых людей, возвращавшихся на свои родные места. Слышался гул самолётов. Запрокинув головы, люди всматривались в серое зимнее небо.

— Ури пихэньги, — радостно повторяли они, — ури пихэньги! (наши самолёты!). Да, это были самолёты Народной армии, преследовавшие отступавшего врага.

В короткий срок командование Народной армии сумело подготовить кадры лётчиков, танкистов, артиллеристов, подтянуть технику, перегруппировать войска. Контрнаступление было тщательно разработано и подготовлено во всех деталях. Части Народной армии, китайские добровольцы и партизаны начали операцию и развёртывали её по единому плану Верховного Главнокомандования.

Передовые части Народной армии Кореи и китайских добровольцев вступили в Пхеньян. Город лежал в развалинах. Взорвано здание кабинета министров, сожжён музей на горе Моранбон, разрушены Восточные Ворота. Нет больше машиностроительного завода, электростанции, хлопчатобумажной фабрики, сахарного завода, завода электроламп и других предприятий. Стёрты с лица земли здания университета имени Ким Ир Сена и Политехнического института, сожжён театр...

Старый рабочий Пак Иль Ен рассказал, что оборудование электростанции интервенты взрывали противотанковыми минами, а потом закатывали в цехи бочки с горючей жидкостью. Уцелевшие после пожара корпуса при отступлении были взорваны.

Направляемся к знакомому домику, в котором мы прожили около двух лет. На его месте торчит почерневшая труба. На чудом уцелевшем столбе висит маленький дверной колокольчик.

В тот день, когда интервенты в панике бежали из Пхеньяна, населению было объявлено, что завтра на город будет сброшена атомная бомба. Напуганные пхеньянцы на лодках, плотках, брёвнах целыми семьями начали переправляться через Тэдонган. Когда обманутые люди добрались до середины реки, американские истребители расстреляли их с воздуха. Воды Тэдонгана покраснели от человеческой крови...

На стене разрушенного здания детского театра всеобщее внимание привлекают крупно начертанные слова: «Позор, Америка!».

Проходит всего несколько дней, — и мы уже едем к Сеулу, над которым вторично взвилось знамя освобождения.

Американские бандиты варварски разрушили древнюю столицу Кореи, святыню корейского народа. Сожжён памятник «Пагода», взорваны дворцы и музеи. Улицы превращены в пустыри, заваленные щебнем.

Американцы пощадили только одно здание в городе — тюрьму Содаймун. Более 16 тысяч борцов за свободу и независимость Кореи упрятали они в этот страшный застенок. В последние дни своего господства интервенты применили здесь новинку американской «техники» — электрическую кровать, на которой в страшных муках люди умерщвлялись электрическим током.

В глубоком рву у подножья горы Самбек, где американские интервенты расстреливали патриотов, мужественно продолжавших борьбу в оккупированном городе, солдаты Народной армии раскапывают могилы, извлекают из ям сотни трупов, в том числе женщин и детей...

Освободив Сеул, славные воины корейской Народной армии, мужественные китайские добровольцы, героические партизаны устремились дальше, на юг. В дни этого беспрецедентного разгрома американских захватчиков и их европейско-азиатских прихвостней лётчики и пехотинцы, танкисты и моряки, артиллеристы и связисты, солдаты и офицеры всех родов войск Народной армии снова показали себя муже-

ственными и отважными бойцами, преданными своему народу и своей родине. Храбрейшие из них были по заслугам награждены Золотой Звездой Героя Корейской народно-демократической республики.

О подвигах легендарных лётчиков Ли Дон Гю и Ким Ги Ока, моряков Ким Гун Ока и Лим Вон Гына, об отважном связисте Ким Кван Су, о железнодорожнике Пак Сан Дуне и других героях уже много писалось. Их фотографии обошли все газеты мира. Несмотря на широкую известность этих людей, здесь хочется всё же привести один разговор с пилотом Ли Дон Гю, сбившим около двадцати американских «летающих крепостей».

— Однажды мне с товарищем удалось подбить две «летающие крепости», — рассказал Ли Дон Гю. — Американские лётчики выбросились на парашютах. Заметив, что наши самолёты приближаются к ним, они, как по команде, подняли руки вверх.

Воздушных бандитов на земле ждали партизаны. Когда мы сделали посадку, чтобы опросить пленных, партизаны передали нам несколько деревянных дощечек, отобранных у американских лётчиков. На всех дощечках была одна надпись, сделанная на корейском языке: «Я богатый человек. Я хорошо вам заплачу. Дайте мне поест, сохраните жизнь и помогите пробраться к своим».

— Одну дощечку я сожрал, — закончил Ли Дон Гю. — В ней, как в зеркале, я вижу перед собой подлое лицо врага.

Жгучее презрение к американским захватчикам живёт в сердцах корейских патриотов. Они мстят за разрушенные, разбитые города, за сожжённые деревни, за смерть верных сынов Кореи. Они сражаются за счастье своих детей, за то, чтобы вновь встали над Тэдонганом и Ханганом светлые здания, чтобы ожили возрождённые из руин фабрики и заводы, чтобы вновь покрылись нежной листвой искалеченные деревья старинных парков. Они мстят за свою истерзанную, но не сдающуюся родину, они воюют за её светлое будущее, и они побеждают потому, что их дело правое.

Корейские патриоты стремятся как можно скорее уничтожить следы пребывания озверелых американских фашистов, сразу же возродить жизнь в освобождаемых городах и сёлах.

В разбитом Анчжу мы видели, как на улице, на обгорелых брёвнах, склонились над букварями первоклассники. Молодая учительница вела урок так, как будто бы над головой детей простиралось не серое зловещее небо, а обычный потолок.

— Через несколько дней мы будем заниматься в новой школе, — сказала она.

Рядом группа юношей и девушек — добровольцев трудового фронта — возводила новое здание на том месте, где стояла разрушенная американской бомбой школа.

И так всюду.

Крепкий тыл встаёт за спиной воинов. Мужественная Корея героически сражается за мир. И её поэт Те Ги Чен взволнованно восклицает:

...Минувший год! Пусть мы припомним с болью
Всю горечь и страданий и утрат,
Но знает мир: кто шёл в огонь за волю,
Тот не шагал в истории назад!
Гори, рассвет победного похода.—
Вот клич всего корейского народа..
Так здравствуй, наш торжественный рассвет,
Наш новый год, наш славный год побед!



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

★

ЖИЗНЬ СЛОВА

Прежде всего необходимо условиться с читателем, что весь последующий разговор о жизни слова имеет в виду слово как носителя смысла, слово — выразителя идеи, предмета, понятия, качества или действия. Слово передаёт этот смысл от одного человека к другому, служит средством взаимопонимания, общения между людьми. Нет бессмысленного слова, как нет и бессловесной речи. Поэтому и жизнь слова должна рассматриваться в первую очередь с точки зрения заключённого в слове значения. Но и коренное, первоначальное значение слова видоизменяется в зависимости от применения его для выражения того или иного оттенка мысли, от положения его в ряду других слов, от сообщения ему того или иного переносного значения. Следовательно, было бы узко придавать слову только один смысл, одно значение, опрощать это значение только до одной возможности его использования. Взять хотя бы самые простые слова, как-то: «вода», «хлеб», «день», «ладонь». В их ходовом применении совершенно перестало слышаться первоначальное корневое значение. В самом деле — разве в слове «вода» мы ощущаем то, что она «ведёт» куда-то, то есть служит путём, дорогой, какой она была для наших предков, передвижение которых совершалось главным образом по рекам. Моя бабушка, помнившая ещё крепостное право, всегда поправляла говорившего, что нужно пойти за водой: «За водой пойдёшь — не вернёшься! По воду пойти, — вот как надо сказать!». Для неё слово «вода» было ещё полно живого значения пути, уводящего куда-то вдаль. Но равенство понятий «река — вода» постепенно стиралось, уступая другому осмысливанию «воды» — из колодца или водопровода. Но и помимо такого первоначального корневого значения, слово «вода» ещё переосмысливается в самых разнообразных видах: «корабль спустили на воду», «в стихах немало воды», «какие это щи — вода да лобода», — всё это различные оттенки смысла, придаваемые одному и тому же слову.

То же самое можно сказать и относительно слова «хлеб». Кто услышит в этом слове старинное корневое значение жидкой еды, — может быть, сваренного зерна, толчёного, заправленного в болтушку, но не выпеченного, не поднявшегося в деже, что было возможно уже при более развитом состоянии хозяйства? А слово «хлеб» сохранило понятие основной еды именно с тех времён, когда пищу хлебали, то есть ели в жидком состоянии.

«Ладонь» — чудесное слово, переделанное народом из старинного «долонь», «длань», переделанное умно и с подлинным чутьём прекрасного, так как несёт в себе значения: ладить, налаживать, обладать умением.

Быть может, наше истолкование значений слов найдут ненаучным, неправильным, но мне кажется, что «день» гораздо правильнее производить от глагола «деять», чем от праязыковых корней, ничего не говоря-

сих воображению. Это справедливо, по крайней мере, для людей, следующих примеру народной этимологии, которая учит нас освоению смысла даже в словах, взятых с чужого языка, прочно вошедших в словарный состав. Такие слова, как «облапшить», «палисадник», «куражиться», «сальность», прочно природнились к русским, потому что переосмыслены по созвучию, как бы производные от «лапы», «сад», «ражий», «сало», хотя на самом деле происходят от «la roche», «la palissade», «coupage», «sale». Введённые в грамматический строй русского языка, получившие приставки, суффиксы и флексии, свойственные словам, которым они улодоблены, эти чужестранцы привились на почве нашего языка, приняв его обличье.

Итак, осмысленность, значимость каждого слова есть первое, что в нём существенно. Человек, прислушивающийся к значимости в слове корня, предлога, приставки, заинтересовывается строением языка, положением слова в речи, в предложении. Не только сухие грамматические формы видит он в них, а самую жизнь слова, те оттенки смысла, которые оно приобретает в зависимости от соединения с другими словами и собственного на них влияния. Не первое попавшееся слово выбирает он для выражения, не кое-как соединяет он слова, чтобы выразить свою мысль собеседнику, а такие слова и в таком их сочетании, которые бы кратчайшим, точнейшим и выразительнейшим образом передавали смысл высказываемого. Про такого человека говорят, что он знает язык до корня. И это в точности так.

Таким образом, главнейшее смысловое значение слова само собой разумеется; оно неоспоримо несёт в себе, выполняет главную задачу общения людей, обмена мыслями, опытом, знаниями.

Однако нет слова без звуков. Для того чтобы передать свою мысль другому, мы пользуемся аппаратом произносительным и слуховым, мы составляем слова из звуков, порядок которых и качество которых подчинены также законам речи. Звуки, составляющие слова, не хаотичны и не стихийны. Они распадаются на гласные и согласные, на гортанные и нёбные, твёрдые и мягкие. Для передачи своей мысли другому лицу требуется не только владеть наилучшим запасом слов и наилучшим их расположением, но и наилучшим способом их передачи, то есть наилучшим воспроизведением звуков, слова составляющих. В ином случае неточность произношения становится ошибкой, искажающей смысл сказанного. Конечно, звуковая сторона строя речи является лишь подсобной смыслу, но и её оставлять в небрежении было бы бесхозяйственно.

Установив эти положения как основные, перейдём теперь к самой жизни слова.

«Живое слово», «живая речь», «оживлённый разговор» — такими выражениями определяем мы слышанное и прочитанное, отмечая в них особое качество, которое не может быть характеризовано иными словами. Нельзя, например, вместо «живая речь» сказать «громкая речь» или «быстрая речь»; вместо «живого слова» — «звонкое слово», и даже «оживлённый разговор» не заменишь «жарким» или «возбуждённым» разговором. При всех этих выражениях главное в них — это присутствие жизни, органичность словесной ткани, которая в иных случаях противопоставляется речи консервированной, лишённой свойства движения и развития. Такая закреплённая, консервированная речь носит название казённой, протокольной, бумажной, либо просто безлично-бесцветной речи, ограниченной рамками словесного трафарета.

Но иногда вдруг услышишь слово, выражение, фразу, нигде не читанную, никогда не слышанную, кратко и сильно живописующую перед

тобой то или иное событие, поднимающее его перед твоими глазами как бы сильным сокращением мускула слова, и ты оглядываешься на говорящего, думая: вот молодец, откуда это он взял? А молодец-то не взял ниоткуда, а само собой сказалось, слетело с языка только что рождённое живое слово.

«Взвыла да пошла из кармана мошна».

Как в этой пословице кратко и сильно передана целая повесть о нужде, о великой необходимости купить что-то или отдать за что-то трудовые, потом политые деньги! Что вызвало к жизни эту пословицу? То ли лошадь в старое время пала у крестьянина и нужно было во что бы то ни стало купить нового коня; то ли заплатить подушное — иначе последнюю животину сведут со двора. Мало ли какая приступила к горлу нужда — и вот «пошла из кармана мошна». Да не просто пошла — «взвыла да пошла»! В этом неожиданно поставленном слове «взвыла» выражен весь характер события, и выражен так, как не был выражен ещё нигде. Ведь можно было бы, казалось, обойтись уже имеющимися образными выражениями вроде «плачешь да платишь», но насколько сильней сказано здесь — в этом образе «взвывшей» мошны. Гипербола, преувеличение, придание мошне чувствительности, — хотя этот предмет и не живой, — создало образ события яркий и впечатляющий. Как же можно говорить о простых словах и простых выражениях, якобы наилучшим способом передающих смысл? Смысл усиливается и высветляется искусным словом. А что такое искусство, как не искусственность, то есть опытность в словесном ли, музыкальном ли, красочном ли материале? Но в словесном искусстве объединяются и смысл, и звук, и рисунок, и краска, — всё это служит для передачи мыслей, чувств, опыта. Поэтому я считаю поэзию высшей формой искусства.

Но искусство речи вовсе не есть привилегия поэтов или ораторов. Оно создаётся в главном своём массиве самим народом, в расплаве живого говора, отвердевая затем в письменных памятниках, в произведениях литературы. Поэтому жизнь слова особенно видима в народных поговорках, пословицах, песнях, сказках.

И в обычной речи народ сохраняет образность, живописность, правда, уже подчас не замечаемую из-за постоянного повторения тех или иных присловий, оборотов речи, примелькавшихся на слух; все они содержат то, что называется поэтической выразительностью и что отличает речь художественную от сухого языка формальной логики.

«Куда ты летишь, сломя голову?»

Картинное это выражение имеет целью остановить бегущего человека сильным средством словесного воздействия. «Лететь» да ещё «сломя голову» — это противно логическому смыслу и не годится для определения движения человека. Но окрик этот останавливает своей категоричностью, выполняя своё назначение.

«Сидит, как в рот воды набравши»;

«Земля из-под ног ушла»;

«Пятая спица в колеснице», —

Все эти и подобные им присловья, картинно воспроизводя некоторые положения, характеризующие действие или состояние, не соответствуют логике в прямом смысле. Картинность, образность речи действует здесь поэтическими средствами на воображение слушающего, заставляя его переживать сказанное сильнее, преувеличеннее, чем если бы обратился к нему говорящий с речью безобразной, чисто логической. Но сила таких выражений перестаёт быть остро воспринимаемой из-за многократного повторения. И «куда ты

летишь, сломя голову» — воспринимается сейчас только как грубый окрик. Так теряет свою силу всякая художественная речь, будучи применена неоднократно, как привычное сочетание слов, не претендующее на особое к себе внимание. Поэтому так ценно всякое новое образное выражение, если оно выражает мысль верную, подмечает свойство действительное, ощущаемое, но не воплощённое ещё в словесном выражении. Человек, обладающий даром воплощать мысли в образах, и называется поэтом. Но мысли, самые нужные народу в ту или иную пору его существования, выражает, воплощает надолго в образах только такой поэт, который рождается сыном своего времени и объединяет в себе и высокий пафос гражданина, и недюжинный ум мыслителя, и чуткость к слову, к его жизни, к тончайшему оттенку смысла, им выражаемому. Он ищет эти слова в сокровищнице речи народной, с детства осмысливая их картинность, образность. Он чувствует живописность, изобразительную силу слова. И он приучается с детства выражать свои мысли и чувства словами наиболее точными, сильными, краткими, ища в них воплощения своих идей. Сын своего народа, он, выросши, обязательно воспримет передовые идеи своего народа, его думы и чаяния и выразит их полно и глубоко, как бы говоря от лица своего народа. Так рождается большой писатель, большой поэт. Ему приходится задумываться над значимостью каждого слова, каждого звука. Почему — и звука, могут спросить? Да потому, что замена одного звука другим в слове часто меняет его смысл. А малейшее изменение смысла зачастую извращает целое высказывание, искажая мысль до неузнаваемости. Посредственный писатель, понимая звучность текста как самоцель, сводит своё отношение к звучанию как к украшательству. Отсюда и произошли вредные и бессмысленные теории об «аллитерациях», «инструментовке» текста — ради придания ему какого-то отвлечённого «благозвучия».

Писателю необходимо не только излагать свои мысли, но и прислушиваться к тому, как они звучат, как если бы были сказаны вслух. Ведь «немое» чтение глазами лишает текст звуковой объёмности, интонационной выпуклости. Поэтому особенно важно писателю не терять связи с живой речью, с непосредственностью разговорного языка.

Пушкин великолепно понимал это, говоря о «странном просторечии», к которому обращаются умы, «наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного». Нужно отметить при этом, что первоначально вместо выражения «странное просторечие» у Пушкина было сказано «сильное просторечие», и только в окончательной редакции, то есть при последнем размышлении оно было заменено выражением «странное просторечие». Что хотел отметить Пушкин этим определением? Конечно, отличие разговорного народного языка от книжной литературной речи, замкнутой в рамках общепринятых оборотов, периодов, построений предложений. Но не просто буднично разговорного языка, а тех сильных выражений, выдающихся, запоминающихся, необычных для слуха, на которые опирается речь, желая воздействовать на слушателя.

Пушкин записывал народные сказки и песни — не все подряд, какие слышал. Интересна была бы работа, которая бы показала, что оставалось внимание Пушкина в отмечаемых им песнях и сказках. Если принять во внимание его же собственное выражение о «странном просторечии», то можно заключить, что он отбирал именно те произведения народного творчества, которые отличались необычными, редко встречающимися или совсем неизвестными выражениями. Даже при беглом взгляде на тексты песен, отмеченных или переписанных со слуха Пушкиным, бросается в глаза именно это качество собранного им материала.

Так, в «Песне о сыне Сеньки Разина», помимо общего содержания песни, останавливают внимание необычностью построения следующие строки:

А мы счерпнем те воды изо Камы со реки.

Или:

Меня молодца не примолвили,

то есть не пригласили,

Мне не взмилились подруженьки мои —

необычное образование глагола, да ещё с предлогом «воз» (вз), как «взлюбились».

Брамши-то она в лесу заблудилася,
Заблудимши она приаукнулася,—

неожиданная глагольная форма со стечением трёх гласных. Останавливали внимание Пушкина и редко встречающиеся в обычном разговоре слова:

Много, много у сырá дуба
Много ветвей и поветвей,—

где замечательно названы отвилки веток, сложность строения их.

Песни, где проявляется сила и гибкость языка, неожиданность грамматических форм, привлекают Пушкина в особенности. Примером записей таких песен может служить «Плясовая»:

Как нóнече куры
Поют пегухами...
Как нóнешни жёны
Владеют мужьями,
Я возьму мужа за ручку,
Брошу на постелю.
Лежи, муже, тута,
Поколь схожу — кнúта,
Поколь схожу — кнúта,
Железного прúта.

Здесь Пушкин, возможно, и утвердился в законности применения звательного падежа не только как архаического, но и как живого народного оборота речи; припомним строку из «Сказки о рыбаке и рыбке»:

«Чего тебе надобно, старче?» —

повторяющуюся в сказке четырежды, и сравним её со строкой:

Лежи, муже, тута.

Вопрос о сродстве этой грамматической формы в песне, записанной Пушкиным, и в «Сказке о рыбаке и рыбке» напрашивается сам собой. Тем более, что в той же сказке Пушкин применяет взятое им из старых русских песен выражение «огрузить». Говоря о превращении жадной старухи в богачку, он так её описывает:

. старуха
В дорогой собольей душегрейке,
Парчѣвая на маковке кичка,
Жемчуга огрузили шею...

Характерно, что наборщики, встретясь с непривычным выражением, пытались заменить его более привычным и набирали:

Жемчуга окружили шею,—

считая странное слово «огрузить» просто опiskeй автора; но Пушкин, собственноручно исправляя корректуру, вновь восстанавливал любя-

шееся ему выражение, отстаивая именно тот оттенок смысла, который оно несло в себе. А оттенок этот был именно в том, что жемчужины были крупные, они стягивали шею, а не окружали её; кроме того, в словечке этом косвенно характеризуется и внешность раздобревшей старухи: она также как бы и сама «огрузла» от неожиданно исполнившихся желаний.

В одном из своих недавних выступлений А. Фадеев напомнил о постоянной работе над словом Льва Толстого, который не только записывал слышанные им в народе живые слова и обороты, но и вёл постоянное лабораторное исследование синтаксиса, взаимодействия частей речи, глаголов, предлогов. Управление глаголов предлогами занимало его, с одной стороны, как обуславливающее тончайшие оттенки смысла, передающиеся через изменение приставки, а с другой — как выбор наиболее сильного размещения слов в предложении. Из многих им взятых глаголов он выделил лишь один, способный вязаться со всеми имеющимися в употреблении приставками. Это глагол «вести». На этом примере видно, что значащая часть слова — не только корень или основа, но и приставка; например, тот же глагол «вести» с приставкой «при»-вести совершенно меняет своё значение с другой приставкой «из»-вести. И совершенно другой смысл в «про-из»-вести. Таким образом, такой богатырь речи, как Толстой, считал для себя необходимым разбирать по соломинкам великий омёт языка.

Повышенное ощущение значимости слова свойственно таким временам, когда мысль народа сосредоточивается на больших переменах в общественных порядках, в государственном строе. Революция принесла пересмотр отношения ко множеству понятий и явлений. Естественно, что значение слов стало отчётливее, умы стала относиться насторожённой и острее ко всему слышимому и читаемому. Словами «свобода», «воля» часто прикрывалась анархия и контрреволюция. Народ научился бережней и внимательней присматриваться к говорящему, проверять слова на делах. Острота нужного слова, его необходимость и ценность стала ощущаться особенно ярко. Слово стало на вооружение народа наравне с военным оружием. Маяковский особенно точно выразил это ощущение, говоря о своих стихах, как о разных видах оружия:

Парадом развернув
моих страниц войска,
я прохожу
по строчечному фронту.

Отчётливая отточенность смысла, ясность, доступная для самых разнообразных слоёв населения, — вот первые требования, предъявляемые к поэзии. Но эта ясность и простота вовсе не должны быть сводимы к первым попавшимся на язык словам, кое-как выражающим мысль.

Я думаю, что каждый писатель начинает с того, что ищет нужные слова, наиболее точно и ярко выражающие его мысль. Но степень точности и яркости бывает не одинаковой. Значимость слов, их смысловые оттенки, их приложимость к тому или иному описанию вырабатывается постепенно, через многолетнюю практику не только одного человека, но и целых поколений. Ощущение значимости слова есть одно из ценнейших в писателе свойств, охраняющих его от неточных выражений, общих мест, изношенных оборотов. В истории языка происходит процесс рождения одних слов и речений, изнашивание и отмирание других.

Конечно, такой процесс происходит в очень долгие сроки, измеряемые столетиями. Стойкость основного словарного фонда языка весьма длительна. Но и в её пределах язык подвергается изменениям, подчас почти неприметным для слуха. Уже Пушкина упрекали за введение в текст

давних речений с усечённым окончанием «мольвь» и «топ». Они, сохранившиеся в народной речи, казались тогдашним критикам неприемлемыми. Тем ощутимей разница в значениях слов, существовавших во времена, отделённые от нас несколькими столетиями. Взять хотя бы такой памятник письменности, как «Задонщина». В ней, при общей доступности текста, встречается множество слов, либо изменивших для нас своё значение, либо совершенно утративших его для нашего понимания. Такие слова, как «рать», «ратиться», «хула», «брань» — значили вовсе не то, что они обозначают нынче. «Ратиться» обозначало спорить, отстаивать своё мнение, стоять на своём. «Хула» означала поражение, позор, а «брань» — вовсе не ругань, а битву.

Иные же слова совсем стали для нас чужими, недоступными по смыслу. Таковы, например, «нукнуть», «кистегнуть», «калантырь», «байданы», «колодицы», «опутины», «насычи», «котора». А ведь это всё русские слова, выполнившие своё смысловое значение и сданные в архив народного языка.

Слово «коло», в давние времена означавшее круг, перестало существовать, но уменьшительное от него «кольцо» — осталось. Слово «зой» — род — вышло из употребления, оставшись в слове «назойливость». В связи с изменением взглядов общества, его бытовых навыков и вкусов исчезают одни слова и нарождаются другие. Выродилось слово «бродни» — кожаная обувь чулком; так выродятся слова «кабак», «шкалик», «лапоть». Но помимо бытовых и социальных причин, потеря значимости в слове происходит и оттого, что в обиходной речи люди не всегда задумываются над происхождением слова, ограничиваясь его прикладным, временным значением. Так, например, слово «бой», обозначающее сражение, вовсе не воспринимается сознанием как результат какого-то действия, а, наоборот, воспринимается как процесс. Но то же слово «бой» в другом значении — разбитой посуды — становится уже результатом действия. Многие значимости слов от нас ускользают, их происхождение становится нам неясным, хотя при внимательном взгляде оно видимо, ощутимо. Самые обычные слова имеют свою родословную, обозначая при своём образовании или действие или качество. Но в обиходной речи, употребляясь многократно, они сохраняют только целевое обозначение предмета. Возьмём такие слова, как «варенье», «сметана». При слове «варенье» в представлении возникает — сладкое, липкое, вкусовое. Действие «варки» слабо ощущается: мы воспринимаем слово как обозначение готового продукта. Наконец, слово «сметана» совершенно не вызывает в памяти процесса её приготовления, заключённого в названии. «Сметать», то есть снимать с загустевшего сверху, отстоявшегося молока верх — это значение в слове сейчас совершенно не ощущается и даже кажется спорным на первый взгляд при объяснении.

Живое значение слова, его происхождение, возникновение, действительность не слабеют и при миллионнократных повторениях. Слово возникает из необходимости охарактеризовать предмет или действие, выделить его из всей сложной совокупности жизненных явлений. При рождении своём оно метко и точно указывает на главное своё качество. Но с течением времени становясь привычным, оно не ощущается уже как носитель возникшего при его появлении качества или действия, а лишь как прямое название предмета. И только языковеды занимаются выяснением первоначальной значимости слов. По-моему, это неправильно. Писатель должен быть осведомлённым в строе речи, в смысловой и звуковой связи слов в предложении, в жизни слова. Ведь если говорящий вызывает мыслью слова своей речи, то слушающий совершает обратный процесс: по словам, их расположению, их связи он воспроизводит мысль. В писа-

тельском деле есть время обдумать, отобрать то слово и то расположение его, какое нужно для лучшего выражения мысли. Это необходимо для усовершенствования в мастерстве. Поэтому значимость слова должна быть ощущаема писателем с особой чуткостью. Неточное слово искажает смысл высказываемого; общее место не будит в представлении конкретного впечатления. Точно так же, как от длительного употребления теряют свою первоначальную значимость отдельные слова, с течением времени совсем выходя из строя, — стираются и обессиливают смыслом и целые выражения. Если в слове «кручина» постепенно стёрся глагол «крутить, скручивать», а в слове «печаль» — глагол «печь, допекать», — то и в цельных выражениях, вначале своего применения бывших образными, выразительность первоначального их значения сводится на нет многократным использованием. Примеры тому: «бессильная злоба», «невылазная грязь», «тоска безысходная», «беда непоправимая» и т. д.

Когда писатель пишет о ком-нибудь: «его охватила бессильная злоба» — значит, писатель не думает о значении слов, хотя бы уже потому, что для глагола, обозначающего действие «охватить», обязательно понятие какого-то усилия. «Бессильное» ничто охватить не может. Беря первый пришедший на ум набор словесных трафаретов, готовых выражений, писатель и попадает на общие места как бы слепого текста, за которым нет живых представлений. Читатель в свою очередь теряет ощущение действительности происходящего, теряет тот контакт с писателем, который необходим между говорящим и слушающим.

Если писатель вынужден ограничивать свой словарь избитыми, стёршимися словами, кое-как передающими смысл сказанного, если соединения слов в его речи, их расстановка соответствуют лишь ученическим правилам диктанта, то заранее можно сказать, что произведения такого писателя недолговечны.

Знание грамматики — вещь полезная и необходимая для всякого грамотного человека, но знанием грамматики не исчерпывается знание законов языка. Если бы все писатели следовали одним и тем же правилам построения предложения, одним и тем же сравнениям, уподоблениям, способам изложения — литература была бы сведена на нет. Историческая грамматика во много раз больше школьной открывает возможности знакомства с родной речью. Однако и она, без собственного опыта писателя, не обеспечивает ему полноты средств выражения. Именно поэтому каждый писатель, желающий обогатить свой опыт, наблюдает за жизнью слов, за живой речью, внося в свой словарь и в свой синтаксис те неповторимые черты, которые позволяют узнать текст и без подписи. Ж. Вандриес в своей книге «Язык» замечательно определяет связь языка жизни и языка литературы, который, создавая грамматику, закрепляя её правила, в то же время обязательно ищет новых выразительных средств, ибо не ища и не обновляя их, он становится отвлечённым языком рассуждений, а не образов.

«Логический идеал каждой грамматики — это иметь одно выражение для каждой отдельной функции и только одну функцию для каждого выражения. Если бы этот идеал был осуществлён, язык имел бы такие же точные очертания, как алгебра, в которой раз установленная формула остаётся неизменной во всех случаях. Но фразы — не алгебраические формулы. Никогда не повторяют дважды одной фразы; никогда не употребляют слова с точно тем же указанием; не бывает двух языковых фактов совершенно тождественных. Причина тому — обстоятельства жизни, беспрерывно изменяющие условия наших переживаний»¹.

¹ Ж. Вандриес. Язык. Лингвистическое введение в историю. Соцэкгиз, М. 1947, стр. 149—150.

Понимание жизни слова, трактовка его в историческом плане, толкование его даст писателю возможность внимательного отношения к своей работе в самой её основе. Поздно заглядывать в словари, когда мысль просится на бумагу, а слов, достаточно действенных и выразительных, не находится в запасе. Поздно приглядываться к сочинениям классиков, если сам не развил в себе чувства живого слова. В таком случае может получиться только копировщик, подражатель. И в гораздо лучшем положении оказывается тот писатель, который с детства слышал живую речь окружающих, воспитываясь в народной стихии языка, среди народных пословиц и прибауток, песен и сказок, сохранивших ощущение значимости слова в его историческом развитии. Такой писатель как бы с детства входил уже в опыт сравнения речи выразительной, необычной, с речью отвлечённой, остывшей.

Никакая школа, никакой специальный вуз не могут научить писателя понимать жизнь слова так, как учит этому народ. Он принимает все меры к тому, чтобы материал словесный не потускнел, не истрепался, чтобы он постоянно обновлялся, сохраняя в чистоте строй языка, точность, меткость, выразительную силу, показывая пример широты, гибкости, свободы его возможностей.

Народный говор, бытовая речь пронизана образами, живописна, красочна, даёт пищу воображению, заставляет думать, вызывая связь по аналогии, по контрасту, по смежности.

«Чёрт голенаст — выгибаться горазд» (про дым) — здесь каждое слово картинно; и то, что чёрт несёт в себе понятие черноты, свойственное дыму — саже, и то, что длинная полоса дыма голенаста, то есть длиннонога (это уже характеристика чёрта, в народном воображении предстающим всегда тонконогим: вспомним произведения Гоголя), но главное — это изменчивость очертаний дымовой полосы: «выгибаться горазд».

«Два комка — одна лакомка»¹ — здесь с изумительным мастерством звучания соединены краткость и точность описания. В четырёх словах вместить целую картину: младенец, прильнувший к тугой груди матери, — этого может добиться только могучий талант народа. Причём следует отметить, что и слово «лакомка», такое ласковое по отношению к дитяти, взято здесь вовсе не только из необходимости найти звучную рифму. Наоборот: звучная рифма получилась от удачно найденного слова «лакомка», производного от глагола «лакать», в свою очередь получившегося от перемены места звуков «ла» и «ал» в глаголе «алкать». Таким образом дитя, жаждущее материнского молока, не просто лакомится им, оно жаждет его. «алкает». Так живое значение слова, смысл его первоосновы служит верным фундаментом построения речи.

Народ заботится о ясности и звучности языка, о правильности произношения, высоко ценя умение не скрадывать звуки, не искажать их, не заменять один звук другим. Заботится он об этом не ради какой-то отвлечённой, установленной правильности произношения, а ради сохранения точного значения слов, яркости их смысла. Оберегая точность звукового состава слов, народ как бы предостерегает от небрежности

¹ Некрасовым использована эта байка в «Стихотворениях, посвящённых русским детям», но в другом применении. Он употребил редко слышимую звучную рифму:

У дядюшки у Якова
Сбоина макова
Больно лакома —
На грош два кома!

в говоре, от ошибок в звучании. Про мямлю, невнятно говорящего, запи-нающегося, говорится:

«Да выплюнь же жевамши!»,

или:

«Говорит, что в цедилку цедит»,

ещё:

«Не подпречь ли к заике, один не вывезет».

Для исправления произношения, для упражнений в работе произносительного аппарата, а вовсе не для пустословия придуманы народом скороговорки с трудным для произношения сочетанием звуков; преодоление этих трудностей служит великолепным упражнением для слабо вырабатанной артикуляции.

Шутливость таких скороговорок облегчает их запоминаемость, ходовитость. Но сочинить их вовсе не так легко, как кажется на первый взгляд; нужен был острый слух, чтобы подобрать, например, такие скороговорки: «Фрол прям, Пров крив»; «Шли три попа, три Прокопья папа, три Прокопьевича; говорили про папа, про Прокопья папа, про Прокопьевича».

Или: «Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком».

Эта забота о точности звука, об умении выговорить трудно произносимое пронизывает всю народную речь, создавая в свою очередь средства, облегчающие произношение, запоминающиеся на слух: повторы звуков, созвучия, рифмовку. В народной поэзии рифма никогда не понималась как только концевое созвучие. Тем более не понималась она как точное, последовательное совпадение звуков. Складная, «красная» речь ценилась именно за разнообразие средств воздействия, куда входили и ритм и созвучие в самых разнообразных формах.

Похожесть, словесное единство при отличии одного-единственного звука и противопоставление по смыслу, отличность — вот идеал народного творчества. Возьмём такую пословицу:

«Не искал бы в селе, а искал бы в себе», — то есть не обвинял бы других, а проверил бы свои ошибки. Как кратко и сильно здесь включена мысль в почти одинаковые звуки; лишь одним звуком отличается вторая часть пословицы от первой, а какой глубокий смысл несёт сама пословица! Вот уж где мыслям-то просторно, а словам тесно!

«Отдай нищим, а самому не с чем», —

здесь звучание смыслового противопоставления приведено опять-таки к почти одинаково слышащимся словам, однако совершенно различным и грамматически, и по значимости.

«Коси коса, пока роса; роса долой — и мы домой», —

здесь замечательно и то, что первые четыре слова не только по звукам, но и по двусложью своему родственны, и то, что великолепно звучащее двусишнее это обладает энергетикой волевого подъёма; свист косы о траву затихает во второй половине, сменяясь ослабленными звуками понятий «дол» и «дом».

Но не только такие явственные, бросающиеся в глаза средства выражения силы речи, её жизненности художественной находим мы в народном творчестве. Иногда гораздо скромнее, скрытнее заложено это свойство складной речи народного творчества в тех же пословицах и поговорках.

Возьмём к примеру такую:

«Не красна изба углами, а красна пирогами», —

здесь на первый взгляд никакого особенного звукового начала как организующего момента нет. «Углами» и «пирогами» — небогатая рифма,

а пословица звонкая. Но при ближайшем внимательном разборе мы замечаем особое свойство её звучания, а именно: все ударения в словах, её составляющих, падают на один и тот же звук «а». Таким образом, слуху даётся ориентир для запоминания, даже не ощущаемый при чтении.

Другой пример:

«Назвался груздем — полезай в кузов», —

уж тут-то совсем никакой рифмы — и намёка на рифму не имеется. Можно сказать, что никакого «склада» звукового в ней нет, что она сложена только по смысловому признаку. Однако это не так. Как бы на четырёх осях звука «з» движется она во времени. В ней в каждом слове в середине его стоит звук «з», составляя организующие слоги «аз», «уз», «ез», «уз». Случайно ли это? Не может быть, чтобы изо всей массы словесного материала случайно сошлись слова, имеющие каждое в центре один и тот же звук. Причём — слова, соединённые общим смыслом, дающие убедительную иллюстрацию этого смысла. Конечно, народ из миллионов слов в ы б р а л именно эти, чтобы они легко запомнились, заучились, облегчая восприятие заключённого в них содержания.

Можно было бы приводить без конца самые разнообразные виды звуковой осястки словесного материала народной речи. Тонкость слуха, чуткость к звуку, проявляемые в народном творчестве, — поистине удивительны. Никогда одному человеку не придумать и не осуществить все способы их применения. Но писатель должен быть осведомлён о том, что не в поэтиках и учебниках нужно искать средств выражения своих чувств и мыслей, а в примерах народного языкового творчества, сила и разнообразие которого не могут быть исчерпаны до дна, покуда жив и здрав сам народ.

Мы начинаем обучение языку со склонения и спряжения слов, их места в предложении, их связи и зависимости. Мы говорим о корнях слов и приставках, о флексиях и суффиксах. Но все эти названия частей слова — лишь номенклатура учебника, ничего не говорящая воображению. И в школе, и в вузе ребёнок и юноша воспринимают структуру слова, как необязательное знание, необходимое лишь для удовлетворительной или отличной сдачи экзамена. Эти знания нужны только в школе; в жизни, дескать, не приходится задумываться, в каком спряжении глагол, который я применяю в разговоре! Так думают многие, большинство. Результатом является то, что не только ошибаются в применении глагола, но и вообще не находят слов достаточно выразительных, так как берут первые на язык попавшиеся. Но виноваты ли они в этом? Скорее не вина это их, а беда. Ведь если мы можем говорить о структурной почве, о том, что земля может стать заболоченной, обессиленной, превратиться в полупустыню и пустыню; если мы знаем средства восстанавливать структурность почвы и внимательно изучаем их, то та самая почва языка, на которой произрастают все урожаи литературы нашей, совершенно недостаточно изучается нами. В школе нет толкования слов, показа их первоначального смысла, их первоначения. Нет разговора о жизни слова, его развитии, расцвете во времени, зановоности многих выражений. В школе, а тем более в вузе изучают всевозможные науки, но науки о смысле слова, насколько мне известно, не существует. Мне могут указать на лингвистику, на филологические дисциплины, — но это всё не даёт представления о жизни слов, об органичности их звуковой ткани, сводя всё к правилам и параграфам номенклатуры.

Взять бы задание для ребят — хогя бы такого типа: от простейших односложных глаголов составить словарь производных существительных.

Скажем, взять глаголы «бить», «пить», «лить», «жить», «рыть». И проследить, какие похожие слова образуются от них и какие приставки управляют этими глаголами, изменяя их значения.

Вот первый из названных глаголов. Прислушайтесь, как разнообразят его приставки: «прибить», «выбить», «отбить», «набить» и другие. И как сами эти приставки вносят тот или иной оттенок значения: «набитый дурак» — не то, что «побитый дурак». «Набить подушку пером» и «набить мозоли» уже сами по себе рознятся в значении. Как же далеко отходят по смыслу производные от этого глагола. Слова «битва», «бой», «бойкий», «разбитной», все — одной семьи, но как самостоятельно их выразительное лицо. Если сравнить с ними производные от соседствующих глаголов, то ещё более удивитесь их единству в противоположностях. Так, глаголы «пить», «лить», «жить», «рыть», поставленные в ряд с глаголом «бить», дают любопытные результаты для сравнения производства слов:

бить — бой, битва, бивень и т. д.
 пить — питва —
 лить — лой — ливень
 жить — зой житва —
 рыть — рытва —

Даже при таком скромном масштабе наблюдения можно уже сделать некоторые знаменательные выводы. От глагола «бить» существительное «бой» не имеет подобного образования в слове «пой». Это естественно, потому что от глагола «петь» — повелительное «пой»! Но в сложных словах осталась эта форма и от глагола «пить»: «водопой»; также от глагола «мыть» не сохранилась самостоятельно «мой» из-за наличия личного местоимения и повелительной формы глагола «мыть», уже использовавших это звукосочетание. И, последовательно, это образование от глагола «мыть» осталось в словах «рукомойник», «портомойка», а от глагола «пить» — в слове «пойло».

Глагол «лить» не имеет в русском формы «лой»; но в братском украинском от «лить» осталось «лой» — слитое сало. «Жить» имело форму «зой» — род, но утерало её из-за отмирания значения слова.

Формообразование «битва» не имеет в письменной речи подобных себе форм от приведённых выше глаголов. Но в народном говоре сохранились и «питва», и «житва», и «рытва», как «братва», «жратва», «плотва». Слово «литва» естественно выпало из-за сосуществующего по звучанию имени собственного «Литва». «Бивень» и «ливень» сохранили одинаковые формы, опустив таковые от глаголов «пить», «жить», «рыть», хотя не исключена возможность их возобновления в языке. Почему, например, не сказать: «На дворе такой ветер — рывень! Всё бельё посрывал!» Это в духе языка и не может вызвать возражений. Также можно, мне кажется, «жень-шень» назвать по-русски «живень-корень» без ущерба для смысла.

Уже на этом небольшом опыте мы видим, как полезно и продуктивно прислушиваться к звучанию слов, к их взаимному родству, находить их родовые гнёзда. А сколько таких возможностей не использовано — хотя бы в нашем Литературном институте, которому, казалось, и книги в этом деле в руки. То же касается и педагогических вузов и филологических факультетов университетов. Целые словари, посвящённые жизни слов, их морфологии, их звукозначимости, должны были быть созданы нашей талантливой молодёжью, одновременно осваивающей языковые дисциплины в их чистом виде и могущей заниматься практическими опытами и исследованием становления языка, его внутренних законов звучания.

Пушкин и Толстой, Гоголь и Достоевский создали десятки новых речений, зарегистрированных потом учебниками. По какому праву они делали это? По праву знания законов языка своего народа; по праву точного слуха и внимательного взгляда на каждое слово, отличное от прочих. По праву дитяти, выучившегося языку своей родины в таком совершенстве, что может и дальше совершенствовать его развитие.

Такое право вовсе не есть исключительная принадлежность людей, одарённых свыше меры. Каждый человек, любящий литературу, каждый писатель, желающий полностью овладеть живой речью, имеет возможность внести свой вклад в сокровищницу родного языка, действуя сообразно законам его развития, понимая значимость слова в его основе, то есть видя тот смысловой луч, который указывает, откуда идёт свет зародившейся мысли. И в особенности важно понимание этих законов молодыми писателями. Метод исследования, наблюдения, накопления опыта — такая же необходимость в писательском деле, как и в биологии, и в химии, и в почвоведении. Но почему-то установилось мнение, что работа писателя настолько индивидуальна по методу, что не терпит никаких обобщений. Быть может, это касается уже закреплённой, сложившейся творческой самобытности. Но начало писательской деятельности неразделимо с познавательной — в отношении языка в особенности. Почему бы, говоря о творческом методе того или иного классика, не постараться, не подражая уже выработанным им особенностям стиля, исследовать метод, которым он выработал этот свой, не схожий с другими, стиль. Мы уже говорили о песнях и сказках, записанных Пушкиным. Но разве не странно, что никто не заинтересовался, по каким признакам отбирал Пушкин слышанное и как именно использовал отобранное в своём творчестве. Взять хотя бы сказки, записанные им. Вот народная сказка, послужившая основой для произведения литературного:

«Некоторый царь задумал жениться, но не нашёл по своему праву никого. Подслушал он однажды разговор трёх сестёр. Старшая хвалилась, что государство одним зерном накормит, вторая, что одним куском сукна оденет, третья, что с первого года родит 33 сына. Царь женился на меньшей... Мачиха его, завидуя своей невестке, решила её погубить. После трёх месяцев царица благополучно разрешилась 33 мальчиками, а 34-й уродился чудом — ножки по колено серебряные, ручки по локотки золотые, во лбу звезда, в заволоке месяц» и т. д.

Уже из этого начала видно, как Пушкин, беря за основу ткань сказки народной, изменял детали сообразно своему пониманию художественной выразительности. Первая сестра в «Сказке о царе Салтане» уже не обещает накормить одним зерном государство, так как это вряд ли представимо воображению. «Пир на весь мир» — это и зримо, и весело, и чудесно. Вторая сестра не сукном одевает мир, а обещает наткать полотно, что очень существенно для дальнейшего развития сюжета: повариха — ткачиха, завидующие сестре-царице. Наконец, третья — наиболее удачливая — обещает в народной сказке народить тридцать три богатыря, и рождает их даже тридцать четыре. Для Пушкина эта преувеличенная детность переходила пределы сказки и становилась комически неправдоподобной. И вот у Пушкина царица родит одного сына, отличающегося лишь ростом и силой. Тридцать три наследника были бы обременительны и для сюжета сказки и для образа самой царицы. Но образ тридцати трёх богатырей не отбрасывается Пушкиным совершенно, появляясь в виде морской стражи у Гвидона.

Так одни первые строки народной сказки, при сравнении с пушкинской её родственницей, оказываются значительно видоизменёнными.

Пушкин не слепо следовал народному вымыслу. Он упорядочивал и рас-пределял хитрое плетенье сказки так, чтобы узор был выпуклей, видимей, ярче. Ведь в сказке сказано, например: «Подслушал он (царь) однажды разговор трёх сестёр». Пушкин окрашивает это безразличное сообщение в яркий цвет бытовой детали:

Во всё время разговора
Он стоял позадь забора...

Эти и другие отличия от основного текста, насколько мне известно, не исследованы в нашей литературоведческой науке. А если и имеются такие исследования, то они мало известны и не доступны широкому читателю. Между тем они именно заслуживают широкой публикации, так как воочию раскрывают перед читателем и творческую методологию и высокий вкус крупного писателя к живому слову. Неплохо было бы заняться такой темой студентам-словесникам. Она бы привела к пониманию распределения Пушкиным художественных средств выражения, композиционной структуры его сказок.

А записи Гоголем украинских песен! Где и когда уяснена связь его языка с народным творчеством? Ведь только в «Страшной мести» она раскрыта самим автором перед читателем в песне безумной Катерины. А между тем Гоголь всю свою прозу «Вечеров на хуторе близ Диканьки» подчиняет и ритму и звучанию народной речи. И не только отдельные слова и выражения берёт из неё Гоголь. Самый принцип сказочности, где всё реальное превращается в фантастику, а фантастика подтверждается самой неожиданной реальной подробностью,— полностью усваивается Гоголем. Вспомним хотя бы отрывок из «Майской ночи», описание реального свидания винокура с головой.

«Одна только хата светилась ещё в конце улицы. Это жилище головы. Голова уже давно окончил свой ужин и, без сомнения, давно бы уже заснул; но у него был в это время гость, винокур, присланный строить винокурню помещиком, имевшим небольшой участок земли между вольными козаками...»

Как будто ничего нет в этом описании от фантастики. Самые реальные образы, самые будничные обстоятельства. Но вот из этих обстоятельств начинает ткаться вымысел. Он нужен Гоголю не для балагурства, а для того, чтобы смешать реальность с вымыслом так, чтобы нельзя было различить их. И действительно, читаем дальше:

«Под самым покутом, на почётном месте, сидел гость — низенький, толстенный человек, с маленькими, вечно смеющимися глазами, в которых, кажется, написано было то удовольствие, с каким курил он свою коротенькую люльку, поминутно сплёвывая и придавливая пальцем вылезавший из неё, превращённый в золу табак. Облака дыма быстро разрастались над ним, одевая его в сизый туман. Казалось, будто широкая труба с какой-нибудь винокурни, наскуча сидеть на своей крыше, задумала прогуляться и чинно уселась за столом в хате головы. Под носом торчали у него коротенькие и густые усы; но они так неясно мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью, которую винокур поймал и держал во рту своём, подрывая монополию амбарного кота. Голова, как хозяин, сидел в одной только рубашке и полотняных шароварах. Орлиный глаз его, как вечеряющее солнце, начинал мало-помалу жмуриться и меркнуть». (Подчёркнуто мной. — Н. А.).

Так сравнениями и уподоблениями Гоголь достигает фантастичности самой обыкновенной бытовой сцены: винокур превращается в трубу, глаз головы — в вечеряющее солнце. Это очень свойственная таланту Гоголя особенность: переводить повествование из одного бытового плана в другой — видоизменённый, фантастический, загадочный. В «Вие», на-

пример, план фантастический и план бытовой так сплетены друг с другом, что один входит в другой, уравниваясь в восприятии. Когда Хома Брут, уже до седины в волосах перепуганный панночкой-ведьмой при чтении над ней псалтыря, отказывается от дальнейшего выполнения взятой на себя роли, то сотник напоминает ему о совершенно реальной угрозе «кожаных канчуков»:

«...Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные канчуки?»

«Как не знать!» сказал философ, понизив голос. «Всякому известно, что такое кожаные канчуки; при большом количестве вещь нестерпимая».

Вот эта реальная угроза, реальный страх, показанный ошутимее фантастических ючных страхов, усиливает и их восприятие. Если только реальные канчуки в большом количестве «вещь нестерпимая», то становится понятным, почему Хома отступил перед их опасностью, предпочтя всё же «стерпимую» угрозу ночного чтения над покойницей.

Гоголь очень часто прибегает к гиперболичности образов, делая их этим способом запоминаемей, ошутимей воображением. Но всегда эти гиперболы сами по себе основаны на реальности: усы, как пойманная ртоммышь, винокур, дымящийся, как сама винокурная труба. Однако это не сравнения, а непосредственная замена одного понятия другим, как в народных загадках, поговорах. Кто и когда занялся близостью образов Гоголя с образами народного творчества? А это бы открыло многое в творчестве Гоголя как народного писателя, пользующегося складом речи, слышимой им с детства и сообщившей её особенности литературной речи всего народа русского.

Разве не тема для наших студентов-словесников проследить эту родовую связь прозы Гоголя с украинской песней, загадкой, присказкой? Это могло бы привлечь внимание и тех студентов нашего Литературного института, которые всерьёз относятся к пониманию живой речи.

Да разве только Пушкиным и Гоголем ограничивается поле исследования зависимости языка литературного от народного живого слова? Разве исследован с этой точки зрения язык «Горя от ума»? Разве не ждёт ещё такого исследования и изучения язык Крылова, не только вбиравший в себя народные речения, но и сам пустивший в оборот множество поговорок и поговорок? Да не только поговорки важны в таком исследовании. Припомним любую из басен Крылова — и раскроется необычайное звуковое изящество речи, совершенно не заметное внешне, но, согласно указанным выше законам народного языка, совмещающее прелесть звучания с его целесообразностью. Вот «Ворона и лисица» — не только в их образном, портретном описании, но и в звукоописании. Какие звуки подобраны для неуклюжей, глупой, тщеславной вороны? «Взгромоздась», «позавтракать», «призадумалась» — тяжёлые сочетания звуков «взгр», «зд», «завтр», «прзд». И какие для лисицы? «Лиса близёхонько», «Лисицу сыр пленил». А вкрадчивость, льстивость лисициной речи, почти придыхание, почти шепоток:

Голубушка, как хороша!..

Какие пёрушки! какой носок!

И верно ангельский быть должен голосок!

Спой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица,

При красоте такой, и петь ты мастерица,

Ведь ты б у нас была царь-птица! —

свистящие, в уши влипающие слова, причмокивания от фальшивой восторженности: «светик», «сестрица», «пёрушки», «хороша», «голубушка» — шурушанье и присвист, шелест и ханжеское восхищение — вот речь

лисицы. Что же, возраят мне, Крылов сидел и подбирал слова именно с таким звучанием для того или иного зверя? Нет, Крылов знал язык в таком совершенстве, что слова сами приходили к нему в нужном случае, руководимые мыслью, но и выражающие эту мысль самым звучным, то есть самым впечатляющим образом.

Разве составлен словарь хотя бы пословиц, введённых в речь нашими лучшими баснописцами? А ведь пословица обязательно связана со звучанием, так или иначе помогающим её запоминанию. Жизнь слова не раскрыта даже в произведениях, давно изученных тематически и сюжетно, оценённых и с идеологической, и с бытовой сторон.

Но и не только классики могли бы послужить предметом опытного исследования для нашей молодёжи, — язык писем, деловых бумаг, приказов и указов прошлых времён; язык летописей и иных памятников письменности, драгоценный сборник Кириши Данилова и т. д.

Язык современных писателей ещё менее подвергнут изучению и исследованию по своему строю и связи с народным синтаксисом и звучанием. Множество неологизмов, введённых хотя бы Маяковским, кажется некоторым до сих пор неприемлемым, как в своё время «простонародные» речения, введённые в письменность Пушкиным. Но можно было бы показать их единство с главным потоком народной речи, с законами языка — для тех, кто отстаивает эти законы, не твёрдо их выучив.

Чистейший, подснежниковый, весенний язык М. Пришвина совершенно не раскрыт читателю в своей первооснове. Цветной и выпуклый, как мордовская вышивка, язык Вс. Иванова, привлекая читателя, не имеет своего истолкователя. Такой «малогромкий» писатель, как П. Замойский, может поелужить примером точного, живого русского языка, связанного с народным крепкими связями.

Столько тем, ещё не использованных, какое обширное поле деятельности для тех, кто хочет по-настоящему овладеть литературной грамотностью! И, вместе с тем, как мало людей, этим занимающихся, — в надежде, что есть какие-то иные, более скоростные способы не только овладеть такой грамотностью, но и начать собственное творчество, удовлетворяясь только поверхностным знанием грамматических правил или учебников стихосложения. К сожалению, такого же мнения держится зачастую и наш преподавательский состав, полагая, что была бы одарённость, а опыт придёт сам собой. Но опыт есть опыт, то есть ежедневная, многократная проверка того материала, над которым работает человек, если этот материал не косяная масса глины. Наши педагоги, литературоведы очень любят разговор на общелитературные темы, вводя в такой разговор специальные термины стиля, жанра, инверсии, аллитерации, метафоры и другие, подобные им, — полагая, что этим облегчается понимание методологии творчества. На самом же деле, термины эти, имеющие смысл в теории литературы, ничего не дают в практическом смысле молодому, да и не молодому человеку, интересующемуся методологией творчества. В самом деле, разве кто-нибудь из писавших или пишущих ныне задумывался над тем — применить ли ему анаколуп или оксюморон, анафору или инверсию? Всё это существует как позднейшая классификация особенностей письма; но именно этим в первую очередь снабжают учащегося литературного вуза. Вот и выходит по пословице: «Клянётся латынью, а поит полынью», — что применимо не только к медицине, а и к литературоведению.

Изучение жизни слова, его первичного образования, производных от него речений, многообразия последующего осмысливания этих речений; изнашивание слова, ослабление его выразительности и, наконец, стира-

ние в нём всякой выразительности смысла, кроме обиходного обменного значка, которым довольствуются в быту, — вот предметы исследования, достойные внимания молодёжи.

Расцвет народного творчества влечёт за собой и бурный рост литературных талантов. Мы должны заранее позаботиться о том, чтобы сызмала дать им в руки ключ к живой речи. Нужно переиздать сборники русских пословиц Даля, Снегирёва, собрание Сахарова; необходимо создать историческую грамматику хотя бы на основе буслаевской, которую очень трудно добыть из библиотек. И, наконец, мы обязаны всячески отстаивать необходимость самостоятельных работ, подобных тем, которые мы приводим в этой неполной и не претендующей на исчерпывающее изложение статье.



Т Р И Б У Н А Ч И Т А Т Е Л Я

О НОВЫХ КНИГАХ СОВЕТСКИХ ПРОЗАИКОВ

Советские читатели, люди самых разнообразных профессий и призваний, разного жизненного опыта и разных возрастов, внимательно следят за развитием литературы. Каждая новая книга вызывает в многомиллионной читательской аудитории широкий обмен мнениями, рождает горячие споры. В своих письмах читатели с радостью пишут о творческих успехах советских писателей, подвергают взыскательной критике идейные и художественные недостатки новых произведений. Они приводят в письмах поучительные примеры непосредственного участия нашей передовой литературы в повседневной созидательной работе советского народа, строящего коммунизм и стоящего на страже мира во всём мире.

Поток читательских писем неисчерпаем. Они очень разнообразны по своему характеру: одни содержат только первые впечатления от прочитанного и краткие замечания, другие представляют собою развернутые критические отзывы и ставят общие вопросы литературы. Среди публикуемых ниже писем читателей, полученных редакцией «Нового мира» и редакциями других московских журналов и газет, нашли себе место и те и другие. Общая черта большинства собранных здесь писем — их критическая направленность.

Стремясь шире отразить мнение читателей о тех или иных книгах русской советской прозы 1950 года, мы не сочли себя вправе отбирать среди писем только такие, которые во всём совпадали бы с точкой зрения редакции, уже высказанной на страницах «Нового мира». Редакция считает необходимым при этом отметить своё согласие с общей критической оценкой повести П. Шebuнина «Стахановцы», опубликованной на страницах нашего журнала в прошлом году.

Письма даются нами в сокращённом виде.

★

«Свет над землёй» С. Бабаевского

Книга вторая

Писатель С. Бабаевский в своём романе «Кавалер Золотой Звезды» познакомил нас с людьми нашей замечательной эпохи перехода от социализма к коммунизму. У нас происходит стирание граней между городом и деревней. Герои С. Бабаевского своим творческим трудом на полях нашей Родины участвуют в этом историческом процессе. В романе «Свет над землёй» С. Бабаевский достиг новых успехов в изображении таких передовых людей нашего Сталинского времени. Его излюбленный герой Сергей Тутаринов полюбился и нам, и было радостно снова встретиться с ним. С полным правом его можно назвать героем нашего времени!

Мне вообще нравится, когда писатель, окончив одну книгу, не бросает своего героя, а продолжает дальше следить за его

судьбой, стремится показать нам его дальнейшее развитие. К сожалению, приходится сказать, что это бывает в литературе не часто. Сергей Тутаринов был «маленьким человеком» в станице Усть-Невинской; в годы войны стал кавалером Золотой Звезды — Героем Советского Союза, а когда вернулся с войны домой, доказал, что и в строительных буднях послевоенной жизни он будет достоин почётногo звания Героя. Он продолжал расти и стал одним из основных руководящих работников своего района, прообразом которого, наверное, послужил один из передовых районов славной Кубани.

Конечно, мы, читатели, чувствовали, что Сергей Тутаринов может и должен расти и дальше. Бросил бы его писатель, не стал бы рассказывать о его дальнейшей

судьбе — и этот типический образ остался бы незаконченным. Теперь, дочитав вторую книгу романа «Свет над землёй», мы узнали, что Сергей Тутаринов стал первым секретарём Рощенского райкома партии, и мы благодарны писателю за то, что его герой не обманул наших надежд. Рост Сергея, советского человека, ничем не ограничен — это важный вывод из романа.

Но нам полюбился не один Сергей. Нам полюбился и секретарь райкома Кондратьев, и Илья Стергачёв — редактор газеты, и жена Тутаринова Ирина, и Татьяна Нецветова и другие полноценные творческие люди в романе «Свет над землёй».

Самое главное, по-моему, в этом романе С. Бабаевского состоит в том, что писатель хорошо показал руководящую роль большевиков в коммунистической перестройке нашей деревни. Сам Сергей Тутаринов, настоящий большевик, не на словах, а на деле во всём показывает пример окружающим. Уже одно его выступление на краевой конференции говорит о том, что он будет хорошим секретарём райкома: у него есть смелая инициатива, он серьёзно, по-партийному критикует недостатки в работе отсталых председателей колхозов, которые норовят работать по-старинке, правильно ставит новые задачи перед своими земляками. И для нас нет неожиданности в том, что Бойченко и Кондратьев выдвигают его на новую руководящую работу. У Сергея Тутаринова можно учиться жить и работать, и хотя военные читатели трудятся в другой области, они тоже многое почерпнут из опыта его работы с людьми и инициативного руководства своим делом.

Закончив чтение второй книги романа «Свет над землёй», мы будем теперь ждать нового романа С. Бабаевского, чтобы увидеть, как Сергей Тутаринов показал себя на большом партийном посту, на ответственном участке, на котором от человека требуется всестороннее знание обстановки, людей, задач, перспективных возможностей роста колхозов...

Есть у меня, как читателя, и замечания и советы по поводу второй книги романа.

В хорошем произведении всё должно быть хорошо. Сейчас про вторую книгу «Света над землёй» этого ещё не скажешь. Есть в ней недостатки, и я хочу посоветовать автору кое-что видоизменить и доделать в романе.

1. Почему умирает Хохлаков? Этот оставший от жизни человек не погнушался написать лживое письмо против Сергея Тутаринова, но когда он должен был нести за это ответ, писатель вдруг убрал его со страниц книги. Он умирает в романе случайно, будто С. Бабаевскому надоело с ним возиться и он решил навсегда разделиться со своим персонажем: раз умер человек, писать о нём, конечно, больше нечего и незачем. Но получается неправильно: Хохлаков должен был понести партийную кару за своё недостойное поведение. Его надо было осудить и помочь ему исправиться, как он и сам того хотел.

2. Роман написан о нашей жизни, и всё в нём должно быть жизненно, типично, показательно. А история с поездкой Нарыжного за подписями под хохлаковским письмом — неправдивая, сочинённая история. Я, и не я один, считаю, что тут надо что-то изменить или совсем удалить из романа это место.

3. Вызывает сомнение та сцена в романе, где описывается, как Сергей и другие герои смотрят спектакль по роману С. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды». Не знаю, существует ли такая переделка романа для театра, однако нехорошо, когда у самого писателя его герои читают или смотрят его собственные произведения, да ещё хвалят их. Получается нескромно, тем более, что из нашей богатой литературы С. Бабаевский мог легко выбрать другую пьесу. Неправильно это и в воспитательном отношении: ведь в самом романе С. Бабаевского часто говорится о скромности большевиков.

4. Не верится в последний разговор Кондратьева и Сергея Тутаринова, когда Кондратьев поучает Сергея, каким должен быть большевик и руководитель масс. Говорит он, конечно, правильно, но непонятно, зачем он всё это говорит именно Сергею Тутаринову, которого мы давно знаем как замечательного коммуниста, передового работника района... Неожиданно получается, будто Сергей не знает простых вещей, которые не только руководителям, но и каждому коммунисту хорошо знакомы — о необходимости самокритики, о вреде зазнайства, о важности инициативы и т. д. Это неправдиво, это снижает образ такого героя, как Сергей Тутаринов. Кондратьев может и должен говорить всё это, но не

своему старому испытанному другу и товарищу по работе.

Хочу ещё прибавить несколько слов об языке произведения; сейчас, после исторических работ товарища Сталина по вопросам языкознания, эта проблема имеет особое значение. Может быть, я неправ, но С. Бабаевский в романе «Свет над землёй» работал над языком произведения меньше, чем когда писал «Кавалера Золотой Звезды». И вот получилось, что некоторые выражения в романе не соответствуют представлению о правильном литературном языке

и не всегда понятны простому читателю. Из многих примеров, вызвавших у меня сомнения, упомяну несколько: «спильно скучающие глаза», «заминдевательные глаза», «посеянная земля», «поливал с кружки воду», «сшивы газет», «нижний полдень», «напушённые подушки»... Советские писатели должны тщательно работать над языком своих произведений, посвящённых нашей жизни.

В. Горелов,
ст. лейтенант.

Писателя С. Бабаевского читатели полюбили за замечательный роман «Кавалер Золотой Звезды». Они крепко подружились с его героями и, естественно, рады были увидеть тех же героев в новом романе того же автора «Свет над землёй».

Но при чтении второй книги нового романа эта радость для нас была омрачена невзыскательностью автора к языку своего произведения.

Роман написан торопливо. С. Бабаевский, видимо, часто пользовался первыми же пришедшими на ум выражениями, случайными словами и невыразительными эпитетами, не отбирал наиболее подходящие, наиболее меткие образы.

...Невзыскательность приводит автора к повторению одних и тех же слов и неудачному построению фраз.

Читая сцену в поезде, мы сначала узнаём, что «по всему вагону разливался сочный и чистый девичий голос», а несколькими строками ниже, что из репродуктора «теперь уже рёвом ревел сочный бас...» Кстати, поверить тому, что бас «рёвом ревел», невозможно.

В театре у стенда выставки мы видам и слышим «краснощёкого мужчину» со «звонким голосом». Он запоминается своим «шишкастым» носом, о котором автор непрестанно упоминает через каждые несколько строк. «Мужчина в рубашке, подпоясанный широким ремнём, в пиджаке и в сапогах, краснощёкий и с шишкастым носом что-то рассказывал...» Через несколько строк снова: «...именно этот краснощёкий, с некрасивым носом мужчина». Ещё ниже: «...продолжал мужчина, сердито тронув пальцами шишкастый нос»... И опять через не-

сколько строк: «...продолжал мужчина, уже спокойно поглаживая нос...»

Заметим, что и кучер Дорофей тоже имеет «шишкастый нос», который он тоже зачастую трогает.

Чем объяснить это однообразие художественных средств?

Поразительными свойствами обладают глаза героев романа. Секретарь крайкома партии тов. Бойченко «...смотрел в зал и глаза его говорили: «Да, да, об этом я не успел сказать, но вопрос очень существенный...» Председатель партийной конференции «усталыми, немного грустными глазами смотрел в зал, как бы говоря: «Ну вот, дорогие товарищи, дело, которое вы мне поручили, я, кажется, начал неплохо, ход заседанию дал верный и теперь могу спокойно заняться стёклышками...» (подразумеваются очки). Сергей Тутаринов поднялся на трибуну, и... «стенографистка, приготовив карандаши и тетрадь, с чуть заметной улыбкой взглянула на Сергея — обычно так смотрят на выдающихся светил вокального искусства пианисты-аккомпаниаторы, как бы говоря этим взглядом: «Ну, успокоился? Можно начинать?..»

«Как бы» говорят глазами и другие герои в других местах романа. Но три приведённых примера взяты не из разных частей книги, а из небольшого отрывка, занимающего три страницы. Впрочем, и на этих трёх страницах есть ещё подобные же примеры! Ирина (она беременна), для разнообразия, уже не глазами, а улыбкой «как бы» говорит: «...смотреть на меня смотри, но не пугайся и не удивляйся, что я такая временно, по обязанности...» (?!)

Всё это ещё раз подтверждает нашу мысль, что С. Бабаевский не работал по-настоящему над словом, когда писал свой роман.

Писатель обязан каждую фразу обтачивать, шлифовать, выбрасывая лишнее, сорное. Между тем во второй книге «Света над землёй» непродуманные выражения, одни и те же эпитеты встречаются почти на каждой странице. «Румяный, в меру зажаренный, гусь» и через десять строк — «румяные круги колбасы»... «Лил сильный дождь с ветром», а потом «дождь с ветром поливал». «Глазентами водите», «русявенький собой ничего», «чертуюсь», «хворостяной кавалерист», «у этого заусайла», «затянул пискливого храпака», «брови помокрели», «вскаламутил», «молоко сюрчит»...

Писатель отнюдь не может и не должен вкладывать в уста своих героев предельно чистую литературную речь — это было бы неправдоподобно, неправильно, ибо разные люди говорят по-разному. Вместе с тем, недопустимо и «засорять» речь своих героев, принижать их, заставляя говорить грубые, неправильные, выдуманные слова и фразы.

Как известно, М. Шолохова упрекали за излишнюю склонность к «местным» словам и выражениям. Но романы его были написаны о жизни 20—30-х годов, о первых этапах социалистического переустройства жизни народа, а С. Бабаевский показывает сегодняшний и завтрашний день колхозной деревни и поэтому «местные» и «сорные» слова тем более не должны перегружать ткань рассказа и пересыпать язык колхозника 1945—1950 гг.

Перечень художественных недостатков романа, к сожалению, можно продолжать, но мы ограничимся этим. Мы указали лишь на недостатки, главным образом, в языковом отношении.

Некоторые ситуации в романе кажутся надуманными, не жизненными, иногда герои действуют не по необходимости, а по воле автора.

«Семья лесорубов» Ю. Бессонова

СССР — страна «зелёного золота». Одна треть лесных запасов земного шара сосредоточена на просторах нашей Родины. На заготовке и вывозке леса занято

Один из примеров: заблуждающийся, отсталый Фёдор Хохлаков, обиженный на Сергея Тутаринова, решает написать клеветное письмо, порочащее Сергея. Написав его, Хохлаков посылает Евсея Нарыжного объехать колхозы и собрать подписи под этим письмом. Уже одно это само по себе выглядит неправдоподобно. Далее, Нарыжный, объезжая колхозы, попадает в «комическое» положение. Так, желая получить подписи двух колхозниц, он жертвует своим поясом, подвязывая супонь; но едва он кончил это делать, как колхозницы, вместо того, чтобы подписаться под письмом, хлестнули лошадей и уехали, а бежать за ними Евсей не может: без ремня спадают брюки. Явившись на ток, Евсей заводит разговор со стариком-сторожем, но последний, приняв Нарыжного за «американского шпиона», стреляет в воздух, а собака сторожа рвёт незадачливому «сборщику подписей» брюки... Затем Нарыжный засыпает у копны свежескошенного ячменя, а конь его тем временем поедает этот ячмень... Но тут появляется прежний «закадычный друг» Хохлакова Артамашев. Вместо того, чтобы подписать письмо, он, негодуя на предложение Нарыжного, избивает его. В конце концов тот возвращается к Хохлакову без письма (на письмо наступила копытом лошадь и оно разорвалось) и без подписей...

В районной газете появляется на эту тему фельетон. Хохлаков начинает осознавать свою ошибку, вопрос о его поведении должен разбираться на бюро райкома, но... он неожиданно умирает. И приключения Евсея Нарыжного, и «гибель» письма, и смерть Хохлакова — всё это надуманно, неправдоподобно.

Нам обидно за писателя, выпустившего в свет в инных деталях неотделанное произведение, тем более, что роман его — нужная, важная книга.

Владимир Ильин,
Валентин Буйденко,
студенты Пятигорского
педагогического института.

около миллиона рабочих, техников и инженеров. Дедовскую пилу, топор, лошадь — на вывозке, «дубинушку» — на погрузке у нас заменили машины.

Возникли в лесной промышленности не известные ранее профессии: электропильщик, тракторист, моторист электростанции, шофёр, машинист паровоза и мотовоза, лебёдчик...

Каждый день новое властно врывается в работу лесозаготовителей, зовёт их вперёд, к поканиям и дерзаниям, и уже много прославленных стахановцев-новаторов производства, держащих опровергать традиции, сокрушают в лесозаготовительном деле косность и рутину.

Творцы новой индустриальной лесозаготовительной промышленности заслуживают пристального внимания и показа их борьбы и работы. Попытка Ю. Бессонова показать таких людей в повести «Семья лесорубов» заслуживает поэтому всяческого поощрения.

Но Ю. Бессонову оказалась явно не по плечу взятая им тема. Видимо, плохо зная лес и условия лесозаготовок, он отодвинул производство на задний план, сделав его вспомогательным элементом, только фоном для семейного конфликта в «семье лесорубов» Суходоловых.

Кстати, уместно спросить, почему это — «семья лесорубов»? Лесоруб, собственно, только Пётр Суходолов, а Варя, его жена, работник лесного хозяйства, и её задачи прямо противоположны задачам мужа. Она не рубит, а сажает, выращивает лес, хранит его от хищения и пожаров, одним словом, восстанавливает лесные площади. Так, уже само заглавие повести вызывает возражение. Нехорошо и то, что автор везде вместо «ручной заготовки», «механизированной заготовки», как принято говорить в промышленности, применяет старый термин «повал», вместо «обрубить сук» почему-то употребляет местное реченье «окорзовывать сук» и т. п. Но это, конечно, «мелочи».

Основной грех состоит не в этом, а в том, что Ю. Бессонов стал на путь упрощения в раскрытии главного — в показе формирования людей в трудовом процессе. Надуман, крайне необудительный конфликт в семье Суходоловых и внутренний разлад в душе Петра Суходолова, основанный на его тяготении к новой технике, к которой его якобы не допускают. Автор показал, что Суходолов, в сущности, плохо знаком не только с принципами механизированных лесозаготовок, но и с самими электропи-

лами, которые он видел в работе мельком; показал он и то, что Суходолов ещё не верит в электропилу и готов с ней потягаться, имея на вооружении лучковую пилу (нелепое соревнование на разделке бурелома, стр. 149—155); и в то же время, по уверениям автора, Суходолов вынашивает и создаёт схему наиболее производительной работы электропилами по трёхзрубному методу! Как это возможно?.. А как понять, что в объяснении с Варварой и в объяснении с парторгом Лаврушевым писатель показывает своего героя Петра Суходолова в качестве мелкого самолюбивого эгоиста, стремление которого к новому способу производства продиктовано, оказывается, только желанием поставить личный рекорд?! Неужели таковы, по мысли автора, движущие силы развития новых прогрессивных методов труда в лес-промхозе?

Нет, тов. Бессонов, так не выйдет. Придумать, конечно, всякое можно, но Ваши домыслы не могут вызвать у читателя доверия — они жизненно несостоятельны.

Лауреаты Сталинской премии гг. Н. Н. Кривцов, А. П. Гогчиев и сотни других стахановцев шли к новым, более совершенным методам труда, к правильной и более целесообразной расстановке людей в бригаде, к наиболее полной и разумной загрузке электропил и других механизмов разными путями и по-разному решали эти задачи, но всякий раз то был тяжёлый и благородный труд, с ошибками и удачами, с накоплением опыта по крупице, с использованием положительного опыта других — то было творческое горение патриотов, в котором русская рабочая смекалка сочеталась со знаниями и помощью янжэнэров. А Вы пытаетесь измельчить этот процесс, показать его чуть ли не как следствие ущемлённого самолюбия, показать, что задачи новаторской перестройки производственного процесса могли быть теоретически осмыслены и неведкой в вопросах механизированной заготовки леса, каким является Ваш герой. Откуда такая легкомысленность и такое неуважение к стахановцам-новаторам, самоотверженно ищущим новые пути механизации тяжёлого труда лесорубов?!

Вероятно, автор не будет утверждать, что пекарь, спустясь в забой, в тот же день выполнит план и, больше того, в пер-

вый же день коренным образом улучшит технологию вырубki угля. Нелепость такого предположения очевидна, и непонятно, что даёт автору право рассказывать об аналогичной нелепости на 193-й странице своей повести. Взяв на себя труд писать об определённом процессе производства, писатель не смеет скатываться к упрощению сложных явлений жизни и, тем более, не должен становление характера советского человека, его рост и воспитание подменять капризами узко личного самолюбия.

Вот почему читатель расстается с героями повести без сожаления. Большинство из них он не полюбил, не поверил в то, что они, эти герои, живут, стремятся вперед, ищут, ошибаются и находят путь к лучшему в личной и общественной тру-

довой жизни. Читатель не поверил, что в этих исканиях лучшего им помогает дружный коллектив товарищей по работе, не увидел, что партия большевиков — могучая руководящая сила — любовно и внимательно поддерживает их лучшие начинания.

И всё же нужно сказать, что Ю. Бесонов предпринял большое и нужное дело. Он пробил брешь в «стене молчания», которой окружили писатели тему о «лесниках», и хочется сказать ему спасибо за то, что он, по крайней мере, начал, пусть и неудачно, разговор на эту большую тему. Хочется сказать другим писателям: присмотритесь к этой теме, оцените её обаяние и огромное значение и дайте о тружениках леса хорошие книги.

Н. Шебершин.

Москва, Гослесбумиздат.

«Люди с чистой совестью» (Карпатский рейд) П. Вершигоры

Товарищ Сталин назвал деятельность партизанских отрядов в годы Великой Отечественной войны «вторым фронтом». По данным самих гитлеровцев, их потери, особенно в живой силе, понесённые от советских партизан, превысили потери от объединённых союзных войск на западном фронте.

...Книги о партизанах, вышедшие после войны, в основном — плод упорного труда самих участников партизанского движения. И мы, рядовые читатели, с особым волнением берём в руки каждую новую книгу о партизанах, радуемся и благодарим автора — бывшего партизана, если книга его написана хорошо, если ему удалось захватить нас величием событий и боевых дел его отряда или соединения, и огорчаемся вместе с ним, если книга не удалась, если он не сумел выбрать из громадного обилия боевых эпизодов характерные, запоминающиеся факты, не сумел нарисовать вожakov отряда и рядовых партизан, если за массой действительно бывших событий теряется идея повествования.

И да простят нас литературные критики, если мы, читатели, взяв на себя смелость написать наше мнение о новой книге П. Вершигоры «Люди с чистой совестью» (Карпатский рейд), будем говорить не столько о художественных достоинствах и недостатках книги, сколько о правдиво-

сти изображения событий и ценности этого произведения. Однако заметим, что «Карпатский рейд» с точки зрения мастерства несомненно стоит значительно выше первой книги писателя-партизана, получившей общее признание у нас и за рубежом, особенно в странах народной демократии. Ошибки и недостатки, отмеченные партийной критикой после выхода первой книги, во второй автором устранены.

...Чем же захватывает книга П. Вершигоры? Почему её сразу же оценил и полюбил читатель?

В «Карпатском рейде» менее, чем в других подобных книгах, подчеркнута занимательность сюжета и острота конфликтов. Однако с первой же страницы читатель с неослабевающим вниманием следит за судьбой героев, за их большими подвигами в борьбе с врагом, волнуется за их неудачи, горячо переживает гибель героев, радуется победам партизан.

Большая заслуга писателя, на наш взгляд, состоит в том, что ему удалось отобразить самые характерные и запоминающиеся черты руководителей и рядовых партизан отряда. Его герои, написанные, так сказать, с натуры, стали образами собирательными. Бывший начальник штаба 1-й Ленинградской партизанской бригады, лауреат Сталинской премии товарищ Бондаренко рассказывал: «Когда я читал книгу Вершигоры, передо мною встала исто-

рия тех дней, те события, которые происходили и у нас на севере. Это очень типично. Есть разница в некоторых приёмах борьбы, но основное у нас было общее. Я узнавал людей, узнавал своих разведчиков... В образе Карпенко, например, — хотя внешне он совсем другой человек, — я узнал нашего Володю Никифорова. Карпенко — это просто живой Володя Никифоров, ныне Герой Советского Союза...»

Важнейшей удачей автора является то, что ему удалось на многих ярких примерах показать, что товарищ Сталин постоянно лично руководил партизанской борьбой в тылу врага и учитывал её — эту борьбу — в своих общих стратегических планах разгрома оккупантов.

Третьим, очень важным достоинством книги является то, что писатель показал в ней характерную, присущую только советским людям черту — ещё в годы войны думать о будущем мирном строительстве... Партизан Тутученко, архитектор по профессии, проезжая мимо разрушенного города, делится своими мыслями с соседом: «...Говорят, Киев разрушают. Я знаю его планировку, хотя никогда в нём не был. Я изучил много городов мира; я не заблужусь в Париже, Лондоне, Риме, Венеции, Милане, Генуе — я знаю их планировку до мельчайших деталей. Но Киев! Это же город-сад. Хоть вырос я в Москве, но если останусь жив, то обязательно Киев буду строить!..» Или ещё один разговор: секретарь ЦК КП(б)У тов. Коротченко в беседе с Вершигорой, вернувшимся из Карпатского рейда, спрашивает его о газопроводе в районе Дашавы. Выслушав ответ, он уверенно говорит: «...Газопровод будем строить: Дашава—Киев». А в то время шёл ещё только 1943 год, и на трассе будущего газопровода происходили ожесточённые бои. И ведь сбылись эти слова тов. Коротченко! Газопровод построен советскими людьми и давно даёт Киеву газ, а оставшийся в живых тов. Тутучен-

ко сейчас и в самом деле активно работает над восстановлением Киева. Таким образом, эта, казалось бы, сугубо военная книга о партизанах живо перекликается с сегодняшней борьбой советского народа за мир.

Автору хорошо удалось показать любовь его героев к Родине. При этом П. Вершигора сумел избежать часто встречающейся в книгах о войне напыщенности и, мы бы сказали, злоупотребления «книжными фразами», — такие фразы иной раз искусственно вкладываются в уста скромных советских людей, которые в действительности шли во имя Родины на подвиги и на смерть без таких фраз.

Язык героев книги очень образный, народный, меткий — в шутках, лирический и мягкий — в душевных разговорах. Упрёки по адресу П. Вершигора, которые мне приходилось слышать со стороны некоторых читателей, будто в книге излишне много украинизмов, по моему мнению, необоснованны. Наоборот: эти украинизмы очень уместны в диалогах героев-украинцев и придают особую прелесть всему языку произведения.

К недостаткам книги следует отнести, кроме нескольких неудобочитаемых оборотов и грамматических погрешностей в языке, то, что автор напрасно от своего имени слишком часто напоминает о важности Карпатского рейда. Читателю это ясно и без навязчивых напоминаний. Досадно и то, что автор, видимо, не имел времени или не смог собрать более подробный материал о судьбе Руднева и его группы, в результате чего четвёртая часть книги выглядит скомканной. Об этом важном, узловом моменте в сюжете книги не всё сказано с достаточной ясностью, словно что-то мешало автору говорить в полный голос. Эти и другие недостатки устранимы, и П. Вершигора может и должен их устранять.

Подполковник П. Савельев.
Москва.

«Плевучая станица» В. Закруткина

В селе Крыжановке на самом берегу Чёрного моря довелось мне провести свой отпуск. Хозяин моей квартиры — бригадир рыболовецкой бригады Николай Степанович Мороз — редко бывал дома. Как-то сильный ветер на море дал ему вынужденный отдых. Побывав в бригаде, сделал

кое-какую домашнюю работу, он, тщательно побрившись и переодевшись, зашёл ко мне.

Я сидела за только что полученными из Одессы журналами; Николай Степанович попросил у меня что-нибудь почитать.

Я дала ему третью книгу «Знамени» за

1950 год и посоветовала прочитать роман Виталия Закруткина «Пловучая станица».

На следующий вечер Николай Мороз попросил у меня продолжение романа.

Я была удивлена:

— Когда же вы успели проглотить первую часть, вы же были на море?

— Ночью... После того, как бросили сети.

— Что ж, понравилась книга?

— Вот дочитаю и скажу.

В воскресенье Николай Мороз пришёл снова, сел на стул и сказал:

— Стоящая книга, хорошая, по-моему, книга.

— Что же вам понравилось в «Пловучей станице»?

— Вот скажу вам всё по порядку: во-первых, давно не попадалась мне книга о рыбаках, а эта — будто про нашу Крыжановку написана... Всё верно: не умеем мы ещё хорошо хозяйничать, много рыбы про-

падает; есть и у нас любители рыбку поймать для собственного кармана; верно и то, что наши два колхоза — рыболовецкий и сельскохозяйственный — ещё не дружат по-настоящему, не понимают, что польза от их труда одинаково нужна нашей Родине... Вот в книге много внимания уделяется рыбозаведению, об этом я и в газете читал, а у нас это пока не применяется... Правильная книга, спасибо автору. Вот прочитаю её некоторые товарищи и задумаются; а там, посмотрим, и хозяйничать начнут по-новому.

Так сказал бригадир Николай Степанович Мороз.

Я думаю, что книга Виталия Закруткина «Пловучая станица» выдержала серьёзное испытание.

Она получила признание тех людей, о которых написана.

Елизавета Койрах,
Киев.

«Жатва» Г. Николаевой

Мы, читатели библиотеки Дома офицера, считаем роман «Жатва» новым вкладом в советскую литературу. Нас, читателей, не связанных непосредственно с колхозным производством, роман волнует, заставляет на многое смотреть по-новому. Проблемы коллектива, укрепления советской семьи, роль партийной организации в повседневной жизни, рост сознания советских людей — всё это близко нам.

Вот коротко то, что говорили читатели, собравшись 27 сентября 1950 года в нашем читальном зале:

1. Машковская Лидия Николаевна (1909 г. рождения).

На колхозную тему за последнее время написано много книг, но у Г. Николаевой свой стиль, своя художественная манера, и роман «Жатва» читается с большим интересом. В романе много героев, но они не мешают друг другу, как это бывает в некоторых книгах. Всё хорошо увязано и создаёт цельное впечатление. В поступках героев как будто нет ничего необычного, всё в романе — простое, повседневное, но мы видим, как самой жизнью порождается героизм наших людей.

Некоторые читатели не соглашались со смертью Алёши. Но в жизни так бывает.

Человек целиком отдаётся работе, забывая о себе. Художественно автором смерть мотивирована. В то же время автор показывает, что дело Алёши, его пример — живут. Ведь недаром поле названо его именем!

Наряду с проблемой коллектива Г. Николаева решает также проблему семьи. Но разрешила она проблему семьи, по-моему, не совсем удачно. Василий — передовой человек, член партии, понимающий психологию людей. Он специально не давал знать о себе из госпиталя. И, конечно, он не мог не думать: «а как там жена?» Откуда же у него такая уверенность, что Авдотья должна ждать его бесконечно, его, которого все в деревне считают погибшим? Почему для Василия явилось такой неожиданностью, что Авдотья связала свою судьбу со Степаном? В этом немало повинен сам Василий. Он подходит к той категории людей, которые ещё есть, к сожалению, в нашей жизни: безукоразненный в общественном деле, он легко срывается в личной жизни...

В линии Андрей — Валентина производственная работа противопоставляется семье. Получается, что очень занятые люди не могут хорошо жить в семье, так как им-де мешает работа.

Не понравилось мне отношение Валентины и самого автора к работе районного агронома. Судя по роману, тот, кто работает в районном центре, является как бы чиновником, оторванным от жизни; ведь именно поэтому Валентина не идёт работать в райцентр... Но разве такое мнение верно?

2. Сидорова Алевтина Степановна (1912 г. рождения).

Роман «Жатва» мне очень понравился. Г. Николаева хорошо знает жизнь, о которой пишет. В романе замечательно показана сила коллектива. Коллектив воспитывает Фросю Блинову, которая сначала ведёт себя очень неорганизованно, своевольно. Под воздействием среды колхозников и комсомольской организации она становится хорошей комбайнеркой. Авдотья, когда жила одиноко в семье Бортниковых, ощущала подавленность, у неё не было никаких интересов в жизни, кроме своего личного хозяйства и детей. Только на колхозной работе, в коллективе, она начала расти духовно, поднялась до высот настоящего руководителя. И вот с нею стали считаться, как с большим человеком, она снискала себе уважение и в районе. Особенно внимательно отнеслись колхозники к Авдотье, когда она возвратилась с учёбы и жила одна. Окружающие помогли ей в самые трудные минуты её жизни.

Отрицательной чертой романа, на мой взгляд, является неустроенность семейной жизни Андрея и Валентины. Когда я начала читать роман, я оправдывала Андрея, пославшего свою жену в слабый колхоз для укрепления партийной работы. Это было действительно необходимо, и он не мог тогда поступить иначе. Но в дальнейшем, когда дела в колхозе «Имени 1 мая» наладились, необходимость для Андрея и Валентины жить раздельно исчезла. Но они так и не смогли устроить свою жизнь нормально.

Непонятно также, почему Авдотья остаётся с Василием, хотя она любит Степана. Из-за детей? Но это не оправдывается ходом романа. Девочки любили Степана, и он вполне заменил им отца. Степан и Авдотья могли составить идеальную семью. Василий же как муж и отец оставляет противоречивое впечатление. Он был невнимателен к Авдотье, дол-

гое время не находил даже о чём с ней говорить, по существу он не знал её, поэтому так удивился, увидев, что его жена может хорошо работать и руководить большим сложным делом. Все симпатии читателя, на мой взгляд, до конца остаются на стороне Степана.

3. Ладина Валентина Андреевна (1920 г. рождения).

Г. Николаева в своём романе «Жатва» показала замечательный тип русской женщины. Авдотья Бортникова все силы отдаёт колхозу, детям, семье. В ряде книг советские авторы избегают писать о детях и семье. Здесь же мы с радостью видим семью, в которой очень любят детей. Но я осуждаю Василия за то, что он не помогал жене расти, не поддерживал её в трудную пору, а оценил её только тогда, когда она своими силами добилась больших успехов.

4. Косырева Елизавета Григорьевна (1923 г. рождения).

Автор «Жатвы» хорошо подметил и нарисовал, как растут наши дети. Вот Степанида показывает внучке своё «богатство», но оно не прельщает девочку. Наши дети не думают о готовом богатом наследстве и личном имуществе, их больше интересует «наследство» в масштабах всего общества, всего нашего государства. Ещё один штрих нашей повседневной жизни, по-моему, очень верно переданный писательницей: бабушке Василисе за хорошую работу отдают из колхоза «Белянку», но она возмущается и не берёт её, так как она больше болеет душой за успехи колхоза, чем за своё личное благополучие.

5. Кривенко Мария Николаевна (1908 г. рождения).

Роман «Жатва» написан хорошим, доступным всем языком. Петрович показан человеком, у которого многому можно научиться. Но Валентина, вопреки намерениям автора, во многом мне не понравилась. Её поведение в МТС, когда она там ещё не работала, — это поведение не участкового агронома, а нескромной жены секретаря райкома партии. Очень уж сильно она там «командует».

Я считаю правильным, что Г. Николаева показала смерть Алёши. Этим она говорит: бывают у нас такие скромные люди, которые о себе никогда не говорят,

нигде себя не выпячивают. О них должны заботиться окружающие, но вот — просмотрели. Это поучительный пример, подсазывающий нам, что надо ценить людей, которые ради общего дела забывают о себе, надо заботиться о них.

Мне кажется правильным, что Авдотья осталась с Василием. Этим автор призывает к укреплению семьи, особенно той, в которой есть дети. К тому же ведь жизнь исправляет Василия, к концу романа он становится лучше как муж и отец. И мы верим в его духовный рост.

Из романов на колхозную тему роман Г. Николаевой «Жатва», по-моему, одна из самых лучших книг.

6. Новикова Наталья Никаноровна (1918 г. рождения).

Г. Николаева мало показала личную жизнь Степана Мохова. Мы не видим, как он переживает разрыв с Авдотьей, как он думает устроить свою жизнь, когда надежда на возвращение Авдотьи им уже потеряна. Это недостаток книги.

Г. Николаевой прежде всего надо поставить в заслугу, что она смело и талантливо разрешает острые бытовые вопросы. Они не самодовлеют в романе, но органически связаны с трудовой деятельностью людей. Умно показано то взаимное влияние, та диалектическая связь, которые существуют между бытом людей и их трудом.

К сожалению нам, рядовым читателям, часто приходится сталкиваться с тем, что в произведениях искусства — в литературе и кино, в первую очередь, — полнокровный показ советского быта отсутствует. Литераторы и режиссёры, как правило, избегают показывать «интимную» сторону жизни наших современников. Не считают ли некоторые писатели, что особенности быта не отражаются на труде наших людей, не влияют на трудовую деятельность борцов за коммунизм?

Книга Г. Николаевой как раз и изображает это влияние, взаимную обусловленность труда и быта, производственных успехов и человеческих чувств.

Женщина показана здесь в её новых, советских качествах: качествах бойца за коммунизм. Сила книги в её реалистично-

...Таковы вкратце высказывания читателей на обсуждении романа. Разговоры о «Жатве» идут и на абонементе, при возвращении романа читателями. «Жатва» волнует читателей, её герои по-настоящему близки им.

Был у нас и такой случай: в одной из аудиторий Дома офицера шли занятия на курсах кройки и шитья. Вдруг одна из слушательниц, сидящих сзади, заплакала.

— Что случилось? В чём дело? — начали расспрашивать её соседи.

— Алёшу жалко, — сказала она сквозь слёзы.

— Какого Алёшу?

— Да вот здесь, в романе «Жатва», — показала она на журнал «Знамя», в котором печатался роман...

Литературных героев «Жатвы» читатели воспринимают, как вполне реальных людей, живут их делами, волнуются за них, переживают их неудачи.

По поручению читателей —
начальник библиотеки
ст. лейтенант **Белоногов.**

сти, правдивости. Она в этом смысле намного выше «От всего сердца» Е. Мальцева и «Марья» Г. Медынского. В первой из них для подчёркивания значимости женщины-бойца делается противопоставление её мужчине-бойцу. Это искусственность, книжная надуманность. Разве типично, что истосковавшаяся за годы войны по мужу колхозница Груня оттолкнула его в первый же час встречи только потому, что она в данный момент расходится с мужем в некоторых принципиальных вопросах колхозного строительства? Ведь он не враг. Нарушение правды жизни тут явное. В «Жатве» тоже не совсем правдиво написано, как поступает Ефросинья, когда она «катает» акты на мужа — Петра. Но это частность, эпизод. Что же касается Медынского, то здесь моя личная оценка ещё более резкая. Даётся схема, но нет живых людей. Автор «Марья» — вроде нашего гармониста в санатории: играет человек, растягивает аккордеон, а музыки нет...

Правда, мой сосед по палате, полковник, заявил: «Марья» — вот это книга, получше «Жатвы»!..

Не буду отвлекаться рассказами о моих

спорах с этим полковником, доходивших до ожесточения. Но скажу — над «Марьей» читатель не поплачет, не посмеётся, а вот «Жатва» вызовет и смех и слёзы не у одной тысячи читателей.

Спасибо писательнице за образы женщин — Авдотьи, Валентины, Лены, Ефросиньи, Степаниды. Как живые, стоят они перед глазами. Умно показаны Василий, Степан, «Петрович». Но, на мой взгляд,

они показаны менее убедительно, ярко и выпукло, чем женщины.

Подкупает «Жатва» не только своей искренностью и правдивостью, но и трудолюбием автора, досконально изучившего принципы колхозной жизни, все её особенности и применяемую ныне в колхозах передовую технику (механическую и агротехнику).

Мягков Пётр Степанович.
Ленинград.

«Золото» Б. Полевого

Книга Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» заняла прочное место на полках нашей школьной библиотеки рядом с такими произведениями, как «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Как закалялась сталь» Н. Островского...

Среди многотысячной армии учителей нашей страны не найдётся ни одного, который бы в своей повседневной воспитательной работе среди учащихся в качестве примера мужества, героизма, упорства не привёл бы Мересьева, человека, который преодолел непреодолимое, следуя единственной цели: служить Родине.

Советский учитель, читая новое художественное произведение, прежде всего ищет в нём «зёрна» новой морали, которые он смог бы использовать для коммунистического воспитания детей, для пропагандистской работы среди взрослых. При этом он отбирает те «зёрна», которые дадут, по его мнению, наибольшую «всхожесть».

Именно такие «зёрна» я и искал, читая в журнале «Знамя» новый роман Б. Полевого «Золото».

По своему построению он представляет собой как бы три отдельные повести (спасение драгоценностей, история колхоза «Красный пахарь» и описание партизанского отряда Рудакова), на мой взгляд, неудачно связанные одной сюжетной линией. Каждая из этих повестей сама по себе была бы хороша, но так как две последние только дополняют первую — они теряют свою внутреннюю самостоятельность и целенаправленность, остаются незаключёнными, а первую повесть превращают в длинный, утомительный роман. Причём основные недочёты романа падают не на стержневую повесть — о спасении драгоценностей, а как раз на две другие.

История «лесного лагеря» колхоза

«Красный пахарь» нужна автору, главным образом, для того, чтобы свести Матрёну Рубцову и Мусю Волкову вместе. Вообще говоря, факт существования «лесного лагеря» колхоза вполне правдоподобен, хотя и очень необычен, но поэтому и рассказать о нём нужно было более убедительно. А то кто же поверит, что гитлеровцы, которые тащили последнюю курицу со двора у населения оккупированных деревень, вдруг оставляют без всякого присмотра встретившееся им стадо породистых коров?! Фашисты ни за что не растались бы с таким богатством и если не танк, то пару автоматчиков обязательно оставили бы для сопровождения стада в глубь тыла. Глупость немцев тут ничем не оправдана.

Не веришь и в то, что Игнату Рубцову удастся перевезти сорок стогов сена на расстояние в десять километров, не обнаружив при этом своего лагеря. Наивной кажется попытка изобразить «добренького» эсэсовца в «мёртвой зоне», который, охраняя полонянок, что-то обстреливает ножичком, а когда Муся и Матрёна инсценируют драку, лезет их разнимать. Мотивировка, что он «новичок», ещё больше подчёркивает неправдоподобие этой сцены. Он, как «новичок», должен был особенно вертеться да озираться вокруг — «точно на муравейник без штанов сел». Такой при малейшем беспорядке дал бы очередь из автомата... и всё!..

Но наиболее очевидные ошибки идейно-художественного характера автор допускает, рассказывая о партизанском отряде Рудакова. Ошибки эти начинаются как раз с того момента, когда речь заходит о сокровищах. Как мог умный, волевой и очень предусмотрительный командир отряда Рудаков не выполнить приказа Боль-

шой Земли — доставить драгоценности самолётом? По воле автора Рудаков совершает очень серьёзное, ничем не оправданное преступление. Ведь если бы разведчики наступающей Советской Армии случайно не натолкнулись на группу Николая, то и трое юношей и золото погибли бы исключительно по вине Рудакова. Таким образом, идейную направленность и величие героического подвига юношей автор свёл к нулю: в самом деле, если во всех несчастиях и злоключениях, которые пришлось перенести Мересьеву, виноват был только враг, то во всех тех трудностях, мучениях и лишениях, которые пережили Николай, Муся и Толя, виноватым оказался советский человек, коммунист Рудаков!

Гитлеровцы в романе показаны непомерно глупыми. Зачем понадобилось эсэсовцам оставлять для партизан свободный выход из горящего леса, несколько дней преследовать их, а потом поджигать торфяные болота вокруг отряда, когда они имели возможность сжечь партизан в лесу?

Поход партизан через горящие торфяные земли изумителен. От людей требовалось максимальное напряжение всех их физических и духовных сил. Это могли сделать только люди, беззаветно любящие свою Родину и питающие непримиримую ненависть к врагу, люди сталинской закалки — советские люди! Но и тут автор сам свёл на нет героизм партизан. Оказывается, эсэсовцы совершили точно такой же подвиг. Они тоже прошли через горящие болота, продолжая преследовать партизан.

«— Противник приближается... Но идут медленно, по той же сырой низине, что и мы, вдоль ручья. Свернуть им некуда — кругом горит», — докладывает Николай Рудакову, вернувшись из разведки.

Неправда! Эсэсовцы не могли совершить такой подвиг. Они остановились перед огнём, изумляясь неслыханному героизму

партизан, — вот подлинный финал этого эпизода. Кстати, тогда бы не пришлось автору делать ещё одну, очень грубую ошибку, которой он окончательно опорочил хорошо задуманный и вначале так удачно вылепленный образ Рудакова.

«— Нужны два охотника, хорошо знающие пулемёт, — вновь заговорил Рудаков. — Я говорю об охотниках, потому что придётся держаться до последнего».

Охотников прикрывать отход отряда пришлось много, но настойчивее всех просился тяжело раненный партизан Мирко Чёрный. Он убеждал товарищей и командира: «— ...Какой я, к дьяволу, теперь партизан без ног? Всем обуза, таскай, води меня. Дайте, ребята, жизнь дожить на большой скорости, не обижайте, Мирко советскую власть не подведёт».

На него тяжело было смотреть. Всем хотелось, чтобы он скорее сел, но раненый продолжал стоять, вцепившись ногтями в кору сосны.

— Ладно, будь по-твоему, останешься, — проговорил Рудаков».

Какая жестокость! Как это коммунист может тяжело раненного товарища, на которого «больно смотреть», оставить на верную гибель, не говоря уже о том, что Мирко физически не в состоянии справиться с таким ответственным поручением?

Так одной фразой автор, сам того не желая, опорочил боевую традицию советских партизан. До сих пор нам приходилось читать, видеть на сцене и в кино, как здоровые советские воины, рискуя жизнью, спасают тяжело раненных товарищей, а у Б. Полевого получается наоборот!

Автор должен переработать роман. Прежде всего, основательно сократить его и исправить перечисленные недостатки. Из-за них произведение в значительной мере теряет своё воспитательное значение.

А. Шилов,

учитель сельской школы. Чкаловская область, Люксембургский район.

Я читал раньше «Повесть о настоящем человеке», «Мы — советские люди» и очень обрадовался новому роману Б. Полевого «Золото». Завязка мне понравилась, но дальше я был разочарован. Б. Полевой искусственно задерживает развязку. Он заставил героев таскаться со злополуч-

ным мешком многие месяцы, как в каком-нибудь приключенческом романе.

Не понравилось мне и то, что в книге есть мелодраматизм. Вот маленький пример: «...Не выпуская сружия, она медленно подползает к сосне. Цепляясь за шероховатую кору, поднимается на колени.

Пробует встать и не может, нет сил. Убедившись в этом, она вытягивает руки как можно выше, размахивается и ударом тесака пригвозждает к дереву раскрытую записную книжку с завещанием...»

Примите, уважаемый товарищ Полевой, привет признательного читателя волнующей и захватывающей Вашей новой книги — романа «Золото». Очень благодарен Вам за этот Ваш новый творческий успех.

Я — рядовой читатель, армейский библиотекарь средней квалификации — не берусь толковать (со своими рыхлыми и случайными познаниями в теории литературы) о достоинствах или изъянах Вашего нового романа. Это меня в данном случае и не огорчает: разбор сделают специалисты. От них я узнаю о романе всё, что нужно для моей библиотечной работы и пропаганды Вашего нового романа. От них же узнаете полезное и Вы. И до разбора произведения специалистами моё отношение к роману короткое и ясное: читал «запоем», читал ночью и благодарен автору.

Хочется только сказать Вам, что первые две части читались с меньшим интересом, чем последующие. Когда следишь за описанием пути Корецкого и Маруси Волковой по лесу, чувствуешь Вашу любовь к природе и знание лесного мира. Ваша книга вызывает желание обязательно самому узнать этот мир. Но описание затянуто, решить сам — композиционная ли это неоптимальность произведения или что другое — я не смог...

Во всяком случае, было бы не грешно укоротить многие описания в первой и второй частях. Но это лишь впечатление, а не вывод, всесторонне мотивированный.

Такова суть моих бескорыстных поводов досажать Вам этой корреспонденцией. Заодно, попутно, хочу посвятить Вас и в «корыстные» мотивы. Вот они. Читатели библиотеки нашей части — в некотором роде мои подопечные — в большой обиде на

Советские люди и так прекрасны, и не надо придумывать какие-то необычайности, чтобы приукрасить их — книга от этого не делается интересней: нужна правда.

Борис Лукашин,
ученик 8-го класса, Воронеж.

писателей за то, что в последнее десятилетие почти ничего не написано о процессе воспитания офицера в стенах учебного заведения и о воспитателях будущих офицеров. А «школьный» период в жизни офицера — очень важный этап жизни любого командира вообще и командира победоносной Советской Армии после опыта Отечественной войны — особенно. Фронтные будни воина, офицера показаны литературой щедро. Послевоенные — литература обходит незаслуженно. Эта диспропорция порождает порою у юношей, готовящихся стать офицерами основного рода войск, ложные настроения и такое мнение, будто подлинно важная школа командира — только фронт, а школа в буквальном смысле слова — лишь нечто второстепенное. Вы, товарищ Полевой, выразительно показали в своих книгах простых, обыкновенных советских людей с героикой их будней.

Покажите же в литературе мирные будни будущего офицера пехоты — царицы полей сражений, — такова просьба к Вам от читателей нашей библиотеки. Если такая тема не входит в Ваши творческие планы, то сделайте всё возможное для Вас, чтобы привлечь внимание Союза писателей к этой теме. Показ лучших чувств и качеств будущих советских офицеров и их воспитателей будет важным вкладом писателей в укрепление боеготовности стража интересов Родины — нашей армии. Это ли не благодарная задача!

Таковы «корыстные» мотивы письма этого. Всего доброго Вам, товарищ Полевой! Новых творческих успехов Вам!

Д. Ф. Чмыхало.

«Бессмертная земля» А. Рутко

Куда только не забралась вышка на просторах нашей великой Родины! Им стало тесно на земле Апшерона — основной нефтяной базы страны, и они на металлических ногах шагнули от берегов Баку далеко в Каспий. От Волги навстречу громаде Уральских гор двинулись про-

мысли «Второго Баку» — детища сталинских пятилеток. Вышки появились в песках Туркмении, в садах Западной Украины и Майкопа, в снегах Заполярья, шум бурящихся скважин нарушил извечную таёжную тишину Северного Сахалина.

Повесть писателя Арсения Рутко «Бес-

смертная земля» рассказывает о новом промысле «Второго Баку», о промысле, где бурящихся скважин, пожалуй, больше, чем уже действующих. Автор поставил перед собой хорошую цель — показать новаторские устремления советских людей, великую силу коллектива.

В повести встречаются яркие, хорошие места, живо намечены некоторые конфликты. Это говорит о том, что А. Рутько — способный писатель. Но в целом, на мой взгляд, произведение получилось поверхностное, содержанием своим часто противоречащее замыслу писателя.

...Судьба одного из героев повести Константин Дымов неразрывно, с детских лет, связана с промыслом. Отец его — опытный буровой мастер, сам Константин ещё юношей ушёл в разведочную партию, вырос до старшего геолога промысла. Это много видевший и передумавший человек: в годы войны он был в партизанском отряде, награждён Золотой Звездой Героя. По мысли писателя, Константин Дымов — душа промысла, смелый новатор.

Но читатель не видит Дымова в деле, не ощущает его творческой, дерзновенной работы. Какова цена мимолётным визитам Дымова на буровые, если он умудряется не замечать то новое, что вводят по своей инициативе проходчики недр.

Молодой мастер — бурильщик Раилов — противопоставляется в повести старому мастеру Мохову. Раилов думает об интересах страны, для Мохова же существуют, прежде всего, его узко личные интересы, его слава. Образ мастера Мохова написан сочно, выразительно. В нём обличён человек с родимыми пятнами прошлого, не желающий делиться ни с кем производственными секретами своей бригады. «Центральная фигура жизни — мастер. И не держи своих ворот настежь: душа не заезжий двор», — так поучает бурильщика своей бригады Мохов.

Моральное поражение Мохова происходит закономерно, художественно убедительно. Это — успех писателя. Но тем более удручающее впечатление производит бледный, схематичный образ Раилова. В порывистом, увлекающемся Раилове не чувствуешь умного, глубокого человека, умелого организатора. О Раилове читателю приходится судить по таким мало говорящим замечаниям других героев пове-

сти: «Раилов хороший», «книжку сквозь него читать можно»...

Мохов — индивидуалист, его недоверие к людям понятно. Но почему же мастер комсомолец Раилов сомневается в людях своего коллектива, не верит им?! В бригаде он замечает только двух хороших работников. Поэтому совсем не убедительно, что коллектив бурильщиков, возглавляемый Раиловым, выходит победителем в соревновании.

А. Рутько невольно обедняет образы многих героев «Бессмертной земли». Заведующий промыслом Владыкин — колеблющийся, пассивный человек. В трудную минуту он готов пойти по «лёгкой», преступной дорожке — обмануть государство, обменять нефть на автотранспорт. Главный инженер промысла Полуянов — барчук, эгоист до мозга костей, консерватор, чужающийся всего нового. Бурильщик Бостылев из бригады Раилова — циник, который «ничего дальше женской юбки не видит», Шлыгов — замкнутый, забитый человек... А все до одного члены многочисленной буровой бригады Мохова оказываются настолько слабыми, несознательными людьми, что беспрекословно подчиняются воле своего мастера и скрывают от других рационализацию, благодаря которой коллектив добился большого успеха.

Показ партийного руководства писатель сводит к упоминанию о решении обкома да к общим фразам секретаря горкома партии Балахонова, обращённым к геологу Дымову.

В повести рассказывается история создания «Второго Баку», рассказывается интересно, популярно. Но вот, упоминая имена многих людей, говоря об иностранном нефтяном магнате Нобеле, протянувшем свои хищные руки к Волге, писатель забывает сказать об учёном-большевике академике Губкине, с чьим именем связано открытие большого нефтяного района между Волгой и Уралом!

Многое в повести кажется надуманным. Трудно поверить, чтобы руководители промысла не знали о том, что бригада Мохова ведёт проходку буровой «утяжелённым низом». Ведь для осуществления этого метода нужна специальная тяжёлая труба. Её можно получить лишь через трест-объединение, своими силами такое оборудование не изготовишь. А ведь это

очень важный сюжетный мотив в повести. Рассказывая об уже действующих скважинах нового промысла, автор говорит о том, что они оснащены «насосами-качалками». Прежде всего «насосов-качалок» нет, в нефтяной промышленности существуют станки-качалки, а потом на «Бессмертной земле» — богатейшем новом месторождении, где, как сам автор замечает, дебит одной из скважин в сутки составляет внушительную цифру — 168 тонн, должны быть не станки-качалки, то есть не глубоконасосная эксплуатация, а арматура фонтанно-компрессорного способа добычи. Видно, писатель не изучил как следует работу промысла.

«Залог мира» В. Собко

Илья Эренбург в июне 1945 года в своей статье «Проверено железом» писал: «Я думаю о судьбе мира; ему едва исполнился месяц. Кто знает, как он нам дорог, этот долгожданный младенец! Мы не хотим, чтобы его заспали нерадивые няньки».

Об этом думает весь советский народ, об этом думают все честные люди земного шара, об этом думал Вадим Собко, приступая к работе над книгой «Залог мира», о чём свидетельствует каждая строчка его нужного, хорошо задуманного романа. Показать ведущую и благородную роль Советского Союза в деле создания единой, демократической, миролюбивой Германии — «залога мира» — вот основная мысль романа.

Книга заслуживает внимания не только по важности темы и цели, но и как художественное произведение. Интересно, как автор осуществил свою задачу, воплощая идею «залога мира» в образах живых героев. И тут, как мне кажется, необходимо признать, что не все герои получились живыми, — мы ясно понимаем идею романа, но часто не видим живого человека.

Когда читаешь книгу, порой создаётся такое впечатление, что герой произносит ту или иную фразу не потому, что он хочет или должен сделать это по ходу своих мыслей, должен по своему характеру сказать именно так, а не этак, но потому, что автору нужно высказать ту или иную мысль. Так же порой обстоит дело и с поступками многих героев.

Чтобы показать быстрый рост сознатель-

можно привести много выражений, не делающих чести художественному вкусу автора: «и когда за тысячу километров от Волги на подсохшую, июньскую травку брызнули первые капли русской крови», «погляди — вся земля дымит розовым паром, точно лампада, зажжённая перед солнцем на весёлом празднике жизни, на пороге цветения и радости!» и др.

Вот почему мне кажется, что повесть А. Рутыко, писателя с талантом, — незрелое, слабое произведение.

Л. Полонский,
журналист. Баку.

ности немецкого народа, его молодого поколения, показать, что вернувшиеся из Советского Союза военнопленные остаются физически и духовно здоровыми людьми, способными создавать новую жизнь в демократической Германии, В. Собко посылает бывшего военнопленного, шахтёра Ганса Лянке к микрофону прочитать исторический документ — приветствие товарища Сталина немецкому народу. Очень хорошо! Собрание жителей Дорнау на площади перед ратушей описано кратко и выразительно и является достижением писателя.

Но когда Ганс Линке уже читает приветствие, майор Соколов тихо спрашивает у стоящего рядом с ним Альфреда Ренике: «Кто это?» И тут приходится в недоумении спросить у т. Собко: как это майор Соколов, которого он показывает как ближайшего помощника коменданта Дорнау, майор Соколов, который знает обо всём, что происходит в городе и окрестностях, не знает Ганса Линке — руководителя городской молодёжной организации?!

...Переживания Эдит Гартман и писателя Болера наглядно показывают, что середины, нейтралитета в политических взглядах быть не может: кто не с нами, кто не борется активно за мир и демократию, — тот за войну и поражение Германии! Но очень жалко, что автор психологически не раскрыл важный момент вступления Эдит Гартман в СЕПГ, а поставил читателя прямо перед уже свершившимся фактом. Тут приходится согласиться с «Литературной газетой», которая писала: «...Создаётся впечатление, что в коротких главах-кадрах автор часто не

успевает давать углублённую психологическую характеристику своих героев».

Можно перечислить целый ряд эпизодов, искусственно «втиснутых» в роман, но самым непонятным из них является брак переводчицы Вали с майором Савченко. Какое влияние имеет это «событие» на судьбу Германии и зачем о нём говорить в таком романе? Во всём произведении ровно ничего не сказано о личных переживаниях Вали и Савченко, так зачем нам этот «счастливый конец» их отношений? Получается, что Валя осталась в Германии из-за Савченко, а вовсе не потому, что она осознала историческую миссию, которую выполняет там Советский Союз, а следовательно, и она, как гражданка «великой страны социализма!

В. Собко хорошо показал духовную связь наших людей, находящихся за рубежом, со своей Родиной, их любовь к ней. Именно эта любовь помогает им переносить

все невзгоды и трудности, разлуку с близкими и тоску по своей семье (письма жены полковника Чайки и его размышления).

Хочется ещё сказать, что язык романа не везде хорош, что нередко текст В. Собко невольно вызывает ассоциации с газетной публицистикой, с «Блокнотом агитатора» (смотри, например, стр. 110 и 111 журнала «Знамя» № 9 за 1950 год). «Блокнот агитатора» — вещь бесспорно нужная, но мы ведь имеем дело с художественным произведением и потому вправе требовать от писателя художественной выразительности языка.

Очень досадно, что в хорошем и нужном произведении, которое должно быть переведено на многие языки мира, имеют место очевидные недостатки и недоработки.

С. И. Минкова,
ст. библиотекарь

«Стахановцы» П. Шебунина

Центральной фигурой повести является Дмитрий Артёмов. Кто же такой Артёмов? Он не новичок в цехе. До войны он работал старшим оператором блуминга, был стахановцем, ставил рекорды, слава о нём шла по всему комбинату. Закончив войну капитаном, командиром батальона, Артёмов приходит снова на завод и начинает работать вторым оператором. Потом он снова становится старшим оператором, а в конце повести его назначают заместителем начальника цеха.

Артёмов — передовой рабочий. Он душой болеет за производство, его волнует отставание цеха, и он смело вскрывает недостатки, мешающие цеху идти вперёд. Ему свойственно чувство нового, он всё время совершенствует своё мастерство. Он понимает, что со старыми знаниями в новых условиях работать трудно, и идёт учиться в институт.

В образе Артёмова автор воплощает лучшие черты рабочего новой социалистической эпохи. И всё же образ получился односторонний. Артёмов показан только как производственник. Где бы он ни был, он только и думает о комбинате, о цехе. Больше читатель не узнаёт о нём ничего. Это, безусловно, обедняет образ. Наши передовые рабочие духовно богаче;

кроме непосредственно профессиональных интересов, им свойственны многие другие стремления и увлечения. Духовный мир их широк и обширен, и обеднять его не стоит.

Вызывает возражение то, что Артёмов после возвращения на завод начал работать вторым оператором. Почему он не стал сразу на место старшего оператора, а как новичок присматривается, приглядывается к работе? Ведь П. Шебунин говорит, что уже после часа работы пальцы Артёмова автоматически нажимали на кнопки. Так чего же он ждал? Здесь поневоле приходит в голову мысль, что автор специально заставил Артёмова начать работу вторым оператором, чтобы найти внешний повод показать роль партийной организации цеха и в частности парторга цеха Машина, который, дескать, разглядел Артёмова и направил его на истинный путь. Но это выглядит искусственно.

Другие герои повести обрисованы ещё более схематично, бегло. Правда, лучшие из них работают инициативно, честно и добросовестно, но живых людей за их образами не видно, внутренний мир их не раскрыт. В повести есть и отрицательные персонажи. Это Туколкин, начальник цеха блумингов, и Садовников, старший

оператор блуминга. Туголкин, по словам автора, сковывает инициативу инженеров и стахановцев, боится нового, сам отстал и другим мешает идти вперёд. В этом автор видит главную причину отставания цеха. И здесь, по-моему, писатель допускает большую ошибку, отступает от жизненной правды. Изменившееся сознание наших людей, коллективное руководство, контроль партийной организации — всё это не позволило бы Туголкину сковывать инициативу, мешать идти вперёд. В лучшем случае Туголкин остался бы одинок, превратился бы в генерала без армии, а уж мешать ему не позволили бы: не те времена!

Старший оператор Садовников в погоне за личной славой нарушает технологию, калечит механизмы, и это приводит к крупной аварии. Директор увольняет его, а партийная организация осуждает, хотя никакого решения и не выносит.

Верно ли поступил директор, уволив Садовникова? Нет, неверно. О том, что Садовников нарушал технологию, знали и начальник цеха, и секретарь партийной организации, и директор завода. Порочная практика штурма в последние дни месяца позволяла Садовникову безнаказанно калечить механизмы. Руководители могли раньше пресечь его действия, а не дожидаться, когда случится авария. Следует сказать, что весь процесс осознания Садовниковым порочности его «методов» работы проходит за рамками повести, и это лишает его образ воспитательного значения.

Одно из основных требований, предъявляемых к писателю, — это знание жизни рисуемых им людей, понимание описываемых явлений и правдивое их изображение.

Что сказали бы читатели о повести из колхозной жизни, герой которой изобрёл бы летающий трактор, а героиня довела бы коров изумрудно-зелёной масти? Как бы правдиво ни был бы изображён внутренний мир выведенных в повести людей, как бы выпукло ни были бы очерчены их характеры, ничего, кроме досады на автора, не вынес бы читатель из такого произведения.

Точно так же индустриальная тематика требует от писателя технической грамотности при описании «заводского пейзажа».

Мне кажется, что П. Шебунин распятил своё внимание на мелочи, не смог охватить всего большого материала, который даёт жизнь завода, не сумел выделить из него главное. Отсюда композиционная неслаженность повести. В начале она насыщена событиями, в конце же действие замедляется, появляется беглость в описаниях, в обрисовке характеров.

Автор не увидел истинных причин отставания цеха блумингов. Беда не в одном Туголкине, всё дело в том, что в цехе ослаблена партийно-массовая работа. Это признаёт и сам секретарь партийной организации Машин.

В повести много декларативных речей, но делу они не помогают. Цех блумингов попрежнему остаётся «узким местом». Автор говорит в конце повести, когда партийный коллектив цеха обсуждает новую программу: «Ни в одном выступлении не было и нотки сомнения в том, что план будет выполнен», а у читателя не исчезает сомнение — ему кажется, что это опять только слова...

В заключение мне хочется сказать, что правдиво и полно отразить жизнь и трудовую деятельность советских рабочих, показать организующую, вдохновляющую и направляющую роль нашей партии, профсоюзов, комсомола на производстве — почётная и ответственная задача для писателя, и писать об этом «как-нибудь», делая «скидку» на тему, вещь недопустимая.

Л. Малышев,
студент Высшей школы
профдвижения ВЦСПС.

В противном случае читатель (а читатель ныне пошёл грамотный) потеряет доверие к изображаемым людям и событиям.

Повесть Павла Шебунина «Стахановцы» грешит крупными недостатками. Не вдаваясь в разбор сюжета повести и языка, отметим некоторые «уклонения от истины», встречающиеся на страницах повести.

...На пульт управления блуминга приходит инженер из ООТ и для изучения затраты мускульной энергии прикрепляет к ногам и руке оператора «какие-то диски». Таких приборов для измерения затраты энергии не существует. Для этой цели применяется совершенно другая аппаратура, учитывающая затрату энергии по количеству выделяемой человеком углекислоты (энергия выделяется не только рука-

ми и ногами, но я всем телом). Во-вторых, заводские ООТ'ы не занимаются исследованиями по физиологии труда: этим занимаются институты Министерства здравоохранения. В-третьих, исследования по физиологии труда принадлежат к числу наиболее сложных и трудоёмких; поручить эту работу молодому, только что кончившему вуз инженеру, каковым автор рекомендует Марину, — нелепо.

Описывая работу оператора блуминга, автор несколько раз настойчиво говорит о чёрных блестящих кнопках, нажимом которых приводятся в движение механизмы, о «клавиатуре контроллеров» и пр. Никаких «кнопок» на посту управления блуминга нет. Рычажки командо-аппаратов качаются вперёд и назад, их не нажимают, как кнопки; оператор никогда не «смотрит напряжённо на контроллеры», он смотрит только на стан, а рукоятки находит без усилий, «на память». Автор утверждает, что для прокатки одного слитка оператор должен восемьсот раз включить механизмы; это составит десять включений в секунду, что достижимо только для пулемёта.

Так же неблагоприятно в повести обстоит дело с заводской географией. Начальник цеха, входя в цех и видя, что возле агрегата «Ильгнер» возятся рабочие, с тревогой думает: «Полетела валки». Агрегат «Ильгнера» находится не вместе с блумингом, а в отдельном помещении, и подумать так начальник цеха, конечно, не мог.

Описание аварии (поломки муфты) лаяно неверно. Поломка происходит не во время прокатки, а на холостом ходу. Это, вероятно, произошло для того, чтобы избавить «положительного» Артёмова от взыскания за аварию и взвалить вину на «отрицательного» Садовникова. Однако можно было бы достигнуть тех же результатов без такого грубого насилия над правдоподобием.

Незнание автором жизни и работы металлургического завода обнаруживается на каждом шагу. Например, вальцовщик Широков, вдохновлённый удачной работой, внезапно «впервые поверил в свои силы» и при явном сочувствии автора дал обещание обучиться работе на кране. Однако квалификация вальцовщика значительно выше квалификации крановщика; эта про-

фессия на металлургическом заводе считается ведущей, почётной и значительно лучше оплачивается. Автор «объясняет» желание Широкова тем, что ему «выпало в бригаде только подгонять ломом идущие по рольгангу слитки», но ведь работа вальцовщика состоит вовсе не в этом.

В начале повести мы познакомились с молодым инженером Мариной. Она работает в ООТ, недовольна работой. Через несколько месяцев мы встречаем её в роли диспетчера металлургического комбината. Как совершилось это превращение, автор нам не сообщает, но нелепость его очевидна, так как диспетчер должен прекрасно знать всё хозяйство завода; это работа, требующая большого опыта, которого Марина не могла приобрести за несколько месяцев работы в ООТ. Автор несколько раз настойчиво подчёркивает, что Марина работает одна. Это неверно: с диспетчером всегда работает оператор-подручный.

Фантазирует П. Шебунин и при описании изобретения Артёмова, призванного произвести революцию в прокатном деле и дать большую экономию металла. Оказывается, для того, чтобы уменьшить количество обрезков, достаточно подавать при прокатке слиток в валки всё время передним концом. Почему? Длина обрезаемого конца полосы зависит исключительно от наличия в слитке усадочной раковины, а не от того, каким концом подаётся слиток. Артёмов предлагает установить задние манипуляторы блуминга на поворотном круге и после каждого прохода поворачивать манипулятор. Но манипулятор весит 350—400 тонн, то есть в три-четыре раза больше мощного паровоза; он установлен на солидном фундаменте. Вращать его да ещё с огромной скоростью (в доли секунды) — невозможно. А если бы и удалось чудом осуществить такое вращение, оно было бы бесполезно, так как прокатываемая полоса гораздо длиннее манипулятора, и конец её оказался бы далеко впереди стана. Неясно, что заставило автора приписывать своему герою такое невыполнимое и бессмысленное предложение, когда наши изобретатели-металлурги стязаны и разрешают реальные задачи, одну интереснее и эффективнее другой.

Поверхностное знакомство с жизнью за-

вода сказывается в десятках деталей. Так, директор утверждает проект кантователя, когда изготовление его по существу уже закончено и идёт контрольная сборка. Так, изобретатель подписывает чертежи уже после утверждения их директором. Так, измерительная аппаратура для домен и мартенов изготавливается в «цехе механизации» (такового на металлургических заводах не существует, а аппаратура изготавливается приборостроительными заводами)...

Печать спешки лежит на всей повести. Металлургический институт находится, по словам автора, в Кировском районе, но автор заставляет Марину и Артёмова, выйдя из института, пройти несколько ки-

лометров в буран, чтобы попасть... опять в Кировский район.

При расчистке путей оказывается, что Марина... не умеет держать в руках лопаты — навык, который каждый ребёнок приобретает с детства.

Любовь Марины и Артёмова изображена так схематично, что в неё трудно поверить. Мы внезапно узнаём, что после нескольких вечеров, проведённых в читальном зале, Артёмов «нетерпеливо» приглашает Марину в ЗАГС. Остаётся неизвестным, когда успело возникнуть и созреть между ними чувство любви, да и было ли оно вообще.

В. Бурьянов,
инженер-металлург,
Москва.

«Волгины» Г. Шолохова-Синяевского

Роман Шолохова-Синяевского «Волгины» с первых же строчек взволновал меня. Удивительно, как правдиво и тонко автор передаёт психологию девушки (Тани) Ведь именно так, а не иначе случается в жизни! И мне кажется, что сила несомненно-го таланта автора — именно в этом умении правдиво раскрыть внутренний мир своих героев. Его герои — это самые обыкновенные люди, которые как будто ничего «особенного» не делают. Это, я бы сказала, будничные советские люди, которых встречаешь на каждом шагу, среди которых живёшь. Они не «выращены» писателем дома, за письменным столом; они целиком взяты из самой действительности, из жизни. Всё так просто и ясно. Никакой надуманности. Книга захватывает сразу.

Но надо сказать, что не все образы нарисованы с одинаковой силой. Наряду с прекрасными образами Тани, Виктора, Алёши есть в романе очень уж серенькая фигура Юры. Непонятно, что это за человек? Чего он хочет? К чему стремится? Неужели единственная его цель — жениться на Тане? Если даже и так, то дальше, дальше-то что он собирается делать? Обычно, когда читаешь книгу, у тебя невольно складывается к отдельным героям своё личное отношение. Их любишь, не любишь, жалеешь, презираешь... Но к Юрию не знаешь даже как отнестись: любить? — за что? Не любить? — опять-таки

за что? Жалеть? — да, но за что? Он получился каким-то «лишним». От него не холодно и не жарко. Он никому не нужен.

Больше всего меня подкупает то, что автор не навязывает читателю своего отношения к героям. Он не говорит, что его герои — хорошие, красивые, здоровые люди. Это вытекает из повествования само собой. Автор даёт возможность читателю делать свои заключения. С интересом следишь, как жизненные обстоятельства, сама наша жизнь изменяют человека, я бы сказала, видишь, как выковывается хорошая, здоровая, советская молодёжь.

Недавно я читала повесть В. Добровольского «Трое в серых шинелях». Книга не плохая, но у меня она ассоциируется с пасмурным, дождливым днём. Ни одного ясного, солнечного часа.

Роман же «Волгины» пропитан каким-то здоровым, светлым оптимизмом. После такой книги хочется жить...

Да, но что случилось дальше? Где маленький Алёша? Чем занята теперь Таня? Где Виктор? Роман обрывается на самом интересном месте. Ведь самое интересное впереди! Я думаю, Шолохов-Синяевский в скором будущем обрадует своих читателей второй книгой. Нельзя же оставлять своих героев на полпути!

Нателла Нонаташвили,
студентка Грузинского Государственного
театрального института, актёр-
ского факультета, 2-го курса,
Тбилиси.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Шумский. Горький — борец за мир и демократию. — **М. Козьмин.** Об этом нельзя забыть. — **Л. Дмитриев.** Кровью сердца. — **С. Ильичёва.** Детство в берестяном чуме. — **А. Твардовский.** Роберт Бернс в переводах С. Маршана. — **Я. Исаде.** Правда кузнеца Игнотаса. — **К. Линёв.** Мирные лодки. — **Н. Капица.** Альманах чкаловских писателей. — **И. Чуканов.** «Квадрат карты». — **Е. Романова.** О литературе сегодняшней Америки. — **Ю. Карасёв.** Молодые поэты Албании. — **А. Мацкин.** Уроки Станцлавского.

БОРЬБА ЗА МИР. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ИСТОРИЯ

Б. Леонтьев. Фашистский облик правящей клики США. — Кандидат географических наук **Е. Лунашова.** США движутся на Север. — **Л. Безыменский.** Легенда о Роммеле и её проповедники. — Кандидат исторических наук **М. Юрьев.** Великая крестьянская война в Китае.

ПРАВО

Кандидат юридических наук **М. Савицкий.** Орган советской юридической мысли.

ТЕХНИКА

Академик **А. Винтер.** Настольная книга гидроэлектростроителя. — **Г. Марагин.** Плоды безответственности.

ФИЗИКА

Профессор **Б. Кузнецов.** С. И. Вавилов о советской науке.

ХИМИЯ

П. Воскресенский. Великий композитор и химик.

ГЕОГРАФИЯ

Ф. Харченко. В преображённом крае.

ВОЕННОЕ ДЕЛО

Полковник **А. Набоих.** Брошюры о Сталинской авиации.

БИОЛОГИЯ

Ю. Милёнушкин. Великий русский биолог И. И. Мечников.

Литература и искусство

Горький — борец за мир и демократию

Годы не отдалили от нас Горького. Как боевой наш современник, он вместе с нами сражается сегодня за мир, изобличая врагов человечества, пытающихся разжечь пламя новой губительной войны. С исключительной силой ощущаешь это, читая сборник произведений М. Горького «За мир и демократию», подготовленный к печати Институтом мировой литературы Академии наук СССР. Это подлинно боевая и актуальная книга, проникнутая твёрдой верой в победу прогресса и культуры, в светлое будущее трудового человечества.

М. Горький. «За мир и демократию». Очерки, памфлеты, статьи, речи, письма. Подготовка текста под общим руководством проф. **Б. В. Михайловского.** Издательство Академии наук СССР, М. 1951.

Горьковское изображение империалистического разбоя является наиболее ярким и глубоким во всей мировой художественной литературе. Никому из художников слова не удалось с такой силой обнажить уродство и бесчеловечие социальных отношений, основанных на власти денег, как это сделал Горький. Живы и вечно будут жить произведения гениального пролетарского писателя, в которых с блестящей художественной логикой обоснована и доказана неизбежность гибели буржуазного мира.

Горький разоблачал капиталистических хищников всех стран, но с особой силой и неутомимой страстностью обрушивал он свои сокрушительные удары на имперна-

листическую клику Америки, издавна отличающуюся ненасытным колониальным аппетитом и безудержным стремлением к военным авантюрам.

В эпоху первой русской революции, посетив США, Горький создал ряд сатирических произведений, в которых убийственно метко охарактеризовал Америку, как царство Жёлтого Дьявола, а хищный американский империализм — как передовой отряд международной реакции, претендующий на неограниченное господство в мире. Под фальшивой вывеской «долларовой демократии» буревестник социалистической революции уже тогда разглядел варвара, мечтающего растоптать и уничтожить многовековую культуру народов мира. И Горький не преминул показать отвратительный лик этого злобного врага человечества. В образе американского миллионера, изображённого в памфлете «Один из королей республики», он представил типичную фигуру империалистического колонизатора и захватчика. «Философия» этого пират-толстосума сконцентрирована в его словах: «Жизнь виднись правильно только с высоты горы золота».

Читая сегодня памфлет «Один из королей республики», нетрудно узнать в этом «короле» — американском миллионере — современных воротил Уолл-стрита — фордов, морганов и рокфеллеров с их маниакальным стремлением установить огнём и мечом своё мировое владычество, с их чудовищными планами порабощения народов.

В своих очерках и памфлетах о стране доллара Горький показал, что уже в начале нынешнего столетия, задолго до появления зловещей фигуры Гитлера, в буржуазной Америке получили широкое распространение подлая расовая «теория» превосходства «чистокровных янки» над другими народами и проповедь особой «исторической» миссии американского капитала. С беззастенчивой наглостью вкоронованные короли США заявляют: «Америка — лучшая страна мира... Американцы — лучшие люди земли. У них больше всего денег. Никто не имеет столько денег, как мы. Поэтому к нам скоро придет весь мир...».

Почти полвека прошло со времени написания этих строк. И мы видим, что аргументы сегодняшних слуг Жёлтого Дьявола не стали за это время более умными,

хотя по сравнению со своим предшественником, изображённым Горьким, нынешние заокеанские экспансионисты отличаются ещё большей алчностью и наглостью. Они не ждут, когда к ним «придет весь мир», а сами прокладывают дорогу в чужие страны, превращая их — с помощью продажных буржуазных политиков — в свои вотчины и военные базы.

С гневным сарказмом высмеял Горький в своих антиимпериалистических памфлетах растленных идеологов доллара — буржуазных учёных, философов, писателей, журналистов, которые впряглись в колесницу Уолл-стрита и ограждают его интересы ясквозь лживыми и лицемерными словами.

Разоблачение Горьким преступлений капиталистического мира становилось особенно яростным, когда он писал о захватнических вождениях империалистов. Слово великого писателя приобретало необыкновенную разящую силу, как только речь заходила об авантюристах и провокаторах, разжигающих братоубийственные войны.

Двадцать лет назад, отвечая на вопрос французского журнала: «Следует ли опасаться ещё одной войны?», Горький иронически писал, что буржуазные правительства Америки и Европы, затрачивая огромное количество народных средств на производство вооружения, делают это отнюдь «не для украшения гостиных» и не «для целей мирного туризма». «Чего хотят короли промышленности, снова организовав всемирную бойню?» — спрашивал Горький. И отвечал: «Они воображают, что война поможет им выскочить из тисков экономического кризиса, созданного анархией производства, идиотизмом страсти к наживе».

Эти строки воспринимаются как написанные в наши дни.

Горький разъяснял, что магнаты капитала стремятся и готовы воевать постоянно, ибо война выгодна для них, она позволяет им наживать бешеные прибыли. Поэтому-то США заняты непрерывной гонкой вооружения. Горький писал: «...В предвидении новой бойни промышленники Соединённых Штатов запасают, повидимому, горы военного снаряжения, чтобы скорейшим и блистательнейшим образом искалечить и уничтожить миллионы людей. «Дело так дело; дело стоять не может,

не так ли?» — А ведь доказано, что самое прибыльное дело — это обращать людей в калек и покойников». Как верно и значительно звучат эти слова сегодня, когда маньяки атомного разбоя ведут особенно лихорадочную гошку вооружений, рассчитанных на «тотальное» истребление миллионов людей.

Срывая маски с лица буржуазных «миротворцев», Горький подчёркивал, что капиталисты, не заинтересованные в сокращении вооружения, являются злейшими врагами трудового человечества. В знаменитой статье «С кем вы, «мастера культуры»?», написанной в 1932 году, писатель гневно заявлял: «Буржуазия отвергла проект Союза Советов о всеобщем разоружении, и одного этого вполне достаточно, чтобы сказать: капиталисты — люди социально опасные, они готовят новую всемирную бойню». С полным правом можно отнести эти горьковские слова к Трумэну, Ачесону, Бевину и другим империалистическим политикам, которые пуще огня боятся советских предложений о запрещении атомного оружия и сокращении вооружений.

Сейчас орды вооружённых янки, возглавляемые Макартуром, бесчинствуют на корейской земле, уничтожая мирное население. И в эти дни особенно ощущается разящая правда горьковских слов о том, что капиталисты США являются самым противным и бесчеловечным племенем. Это, — утверждает Горький, — настоящие преступники, человекоподобные звери, ничего общего не имеющие с людьми.

Горьковская публицистика отличается не только целеустремлённостью, но и конкретностью. Великий писатель называл врагов мира по именам, указывал их точные адреса. И поныне на лбах многих здравствующих поджигателей войны и их идеологических прислужников горит клеймо позора, поставленное на них Горьким. Разве устарела та предельно точная характеристика, которую дал он матёрому врагу демократии Черчиллю? Горький писал о нём: «Вот, например, Уинстон Черчилль, он, конечно, уже не человек, а что-то неизмеримо худшее, он — весьма характерен как существо, у которого классовый признак выражен совершенно идеально, в форме его консерватизма и звериной ненависти к трудовому народу Союза Советов».

Целая галерея двуногих зверей запечатлена в публицистических произведениях Горького. Мы встречаем здесь имена Гитлера, Черчилля, Гувера, Пуанкаре, Муссолини, Форда, Чемберлена, Моргана, Макдональда, Херста, Рокфеллера и других представителей «международной шайки явных преступников». Всех этих людей с «инстинктом хищников» писатель иронически рекомендовал выслать на Соломоновы острова, к родственным им антропофагам. И люди доброй воли во всём мире верят и знают: наступит время, когда человечество изолирует себя от империалистических атаманов и накажет их строго, по заслугам, как советовал Горький — величайший гуманист современности.

Уничтожающе оценил Горький и позорную, иезуитскую роль буржуазных интеллигентов и правосоциалистических лидеров, с холуйским усердием помогающих поджигателям войны в их чёрном заговоре против социализма и демократии. Одним из наиболее мерзостных явлений капиталистического мира Горький считал службу социал-демократов у буржуазии. Обращаясь к труженикам зарубежных стран, он напоминал, что своим предательством социал-демократы помогают капиталистам развязывать новые международные конфликты. Писатель требовал, чтобы вместе с буржуазией ответственность за бедствия войны несли цепные собаки империализма — правые социалисты. Можно представить себе поэтому, какие сокрушительные удары обрушил бы Горький, если бы он дожил до наших дней, на правосоциалистических приспешников Уолл-стрита, на всех шумажеров, эттли и бевинов, помогающих заокеанскому фашизму возродить гитлеровскую армию в Западной Германии и подготовить «пушечное мясо» для организуемой им войны против СССР и стран народной демократии.

Горький видел, однако, не только чёрные силы реакции, готовящей новые разрушительные войны, но и неисчислимые силы мира, ту могучую народную рать, которая сплотилась в борьбе против империализма. Произведения Горького, разоблачающие звериный облик капитализма, проникнуты верой в прекрасное будущее народов мира. Писатель социалистической зры был полон оптимизма, ибо верил в то, что силы мира победят мрак, реакцию,

войну. Этой уверенностью полны все публицистические произведения Горького. Вот что он писал, например, в одной из своих первых послереволюционных статей «Советская Россия и народы мира», посвящённой международному митингу трудящихся в Петрограде 19 декабря 1918 года: «...важно и знаменательно чувство пламенного доверия к рабочей России, глубокое понимание исторической её роли, выраженные двадцатью тремя ораторами.

Индус и кореец, англичанин, перс, француз, китаец, турок и все остальные говорили, в сущности, на одну и ту же тему, — на тему об империализме, который, зарвавшись в жадности своей до безумной и позорной бойни, захлебнулся кровью народов, опьянённых им, и вырыл сам себе могилу, обнажив до ужасающей ясности пред всем рабочим миром бесчеловечие и цинизм свой... Во всех речах звучала уверенность в том, что Россия, волею истории взяв на себя роль передовой армии социализма, с честью и успехом выполнит эту трудную, великую роль и увлечёт за собою все народы к созданию новой жизни».

Горький превосходно знал, каковы истинные пути борьбы с империалистическими грабителями и фашистами. Как настоящий солдат революции, он мужественно отстаивал и разъяснял сущность сталинской политики мира и дружбы между народами. Миролюбие советской державы, вытекающее из природы социализма и революционной сущности советского уклада жизни, Горький неизменно противопоставлял империалистической агрессии и разбою. Когда иностранные журналисты обратились к Горькому с вопросом: что можно сделать для избежания новых войн, он ответил предельно ясно и убедительно: «То же самое, что сделано в Союзе Советов».

Слово Горького сплачивало и активизировало массы, направляло их энергию на борьбу против империалистической войны. Какой убеждённостью исполнены его произведения, доказывающие неизбежность победы сил демократии! «Вы в силах не допустить войны, — вдохновенно писал Горький, обращаясь к рабочим и крестьянам капиталистических стран. — Вы и все люди, которые ещё способны понять бессмысленность и преступность новой общеевропейской войны, можете ударить по

рукам авантюристов. У вас для этого есть все средства».

С особой силой звучат сегодня призывы Горького к честным интеллигентам всех стран примкнуть к прогрессивному лагерю. Знаменитые горьковские статьи-обращения «С кем вы, «мастера культуры»?», «Амстердамскому антивоенному конгрессу», «Делегатам антивоенного конгресса», «Антифашистскому конгрессу в Чикаго», «Конгрессу защиты культуры» — это классические образцы публицистики, оказавшие большое влияние на сознание зарубежной интеллигенции. Известно, что именно под воздействием Горького многие из деятелей науки и культуры за границей усвоили принципы социалистического гуманизма, стали верными друзьями советской страны.

Горячий отклик Горького вызывало каждое проявление народного гнева в странах капитала, каждая классовая битва рабочих и крестьян. С исключительным интересом и восхищением следил великий писатель за освободительной войной китайского народа, к которому всегда питал огромную симпатию. Около двух десятилетий назад, в статье «По поводу чуда» (1934), впервые публикуемой в настоящем сборнике, Горький заявлял: «...едва ли удав японского империализма способен задушить и проглотить такого слона, каким является Китай. Вероятно, он встанет поперёк горла жадной рептилии быстрее и с большим успехом, чем становится безоружная Индия поперёк горла Англии». В тот момент, когда эти строки были написаны, вооружённые силы китайского народа одерживали свои первые победы. Тем более справедливы они теперь, после окончательной победы китайского народа.

Наблюдая сейчас за растущей агрессивней монополистического капитала США, за всеми ухищрениями экспансионистов Америки и их верных холопов в буржуазных странах Европы, мы вспоминаем слова Горького, в которых ярко отражена несокрушимая мощь советского народа. «...Тот факт, что международные мерзавцы желают нас втянуть в войну, — отмечал великий писатель ещё полтора десятилетия назад, — тревоги не должен возбуждать и не возбуждает» С чувством гордости и любви писал Горький о деятельности большевиков, возглавляющих строительство нового, коммунистического мира: «Это — люди вы-

сочайшего напряжения творческой энергии, ученики, соратники и друзья Ленина. Они во главе с Иосифом Сталиным, человеком могучей организаторской силы, дружески воспитывают в бывшей «варварской» и «нищей» стране нового, культурного хозяина-социалиста». В каждой своей строке, посвящённой советской стране, Горький предстаёт перед нами как пламенный патриот социалистического Отечества, непоколебимо уверенный в полной победе великого дела коммунизма.

В сборник М. Горького «За мир и демократию» вошли не только такие широко известные произведения, как «Город Жёлтого Дьявола», «Прекрасная Франция», «О бесчеловечии», «Если враг не сдаётся. — его уничтожают», «Ураган, старый мир разрушающий», «Пролетарский гуманизм», но и ряд статей, речей и писем великого писателя, которые не были известны широкому кругу читателей. Часть из них была когда-то опубликована в периодической печати, но не включалась в сборники произведений Горького, другая часть — это впервые публикуемые тексты, извлечённые из архива Горького. К последним относятся статья «По поводу чуда», «Беседа» и «Предисловие к изданию романа «Мать» на французском языке».

Материалы для рецензируемого сборника отобраны правильно, однако неполно. Почему-то отсутствуют в нём памфлеты «Король, который высоко держит своё знамя», «Жрец морали», «Хозяева жизни», остро разоблачающие главарей реакционного лагеря и их пособников. В книгу не

включён и ряд других дореволюционных произведений Горького, имеющих прямое отношение к поднятым в ней вопросам. Мы имеем в виду известное письмо Горького к Сун Ят-сену в октябре 1912 года, статью «Хроника заграничной жизни» (1912), рассказывающую о росте национально-освободительной и демократической борьбы в Индии. В рассматриваемый сборник следовало бы также включить набросок Горького «Государства Западной Европы перед войной», в котором глубоко вскрыты причины и цели империалистической войны 1914—1918 гг. Вызывает сожаление отсутствие горьковского рассказа «Вездесущие» (1913), рисующего образы борцов за народную демократию в капиталистических странах, в частности в Америке.

Из публицистика Горького советских лет стоило бы включить в сборник статью-памфлет «О музыке толстых», ярко характеризующую разложение буржуазной культуры.

Полтора-два десятилетия отделяют нас от того времени, когда было написано большинство произведений, вошедших в горьковский сборник «За мир и демократию». Стремительно двигалась история человечества в эти годы, менялись судьбы многих народов Европы и Азии. Но слово Горького со всей силой звучит и ныне, зовя честных людей всех стран к неустойчивой борьбе с империалистической реакцией во имя всеобщего мира и благоденствия народов.

А. ШУМСКИЙ.

★

Об этом нельзя забыть

Сегодня, когда мы с чувством гнева следим за кровавыми преступлениями американских империалистов в Корее, за их попытками развязать войну против Советского Союза и стран демократического лагеря, в нашей памяти с особенной отчётливостью встают события 1918—1920 годов, когда зарвавшиеся англо-американские интервенты посягнули на территорию молодой Советской России.

Николай Никитин. «Северная Аврора». Роман. «Знамя» №№ 10, 11, 12 за 1950 год. Главный редактор В. Кожевников.

Этим прежде всего обуславливается тот живой интерес, с которым советские читатели обращаются к новому роману Николая Никитина «Северная Аврора». В нём оживает история мужественной борьбы советских людей против английских, американских и французских захватчиков на севере России.

Роман Н. Никитина значителен своей правдивостью, ярким воспроизведением исторических событий. Автор показывает и боевые действия красноармейского отряда, посланного партией на защиту Онежского

края; и контрреволюционный переворот в Архангельске, организованный белогвардейцами и эсерами под руководством послов стран Антанты; и героическую борьбу отряда Павлина Виноградова на Северной Двине против наступающих англо-американских войск; и ужасную судьбу советских патриотов, заключённых интервентами в каторжную тюрьму на острове Мудьюг; и деятельность большевистского подполья в оккупированном Архангельске; и партизанскую войну, которую с огромным мужеством вели крестьяне, временно подпавшие под иго иностранных захватчиков.

Кульминационной сценой романа является приезд товарища Сталина в Вятку для организации отпора армии Колчака и войскам интервентов. Именно в этот приезд, гениально разгадав планы противника, товарищ Сталин организовал наступление советских войск на Восток и на Север. Показывая осуществление этого стратегического замысла вождя, писатель нарисовал яркие картины взятия Шенкурска, панники среди белогвардейцев и интервентов, эвакуации ими Архангельска и торжественного вступления в город Красной Армии.

В романе Н. Никитина много действующих лиц: архангельские рабочие, крестьяне, красноармейцы, партизаны, моряки; белогвардейцы, иностранные оккупанты, дипломаты. Среди них есть и действительные участники описываемых событий. Это, с одной стороны, герои гражданской войны — заместитель председателя Архангельского облисполкома Павлин Виноградов и военком Андрей Зенькович, а с другой, — послы Америки и Англии — Фрэнсис и Линдлей, английские генералы Пуль и Айронсайд, русские белогвардейские генералы Мюллер и Марушевский, глава «правительства Севера» эсер-Чайковский, агент англо-американской разведки Чаплин-Томсон и другие.

Правдиво отразить прошлое — это значит найти и показать в нём те тенденции, которые имели развитие в дальнейшем. Поэтому исторический роман всегда связан с современностью. Эта связь отчётливо чувствуется, когда читаешь «Северную Аврору».

В романе отражена борьба мира социализма, вызванного к жизни Великой Октябрьской социалистической революцией, с миром насквозь прогнившего, преступного

капитализма, возглавляемого кровавым американским империализмом. Описывая действия интервентов на севере России, автор выявляет характерные черты американско-английского империализма, который, прикрываясь лицемерными фразами, стремится поработить другие народы, проявляя при этом неслыханную жестокость.

Читая роман «Северная Аврора», мы убеждаемся, что методы грабежа и насилия у американско-английских правителей три десятилетия назад были те же, что и теперь: пресловутая «помощь», демагогические вопли о «большевистской опасности» и кровавая расправа с «свободолюбивыми народами», создание марионеточных правительств и т. п.

В романе Н. Никитина наглядно показано, как созревали и вынашивались планы интервенции против Советской России и кто был их вдохновителем. Писатель нарисовал отвратный облик тогдашнего военного министра Англии Уинстона Черчилля. Это настоящий «жрец капитализма», как он сам себя назвал, матерый поджигатель войны, питающий звериную ненависть к советскому народу. В беседе со своим консультантом Мэрфи Черчилль развёртывает план военной интервенции в России: наступление англо-американских войск с севера на Петроград и Москву, соединение их с армиями Колчака и чехословаков, движущимися с востока. И всё это — без объявления войны, под предлогом «помощи» России против немцев, якобы во имя поддержки «законных» правительств Чайковского, Колчака и прочих черчиллевских марионеток. Но и сам Черчилль является лишь исполнителем воли американско-английского империализма. За его спиной мы видим другую фигуру — елейного «миротворца», президента Соединённых Штатов Америки Вильсона, лицемерно заявлявшего о своей «любви к русскому народу» и о невмешательстве в его дела, а на самом деле готовившего грабительские планы расчленения России.

Роман «Северная Аврора» разоблачает ложь американских дипломатов и буржуазной прессы о том, что американцы будто бы не принимали активного участия в интервенции. Он показывает, что истинными вдохновителями интервенции были именно американские империалисты. В разговоре с Черчиллем Мэрфи сокрушённо замечает:

«Мы становимся кондотьерами Америки. Америка—гегемон?» И Черчилль признаёт, что Англия, по сути дела, идёт на поводу у американских миллиардеров. «— Да, — сказал Черчилль, цинично улыбаясь. — Другой позиции нет и не может быть. Американцы мечтают о полном захвате России... Я это знаю. Они мечтают путешествовать из Вашингтона в Петроград без пересадки... Но на этом деле заработаем и мы!»

В то время как в Лондоне происходил этот откровенный разговор, в Мурманске уже хозяйничали английские войска, высадившиеся там якобы для защиты северной России от немецких субмарин, а в Архангельске — под руководством американского посла Фрэнсиса — подготавливался контрреволюционный переворот. Писатель рисует полные драматизма картины сопротивления рабочих Архангельска белогвардейским бандитам, имевшим за своей спиной военные корабли Антанты. К власти пришло правительство эсера Чайковского — верного лакея заатлантических хозяев. Об этой связи Чайковского с иностранными правительствами прямо говорит в романе организатор переворота, американский агент в английском мундире Чаплин: «Местное правительство создаётся по инициативе американцев. Им это нужно для формы: они не сами приходят, а их зовут на помощь».

Н. Никитин сумел убедительно и ярко показать, что интервенция на Севере была проведена по плану, намеченному англо-американским штабом, что англичане и американцы выступили в качестве палачей и душителей русской свободы. Ленин назвал американскую интервенцию наглым, преступным, грабительским, служащим обогащению американских капиталистов, нашествием на Россию. Писатель нарисовал правдивую картину этого нашествия — картину, которая вызывает у советских читателей гнев и возмущение. И в этом одно из основных достоинств его романа.

В кровавых преступлениях, которые творили интервенты на русской земле, выявилось истинное лицо хвалёной американской «демократии». Один из персонажей романа, простой русский крестьянин Тихон Нестеров, побывавший в оккупированных районах, рассказывает комиссару Фролову о тех зверствах и бесчинствах, которые там

творятся: «Страшно живёт народ, воем воем... Коли видал бы, как вчера батожами лупили мужиков, баб гнали из Шолашей... Малых, больших! Старух, детей... Как село палили! Последнее зерно не дали взять мужикам, всё пожгли, злодеи. Картошку пожгли даже, господи... Как ревело всё: и голодные люди и голодная, перепуганная скотина; как последнее всё рушилось и падало. А ироды с ружьями стоят, покрикивают... Тут камни расплакались бы и треснули бы от горя. На веки веков проклятие! Стоял я и думал: «Люди мои, дорогие мои люди!».. Неужели забудете, неужели простите?»

Нет, об этом нельзя забыть! Мы помним, что тысячи русских людей пали в 1918—1920 годах жертвами американских палачей. Эти садисты не только расстреливали свои жертвы, они мучили их, издевались над ними, жгли их на угольях, обливали водой и замораживали, закапывали в землю живыми.

Описания англо-американских зверств в романе Н. Никитина основаны на подлинных фактах и документах. Писатель приводит доклад начальника союзной контрразведки генералу Айронсайду. «Мы, наконец, всюду установили свой порядок», — так начинается этот доклад, озаглавленный: «Архангельск. Июнь 1919 года. Тема: расстрел арестованных». Итак, «порядок», установленный англо-американской военщиной на временно оккупированных ею территориях, — это «порядок» расстрелов, «порядок» чудовищных надругательств над местным населением.

В романе показано, с какими целями отправлялись в Россию американские грабители. Типичные черты американской военщины воплощены в образе полковника Роулинсона, который перед отъездом в Россию цинично заявил: «Война — это грабёж, грабёж — это деньги, уж там-то, в этой богатейшей стране, я сделаю свой первый миллион». А вот другой образ, проходящий через весь роман, — образ американского дипломата посла Фрэнсиса. И он тоже выше всего ставит наживу. Он не любит никого и ничего, кроме себя. «Даже Америку он не любил. Он был связан с ней только деловыми узами, она всегда представлялась ему чем-то вроде большой коммерческой конторы». Писатель изображает Фрэнсиса рассматривающим карту

России: «Морщинистая рука Фрэнсиса двинулась за пределы Архангельской губернии, к хребту Урала. Пальцы миновали Сибирь и остановились на Приморье. Леса, руды, все несметные богатства русской земли неудержимо влекли к себе Фрэнсиса». Мечты Фрэнсиса о присоединении богатств России полностью совпадают с планами расчленения страны, которые были предложены Вильсоном в начале 1918 года.

Планам этим не суждено было сбыться. Народы Советской России поднялись на защиту завоеваний Октябрьской революции. Окружённые сочувствием всего прогрессивного человечества, они вышибли зарвавшихся интервентов из пределов своей родины. Борьба против англо-американских захватчиков — это борьба за новую Россию, за страну будущего, которая проложит миру путь к социализму, — таков лейтмотив романа «Северная Аврора». В нём хорошо передан пафос боёв за новый мир, охвативший широчайшие слои русского народа.

Революционной романтикой овеяны образы молодого матроса — коммуниста Черкизова, юноши необыкновенной душевной чистоты и непоколебимого мужества; лихого разведчика Валерия Сергунько, беззаветно преданного делу революции; бесстрашного партизана Якова Макина; горячего командира джигитов Хаджи-Мурата, наводившего ужас на интервентов и белогвардейцев. Стойким и закалённым бойцом за Советскую Россию становится бывший студент Андрей Латкин. Из беспартийного интеллигента, которому всё в мире представлялось зыбким и ненадёжным, он вырос в коммуниста, вожака народных масс. Латкин прошёл трудный и славный путь в отрядах Павлина Виноградова и комиссара Фролова. Взятый в плен, он на «острове смерти» — в Мудьюгской крепости — был принят в коммунистическую партию. Бежав из плена, Латкин попал в сформированную белым правительством часть и сумел организовать переход этой части на сторону Красной Армии.

Революция вызвала к жизни могучие силы. Народ, познавший радость свободной жизни без купцов и помещиков, грудью встал против интервентов, восстанавливавших старые порядки. Война против них стала войной народной, войной отечественной. Возглавить этот всенародный патри-

стический подъём была призвана партия большевиков. В романе Н. Никитина раскрыта теснейшая связь большевистской партии с народом, её организующая и направляющая роль. Образы коммунистов — Павлина Виноградова и комиссара Фролова — являются наиболее яркими образами романа.

Н. Никитин показывает стойкость большевиков, их негнбимую волю к победе. Даже в каторжных условиях Мудьюгской тюрьмы большевики не сдавались, не падали духом. И там продолжала свою работу партийная организация. Со страниц романа большевики встают перед нами как люди особого склада, особой закалки. «Сколько же душевных сил должно быть в человеке, чтобы вынести всё это? — думал Андрей, глядя на изуродованного палачами боцмана Жемчужного. — Нужно иметь крепкую, закалённую душу большевика... Обыкновенные люди не перенесли бы таких мучений. А мы, большевики, всё вынесем. И победим... Обязательно победим!»

Сила романа Н. Никитина в том и состоит, что ему превосходно удалось показать, как была завоёвана победа и почему потерпели позорный провал планы англо-американской интервенции на севере нашей родины. Ленин и Сталин сразу определили нависшую над Архангельском опасность. Они разоблачили предательство председателя Мурманского Совета — Юрьева, ставленника иуды-Троцкого. Они организовали крепкую оборону северного края. В своём «Письме к американским рабочим» Ленин заклеил американо-английских империалистов как современных рабовладельцев и ярых врагов советского народа. В романе выпукло показано огромное значение этой замечательной ленинской статьи для советских людей, для народов всего мира. «Да, — с волнением думал Фролов, поднимаясь с койки и подходя к окну. — Это письмо необходимо нам, как воздух... Для жизни необходимо... и не только нам... всему человечеству».

Одним из лучших мест романа является сцена беседы товарища Сталина с комиссаром Фроловым. Товарищ Сталин вместе с Ф. Дзержинским был направлен ЦК РКП(б) выправить дела на Восточном фронте, развалившемся под ударами колчаковских армий в результате предатель-

ских директив Троцкого. Товарищ Сталин не только добился перелома на Восточном фронте, он гениально разгадал стремление интервентов соединить Северный и Восточный фронты и дал приказ начать наступление на Шенкурск, которое открыло путь к освобождению Архангельска.

Н. Никитин рисует эпизоды наступательных боёв Красной Армии. Взятие Шенкурска, который интервенты назвали «Северным Верденом», определило крах авантюры Вильсона и Черчилля.

В конце романа снова появляется этот человеконенавистник. В исступлении мечется он по кабинету, излагая Мэрфи свой новый план интервенции, интервенции чужими руками — руками малых государств, граничащих с Советской Россией.

Но и этот план был вскоре разгадан нашими вождями. В марте 1919 года в газете «Известия» появилась статья товарища Сталина «Резервы империализма», где он разоблачал лицемерные заявления Ллойд-Джорджа и Вильсона о «допустимости» переговоров с большевиками — переговоров, под флагом которых велась подготовка новой интервенции. Карта Черчилля снова была бита...

Разложение армии интервентов, её отступление под натиском советских войск, эвакуация Архангельска, восстание в городе, организованное подпольной большевистской организацией и торжественное вступление в город красных войск — таковы заключительные сцены романа Н. Никитина. В них переданы мощь и непобедимость народа, отстаивающего свою свободу, — непобедимость революции.

Писатель показывает, что борьба советских рабочих и крестьян за освобождение своей родины являлась борьбой за мир, за возможность строительства новой жизни.

Знаменателен разговор Андрея Латкина с Павлином Виноградовым во время передышки между боями. «А ты не думал о том, что надо строить новый универси-

тет, советский? Кто его будет строить? — спросил Виноградов. — Да, строить надо, — тихо сказал Андрей. — Но это уже будет потом... А сейчас мне пора идти... Скоро в разведку. Сейчас надо драться, чтобы потом строить новый, советский университет». Кончились бои на Севере, Архангельск стал снова советским, и в конце романа бывший студент-математик Андрей приступает к мирному труду — он уезжает строить новый, советский университет.

«Северная Аврора» — это историческая хроника, художественная летопись, повествующая о том, как была разгромлена англо-американская интервенция, как на севере России победила советская власть. Поэтому в центре внимания автора — исторические события, борьба советского народа за освобождение своей родины. Этим объясняется и композиция романа, действие которого следует за реальным ходом военных действий на Севере. Этим объясняется и обилие действующих лиц и эскизность, незавершённость многих из них. Однако бледность отдельных сцен и персонажей не мешает читателю с напряжённым вниманием следить за основным ходом сюжета, за развитием исторических событий, которому подчинены все изобразительные средства и приёмы писателя. Например, картины северной природы в романе — это не фон, на котором развёртывается действие; они связаны с размышлениями героев о будущем родного края. Само заглавие романа связано с явлением северной природы — северными зорями, названными в старину «северной Авророй» и символизирующими обновление края.

Победа советского народа над интервенцией на Севере России — победа, которой посвящён роман Н. Никитина, является величественным историческим примером, укрепляющим нашу уверенность в том, что и новые попытки посягнуть на страну социализма потерпят крах так же, как потерпели они его и тридцать лет назад.

М. КОЗЬМИН.

Кровью сердца

История сохранит имена мужественных борцов за свободу и независимость народов, против угнетения и рабства. Среди этих имён по праву займёт место имя талантливого украинского литератора Александра Гаврилюка.

Выходец из бедняцкой крестьянской семьи одного из сёл украинского Полесья — самого убогого, доведённого до полной нищеты района западноукраинских земель, находившихся до 1939 года в составе капиталистической Польши, — А. Гаврилюк уже в юные годы начал активную революционную борьбу как неустрашимый подпольщик, пламенный пропагандист большевистских идей.

Пилсудчики с помощью фашистского террора пытались уничтожить молодого революционера, сломить его железную волю. А. Гаврилюка много раз бросали в тюрьмы и, наконец, заключили в страшный концлагерь Берёза Картузская. В течение нескольких месяцев поэт-борец подвергался чудовищным издевательствам и пыткам в этом аду.

Но ничто — ни пытки, ни истязания, ни провокации полицейских шпииков не сломили юношу. Он наладил контакт с наиболее стойкими из заключённых, окружая братской заботой каждого, кто до конца оставался верным своему делу. Он глубоко презирал так называемых «декларантов» — мелкобуржуазных слюнтяев и троцкистских выродков, подписавших декларацию об осуждении коммунизма.

Беззаветная преданность великим идеям коммунистической революционной борьбы помогла А. Гаврилюку выдержать тяжёлые испытания лагеря смерти, из которого он был выпущен досле отбытия срока под нажимом общественного мнения. Но скоро поэт-коммунист снова заключили в Берёзу Картузскую. На сей раз его спас от верной смерти освободительный поход Красной Армии в сентябре 1939 года. Александр Гаврилюк переехал во Львов, где принимал активное участие в литературной и общественной жизни. Погиб он вместе с другим западноукраинским писателем-революционером — автором извест-

ного романа «День отца Сойки» Степаном Тудором от одной из фашистских бомб, сброшенных на Львов в первый день войны.

Творчество А. Гаврилюка неразрывно связано с его благородной жизнью. Его стихотворения, рассказы, повесть «Берёза» отражают не только настроения и чувства писателя. В них описаны отдельные эпизоды из его жизни, они являются подлинными страницами биографии.

А. Гаврилюк за свою короткую тридцатилетнюю жизнь, сознательные годы которой прошли в тюрьмах и концлагере, написал сравнительно немного. Но каждое его произведение имеет значительную ценность и пропагандистскую силу. Сейчас на Украине закончена работа по собиранию и изучению творчества писателя-революционера, и выход в свет полного собрания его произведений будет важным событием в литературной жизни.

Недавно на русском языке вышла книга «Избранное» А. Гаврилюка. Единственный упрек можно сделать издателю: слишком ограничено оно размер сборника, в результате чего в него не вошли рассказы А. Гаврилюка, имеющие несомненную познавательную и художественную ценность, его замечательный сатирический памфлет «Паны и паньчя над «Кобзарём», а также ряд других произведений.

В сборник включена автобиографическая повесть «Берёза», поэмы «Песня из Берёзы», «Львов» и несколько стихотворений.

Повесть «Берёза» близка к написанному позже знаменитому «Репортажу с петлей на шее» Юллуса Фучика. Эти произведения объединяет общность идей и чувств их авторов, непоколебимая вера в народ, в его победу, ненависть и презрение к фашистским палачам. Вот характерные размышления героя этой повести:

«Можно ли стать таким твёрдым, чтоб выдержать и не поддаться? Арестованный знает: можно. Можно выдержать и не поддаться везде. — эту великую правду добыл пролетариат всего мира в десятилетиях своей борьбы, на следствиях «третьей степени», в застенках охранки, сигуранцы, дефензивы. Выдержать, не предав, можно всегда: боль имеет свои границы, —

Детство в берестяном чуме

Эту книгу нельзя читать без волнения. Она волнует, как и сама жизнь, описанная в ней. — страшная, беспросветная жизнь угнетённого, обречённого на вымирание, но мужественного и жизнелюбивого народа.

«Слово арата» — повесть о детстве тувинского писателя Салчак Тока. Достоинство её не только в правдивом и искреннем описании фактов биографии писателя, но и в той силе художественного обобщения, которую приобретают в повести эти факты. Личная судьба Тока и его семьи воспринимается как судьба целого народа. Автор раздвинул рамки жанра автобиографической повести и создал произведение, рисующее дореволюционное прошлое Тувы — маленькой, затерявшейся в горах страны, носившей презрительную кличку «Урянхай» — «Оборванья».

События и герои показаны в книге через восприятие ребёнка, от лица которого ведётся повествование. Эта одна из наиболее сложных литературных форм, требующая профессионального мастерства, использована автором очень умело. Раскрытие человеческих характеров, изображение событий, окружающей обстановки через детское восприятие не только не помешало писателю в его стремлении к широкому раскрытию темы, но придало повествованию взволнованность, искренность и непосредственность.

Книга «Слово арата» отличается свежестью, новизной, художественным своеобразием. В ней явственны связи с традициями советской литературы; они — в реалистическом изображении мира, в умении писать о прошлом с позиций современности, с высоты настоящего.

Трудно представить себе более трагическую участь, чем та, на которую был обречён тувинский народ в дореволюционном прошлом. Веками он подвергался разбою и насилию. В течение долгих лет трудящиеся Тувы — батраки и бедняки-араты (скотоводы) — были зажаты в тиски национального гнёта и чудовишной эксплуатации.

Батрак-арат был лишён не только человеческого звания, но подчас и самых необ-

ходимых условий для жизни — жилья, пищи, одежды.

«В те годы арат-бедняк не смел держаться прямо, а должен был ходить с полусогнутой спиной, с повисшими, как плети, руками, готовый к земному поклону». В этом лаконичном, но выразительном описании внешнего облика бедняка писатель удивительно точно показывает, до какой степени угнетения, бесправия, рабской покорности были доведены баями, чиновниками, местными князьками трудящиеся Тувы.

С большой реалистической силой рисует Салчак Тока картины безысходной нищеты, на которую была обречена его семья. Не было тёплого жилья, одежды, постоянной работы. Суровые зимние месяцы большая семья Тока проводила в маленьком и холодном берестяном чуме, сделанном руками его матери. Сквозь щели просачивалась вода, проникали ветер и стужа. Постелью служили еловые ветки и трава, одеждой — изодранные звериные шкуры. «Жили мы здесь. — вспоминает Тока, — как лесные зверушки... К концу зимы мы избегали смотреть друг на друга, — такой жуткий вид был у нас». Семья Тока постоянно кочевала с одного места на другое в поисках работы и хлеба, но голод, холод и издевательства преследовали её всюду.

Большое место в книге уделено образу тувинской батрачки Тас Баштыг — матери писателя. Бесправная, придавленная нищетой, тяжёлым трудом, лишившаяся даже собственного имени, эта маленькая, хрупкая на вид женщина мужественно боролась за существование своих пятерых детей. Через всю свою обездоленную жизнь пронесла она веру в силы своего народа, в его будущее. Этой верой проникнуты лучшие страницы повести. В образе Тас Баштыг нашли своё воплощение стойкость, выносливость, жизнелюбие тувинского народа, его горячее стремление к свету, «к новому закону, защищающему бедных».

В том, как автор рисует образ своей матери, наиболее сильно проявились особенности его творческой манеры. Умение сжато, но драматически описать событие; пластически показать человека; передать национальное своеобразие характера — таковы эти особенности.

Создавая портрет Тас Баштыг, автор

Салчак Тока. «Слово арата». Авторизованный перевод с тувинского А. Тэмира. Редактор Е. Златова. «Советский писатель». М. 1950.

избегает каких бы то ни было украшательства, словесного излишества. Скупыми, даже суровыми, но правдивыми красками рисует он её внешность, раскрывает богатство её души. «Настоящего имени у нашей матери не было. Соседи по арбану называли её Тас Баштыг — Лысоголовая, потому что на голове у неё не было ни одного волоса. Может быть, её так наказали в молодости за непослушание какому-либо чиновнику, а может быть, она перенесла какую-нибудь страшную болезнь. Об этом мать ни разу не говорила нам. Мы тоже не спрашивали. С этой кличкой она прошла всю жизнь.

...Мать была некрасива: ростом маленькая, спина сгорбленная... Но она была женщина умная, сноровистая в каждой работе, из всех трудностей находила выход и вынесла нас на своих руках из многих испытаний». В этой краткой, но динамичной характеристике — не только реалистический портрет, но и рассказ о всём жизненном пути человека. О многом Салчак Тока умеет сказать немногими словами. «С этой кличкой она прошла всю жизнь». Эта фраза, эта деталь говорит читателю больше, чем иные длинные и подробные описания.

Подлинным драматизмом проникнуты сцены книги, в которых показана неравная борьба слабой бесправной женщины с властью имущими, её неистребимая ненависть к угнетателям.

Жизнь явилась суровой школой для маленького Тока. Он был свидетелем страшных издевательств, которым подвергалась его мать. Сам он с десятилетнего возраста, так же как и его сёстры и братья, начал тяжёлую подневольную жизнь батрака. За горсть просынных высевок, за миску кислого молока мальчик вынужден был выполнять тяжёлую физическую работу. Но годы батрацкой жизни принесли Салчак Тока не только горести и лишения, они наполнили новым содержанием его жизнь. Он научился любить своих друзей — таких же бедняков, каким был он сам, и ненавидеть врагов — баев и кулаков. В дружбе с тувинскими и русскими батраками Тока приобретает новые качества — в нём развиваются чувство товарищеской солидарности, сознание единства и общности интересов трудящихся в их борьбе с угнетателями.

Через всю книгу проходит тема дружбы тувинцев с русскими людьми, чьи образы обрисованы писателем с большой теплотой и любовью. Эта тема раскрывается в тяге Тас Баштыг к местам, заселённым русскими поселенцами, в дружбе Салчак Тока с русским мальчиком Ваней Родиным, от которого маленький тувинец перенимает навыки культурного обихода, в том внимательном, подлинно человеческом отношении, которое впервые ощутил на себе Тока, живя в семьях русских крестьян-бедняков, бежавших в Туву от произвола помещиков.

Большое впечатление производят на мальчика рассказы Веденея Сидорова о сильных и мужественных людях, борющихся за освобождение народа. Этот простой русский человек, много повидавший на своём веку, умел вселять в сердца людей надежду на лучшую жизнь. От Веденея мальчик узнал о революционных событиях в России, о новых людях — красных партизанах. Всё это оставило глубокий след в сознании подростка, заставило его смелее смотреть на окружающий его мир, всё чаще и чаще задумываться над тем, почему под ясным и голубым небом его родины так тяжко живётся честным труженикам:

Так формируется характер героя повести, который из тёмного, забитого батрака постепенно становится сознательным борцом за освобождение народа.

Всё то, что описано в повести «Слово арата», пережито и выстрадано её автором. Это придаёт книге глубокую эмоциональность, особую убедительность и достоверность. Писатель хорошо знает жизнь, быт и нравы дореволюционной Тувы. Знание это — в бытовых зарисовках, в живом, образном языке, в изображении природы, в каждой детали. Поэтому читатель не найдёт здесь банальных экзотических описаний. В повести чувствуется стремление писателя раскрыть характер народа, его горести и радости, его чаяния и надежды, его пробуждение к новой жизни. Изображение быта и нравов подчинено в книге раскрытию характеров тёмных, обездоленных людей, постепенно прозревающих и становящихся в ряды борцов за народное счастье. Тема политического прозрения людей, обогащённых опытом революционной борьбы русского народа, — одна из основных тем повести.

В книге «Слово арата» много мрачных страниц, полных горести и страданий, но, несмотря на это, автор сумел придать ей оптимистическое звучание. Оно — в жизнеутверждающей идее, в светлой, мажорной концовке книги, в многочисленных описаниях природы. Зримые и выразительные, подлинно поэтические, проникнутые горячей любовью к родному краю, — эти описания не являются, однако, для автора самоцелью. Эти коротенькие лирические отступления помогают писателю наиболее полно раскрыть психологическое состояние героя, его чувства, его отношение к тому или иному событию.

Таким лирическим отступлением является описание зимней ночи и начинающегося дня перед решающими боями партизанского отряда, в ряды которого вступает Тока. Радостное, ликующее состояние юноши, нашедшего, наконец, своё место в жизни, выливается в восторженное описание ночного неба, покрытых инеем скал, берёзо-

вой рощи. «Дивная ночь! Я не забуду её торжественной тишины. Такой и должна быть ночь перед первым боевым крещением, когда человек идёт отстаивать своё право свободно жить на земле».

То, что описано в этой книге, относится к прошлому тувинского народа. Повесть заканчивается событиями 1919 года — началом гражданской войны в Туве. С тех пор в стране произошли огромные изменения. Великая Октябрьская социалистическая революция освободила тувинский народ от вековой кабалы и открыла перед ним путь к новой, свободной жизни. Ныне Тува является автономной областью РСФСР. Маленький тувинский народ вошёл в социалистическую семью равноправных и свободных народов Советского Союза. Возрождённый к творчеству, он создаёт новую культуру. Салчак Тока своим первым крупным произведением «Слово арата» кладёт начало тувинской прозе.

С. ИЛЬЧЕВА.

★

Роберт Бёрнс в переводах С. Маршак

Обозначение «перевод» в отношении поэзии всегда в той или иной мере отталкивает читателя: оно позволяет предполагать, что имеешь дело с некоей условной копией поэтического произведения, именно «переводом», за пределами которого находится недоступная тебе в данном случае подлинная прелесть оригинала. И есть при этом другое, поневоле невзыскательное чувство читателя — готовность прощать переводу его несовершенство в собственно поэтическом смысле: уж тут ничего не поделаешь — перевод! Был бы только он точным, и на том спасибо.

Однако и то и другое чувство могут породить лишь переводы известного убогоформального, ремесленного толка, избыток которых, к сожалению, не убывает со времён возникновения этого рода литературы и до наших дней включительно.

Но есть переводы другого ряда, другого толка.

Русская школа поэтического перевода, начиная с Пушкина и Жуковского и кон-

чая современными советскими поэтами, даёт блистательные образцы творческого «усвоения» родной речью большинства лучших явлений поэзии иных языков. Эти переводы прочно вошли в богатейший, разнообразнейший фонд отечественной поэзии, стали неразличимыми в ряду её оригинальных созданий и вместе с ними составляют её заслуженную гордость и славу.

И нам даже не всякий раз приходит на память, что это переводы, когда мы читаем или слушаем на родном языке, к примеру, такие вещи, как «Будрыс и его сыновья» Мицкевича (Пушкин); «Горные вершины...» Гёте и «На севере диком...» Гейне (Лермонтов); «На погребение Джона Мура» («Не бил барабан перед смутным полком...») Вольфа (И. Козлов); песни Беранже (В. Курочкин) и многие, многие другие.

При восприятии таких поэтических произведений, получивших своё, так сказать, второе существование на нашем родном языке, мы меньше всего задумываемся над тем, насколько они «точные» в отношении оригинала.

Допустим, я, читатель, не знаю языка оригинала, но данное произведение на рус-

«Роберт Бёрнс в переводах С. Маршак». Вступительная статья М. Морозова. Редактор И. Миримский. Гослитиздат, М. 1950.

ском языке волнует меня, доставляет живую радость, воодушевляет силой поэтического впечатления, и я не могу предположить, что в оригинале это не так, а как-нибудь иначе, — я принимаю это как полное соответствие с оригиналом и отношу признательность и восхищение к автору перевода так же, как и к автору оригинала, — они для меня как бы одно лицо.

Словом, чем сильнее непосредственное обаяние перевода, тем вернее считать, что перевод этот точен, близок, соответствует оригиналу.

И, конечно, наоборот: чем менее иллюзии непосредственного, самобытного произведения даёт нам перевод, тем вернее будет предположить, что перевод этот неправилен, далёк от оригинала.

О книге «Роберт Бёрнс в переводах С. Маршака» хочется прежде всего сказать, что эти переводы обладают таким очарованием свободной поэтической речи, будто бы Бёрнс сам писал по-русски да так и явился без всякого посредничества перед нашим читателем.

И наш советский читатель уже успел узнать и полюбить и запомнить многое из этой книги, представляющей собрание поэтического наследия Р. Бёрнса, задолго до её выхода в свет, по первоначальным публикациям переводов С. Маршака в журналах и отдельных его сборниках. Это — классическая баллада «Джон Ячменное Зерно», гимн труду и воле к жизни и борьбе людей труда — борьбе, поэтически уподобленной бессмертной силе пронзательства и плодотворения на земле. Это — гордые, исполненные дерзкого вызова по отношению к паразитической верхушке общества строки «Честной бедности» или «Дерева свободы» — непосредственного отклика на события Французской революции конца XVIII века. Это — нежные, чистые и щемяще-трогательные песни любви, как «В полях, под снегом и дождём...» или «Ты меня оставил, Джемми...». Это восхитительный в своём весёлом озорстве и остроумии «Финдлей» и, наконец, эпитафии, острие которых вполне применимо и в наши дни ко всем врагам трудового народа, прогресса, разума, свободы.

И понятно, что тот успех, который приобрели переводы С. Маршака из Бёрнса в широких кругах советских читателей, объясняется не только поэтическим мастер-

ством их исполнения, о чём будет ещё сказано, но и, прежде всего, самим выбором оригинала.

Роберт Бёрнс (1759—1796) — удивительное и редкое явление европейской поэзии. Сын шотландского крестьянина и сам крестьянин, слагавший свои стихи большею частью за работой в поле, он — живое и яркое свидетельство огромной духовной творческой силы народа, блистательно проявившейся в области литературы ещё тогда, когда занятие ею было исключительной привилегией людей из нетрудовых классов. И вот этот фермер-бедняк, живший в эпоху аграрно-промышленного переворота, несшего крестьянству разорение и гибель, человек, сведённый нуждой в цветущих годах в могилу, своим творчеством составил национальную гордость Шотландии, — творчеством, явившимся одной из ярких и своеобразных страниц мировой поэзии.

Самоучка из безвестной деревушки полубезвестной маленькой страны, подавленной в своём государственном и культурном развитии владычеством англичан, он сумел подняться до вершин современной ему культуры, развить в себе непримиримый пафос политического борца, выразившего свободолобивые стремления народа, его веру в будущее, в торжество правды и справедливости.

Но верю я: настанет день, —
И он не за горами. —
Когда листья волшебной сень
Раскинется над нами.
Забудут рабство и нужду
Народы и края, брат.
И будут люди жить в ладу.
Как дружная семья, брат!
(«Дерево свободы»)

Он совсем не таков, каким его пытались представить буржуазные биографы и историки литературы, снисходительно отводящие ему место этакого неприятельного идиотика сельской жизни, смиренного «поэта-пахаря», писавшего «преимущественно на шотландском наречии». Бёрнс — народный певец, поэт-демократ и революционер, он дерзок, смел и притязателен, и его притязания — это притязания народа на национальную независимость, на свободу, на жизнь и радость, которых единственно достойны люди труда.

Он дорог и близок нам, людям иной эпохи и иного строя жизни, этими чертами

своего поэтического облика: глубоким патриотизмом, открытой ненавистью и презрением к вершителям судеб народа в классовом обществе — тунеядцам, надутым ничтожествам, облечённым громкими титулами, ханжам и мракобесам в сутанах и рясах — и глубокой, преданной любовью к народу, горячим участием в его бедах и нуждах, готовностью отдать душу за его счастье.

Он дорог и близок нам и своей поэтикой, являющей замечательный образец демократизма формы, гармонического слияния средств подлинно народной поэтики с мастерством высоко развитой литературы, опирающейся на опыт мировой классики.

Советскому поэту на основе достижений отечественной классической и современной лирики удалось с несомненным успехом довести до читателя своеобразие бёрнсовской поэзии, исполненной простоты, ясности и как бы врождённого изящества. Переводы С. Маршака выполнены в том поэтическом ключе, который мог быть угадан им только в пушкинском строе стиха, чуждом каких бы то ни было излишеств, строгом и верном законам живой речи, пренебрегающей украшательством, но живописной, меткой и выразительной.

Небезынтересно было бы проследить, как развивался и совершенствовался «русский Бёрнс» под пером различных его переводчиков, как он по-разному выглядит у них и какими преимуществами обладают переводы С. Маршака в сравнении с переводами его предшественников. Позволю себе здесь взять наудачу только один пример из «Джон Ячменное Зерно». Вот прозаический перевод первой строфы баллады: «Три великих короля торжественно поклялись, что Джон Ячменное Зерно должен умереть». А вот как звучит эта строфа у М. Михайлова, вообще говоря, замечательного мастера, которому, между прочим, принадлежит честь одного из «первооткрывателей» Бёрнса, в русском переводе:

Когда-то сильных три царя¹
Царили заодно
И порешили: «Сгинь ты, Джон
Ячменное Зерно!»

Очевидно, что лучше бы вместо «царей» были «короли», что неудачно и это вынужденное «зерном» — «заодно»; слова, заклю-

чённые в кавычки, по смыслу — не решение, не приговор, как должно быть по тексту, а некое заклинание. Да и «порешили» не совсем подходящее слово в данном контексте. Кроме того, М. Михайлов рифмует через строку (вторую с четвёртой), и это обедняет музыку стрфы.

У Э. Багрицкого:

Три короля из трёх сторон
Решили заодно:
— Ты должен сгинуть, юный Джон
Ячменное Зерно!

Здесь — «короли» вместо «царей», но что они «из трёх сторон» — это попросту не по-русски, неловко, выражение допущено ради рифмовки; «заодно» здесь приобрело иное, чем у М. Михайлова, правильное, звучание; формула же решения королей выражена недостаточно энергично, лишними словами выглядят «должен» и «юный», хотя, казалось бы, слово «должен» в точности соответствует оригиналу. Кстати сказать, весь перевод Э. Багрицкого неудачен, и дело не только в отдельных неточностях либо неловкостях. Э. Багрицкий подменил в балладе пафос утверждения бессмертия народа, его неукротимой жизненной силы, так сказать, абстрактно-важническим пафосом пива, пафосом «жизнепривития» вообще.

У С. Маршака:

Трёх королей разгневал он,
И было решено,
Что навсегда погибнет Джон
Ячменное Зерно.

Здесь ни одно слово не выступает отдельно, оно цепко связано со всеми остальными, незаменимо в данном случае. А какая энергия, определённая, музыкальная сила, отчётливость и в то же время зазывающая недосказанность вступления! С. Маршак не просто «переводил» строфу, пугливо озираясь на оригинал, а создавал её на основе оригинала, озабоченный тем, что будет вслед за этой строфой, — она влечёт за собой последующие.

Может показаться, не слишком ли скрупулёзно и мелко это рассмотрение наудачу взятых четырёх строчек и считанных слов, заключённых в них. Но особенностью поэтической формы Бёрнса как раз является его крайняя немногословность в духе народной песни, где одни и те же слова любят, позтораясь, выступать в новых и

¹ Разрядка мол. — А. Т.

и необходимости соответствующих исправлений в последующих изданиях. Могут же у нас быть книги, не нуждающиеся в последующих доработках, могут и должны быть. Но я хочу указать С. Маршаку на недоработки в его превосходной книге, а как раз, если можно так выразиться, на переработки в отдельных, правда, единичных случаях. Это следствие, конечно, его предельной тщательности, беспокойного, неусыпного стремления совершенствовать стих. Но есть такая украинская поговорка: «Стругав, стругав, та й перестругав».

Одно из лучших стихотворений Бёрнса «Джон Андерсон» у С. Маршака в прежних изданиях его переводов звучало так:

Джон Андерсон, когда с тобой
Делил я хлеб и соль,
Я помню, локон твой густой
Был чёрен, точно смоль...

Очень хорошо. И читатель уже успел привыкнуть к этим стихам. Но С. Маршак, вновь обратившись к ним, надо полагать, решил, что ещё не добился в ритмическом рисунке полного соответствия с оригиналом. И вот в новых изданиях мы видим «Джона Андерсона» в таком стихе:

Джон Андерсон, мой друг, Джон,
Подумай-ка, давно ль
Густой, крутой твой локон
Был чёрен, точно смоль...

Кажется, что это какая-то типографская ошибка, но нет — и дальше всё стихотворение так же перекалечено ритмически. Может быть, это и точно в отношении оригинала, но как стихи на русском языке — это стало явно хуже. Хотелось бы, чтобы автор вернулся к прежнему варианту и избавил книгу, которая вся от начала до конца читается и поётся радостно и непринуждённо, от этого диссонанса.

С. Маршаком сделано большое литературное и политическое дело. Его переводы

Бёрнса — новое свидетельство высокого уровня культуры, мастерства советской поэзии, и они — её неотъемлемое достояние, в одном ряду с её лучшими произведениями. Можно не сомневаться, что ни в одной стране мира великий народный поэт Шотландии не получил до сих пор такой яркой, талантливой интерпретации.

Во вступительной статье к рецензируемой книге М. Морозов сообщает о письме некоего Лайонэля Хайля, напечатанном в лондонской газете «Таймс», в котором он объявил Бёрнса «непонятым» с точки зрения англичанина и потому «второстепенным» поэтом, ограниченного, «регионального» значения, не дальше пределов своей страны. Это вздорное, невежественное утверждение вызвало бурю возмущения на родине Бёрнса. Шотландская печать указывала на то, как популярен Роберт Бёрнс в Советском Союзе, где имеются переводы его стихов на русском, грузинском и украинском языках, и в частности отмечала переводы С. Маршака.

Это было несколько лет назад, когда С. Маршаком были переведены ещё только немногие стихотворения Бёрнса. Ныне, с окончанием этого поэтического труда по воссозданию бёрнсовской поэзии на русском языке, шотландцы с ещё большим основанием и правом могут ссылаться на популярность Бёрнса в СССР, на признание и любовь к нему у широких слоёв советских читателей.

Книгу «Роберт Бёрнс в переводах С. Маршака» можно считать серьёзным вкладом в дело культурного сближения и общения народов путём обмена нетленными ценностями культуры, искусства, литературы. А это дело в наши дни — дело борьбы за самое дорогое для человечества, борьбы за мир во всём мире.

А. ТВАРДОВСКИЙ.

★

Правда кузнеца Игнотаса

В течение многих лет буржуазные историки старательно фальсифицировали

А. Гудайтис-Гузьявичюс. «Правда кузнеца Игнотаса». Авторизованный перевод с литовского К. Горбуновой и Н. Паншиной. Ответственный редактор И. Гурвичюс. Государственное издательство художественной литературы Литовской ССР, Вильнюс, 1950.

или вовсе замалчивали революционные события, происходившие в Литве в 1918—1919 годах. Об этих событиях не было ни слова в учебниках, имевших хождение в буржуазной Литве.

Правду об этих событиях, сыгравших огромную роль в истории литовского народа, рассказывает роман А. Гудайтиса-

Гузявичюса «Правда кузнеца Игнотаса». В нём широко развёрнута картина жизни литовского крестьянства в годы первой мировой войны и Великой Октябрьской социалистической революции в России.

С первых же страниц вырисовываются контуры глубочайших социальных противоречий, раздиравших литовскую деревню. Ещё больше обострила их империалистическая война и немецкая оккупация. Социальный и национальный гнёт вызывал протест со стороны трудящихся города и деревни. В романе А. Гудайтиса-Гузявичюса эти настроения протеста ярко выражены в образе главного героя — деревенского кузнеца Игнотаса. Это сильная, оптимистическая, жизнелюбивая натура. Не получив никакого образования, Игнотас, тем не менее, поднимается до правильного понимания развёртывающейся в деревне классовой борьбы, проникается ненавистью к угнетателям народа.

Рядом с ним А. Гудайтис-Гузявичюс рисует галерею таких же народных героев — простых, трудолюбивых, замученных многолетней кабалой людей, закономерно втягивающихся в классовую борьбу. Заслуга писателя в том, что он передал массовый характер революционного движения в Литве в 1918—1919 гг.

Автор убедительно показывает проникновение идей большевизма в народные массы. Большое место в романе уделено описанию подпольной деятельности большевиков в тылу у немцев, восстанию вильнюсских рабочих, действиям руководимого Игнотасом партизанского отряда, борьбе трудящихся крестьян и батраков с немецкими оккупантами, с капиталистами и помещиками Литвы. Эта борьба была вдохновлена примером Великой Октябрьской социалистической революции. Коммунисты Винцас, Каролис, Диджкус, Эйдукиявичюс, Норбертас и другие сумели перенести в Литву опыт своих русских товарищей, сумели придать выступлениям народных масс организованный характер и политическую целеустремлённость. В романе показана руководящая роль рабочего класса и его авангарда — партии большевиков — в революционной борьбе литовского народа.

Удался писателю образ Каролиса — профессионального революционера, для которого интересы простых людей выше всего. Для него революция — естествен-

ное, жизненное дело, которому он готов отдать все свои силы. Каролис ясно видит, что только через социалистическую революцию сможет литовский народ прийти к счастливой, свободной жизни.

В своей деятельности Каролису приходится преодолевать сопротивление проникшего в ряды партии предателя под кличкой «Барзда». Это «левый» уклонист, враг народа. Однако, правильно раскрыв глубочайшую чуждость этого типа интересам народно-освободительной борьбы, автор слишком увлёкся его психологической характеристикой и не до конца вскрыл политическую сущность его взглядов.

В борьбе с «Барздой» ярко проявляется негибаемая политическая стойкость Каролиса, его глубочайшая вера в правильность избранного пути.

Этой верой в дело революции проникаются и люди, не обладающие опытом профессиональной революционной работы и втягивающиеся в борьбу по мере развития революционных событий. Особенно ярко показан А. Гудайтисом-Гузявичюсом политический рост его основного героя — кузнеца Игнотаса. Он участвовал в штурме Зимнего дворца в октябре 1917 года, с оружием в руках защищал от многочисленных врагов молодую советскую республику. Опыт этой борьбы он принёс на родину, чтобы здесь, на родимой литовской земле, посеять семена большевистской правды. В сложных обстоятельствах, складывающихся в стране, под руководством стойких большевиков Каролиса, Диджкуса, Норбертаса и других, Игнотас находит верный путь и стойко борется за торжество народной правды.

Интересна также судьба доктора Мастайтиса. Честный, но далёкий от жизни интеллигент, он сперва упорно старается отгородиться от политики. Он «не признаёт» классовую борьбу и старается закрыть глаза на факты, свидетельствующие об её обострении. И вот революция врывается в его город, приближается к его дому. Мастайтису надо выбирать — с народом или против него. Сделать правильный выбор ему помогают литовские коммунисты. Встретившись с ними, доктор познаёт великую правду и становится на сторону трудящихся.

Судьбу своих основных героев А. Гудайтис-Гузявичюс рисует на широком об-

шествием фоне. Действие романа переносится из села Ругялай, где живёт Игнотас, в Вильнюс, Каунас, Рокишкис. Писателю удалось передать самое важное, самое существенное в жизни литовского народа в революционные 1917—1919 годы.

Писательской манере А. Гудайтиса-Гузьявичюса свойственны историческая конкретность, внимание к особенностям национального быта, подробная и всесторонняя характеристика складывающихся в стране социальных отношений. Автор старается не навязывать читателю своих взглядов. Он рассказывает о событиях с эпическим спокойствием, но за этим спокойствием чувствуется глубокое волнение писателя, его страстное желание показать духовное величие народа и моральную низость буржуазии.

О врагах революции — косядзе Каюпе, кулаке Граужинисе, белогвардейце Каэтонасе, судебном следователе Навикасе, буржуазном националисте Виштаргасе и других — он пишет с уничтожающим презрением. Читатели романа ясно видят, насколько все эти господа враждебны национальным интересам литовского народа, насколько чужда им забота о национальной самостоятельности своей родины.

Всеми способами старались враги затянуть на возможно более долгий срок оккупацию Литвы кайзеровской армией. Окончание войны, о котором мечтали народные массы, страшило буржуазные элементы, ибо с этим окончанием был связан уход из Литвы оккупационных войск. Буржуазные националисты прекрасно понимали, что без помощи иностранных империалистов они не смогут обуздать трудовой народ, подавить его революционные силы. Пусть лучше льётся кровь трудящихся, пусть война уничтожает плодородные нивы Литвы, пусть умирают от голода и эпидемий матери и дети, — только бы сохранились привилегии и барыши кучки эксплуататоров, — такова была предательская тактика литовской буржуазии, раскрытая в романе во всей своей отталкивающей наготе. Демаскируя эту тактику, А. Гудайтис-Гузьявичюс приводит читателей романа к пониманию важнейшей истины: те, кто борется против народа, против социализма, не избежно оказываются в лагере поджигателей войны. Именно так склады-

вается путь выведенных писателем оруженосцев литовской буржуазии.

Революция 1918—1919 гг. в Литве, показывает А. Гудайтис-Гузьявичюс, была борьбой трудящихся за подлинную независимость своей страны, за её государственную самостоятельность. Роман помогает понять, что маленькая нация в эпоху империализма может добиться самостоятельности только на пути социализма, только передав власть народу, единственно заинтересованному в развитии отчизны по пути национальной самостоятельности.

Буржуазно-националистические партии только говорят о независимости, а на самом деле бесстыдно запродают страну иностранным империалистам. В 1918—1919 гг. «независимость» Литвы была провозглашена и так называемой «Тарибой», сформированной буржуазно-националистическими партиями. Однако акт этот был фиктивным и не имел никакого реального значения. Самое провозглашение «независимости» было сделано в угоду американским и английским капиталистам, мечтавшим использовать «самостоятельную» Литву в качестве экономического рынка и политического и военного плацдарма для будущей агрессии против Советской России.

Эту предательскую политику буржуазных националистов разгадал народ. Трудящиеся самоотверженно боролись против своих и чужеземных угнетателей. Верной опорой для них в этой борьбе был великий Советский Союз.

Роман «Правда кузнеца Игнотаса» имеет большое воспитательное значение для литовских читателей. С большой пользой прочтут его и за пределами республики. Это — первое крупное произведение молодой советской литовской художественной прозы, написанное на основе метода социалистического реализма. «... Правдивость и историческая конкретность художественного изображения, — говорил тов. А. А. Жданов, характеризуя сущность этого метода, — должны сочетаться с задачей идейной перделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма». Именно таков роман А. Гудайтиса-Гузьявичюса.

Я. ИССАДЕ.

Мирные люди

В новой повести Берды Кербабаева «Айсолтан из страны белого золота» есть такой пейзаж: «Тяжёлые, свисающие с веток полураскрывшиеся коробочки напоминают переполненное молоком вымя верблюдицы. Нежное, шелковистое волокно кое-где выбивается наружу пышной пеной, кое-где чуть белеет между створками, плотное, круглое, как куриное яйцо. Некоторые из коробочек ещё совсем не оформились — они будут зреть и набухать. А на верхушках кустов ещё колышутся желтоватые цветы и тянутся к небу, к благодатному, живительному солнцу».

Простые, тёплые эти слова необычайно характерны для всей книги. В этом описании — огромная любовь к тому, что составляет жизнь для тысяч туркменских патриотов, — любовь к их труду, к белому золоту, составляющему главное богатство республики.

Сила новой повести В. Кербабаева в том и состоит, что радость вдохновенного творческого труда туркменских колхозников, поэзия их смелых замыслов и надежд переданы писателем задушевно и выразительно. В. Кербабаев не поддаётся искушению ложной цветистой красотой, ещё недавно столь распространённой в литературе народов Средней Азии; он стремится к изобразительной точности описаний, к пластически завершённому портрету, пейзажу, увиденному во всей его живописной неповторимости и красоте. Всё повествование проникнуто лирикой — взволнованным, нежным отношением автора к тем, о ком он рассказывает, кто является его героями.

Это и помогло писателю передать думы и чувства туркменских хлопководов. Вот как, например, говорит о хлопке комсомолец Бегенч: «Ведь каждая коробочка хлопчатника — это бутон; когда он распускается — это как улыбка, каждое волоконец хлопка — как солнечный луч, оно веселит душу, светом озаряет мрак, зиму превращает в весну!» Здесь проза звучит, как стихи, это — целая песня во славу хлопка. И в общем контексте она не искусственна, не чужеродна, — она органична для поэти-

ческого строя, для общего звучания повести, проникнутой радостным и светлым ощущением мира.

Одна за другой возникают перед нами яркие картины колхозного труда, нового колхозного быта. Автор ведёт нас на колхозные бахчи, к колхозницам, готовящим арбузную патоку; в прохладный колхозный сад, на конферму, в кузницу, где «от горячих углей поднимается зеленовато-белое пламя, и раскалённое железо цветёт в этом пламени волшебным красным цветком». Мы в полной мере ощущаем, какой богатой, насыщенной, красочной стала жизнь туркменских колхозников. Недаром Айсолтан говорит, ликуя: «Наша земля — как золото!».

Это не значит, что Айсолтан и её друзья пребывают в атмосфере покойного благодушия. Нет, они полны стремления к новым достижениям, взволнованно и требовательно относятся к своей работе. Айсолтан по-хозяйски не может пройти мимо недостатков, ещё мешающих дальнейшему развитию её родного колхоза. Нота торжествующей светлой радости звучит как самая сильная и полновластная в повести, и вместе с тем автор показывает, какой волей к труду, какой жаждой нового переполнены герои книги.

Воспевая радость труда, полную жизни, В. Кербабаев выступает как певец мира. Писатель вводит в повесть рассказ матери Айсолтан о прошлом. Этот рассказ помогает оттенить красоту настоящего и выразительно напоминает о бедствиях, которые несут с собою войны. Мужа Нурсолтан искалечили ещё в первые годы советской власти английские империалисты, вторгшиеся в Туркмению, а сын её погиб на войне с немецко-фашистскими захватчиками. Нурсолтан поэтому не только хорошо знает, «какая это лихая беда — война», но и полна активного желания помешать возникновению новой войны.

Мир необходим нашим людям для труда, для счастья, для поисков нового. Тема труда и тема мира поэтому переплетаются в повести в неразсторжимом единстве. Эти понятия неотделимы друг от друга: миром — оберегается труд, трудом — крепится мир. И не случайно Айсолтан на колхозном собрании вносит в предложение председателем повестку дня (сначала — послу-

Берды Кербабаев. «Айсолтан из страны белого золота», повесть. Авторизованный перевод с туркменского Т. Озерской. Редактор Н. Бузиношвили. «Советский писатель». М. 1950.

шать доклад Айсолтан о Всесоюзной конференции сторонников мира, потом — поговорить о хлопке) существенную поправку: «...по-моему, мирная жизнь и наш труд, наш хлопок — это всё так связано вместе, что нечего тут делить на две части».

Здесь нельзя не вспомнить, что на первой сессии Всемирного совета мира академик А. И. Опарин, говоря о задачах борьбы за мир, рассказал и о великой битве за воду, — а значит и за хлопок, — в пустынях Туркменистана...

Центральным эпизодом повести является поездка Айсолтан в Москву. Айсолтан и там себя чувствует полновластной хозяйкой. Хозяйкой судеб мира входит она в Колонный зал Дома союзов. И когда знаменитый туркменский учёный — сын безграмотного пастуха, в юности сам пастух — говорит в своей речи на конференции сторонников мира: «Мы не просим мира, мы ведём за него борьбу», — он этими словами выражает мысли и Айсолтан.

Б. Кербабаеву удалось показать, что борьба за мир неотделима от укрепления дружбы народов. Нурсолтан, мужа которой спасли от британских бандитов русские солдаты, справедливо считает себя должницей русского народа. Уважение к русскому народу, ведущему за собой братские социалистические нации, испытывает и Айсолтан. Это уважение к старшему другу, к старшему брату в семье, полноправным членом которой является вместе с присутствующими на конференции украинцами, грузинами, латышами также и туркменская колхозница Айсолтан.

Многозначительна в этом смысле сцена приезда Айсолтан на подмосковную текстильную фабрику. «Когда в Ашхабаде начали строить текстильную фабрику, десятки юношей и девушек из туркменских городов и сёл отправились в подмосковный район, на Реутовскую фабрику, учиться новому для них мастерству — и вернулись в родной край инструкторами и мастерами текстильщиками», — рассказывает писатель. Огромную пользу получила от своей встречи с москвичками-текстильщицами также и Айсолтан.

«Давай нам больше твоего белого золота, мы оденем всю нашу великую родину в его золотое сияние!» — говорили Айсолтан в Москве её новые подруги. И, вернувшись в свой родной колхоз, Айсолтан приступает к выполнению наказа рус-

ских ткачих. Ей и её товарищам придётся вступить в единоборство с природой. Для Туркмении, по выражению Б. Кербабаева, капля воды так же дорога, как капля крови. Естественно, что Айсолтан с особым вниманием снова и снова возвращается к проблеме орошения хлопковых полей. Она мечтает о том времени, когда советские люди научатся управлять солнцем и дождями, и с глубокой верой ждёт помощи от советской власти, от родной большевистской партии.

Партия и правительство ответили на эту жаркую мечту туркменских колхозников — ответили Постановлением о строительстве Главного Туркменского канала.

Знаменательно, что главной героиней своей повести Б. Кербабаев сделал простую туркменскую девушку. Сравните судьбу героини ранней поэмы Б. Кербабаева «Женский мир» с судьбой Айсолтан Рахмановой — и вы увидите, как бесконечно далеко шагнула за годы советской власти туркменская женщина. Айсолтан предстает в повести как настоящий государственный деятель, живущий интересами не только своего колхоза, но и всей страны, всего мира.

Мы видим перед собой новый тип туркменской женщины, выросшей в непримиримой борьбе с пережитками старого, с косными, отжившими обычаями и взглядами. С меткой иронией высмеивает писатель остатки этих обычаев, ещё сохранившихся в туркменском быту. Идя в дом к своему любимому — комсомольцу Бегенчу, Айсолтан раздумывает: на что это похоже — девушка сама идёт в гости к парню! А Бегенч, идя к Айсолтан, сомневается в свою очередь: прилично ли это? что скажет Нурсолтан-эдже? Обе эти ситуации закономерно разрешаются лёгкой шуткой — героям самим в конце концов становится и стыдно и смешно.

Б. Кербабаев отталкивался от традиционного в старовосточной поэзии сюжета дестана — поэмы, в которой изображались страдания влюблённых, бесплодно старающихся преодолеть возникающие на их пути преграды. Но использует этот сюжетный мотив Б. Кербабаев лишь для того, чтобы тут же его иронически обыграть.

В первой половине книги это ему вполне удаётся. Препятствия на пути любви Айсолтан и Бегенча оказываются иллюзорны.

ми, недействительными. Но в дальнейшем автор уже с полной серьёзностью начинает нагромождать любовные недоразумения. И здесь ему изменяет чувство правды. Препятствия, воздвигаемые им перед героями, оказываются фальшивыми, надуманными; автор искусственно возбуждает в Бегенче ревность, совершенно неоправданно заставляя умного и серьёзного человека поверить пустой старушечьей сплетне.

Этот недостаток связан с общими композиционными недочётами повести. Подробно, интересно рассказывая о плодах труда туркменских колхозников, делая сочные жанровые зарисовки, рисуя яркие картины быта, в детали которых всматриваешься с вниманием и удовольствием, Б. Кербабаяев редко показывает нам своих героев в самом процессе преодоления ими трудностей. Айсолтан, увидев, что из-за испортившейся погоды хлопок раскрывается плохо, лишь разводит руками и бежит за советом к парторгу. Но затруднение оказывается недолговременным: автор прибегает на помощь своей героине и заставляет хлопок раскрыться. Трудовая деятельность Бегенча показана только в начале повести. Далее автор лишь рекомендует его как труженика, а не показывает героя действительно работающим.

Только декларирована, но никак не показана в повести роль передовой сельскохозяйственной техники в жизни колхозов Туркмении.

Не удался писателю и образ парторга Чары. От него исходят правильные советы и указания, но сам он бесплотен, так как

он ничего не делает, не принимает никакого участия в движении сюжета.

Есть в повести и лишние (в тематическом и сюжетном отношении) эпизоды. Так ли уж важен, например, разговор Бегенча со своей младшей сестрой Майсой, или описание охоты на джейранов? Отдельные страницы повести излишне подробны, описательны; о полёте Айсолтана в Москву можно было бы рассказать лаконичнее.

Некоторые важные мотивы повести изложены слишком публицистично, сухо. Даже Аннак, колоритная речь которого уснащена местными выражениями, пропитана народным юмором, в торжественные моменты вдруг начинает говорить штампованными фразами. Художественно не воплощены и некоторые мысли Бегенча, Айсолтана, — вместо живого, непосредственного чувства мы слышим риторические тирады, находящиеся в разительном противоречии с общим искренним и взволнованным тоном повести.

Художественная проза — новый жанр в туркменской литературе. Только после революции, опираясь на огромный опыт русской классической литературы, туркменские писатели начали разрабатывать прозаические жанры — повесть, роман. Серьёзные заслуги имеет в этой области прежде всего Берды Кербабаяев. Его роман «Решающий шаг» был важнейшим событием в развитии туркменской художественной прозы.

«Айсолтан из страны белого золота» — новая радостная удача туркменской литературы, — в повести ярко выражены воля туркменских колхозников к миру и глубокий советский патриотизм.

К. ЛИНЕВ.

★

Альманах чкаловских писателей

Центральное место в девятом номере чкаловского альманаха «Степные огни» занимает большая повесть А. Рыбина «В степи». Новаторский труд советских людей, преобразование природы — такова её тема, всегда живая и волнующая. С любовью говорит писатель о тружениках оренбургских степей. Сердечные отношения

к своим героям, стремление показать их лучшие моральные черты одухотворяет многие страницы повести.

Молодая девушка агроном Варя Колесникова со студенческой скамьи попадает на работу в колхоз. Уроженка Подмошья, богатого садами, она с детства мечтала быть садоводом. А в оренбургских степях плодородное дерево — редкость. Многие считают самую мысль о разведении здесь садов — прихотью, пустой фантазией. Варя вступает в борьбу с этой

«Степные огни». Литературно-художественный альманах чкаловского отделения Союза советских писателей, книга десятая за 1950 год. Главный редактор Г. Шмидов.

точкой зрения. Конфликт повести, таким образом, правдив, жизнен: это столкновение нового, передового в нашей действительности с отсталым, рутинным.

Правдиво рассказывает А. Рыбин и о том, что победа приходит к Колесниковой не сразу. Первые шаги Вари неумелы. Наивны её попытки заставить всех колхозников сразу же загореться мечтой о будущем саде... Поддержку Варя находит в райкоме, у секретаря парторганизации колхоза Зуева, у комсомольской молодёжи, у школьников-пионеров. Первый маленький сад в станице Безреченской появляется подле здапня шаколы; первые яблоньки у своих домов сажают комсомолы. Преодолевая насмешливую настороженность безреченцев, страстно переубеждая председателя колхоза Буртана, полагающего, что богатство и славу может принести колхозу лишь знаменитая оренбургская пшеница, идёт Колесникова к своей цели. И настает время, когда в плане развития колхоза «Большевик» появляется пункт о закладке на тридцати гектарах плодового сада.

А. Рыбин стремится показать работу советского агронома во всём её многообразии и сложности. Борьба Вари за сад типична для всей её новаторской, творческой деятельности. Коммунистическое отношение к действительности, государственный подход к своим обязанностям подсказывают ей новые и новые начинания, рождают всё более широкие планы. Она борется против системы звеньев в сельском хозяйстве, работает над повышением урожайности пшеницы. По её предложению колхозники создают водоём в степи, приступают к посадке лесозащитных полос.

Автор создал правдивый, привлекательный образ, — однако раскрыть духовный мир героини ему не удалось. Слишком много побочного, частного вносит А. Рыбин в рассказ о деятельности своей героини. Повествование пестрит мелкими эпизодами: Варя «изобретает» зерноуловитель к комбайну, восстанавливает старые колодцы, учит колхозников делать щиты для снегозадержания, борется с гусеницей и т. д. и т. д. Многие из этих сцен очерчены торопливо, небрежно, неубедительно (проба зерна на всхожесть, поиски родников в степи, беседа о будущей электростанции). Такое обилие «нагрузок», вопреки благим намерениям автора, не обогащает, а лишь отягощает образ Вари.

Наряду с Варей один из самых привлекательных образов повести — молодой тракторист Павел Карпунин. В нём А. Рыбин правдиво воплотил облик представителя молодого советского поколения колхозной деревни, овладевшего новой, мощной техникой. Чиста и сдержанна любовь Карпунина к Вале. Жаль только, что автор рассказывает о любви своих героев так монотонно. Множество раз оставляя Варю и Павла на грани признания, автор нарочито старается интриговать читателя их переживаниями.

Жизненно верен характер колхозного инспектора по качеству Матвея Белоусова. Бывший бедняк, он лишь в колхозном коллективе стал хозяином в истинном, высоком смысле этого слова. Рачительная прижимистость деда Белоусова, его придирчивая требовательность, порой чудачества, его отцовская забота о Вале — всё это описано просто и хорошо.

Менее удался А. Рыбину образ председателя колхоза Остапа Буртана. Писатель рассказывает о нём, как о большевике, передовом руководителе, умелом работнике. Буртан снимает лучшие в районе урожаи пшеницы, держит знамя первенства. И в то же время этот колхозный вожак показан, как человек инертный, глухой ко всему новому. Авторский рассказ находится в противоречии с показом героя в действиях и поступках. Странно, например, что воспользоваться данными науки (даже брошюру о Докучаеве прочесть!) этого председателя колхоза надо заставлять чуть ли не силой. Когда секретарь парторганизации колхоза говорит ему о необходимости борьбы с засухой, Буртан отделяется издевательской фразой: «Ну, конечно. Брезент над полем растянем, и будет холодок». Неумение заглянуть в завтрашний день, мыслить государственно сквозит в каждом его слове. Правда, в дальнейшем в мыслях председателя колхоза под влиянием секретаря райкома, после многих «атак» Колесниковой, происходит перелом. Но ломка характера Буртана, как говорит писатель — «воспитание душевности» в нём, — показана скорее в авторских ремарках, чем во внутреннем развитии образа.

Бледны и схематичны в повести секретарь райкома Барыкин и парторг колхоза Зуев. Барыкин нарисован скучными, невы-

разительными словами, и портрет его остаётся неясным читателю. «Невысокий, но плотного сложения», «с негромким, но сильным голосом», «с умно прощуренным лицом» (?) — Барыкин появляется на страницах повести лишь для того, чтобы скривить две-три фразы и надолго исчезнуть. Так же тускл и Зуев. Писатель не нашёл для этих двух героев ни ярких словесных красок, ни активных поступков.

Противоречивость, психологическая и художественная незавершённость образов Бургана, Зуева, Барыкина — слабая сторона живой и правдивой повести А. Рыбина. К числу существенных её недостатков относится также дробное, нечёткое и замедленное развитие сюжета. Чрезмерная обстоятельность в частностях, неумение отобрать типические, наиболее выразительные факты — характерны не только для обрисовки отдельных образов (даже удачных: Вари, Белоусова), но и для всей сюжетной композиции повести. Естественно поэтому, что писатель не всегда справляется с обобщением материала, злоупотребляет подробностями, отнюдь не обязательными для развития основной идеи.

Неряшлив язык повести. Редактор должен был очистить повесть от языковой безвкусицы вроде: «пьявки сомнения начинали точить его сердце»; от грубости: «Поддаётся девка? Иль оглобли назад повернула?»; от смешных небрежностей: петух, который «ощетинился», или солнце, «свалившееся» к горизонту; от рифмовки смежных слов: «глазами, руками, местами»... А. Рыбину явно не хватает писательской чуткости к фразе, он не заботится о достижении рельефности в словесной живописи, наконец, о точности словоупотребления. Он пишет, например: «небо замолаживают облака». Слово «замолаживать» — редкое, областное. «Замолаживать» — заволакивать тучами. Значит, слово «облака» здесь лишнее.

Музыкальности, точности, чистоты фразы — вот чего недостаёт повести. «Продолжительно поглядел», «слушал и с своей стороны общал», «весна развёртывалась по-своему» — такие обороты антихудожественны, неграмотны, утомляют читателя, затемняют добрые и нужные авторские мысли.

Тематически близка повести А. Рыбина пьеса В. Пястоленко «К солнцу». Рождается

характер конфликта в обоих произведениях: новаторские дерзания передовых советских людей в борьбе с косным, отсталым. В колхозе «Новая жизнь» труженники-энтузиасты начинают большое дело — постройку гидроузла. Для этого надо запрудить одну из степных балок. Огромный водоём — «колхозное море» — должен изменить облик целого района, повлечь за собой орошение полей, облесение степи и т. д. Десяткам колхозов гидроузел даст энергию не только для бытовых нужд, но и для работы в поле, на фермах. Стройка, объявленная народной, становится кровным делом многих тысяч людей.

Но находятся и противники стройки. Драматург создаёт образ руководителя, зазнавшегося, оторвавшегося от масс и потому потерявшего чувство нового, чувство перспективы. Это директор районной МТС Михаил Иванов. Он предлагает отложить колхозную стройку года на три. Его тревожит, что в будущем неизбежное участие в этой стройке должна будет принять и его МТС. А это мешает его планам, так как он сам задумал реконструкцию усадьбы МТС. По его мысли эта усадьба — с клубом, кинотеатром, парком, стадионом — должна стать очагом культуры для всего района. Начинание доброе, только руководят при этом Ивановым не честная патриотическая страсть, а мелкие, корыстные интересы личной славы и карьеры.

Идея Иванова о реконструкции усадьбы МТС обречена на провал не потому, что она сама по себе плоха (в конце концов, такую усадьбу строят неподалёку от гидроузла и в сочетании с ним), а именно потому, что в противовес ей жизнь выдвигает более неотложную и значимую задачу. Упорствуя в своём замысле, Иванов тем самым вступает в противоречие с волей масс. «Жизнь, история нашего государства, доказала, что затея одиночек, не поддерживаемые массами, проваливаются, а народные мечты осуществляются», — справедливо говорит Иванову секретарь райкома партии Щербатов.

Столкновение Иванова с коллективом передовых колхозников, со Щербатовым, с замполитом МТС Татьяной Осиповой — и есть сюжетное ядро пьесы (само строительство показано в ней кратко, лишь в последнем акте, как уже завершённое). Конфликт пьесы правомочен, но развит в ком-

позиционном отношении не совсем удачно: при чрезмерно детализированной завязке очень бегло и сжато дано его завершение.

Иванов — наиболее чётко очерченный автором образ, хотя и не свободный от упрощенчества. По замыслу драматурга, Иванов начинает понимать свою неправоту после большой внутренней борьбы. Но от раскрытия этой внутренней борьбы В. Пистоленко уклонился. Иванова заблуждающегося мы видим воочию. Но тому, что Иванов изменился, преодолел свои заблуждения и ошибки, мы должны верить на слово, — поступков, подтверждающих это, в пьесе нет.

В пьесе вообще многое дано в порядке авторской декларации, а не в живом сценическом действии. Особенно это относится к фигуре замполита МТС Татьяны Осиповой. Вместо живой, деятельной, полной обаяния женщины, какой аттестует её автор, она предстаёт как человек сухой, склонный к резонерству. Татьяна любит Иванова и очень страдает, когда происходит между ними разрыв (она осуждает ошибки Иванова, его «ячество», косность). Но даже её страдания выражены вяло, холодно, не вызывают сочувствия.

Недостаточно индивидуализирует В. Пистоленко речь персонажей. За исключением, пожалуй, завхоза Хмелько и комсомолки-агитатора Саши Тузовой все они говорят каким-то уж очень одинаковым языком, хотя чисто и гладко. Есть в пьесе и стилистически неуклюжие обороты, вычурность, хотя они не так часты. Повторения в диалогах и особенно в монологах делают пьесу растянутой; многое в ней можно было бы сократить.

Удивляет в повести А. Рыбина и в пьесе В. Пистоленко обилие сходных сюжетных деталей, мотивировок, ситуаций. Нет нужды перечислять их все. Остановимся лишь на примере с завхозами. Завхоз Верёвкин в повести А. Рыбина срывает ночную работу колхозников на молотбе, выдав бригадире незаправленные фонари «летучая мышь». Завхоз Хмелько у В. Пистоленко не выдаёт лампочек бригаде трактористок и тем лишает их возможности работать ночью. Завхоз Верёвкин порочит перед Карпухиным Варю. Хмелько порочит перед трактористом Саликовым его невесту Сашу. И в том и в другом случае завхозам крепко достаётся от влюблённых.

Фигуры Верёвкина и Хмелько сходны не только по общей характеристике (завхозам явно не повезло: оба они подхалимы, нерадивцы, Верёвкин чуть ли даже не вредитель), но и по своей судьбе (обоих с позором выгоняют с работы, оба чрезвычайно легко «перековываются»). Совпадают даже те сцены, в которых показаны попытки Верёвкина и Хмелько перестроиться. Раскаившийся Верёвкин приходит к Варе с книгой «История ВКП(б). Краткий курс», прося проверить его знания. Этим экзаменом он хочет все грехи «разу с себя свалить и стать со всеми в уровень». Но уволенный Хмелько тоже, чтобы завоевать доверие Осиповой, является к ней для беседы о якобы прочитанных им «диктических» (то есть диалектических, философских) книгах, которые для него, как он говорит, «проще пареной репы». В этих эпизодах авторам явно изменил художественный такт.

Вся эта перекличка ситуаций, образов, мотивировок — свидетельство бедности художественного вымысла. Редколлегия же альманаха пренебрегла своим правом устранить подобные совпадения, потребовать от авторов дополнительной работы над их произведениями.

Среди стихов ярким и свежим звучанием выделяются два стихотворения М. Трутнева о колхозной деревне, хорошо отображающие светлые черты её облика.

Новую советскую деревню — богатую, культурную, с её кипучей созидательной жизнью, М. Трутнев рисует образно, находя характерные, многозначительные детали.

Жизненное содержание, энергичный ритм, крепкая рифма — всё это радует в стихах М. Трутнева. Но есть у него и строки небрежные, недоделанные (старик-сторож «ладит приёмник в эфире»).

В балладе П. Строкова «Джон Хилл» повествуется о рядовом американском пролетарии, безработном. Поэт говорит о протесте, который назревает в сердцах честных людей Америки против агрессивных планов американских атомщиков. Однако, решив облечь свой замысел в балладную форму, поэт оказался в плену у канонической формы, подменил реалистическое решение темы старинной балладной романтикой с её традиционным смещением планов. Джону снится, что он попадает на новогодний бал к одному из тех гангстеров, которые вершат судьбы страны. Во

сне нарастает протест в его душе. Во сне же происходит расправа с распоясавшимися бизнесменами. Под влиянием этого же сна Джон решает, что больше сохранять покорность нельзя: надо бороться!

Жаль только, что автор заставляет своего героя пережить всё это во сне. Искусственность этого литературного приёма мстит за себя, сообщая всему стихотворению условный, нереальный характер.

Неразборчив поэт и в работе над словом. Герой баллады не хочет, например, «добывать бизнес». Свет электроламп уподобен... савану!..

Неудача этой баллады тем более досадна, что лишь она да ещё маленькое стихотворение Д. Белова — вот и всё, чем откликнулся чкаловский альманах на борьбу за мир во всём мире.

В разделе «Молодые голоса» опубликованы слащавые, бессодержательные стихи Н. Бухалова:

За поляною, за лугом
После жаркого труда
Хорошо сидеть с подругой
У колхозного пруда.

Подобным «пасторалям» ещё четверть века назад дал суровую, разяще-саркастическую оценку В. Маяковский. Старшим чкаловским литераторам следовало бы напомнить об этом молодому автору, а не печатать незрелые его стихи.

В тематическом отношении сборник небогат. Яркая жизнь Чкаловской области отразилась на его страницах слабо, далеко не полно. Нет в книге произведений, посвящённых промышленности, замечательной работе чкаловских металлургов, машино-

строителей, нефтяников. Нет в нём очерков боевых, ярких, смело вторгающихся в жизнь. Единственный в номере очерк Ф. Миронова «Высокая цель» посвящён комбайнеру Прокофию Нектову. Нектов — инвалид Отечественной войны, лишившийся обеих ног. Коммунист, настоящий советский человек, собрат Маресьева по духу, он добился возвращения в трудовой строй, стал комбайнером и на своём «Сталинце-б» вышел в передовики. Это ли не благородная, это ли не волнующая тема! А между тем очерк написан протокольно, сухо.

Беден критический раздел альманаха. Лучше других в этом разделе статья А. Назарова о Маяковском. Но мало, слишком мало места отведено критическому разбору творчества чкаловских авторов! Статья Г. Солоновича «Стихи двух поэтов» содержит беглый обзор поэтических сборников П. Строкова и Б. Карпенко. В статье много комплиментов — автор говорит о «чеканной фразе», «умелом композиционном построении», «гибкости стиха в диалоге». Но слишком мало у автора деловых критических замечаний. Анализ в большинстве случаев он подменяет пересказом содержания рецензируемых стихов.

Хочется пожелать коллективу чкаловских писателей большего разнообразия тематики, более смелых творческих поисков, любовной работы над формой, над стилем. Подлинно художественные произведения рождаются лишь в борьбе за гармоническое сочетание идейного богатства произведения с совершенством его литературной формы.

Н. КАПИЦВА.

★

«Квадрат карты»

Евгений Воробьёв известен читателю своими фронтовыми рассказами, вошедшими в сборники «Пехотная гордость» и «Однополчане». В центре внимания автора этих сборников — героические будни войны, самоотверженность и героизм офицеров и солдат Советской Армии. В своей новой книге «Квадрат карты» автор переносит своего героя-фронтовика в условия послевоенного мирного труда.

Евгений Воробьёв. «Квадрат карты». Рассказы. Редактор Е. Соловьёв. «Советский писатель». М. 1950.

Фронтовики посещают места недавних боёв, завязывают связь с населением, помогают ему. Внимание к людям, освобождённым от фашистского рабства, активное, действительное стремление оказать им по-настоящему помощь — эти чувства, переживаемые героями рассказов, придают сборнику искренность, теплоту, лирическую изволнованность.

Рассказы Евгения Воробьёва не отличаются сложностью интриги, остротой сюжетных ситуаций. В основе их лежит обычно реальный жизненный эпизод, зача-

стую совсем обыденный, но за этой обыденностью скрываются большие человеческие чувства, выявляются новые черты характера, воспитанные у советских людей трудной военной обстановкой. Писатель не даёт развёрнутых характеристик, он стремится показать человека через его мысли, поступки, через отношение к окружающим. Так вырисовывается перед читателем ясный мужественный облик героя одного из лучших рассказов сборника «Нет ничего дороже» — бывшего фронтовика Левашова. В основе рассказа — тема преемственности между делами советских людей в грозные годы войны и новой мирной жизнью. Бывший фронтовик, старший лейтенант сапёрных войск, ныне студент московского вуза Левашов приезжает на каникулы в деревню «Большие Нитяжи», где в дни боёв пал смертью храбрых его друг Алексей Скорников. Ещё во время войны Левашов дал клятву посетить могилу друга. Тепло принятый колхозниками, Левашов не остался у них в долгу. Отказавшись от беспечного времяпрепровождения отпускника, он с опасностью для жизни разминировал колхозный луг.

Так действуют в мирное время фронтовики на тех «квадратах карты», которые были когда-то ареной напряжённых боёв с фашистскими захватчиками.

Автор заставляет читателя волноваться за жизнь героя и радоваться благополучному исходу его смелого и благородного поступка. Писатель нашёл живые краски для изображения обитателей Больших Нитяжей — председателя колхоза Ивана Лукьяновича, деда Анисима, мальчиков Саньки и «Павла Ильича», учительницы Елены Климентьевны. Правдиво переданы атмосфера товарищеской солидарности колхозников, заживающих раны, нанесённые их хозяйству войной, чувство единения их со всем советским народом.

Тема дружбы бывших фронтовиков с населением освобождённых городов и сёл раскрывается и в рассказе «Пять лет спустя».

К председателю горсовета приезжают представители сражавшейся в этих местах дивизии. В память о жестоких боях дивизия носит имя этого города. Каждая улица, каждый разрушенный и обугленный дом напоминают делегатам о прошлом, и

вместе с тем они видят, как быстро и неузнаваемо меняется облик города.

Гвардейцы — не пассивные зрители, явившиеся отдать дань прошлому, они принимают активное участие в творческом труде строителей города. Верой в светлое будущее города проникнута концовка рассказа.

Послевоенному строительству посвящён рассказ «Ветреное утро». В трудных условиях бригада монтажников завершает постройку дома, укрепляя на её вершине последнюю царгу — огромный стальной обруч, часть металлического каркаса домны. Когда царга уже была поднята наверх, разразился ураган. Только благодаря героическим усилиям коллектива строителей удалось укрепить царгу на вершине домны.

Рассказ этот типичен для творческой манеры писателя. Сюжет «Ветреного утра» — обыденный эпизод строительства наших дней. Автор не прибегает к внешним эффектам, чтобы придать занимательность сюжету. Будничней эпизод даёт возможность Е. Воробьёву показать трудовой энтузиазм, мужество строителей, их умение преодолевать трудности. Одной-двумя репликами бегло, но выразительно очерчены характеры героев рассказа — строителей домны. Читатель живо представляет себе смельчака и балагура Колю Пасечника, с риском для жизни восстанавливающего крепление царги, оборванное ветром, старого монтажника Кузмича, равнодушного к людям Дерябина и главного героя рассказа — фронтовика Токмакова, мужественного, волевого, умеющего в трудную минуту принять смелое решение.

Основная мысль рассказа сформулирована одним из его действующих лиц — парторгом Терновым: «...выручил нас с вами, товарищ Дерябин, в конечном счёте не трос, а тот запас прочности, та выносливость, упорство и мужество, которые есть в нашем человеке...».

Большое место в сборнике занимает тема восстановления разрушенных врагом городов и сёл. Особое внимание автор уделяет участию фронтовиков в творческой созидательной послевоенной жизни.

В рассказе «Эта сторона улицы» фронтовик Доронин возвращается к своей довоенной профессии — помощника прораба. Действие рассказа происходит в Ленинграде. Лишь напоминаем о недавнем

прошлом звучит сохранившаяся на фасаде восстановленного дома надпись: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Сегодняшний день города — это грандиозный размах строительных работ, это единый трудовой ритм, которым живут советские люди в мирное время. Жена и мать Доронина погибли во время блокады, его сын воспитывается в детском доме. Доронину нелегко оторваться от горьких воспоминаний, и только работа по восстановлению разрушенных зданий города, стремление уничтожить страшные следы войны помогают ему залечить свои душевные раны.

Действие одного из лучших рассказов сборника «Однополчане» также развёртывается в послевоенной обстановке, на изрытом траншеями «квадрате» белорусской земли.

Со старым фронтовым письмом погибшего солдата-отца является к полковнику Мозжухину молодой солдат Иван Коротков. Полковник тронут тёплым отзывом о нем в письме солдата, когда-то служившего в его части, но он не может вспомнить старшего Короткова. И вот случайно, по обронённой фразе и одной детали в поведении сына, он восстанавливает весь облик отца и обстоятельства его гибели. Коротков-отец погиб, защищая грудью своего командира.

Есть, однако, в сборнике Е. Воробьёва и бледные, не удавшиеся произведения.

Так, программный рассказ «Квадрат карты» представляет собой натуралистический эскиз, в котором нет ни целостного законченного сюжета, ни затоминующихся образов. Единение фронтовиков с людьми освобождённых районов показано здесь чисто внешне, поверхностно. Гостеприимная бабка Василиса из деревни «Замощенцы» угощает «майора Васю» и «майора Алёшу», а шофёр Антон Иванович помогает в работе приглянувшейся ему девушке — колхозному механику. Лаконизм в выборе художественных деталей, свойственный Евгению Воробьёву, здесь воспринимается как бедность изобразительных средств. Рассказ оставляет у читателя чувство неудовлетворённости.

Рассказы сборника, лишённые чётких сюжетных контуров, правильнее было бы назвать очерками. Но и в очерке писатель должен вдумчиво изображать типические

явления нашей действительности, показывать наших современников в ярких и полноценных образах. Советская литература создала немало выдающихся произведений этого жанра.

К сожалению, такие очерки Евгения Воробьёва, как «Квадрат карты» и «Вверх по ступенькам», нельзя отнести к их числу.

В очерке «Вверх по ступенькам» писатель изобразил два восстановленных после войны колхоза. Во главе обоих колхозов — бывшие фронтовики. Председатель «Красного Пахаря» Пётр Касьянович несколько отстаёт от своего соседа в темпах строительства домов для колхозников, но зато здесь вновь построенные избы отличаются разнообразной архитектурой, более обдуманно расположены. И хотя Устин Степанович давно отрапортовал об окончании строительства, первенство в соревновании осталось всё же за «Красным Пахарем».

Отправляясь на праздник к соседу, председатель колхоза «Перемога» Устин Степанович размышляет: «Конечно, Пётр Касьянович — мужик башковитый. Фантазию любит, политику понимает. Всегда в курсе международного положения, даже в Китае не заблудится. Но вот что непонятно — почему у них в «Красном Пахаре» трудодень весит больше моего? Хозяйство знаю получше Петра Касьяновича. Опять-таки зеркальный карп у меня. И всё же у них трудодень богаче. Прямо загадку загадал Пётр Касьянович...»

Успехи Петра Касьяновича остаются загадкой и для читателя, так как методы его руководства, его работы, его взаимоотношения с коллективом колхозников не показаны в рассказе. Центральное место в нём занимает праздничный пир в Довженицах и открытие музея в честь генерала армии Черняховского.

Достоинство лучших рассказов Евгения Воробьёва — индивидуализированный язык героев, определяемый их возрастом, профессией, общекультурным и политическим уровнем.

Для старшего поколения колхозников и рабочих, выведенных в рассказах сборника, характерна менее правильная речь, неверное употребление отдельных слов — «Косвенный он человек. Семь раз отрежет, один — примерит...» — говорит о Дерябине Кузьмич в рассказе «Ветреное утро». «Эта нигра здесь че разгулялась!», — замечает

дед Михей о разбитом немецком танке «Тигр» («Вверх по ступенькам»).

Начальник стройконторы Балонский («Эта сторона улицы»), перечисляя Доронину свои «условия», изъясняется языком расчётливого дельца. А живо интересующийся международной политикой председатель колхоза Иван Лукьянович («Нет ничего дороже») обрывает на собрании труса Страчуна: «Ещё вопросы задаёт. Тоже нашёлся член английского парламента».

Выразительно звучит пересыпанная меткими шутками речь Коли Пасечника («Ветреное утро»). Писатель владеет мастерством диалога и широко вводит его в свои произведения. Это значительно оживляет рассказы.

Однако следует отметить, что некоторые герои рассказов Евгения Воробьёва не только лишены языковых характеристик, но и вообще лишь названы по имени (например, Вадам, бригадир верхолазов в «Ветреном утре»).

Писателю необходимо совершенствовать своё мастерство — не ограничиваться натуралистическими зарисовками, смело идти по пути художественного обобщения, стремиться к углублённому раскрытию характеров действующих лиц.

Лучшие рассказы сборника свидетельствуют о том, что у Евгения Воробьёва есть возможности для преодоления недостатков, для дальнейшего творческого роста.

Н. ЧУКАНОВ.

★

О литературе сегодняшней Америки

В процессах, происходящих в литературе капиталистических стран, находят отражение те глубочайшие противоречия, которыми проникнуто буржуазное общество. Сейчас, когда весь мир разделён на два противоположных и непримиримых лагеря — лагерь реакции, агрессии и войны, и лагерь прогресса, демократии и мира, — и когда под стягами борьбы за мир стоит уже подавляющее большинство человечества, — существование двух противостоящих литератур в каждой стране становится всё более очевидным.

Лагерь сторонников мира, активных борцов за мир, растёт с каждым днём и в главной цитадели поджигателей войны — в Соединённых Штатах Америки.

Среди сторонников мира в США насчитывается немало деятелей культуры и, в частности, писателей. Всё чаще со страниц прогрессивной печати и с трибун многочисленных митингов раздаются их страстные голоса в защиту мира. Всё чаще на книжном рынке США появляются книги, в которых звучит правда о сегодняшней Америке. Таковы известные уже советскому читателю книги Стефана Гейма «Крестовосцы», Джона Уивера «Пиррова победа» и ряд романов, принадлежащих перу писателей, впервые поднявших свой голос про-

тив фашизации Америки (Дж. Дайс «Вашингтонская история», А. Чейз «Тень героя» и др.), против попыток поставить на службу империалистической агрессии науку, литературу и периодическую печать США (М. Уилсон «Живи среди молний», Дж. Брукс «Главное колесо» и др.). Американская прогрессивная литература уже насчитывает в своём активе ряд художественных произведений, со страниц которых встают светлые, мужественные образы лучших людей Америки — коммунистов, стойко борющихся за права американского народа. Среди таких книг — известный роман Альберта Мальца «Глубинный источник», роман Говарда Фаста «Кларктон», роман молодого американского писателя Александра Сакстона «Большая среднезападная», повесть Б. Макгенри и Ф. Майерса «Моряк на родине». О росте передовой американской литературы свидетельствует и появление в 1950 году серьёзной работы Говарда Фаста «Литература и действительность», и значительного числа острых, боевых статей по вопросам литературы и эстетики на страницах передового литературно-общественного ежемесячника «Мэссес энд мейстрим».

Рост в США антивоенных настроений, укрепление лагеря активных борцов против империалистической агрессии вызывает серьёзные опасения в правящих кругах трумэнновской Америки.

«Современная американская литература». Сборник статей. Редактор А. Дмитриева. Гослитиздат, М. 1950.

Для пропаганды своих «идей» насилия и разбоя правящей клике США необходимы кадры «надёжных» литераторов, готовых отдать своё перо на службу её агрессивным замыслам, — необходима литература, которая создавала бы извращённое представление о всячески приукрашенной Америке, славила американские монополии, готовила идеологический товар, пригодный для массового экспорта в страны, где хозяйничает «всесильный» доллар.

Среди писателей, открыто занявших место в стане врагов мира, в рядах верных прислужников американского империализма — Эптон Синклер, Джон Дос Пассос, Ричард Райт и ряд других. Иные, такие как О'Нил, Уайльдер, Сароян и другие, не выступая открыто против мира и демократии, в своих произведениях клеветают на человека, пытаются морально разоружить его в борьбе против капиталистического гнёта.

Всё это говорит о том, какие сложные процессы происходят сейчас в литературе США и какое важное значение приобретает появление сборника статей о современной американской литературе.

В сборник, подготовленный Институтом мировой литературы имени Горького, вошли пять статей. Вводная статья — «Два лагеря» — знакомит читателя с общей расстановкой сил в американской литературе, в общих чертах характеризует оба лагеря в литературе.

Авторы сборника поставили перед собой задачу показать литературные явления современной Америки в их развитии, бросить ретроспективный взгляд в прошлое американской литературы. В статьях Р. Самарина «Империалистическая реакция в США и литература» и А. Елистратовой «Манёвры реакционной критики» показаны истоки той литературы, которая сегодняшними правителями США призвана не только оправдывать, но и прославлять грязные акты американской агрессии, разжигать расовую ненависть внутри Америки и искажать правду американской действительности.

В интересной статье И. Анисимова о Теодоре Драйзере с публицистической остротой показан творческий путь этого крупнейшего художника-реалиста, внесшего неограниченный вклад в фонд прогрессивной американской литературы.

Влияние Драйзера на современных пере-

довых писателей США бесспорно. Но было бы неверно думать, что именно с Драйзера начинается прогрессивная, демократическая тенденция в американской литературе. Авторы сборника сделали бы большое и нужное дело, если бы проследили истоки тех передовых идей, которые питают прогрессивную литературу США. Кстати сказать, это поставило бы их перед необходимостью заняться также весьма существенным вопросом о той роли, которую сыграла литература критического реализма в США на протяжении всей первой половины XX века и о том месте, которое занимают в литературе США элементы критического реализма сегодня. К сожалению, эти вопросы полностью выпали из поля зрения коллектива авторов, который работал над сборником.

Таким образом, в той широкой и в целом безусловно верной картине состояния литературы США, которая предстаёт из совокупности материалов сборника, остались некоторые существенные пробелы. Это объясняется, прежде всего, тем, что при наличии в сборнике двух больших статей о реакционной литературе и реакционной критике, в нём нет специальной статьи, посвящённой литературе прогрессивного лагеря. Тот фактический материал о произведениях передовых американских писателей, который содержится во вводной статье, как и монографическая статья А. Елистратовой о Говарде Фасте, не восполняют этого пробела. Больше того, из-за отсутствия такой статьи, из круга вопросов, поднятых авторами сборника, выпало немало и других проблем, связанных с прогрессивной литературой США. Здесь и проблема использования современными прогрессивными писателями богатого опыта демократической литературы, доставшегося им в наследство; и вопрос о большом, принципиальном отличии реализма, свойственного произведениям передовых художников сегодняшней Америки, от критического реализма прошлого; и проблема связи нового содержания их произведений с художественной формой; и вопрос о глубоком влиянии советской литературы, литературы социалистического реализма, на творчество лучших передовых писателей США. Наконец, чрезвычайно важно было бы показать, как под влиянием крепнувшего лагеря мира, под влиянием передовых идей раздвигаются рамки

прогрессивного лагеря в литературе США, как расширяются границы этого влияния.

Несколько облегчённое понимание авторами своих задач наблюдается и в отдельных статьях сборника. Так, например, Р. Самарин в своей статье «Империалистическая реакция в США и литература» сделал основной упор на прошлое литературы американского империализма и, проследив её развитие вплоть до последних лет второй мировой войны, недостаточно изучил те явления, которые характерны для этой литературы в последние, послевоенные годы. В своей статье он не раз говорит об обилии произведений литературы американского империализма сегодня. Он утверждает, например: «В потоке американских книг о второй мировой войне мы найдём... и обильную новеллистику, и целую серию романов, славящих империалистическую экспансию США». «Начиная с 1945 года вышла целая серия «атомных романов», предназначенных для пропаганды новой войны...»

Однако Р. Самарин не упоминает ни одного художественного произведения из числа тех, которые служат ныне целям американского империализма, и не показывает, каков уровень произведений такого рода. В качестве примеров он называет книги Эйзенхауэра, Брэдли и др. Вряд ли, однако, можно рассматривать эти «творения» американских фашиствующих генералов как художественные произведения!

Правда, правящие круги США пускаются на любые ухищрения, чтобы привлечь крупных американских писателей к созданию больших художественных полотен, славящих американский империализм. Директивные статьи, которыми избилуют страницы

журналов Генри Льюиса и «Сатердей ревью оф литерачер» (роль которого, кстати сказать, никак не раскрыта в сборнике), действительно направлены на мобилизацию писателей на службу американскому империализму. Однако внимательное ознакомление с этими журналами, с признаниями, всё чаще звучащими с их страниц, а также с произведениями последних лет, показывает, что политика реакционных идеологов в области художественной литературы терпит крах, что никакие посулы и призывы не в состоянии породить сколько-нибудь крупные художественные произведения, славящие империалистическую агрессию, которую так нужны сейчас правящей клике США. Наоборот, в реакционной литературе всё больше сгущается настроение пессимизма и отчаяния. Этого краха замыслов и надежд американской реакции в отношении художественной литературы в послевоенные годы Р. Самарин в своей статье не показал.

Жаль, что А. Елистратова в своей серьёзной и вдумчивой статье о Говарде Фасте не уделила достаточного внимания вопросам формы и художественного роста талантливого и смелого писателя, а также обошла молчанием некоторые существенные недостатки в его творчестве.

Это лишь отдельные упреки коллективу, который сделал хороший почин, выпустив нужный и полезный сборник. Боевой, наступательный дух сборника делает его острым оружием в борьбе против той пропаганды фашистской, человеконенавистнической идеологии, которую ведёт американский империализм в целях порабощения других народов.

Е. РОМАНОВА.

★

Молодые поэты Албании

Немногим народам привелось выдержать столько испытаний, сколько выпало их на долю маленького, свободолобивого албанского народа. Почти пять веков страна стонала под турецким игом. Позже на Албанию устремились алчные взоры европейских империалистов. Драка за Албанию

между европейскими государствами закончилась победой фашистской Италии, которая, используя выгоды проводимой США, Англией и Францией политики «умиротворения» агрессора, оккупировала Албанию и установила там кровавый колониальный режим.

На протяжении всей своей истории албанский народ мужественно боролся с чужеземными захватчиками. Но распря между правящими феодальными группка-

«Албанские поэмы». Перевод с албанского Д. Самойлова. Редактор В. Сугонай. Издательство иностранной литературы, М. 1950.

ми, старавшимися удержаться у власти и предававшими албанский народ, мешала албанцам закрепить победы, достигнутые ими в ходе народно-освободительной борьбы.

В чёрные годы итальянской оккупации борьба албанского народа за свободу и независимость своей родины стала особенно острой. Трудящиеся Албании, во главе с лучшими сынами народа — коммунистами, боролись не только против оккупантов, но и против национальной буржуазии и феодалов, переметнувшихся в стан врагов народа. Вдохновлённые героическим примером советских людей, албанские патриоты усилили удары по врагу и изгнали итальянских и немецких захватчиков с албанской территории. Бескорыстная помощь советской страны обеспечила создание независимой свободной Албанской народной-демократической республики.

В дни войны рука об руку с лучшими людьми страны шли на бой с врагом и передовые албанские писатели. Теперь они вместе со всем народом участвуют в строительстве новой Албании. В их произведениях получили отражение ратные и трудовые подвиги албанского народа за последнее десятилетие, которое было самым ярким периодом в истории Албании.

К сожалению, произведения писателей стран новой демократии переводятся у нас пока ещё не так часто, как следовало бы. С тем большим волнением и интересом раскроет читатель недавно вышедший на русском языке сборник, куда включены четыре поэмы албанских поэтов.

Закономерно, что все поэты, представленные в сборнике, участвовали в подпольном антифашистском движении. Их поэмы звучат взволнованно и убедительно: всё, о чём в них рассказано, — это виденное, пережитое, прочувствованное.

Лавар Силичи в поэме «Наше солнце не померкнет» воссоздаёт страшную картину жизни в Приштинне — концлагере, организованном эсэсовцами. Юный патриот Силичи сам в дни оккупации был брошен в Приштинский концлагерь. С глубокой болью рассказывает он о судьбе узников Приштинны, о гибели расстрелянных эсэсовцами товарищей. Но не только трагизмом проникнута эта поэма. «Наше солнце не померкнет» — торжественный гимн людям, не павшим духом, людям, умирившим «бесстрашно и твёрдо с надеждой в серд-

цах, как с оружием в руках». Оптимистичен финал поэмы: узники Приштинны слышат рокот орудий армии Сталина, постуль отрядов Энвера Ходжи. Поэма, начавшаяся скорбным реквиемом, закономерно завершается концовкой, звучащей, как торжественный, мажорный аккорд.

О борьбе отважных албанцев с немецко-итальянскими захватчиками повествует в лирической поэме «Песня о партизанах Бенко» молодой поэт Фатмир Гята. На страну опустился мрак... И крестьянский парень Бенко, недавно сыгравший свадьбу, берёт в руки старинную винтовку и уходит к партизанам в горы.

— Потому что тебя я люблю, дорогая
моя,

Я иду в партизаны,
Потому что мне дороги сын и семья,
Я иду в партизаны.
Потому что в неволе родные края,
Я иду в партизаны,—

говорит Бенко своей жене Минуши. И Минуши, прообразом которой послужили автору тысячи албанских жён и матерей, сдерживает слёзы горя.

Прекрасны, патриотичны дела и помыслы героев поэмы; в каждой строчке поэта читатель чувствует: народ с такой силой любящий свою родину, не мог не победить в войне с захватчиками.

Поэма Алекса Чачи «Сталин с нами» характерна для современной албанской поэзии. О чём бы ни говорилось в стихах и поэмах албанских поэтов, на каком бы фоне ни развёртывались события, — две темы неизменно получают в них наиболее отчётливое воплощение: тема коммунистической партии, создание которой положило начало новому этапу в развитии освободительной борьбы албанцев, и тема Сталина, тема России, пришедшей на помощь албанскому народу... Одно сознание того, что есть на свете советская страна, что там живёт и работает Сталин, — удесятельно силы албанских патриотов. Сталин — это «знамя преслых людей», с именем Сталина шли на бой патриоты Албании. В горячих, идущих от сердца поэтических строках Алекс Чачи стремится передать чувства албанцев к вождю народов, раскрывает нам народные думы о Сталине.

Чувство благодарности, испытываемое албанским народом к народам Советского Союза, принесшим освобождение народам

Европы, звучит и в поэмах Лазара Силлич, и Фатмира Гята.

«И весну приносит в каждое селенье ветер из России, ветер из России», — заканчивает свою «Песню о партизанине Бенко» Фатмир Гята. Это — выразительное поэтическое подтверждение слов вождя албанского народа Энвера Ходжа: «Наша судьба неразрывно связана с Советским Союзом. Ни один из народов не сможет завоевать свободу, жить свободным, двигаться по пути прогресса без помощи и поддержки Советского Союза. Никогда никому не удастся покорить нашу любовь и верность Советскому Союзу и великому Сталину».

Три поэмы из четырёх, помещённых в сборнике, посвящены недавнему прошлому Албании. Однако в каждой из этих поэм подчёркнута органическая связь боевых дел вчерашних воинов и трудовых подвигов сегодняшних строителей.

Обращение поэтов к недавнему прошлому отважных воинов, ставших сегодня на трудовую вахту, закономерно: именно в прошлом, в героической борьбе албанского народа за новую жизнь были заложены основы народно-демократической Албании.

Сейчас албанский народ борется за построение социализма, преодолевая сопротивление внутренних и внешних врагов, мешающих великому строительству.

Один из эпизодов борьбы с врагами албанского народа отображён в поэме Марка Ндойи «На страже». Событие, положенное автором в основу поэмы, взято из действительной жизни: диверсанты попытались однажды увести из албанских вод сторожевой катер «Муло»; им помешал в этом рядовой Спиро Кото, получивший впоследствии звание Народного героя Албании. Поэт рисует шакалий образ предателей, изменников, которым «больше албанского хлеба не надо», ибо их «...Черчилль и Трумэн наградами встретят...»

Корыстолюбивым помыслам предателей противопоставлено в поэме благородство патриотических мыслей и чувств простого албанского солдата:

Я — воин народа,
Я — воин Энвера!
Я дело отчизны своей берегу...
.....

Предателей трое?
Один я?

Но родина тоже одна!

Современная литература Албании — совсем юная литература. Однако поэмы, собранные в рецензируемом сборнике, свидетельствуют об одарённости их авторов. Для современной албанской литературы характерен быстрый рост. Создавалась она не на пустом месте: два источника питали её — народное творчество и русская советская литература.

Несколько замедленное развитие письменной албанской литературы в годы турецкого владычества компенсировалось бурной активизацией народного песенного творчества. Патриотический порыв народа с особой силой проявился в героических народных песнях, сказаниях, воспевающих национальных албанских героев. Из народных песен, проникнутых героическим, волюнтерным духом, и исходит прочная литературная традиция, на которую опираются сейчас лучшие албанские поэты. В их произведениях нашли своё воплощение мелодический строй этих песен, их живая образность и, прежде всего, глубокая патриотичность.

Говоря о благотворном влиянии на албанскую поэзию творчества советских поэтов и в первую очередь В. Маяковского, хочется оговориться: речь идёт не о слепом копировании ритмики Маяковского, образного строя его стихов, а о восприятии албанскими поэтами основного идейно-художественного направления поэзии Маяковского и советской поэзии в целом.

Влияние фольклора и русской литературы можно проследить на любой из поэм, представленных в сборнике. В то же время каждая из поэм говорит о яркой творческой индивидуальности их авторов.

Ф. Гята построил свою поэму по законам фольклорной поэтики, используя мотивы народных песен. И песни, вкрапленные в текст произведения, естественно продолжают лирический рассказ поэта. Это — песни в песне. Свежие, сочные образы, ритмическая чёткость стиха, музыкальность интонации почерпнуты автором из сокровищницы народной поэзии.

Поэма А. Чачи «Сталин с нами» звучит суровее, торжественнее. Это — торжественность, приподнятость кантаты. В поэме заметно влияние страстной поэтичной публицистики В. Маяковского. А. Чачи стремится к ритмическому разнообразию, к выразительной «ударности» ритма.

От поэзии В. Маяковского идёт и Л. Силичи. Его поэма — взволнованное обращение к читателю, патетический, в лучшем смысле этого слова, рассказ о пережитом.

М. Ндоья строит свою поэму на чётком сюжете. Мы видим конкретного героя в конкретном действии, и перед нами с каждой страницей всё больше вырисовывается конкретный образ воина-патриота.

Этой конкретности нехватает порой А. Чачи и Л. Силичи. Стих становится у них иногда отвлечённым; это — уже прямолинейное «речение», а не поэтическое воплощение авторской мысли. Да и М. Ндоья в самый напряжённый момент заставляет своего героя произносить длинный монолог; поступки подменяются в таких случаях неорганичными для данного момента рассуждениями; развитие поэмы замедлено. Всё это объясняется, вероятно,

и низкой тем и желанием отбросить усложнённую образность, культивировавшуюся буржуазными поэтическими группировками, и тем, что только сейчас появилась в стране широкая, массовая читательская аудитория и некоторым поэтам показалось, что до неё лучше всего дойдёт именно агитаторское, прямолинейное публицистическое высказывание.

Конечно, албанские поэты преодолеют этот недочёт. Они уже многое успели сделать для развития родной литературы: вспаханы первые борозды, проложены основные магистрали.

Сборник «Албанские поэмы» закрывается с чувством глубокого удовлетворения: ты услышал голоса друзей, за успехи которых радуешься.

Ю. КАРАСЕВ.

★

Уроки Станиславского

Книга Н. Горчакова состоит из воспоминаний о встречах с К. С. Станиславским и записей его бесед и репетиций. Автор — режиссёр Московского Художественного театра, в течение долгих лет работал под руководством К. С. Станиславского. Чаще всего Н. Горчаков встречался со своим учителем на репетициях спектаклей, поставленных силами молодёжи МХАТ'а в начале и середине 20-х годов. Таким образом в центре его воспоминаний оказался этот период жизни и творчества величайшего деятеля русской сцены. В те годы Станиславский, как известно, усиленно работал над теоретическим обоснованием системы воспитания актёров, и на репетициях, беседуя с молодыми мхатовцами, излагал свои программные взгляды на искусство.

В книге Н. Горчакова речь идёт и о спектаклях первостепенного идейно-художественного значения, и о таких работах МХАТ'а, которые не оставили сколько-нибудь заметного следа в его истории. У каждого из этих спектаклей своя особая история. Но, сопоставляя их, можно сделать некоторые важные общие выводы.

«— Я... пользуюсь моими встречами с мо-

Н. Горчаков. «Режиссёрские уроки К. С. Станиславского». Редактор Н. Волков. Издательство «Искусство», М. 1950.

лодыми актёрами и режиссурой, чтобы воспитать из них наших будущих продолжателей МХАТ», — говорил К. С. Станиславский. Задачу воспитания он понимал широко и в первую очередь ставил перед своими учениками вопрос о самом типе художника и о его призвании. Театру, по мнению К. С. Станиславского, принадлежит важная роль в идейном формировании революционного общества. Актёр не вправе считать себя частным лицом; чем сильнее его талант, тем выше его ответственность. К. С. Станиславский так определял то новое, что внесла революционная эпоха в профессию актёра: «В нашу жизнь вошла неотъемлемой частью политика, а это значит, что вошла мысль о государственном устройстве, о задачах общества в наше время...»

К. С. Станиславский в своих режиссёрских уроках постоянно воспитывал в актёрах чувство общественного долга. В выборе репертуара, в трактовке любой пьесы или роли он неизменно придерживался одного и того же принципа оценки: нужно ли это искусство пароду, воспитывает ли оно зрителя, делает ли оно его чище, лучше, умнее, полезнее для общества?

В этом свете К. С. Станиславский и рассматривал вопрос о значении этики в жизни театра. Ни одна сторона его учения не

подвергалась за рубежом такой грубой фальсификации, как высказанные им положения об этике актёра. Уже в послевоенные годы в американской реакционной театральной печати не раз появлялись наглые статейки, в которых система К. С. Станиславского изображалась как сектантский устав, пропагандирующий отрешённость от жизни. Более неумную клевету и придумать трудно. Н. Горчаков в своих записках показывает, как последовательно боролся К. С. Станиславский с пониманием театра как духовного братства избранных. При первой встрече со своими учениками он сказал: «Театр это отныне ваша жизнь». Но театр существовал для К. С. Станиславского не на правах автономности; театр — это только частица жизни. Актёр — прежде всего человек общественного долга, тесно связанный с действительностью, в ней только и могущий найти источник и смысл своего творчества.

Ко времени встречи Н. Горчакова со Станиславским «система» воспитания актёра имела уже богатую историю; она складывалась на протяжении трёх предшествующих десятилетий и к началу двадцатых годов приобрела стройный и цельный характер. Опираясь на опыт «системы», К. С. Станиславский говорил своим ученикам, что искусство актёра не может быть импровизацией — хотя бы и вдохновенной. Узнайте свою природу, дисциплинируйте её, действуйте не по наитию, а по тем законам творчества, которые ведут к полному перевоплощению на сцене, к глубокому и искреннему переживанию в процессе игры! Свод этих законов и составляет систему, исследующую с позиций материалистической науки процесс творчества художника, его важнейшие особенности.

Педагог в Станиславском был неотделим от режиссёра, и, обучая молодёжь внутренней технике системы — от её простейших приёмов (внимание, общение, свобода мышц и пр.) до самых сложных, — он всегда имел в виду одно: привести актёра к верному самоощущению, к тому, чтобы на сцене было как в жизни, а не примерно или приблизительно как в жизни. Реализм в представлении Станиславского — не техника копировки действительности, доведённая до совершенства. Художник обязан относиться к явлениям жизни под тем или иным углом зрения; без ясно осознанной цели его

творчество станет только «собранием случайностей».

Книга Н. Горчакова вводит читателя в самую суть метода режиссёра, совершившего великий переворот в мировом театральном искусстве. Мы узнаём, какое решающее значение в своих уроках послеоктябрьского периода отводил Станиславский учению о «сверхзадаче». Во всяком произведении сценического искусства он искал его «главную артерию», ту, которая питает «весь организм артиста и изображаемого лица, даёт жизнь как им, так и всей пьесе». Это — идея автора, его жизненная цель, «сверхзадача», то есть то, ради чего он взялся за перо, что он отстаивает, что хочет сказать людям.

Направляя усилия актёра к решению «сверхзадачи», Станиславский входил во все предлагаемые обстоятельства пьесы. Это была работа прежде всего аналитического характера. Нужно было подготовить почву для творчества, рассеять накопившиеся предрассудки, установить новое, под сказанное современными историческими условиями отношение к идее будущего спектакля и каждой роли. Но уроки Станиславского давали не только неотразимый по своей силе критический комментарий к пьесе. Репетиции строились с таким расчётом, чтобы «сверхзадача» нашла отклик в душе «творящего артиста», чтобы он эмоционально взволновался ею «от своего собственного чувства и лица». Процесс анализа на этих репетициях был неотрывно связан с процессом воплощения. Определяя общую идеологическую задачу, Станиславский тут же указывал конкретные формы её решения: как облечь идею в сценический образ, как выразить её в характере и поведении героев, как из рассказа перевести её в действие.

В те годы, о которых идёт речь в книге Н. Горчакова, «метод физических действий» ещё не определился с полной отчетливостью. К. С. Станиславский только шёл к нему; это открытие последнего десятилетия его жизни. Но уже и в двадцатые годы Станиславский очень часто через физическую линию действия актёра проникает в сложные внутренние переживания героя. В простейших физических задачах он видит наиболее надёжный путь к верному самоощущению на сцене. В этом смысле книга Н. Горчакова может послужить ценным

вкладом в ту дискуссию о творческом наследии Станиславского, которая уже в течение нескольких месяцев ведётся на страницах нашей театральной печати.

К. С. Станиславский в своих режиссёрских уроках постоянно напоминал, что физические действия актёра, типичные для переживаемого момента, укрепляют его «чувство правды и веры». В то же время он указывал, что нельзя средство превращать в сущность, и что система во всей совокупности её приёмов — не самоцель, а только метод к реалистическому воплощению идеи автора, его «сверхзадачи».

На страницах книги Н. Горчакова возникает живой образ художника, убеждённого сторонника материалистической эстетики, стремящегося к возможно более глубокому познанию действительности и неизменно подчёркивающего роль мировоззрения в творческом процессе.

Осенью 1924 года, познакомившись со школьной работой своих учеников — инсценировкой повести Ч. Диккенса «Битва жизни», — Станиславский задал им неожиданный вопрос: «сколько раз вы хотите сыграть этот спектакль?» Молодые актёры были смущены. Об этом они не думали. «Хотите сыграть эту пьесу двести раз?» — «Конечно, хотим». — «И пойдёте для этого на некоторые жертвы?»

Размер жертв, как вскоре выяснилось, был весьма внушительным. Станиславский предложил план реконструкции всего спектакля. Почему он решился на такие крутые меры? В «Битве жизни», сыгранной двадцатилетними девушками и юношами, руководитель МХАТ'а усмотрел реальную опасность: спектаклю грозила ранняя старость, быстрое увядание. В процессе репетиций и предшествующей жизни спектакля — он уже шёл на сцене — молодые актёры утратили живое ощущение его идеи. А идея, нужная зрителю сегодня, говорил Станиславский, есть единственное средство сохранить молодость искусства. Потеряв эту идею, художник превращается в убогого профессионала, живущего в разладе с действительностью. — и его творчество, какими бы формальными совершенствами оно ни отличалось, быстро иссякнет и вырождается. Иными словами, Станиславский устанавливает, что искусство актёра не может развиваться вне прямой связи с общественной практикой.

В истории Художественного театра первое послеоктябрьское десятилетие — период наименее изученный. Тем большее значение приобретают описанные в книге Н. Горчакова режиссёрские уроки Станиславского на репетициях «Горя от ума». Размышляя в те годы о путях МХАТ'а, его руководители не случайно остановили свой выбор на «Горе от ума». Известно, что К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко весьма критически оценивали дореволюционные постановки Грибоедовской комедии в Художественном театре (1906—1914 гг.). Теперь, обогащённый историческим опытом, театр возвращался к своей ранней работе, чтобы выразить в ней своё сегодняшнее понимание задач искусства. Н. Горчаков приводит слова Станиславского:

«Революционный дух Грибоедовской комедии полностью соответствует той перестройке нашего общества, свидетелями которой мы с вами являемся каждый день. Грибоедов казнит всё косное, мешанское, реакционное в своей пьесе, так же должны и мы с вами поступать, истребляя в себе и в окружающих нас буржуазные взгляды на жизнь, бытовые привычки и настроения».

К. С. Станиславский поставил пьесу в связь с общественными условиями её времени, и отсюда, опираясь на историческую почву, давал толкование её современного значения. Путь от прошлого вёл к будущему, к общечеловеческой теме комедии, к теме новатора, вступающего в борьбу с силами реакции и косности.

Чтобы оценить прогрессивный смысл этой работы Станиславского, вспомним, какая обстановка сложилась в те годы в искусстве. Режиссёры-формалисты кроили, перекраивали — под лозунгом «современивания» — пьесы классического репертуара, в том числе и «Горе от ума». Как раз в самый разгар похода на классику, предпринятого буржуазно-эстетской критикой и вульгаризаторами пролеткультозского толка, Станиславский высоко поднял знамя русской национальной культуры. Объясняя причины возобновления «Горя от ума», он говорил, что театр вернулся к Грибоедову не только потому, что это острая сатира на лагерь крепостничества. И не только потому, что зритель сочувствует революционной позиции Чацкого. «Нет, не только

поэтому! Сила «Горе от ума» в том, что в нём ярко выражен дух русского народа...»

Идея национального самосознания, чести и гордости русского человека, его любви к своей стране и её культуре была в центре режиссёрских уроков Станиславского, на репетициях «Горя от ума».

Величайший революционер в искусстве, Станиславский учил своих последователей дорожить ценностями, накопленными русским театром на всём его историческом пути. Худителям и лженоваторам, объявлявшим Художественный театр «сгаромодным» и «отжившим», он противопоставлял свою позицию — идти к новому, усваивая и критически развивая всё то, что создало русское демократическое искусство в прошлом. На вопрос, что в «Горе от ума» будет «от старого» и что «от нового», он ответил: «Всё лучшее. Всё лучшее от старого и всё лучшее от нового».

Через все беседы Станиславского проходит мысль о том, что искусство Художественного театра выросло из реалистического и демократического искусства Щепкина. Станиславский в режиссёрских уроках послеоктябрьского периода выступает как продолжатель традиций русских демократов, воспитывая молодое поколение актёров МХАТ'а в убеждении, что «прекрасное есть жизнь», а задача искусства — в отображении этой жизни.

В каждом сюжете, к которому обращался Станиславский, он находил жизненную основу, «корни», которые питают сценическое действие. И независимо от того, над чем он работал, — будь то старинный водевиль, современный политический памфлет или историческая мелодрама, — он ставил перед актёрами такие задачи, которые раздвигали границы пьесы и переносили её события в реальную историческую среду. У всех его уроков был обязательный общий мотив: мир театра — подлинный мир, и жизнь в нём течёт по всем законам логики и психологии, вне зависимости от жанра, который избрал автор.

На репетиции «Льва Гурыча Синичкина» Д. Ленского он предложил разыграть этюд-импровизацию на тему: как прошло утро у каждого из героев этого старинного русского водевиля. Актёрам надо было перенестись в обстановку губернского города первой половины XIX века и найти действия и слова, соответствующие положению и обусловленные характером образа.

Режиссёрская фантазия Станиславского была неистощима и всегда исходила из особенностей данного театрального жанра; но от требования жизненной логики и художественной правды он не отступал ни при каких обстоятельствах.

Занятия с молодыми мхатовцами, впервые участвовавшими в одной из массовых сцен в «Царе Фёдоре Иоанновиче» А. К. Толстого, Станиславский начал с пожелания, чтобы актёры изучили жизнь России того времени, «её бедствия и раздоры, структуру государственной власти». Участники сцены обязаны были знать не только биографии своих героев (возраст, профессию, московский адрес и пр.), но и чётко оценивать сложившуюся политическую обстановку, мотивы действия Шуйских и их противников, своё место в заговоре.

С ещё большей тщательностью Станиславский составил опросный лист для участников массовой сцены в третьем акте «Горя от ума». Вопросы тут было побольше, и касались они всех сторон общественной и интимной жизни фамусовской Москвы. Зачем понадобилась Станиславскому такая, можно сказать, педантичная разработка внутренней и внешней жизни этих бессловесных персонажей? У Грибоедова ведь просто сказано «множество гостей». Как бы предвидя недоумение актёров, Станиславский говорил Н. Горчакову: «Вы должны будете объяснить колеблющимся и увлечь сомневающимся в необходимости такой работы. Это единственный путь к органической жизни на сцене». Актёр-реалист не просто винтик в стройно задуманном ансамбле спектакля, а творческий его участник, все помыслы и действия которого направлены к «сверхзадаче» пьесы.

К. С. Станиславский требовал от актёров МХАТ'а жизненности и правдивости в сценическом действии и отвергал натурализм, как «плохое понимание типического». Важнейшим условием искусства он считал искреннее отношение художника к своему предмету, то есть «насколько он верит в то, что изображает». И все эти требования исходили из одного обязательного условия:

«Нельзя существовать на сцене, ставить спектакль ради самого процесса игры или процесса постановки. Да, нужно и можно увлекаться своей профессией, нужно любить её преданной, страстной любовью, но не за неё самоё, не за те лавры, не за то наслаждение, которое она приносит худож-

нику, артисту, а за то, что избранная вами профессия даёт вам возможность говорить со зрителем о самых важных и нужных ему в жизни вещах...».

Всякое отступление от этого правила неизбежно ведёт к катастрофе. Приведённая в последней главе книги история постановки пьесы М. Булгакова «Мольер» служит тому замечательным доказательством. М. Булгаков был опытный драматург, хорошо владевший законами сцены. Острота сюжета пьесы о великом французском писателе XVIII века и выигрышные роли привлекли к ней внимание режиссуры и актёров Художественного театра. Репетиции шли полным ходом до тех пор, пока с пьесой не познакомился Станиславский. Он оценил её эффектные положения, но сразу же высказал возражения по самой сути замысла М. Булгакова.

«Я не увидел Мольера—человека громадного таланта... На сцене... я вижу больного, загнанного в угол человека... А я, как зритель, хочу знать, что такое гениальность. Дайте мне почувствовать гениальность Мольера».

Это была пьеса о маленьком человеке, преследуемом грязной клеветой и падающем под её ударами. М. Булгакова привлекла интимная сторона жизни знаменитого французского драматурга, сенсационные подробности его биографии. Станиславский справедливо возмущался:

«Это будет дразнить, или, как говорят французы, «эпатировать» вкусы обывателя, но к мировому гению, каким является Мольер, это не имеет прямого отношения».

Пьеса уводила театр в сторону от того принципа идейности, в котором Станиславский видел смысл искусства. И ложную в своём замысле пьесу не удалось спасти, несмотря на все старания режиссуры и актёров.

Книга Н. Горчакова рисует К. С. Станиславского во всеобъемлемости его гения художника, теоретика и практического организатора сил искусства, во всеобъемлемости его интересов патриота, устремлённых к нашей советской жизни и к её тогда заново складывавшемуся быту.

В театральной литературе существует немало книг о великих деятелях сцены, написанных их сподвижниками. Но только немногие из этих книг дают полное и объективное описание процесса творчества художника, не перегружая это описание деталями быта и обстоятельств его жизни. В «Режиссёрских уроках К. С. Станиславского» есть ценные бытовые и психологические наблюдения, но все вместе они служат только фоном к основной теме книги: великий режиссёр, педагог и экспериментатор в живом общении со своими учениками.

А. МАЦКИН.

★

Борьба за мир. Международные отношения. История

Фашистский облик правящей клики США

Заговор американских империалистов против мира во всём мире — это вместе с тем и заговор против американского народа. Подготавливая новую мировую войну, правящая клика США ведёт одновременно наступление на демократические права американских трудящихся. Каждый новый агрессивный акт американского империализма сопровождается фашистскими мероприятиями внутри страны. Подавление прогрессивных, демократических сил, «обузда-

ние» рабочего класса США рассматривается поджигателями войны как необходимейшее и важнейшее условие создания громадной военной машины для завоевания мирового господства.

Сразу после окончания второй мировой войны начался процесс ускоренной фашизации США. Даже пресловутая американская «демократия», бывшая и в прошлом лишь бирмой безжалостной диктатуры нескольких десятков семейств промышленных и финансовых магнатов, ныне уже кажется неприемлемой и «опасной» для стоящей у власти клики милитаристов и гангстеров. Эта клика переходит к открытой диктатуре фашистского типа.

Альберт Кан, при участии Артура Кана. «Измена родине. Заговор против народа». Перевод с английского. Вступительная статья В. Корионова. Редакторы В. Репин и И. Сладис. Издательство иностранной литературы, М. 1950.

Более чем когда-либо к Соединённым Штатам подходит определение, данное В. И. Лениным:

«...Перед нами совершенно нагой империализм, который не считает даже нужным облачить себя во что-нибудь, думая, что он и так великолепен!».

Книга прогрессивного американского писателя Альберта Кана (написанная при участии Артура Кана), вышедшая в Нью-Йорке в 1950 году и недавно изданная в переводе на русский язык, интересна, прежде всего, тем, что она рисует внутреннюю жизнь в США без прикрас, разоблачая перед всем миром правящие классы США в их отвратительной наготе. Много из того, о чём повествуют авторы, широко известно как в Америке, так и за границей. Но, собранные вместе, факты продажности американских политических деятелей, картины морального разложения, фашистского мракобесия и жестокости дают необычайно цельное представление о тех, кто ныне правит Соединёнными Штатами и претендует на «управление миром».

Это краткая история США за последние тридцать лет. Однако в начале и в конце своей книги автор предупреждает читателя, что речь идёт о сегодняшней Америке. Вспомнить о том, что происходило в США после окончания первой мировой войны, необходимо американцам, — пишет Кан в предисловии, — для того, чтобы уяснить, что угрожает им в настоящее время.

Однако, — подчёркивает он в последней главе, — «черты сходства между двумя послевоенными Америками ещё не так страшны, как черты различия между ними.

Если после первой мировой войны началось широкое наступление на демократические права американского народа, то в 1950 году ему угрожает полное уничтожение демократии как таковой и установление в Америке фашизма. И если дикая оргия спекуляции и казнокрадства 20-х годов была предвестником нужды и страданий эпохи большого кризиса, то великодержавная политика эпохи «холодной войны» грозит развязать всемирную атомную войну, которая погубила бы миллионы мужчин, женщин и детей».

1919—1920 годы. По заданию фактических властителей Америки — монополи-

стов — министр юстиции Пальмер и его специальный помощник Дж. Эдгар Гувер (ныне глава американской охранки — Федерального Бюро расследований) предпринимают облавы на радикалов, то есть на всех граждан США, чей образ мыслей казался «опасным» полиции. Тысячи арестов без суда и следствия, без какого бы то ни было законного повода были произведены с заранее обдуманной жестокостью, в обстановке подлинного погрома.

В семидесяти с лишним городах агенты министерства юстиции в сопровождении полиции штатов и городской полиции врываются на собрания, в частные конторы и квартиры. В Нью-Йорке было арестовано около тысячи человек. По улицам Бостона провели в тюрьму около четырёхсот закованных в наручники мужчин и женщин. Тысячи людей были арестованы в штатах Мэн, Орегон, Нью-Джерси, Калифорния, Огайо, Миссисипи, Иллинойс, Небраска и многих других.

И повсюду участники этих облав вели себя не как блюстители закона, а как банды погромщиков.

Альберт Кан рисует страшные, потрясающие сцены убийств и избиений ни в чём не повинных людей. Министерство юстиции сознательно рекламировало эти ужасы. В газетах помещались многочисленные снимки кровавых расправ, печатались открытые призывы к самосуду над «красными». В тюрьмах происходили зверские пытки.

Вся страна была во власти террористических шаек. Банды ку-клукс-клановцев громили рабочие организации, линчевали негров и профсоюзных активистов, калечили и избивали людей, истребляли целые семьи. Господствующие классы поощряли и организовывали этот массовый террор. Фашистские погромы временно задержали рост сил демократии в США: профсоюзное движение было ослаблено, число членов профсоюзов за два года уменьшилось более чем на миллион человек, тысячи выдающихся демократов были убиты, изгнаны из страны, заточены в «камеры ужасов».

Автор убедительно показывает, как установившийся в стране режим террора и насилия способствовал обогащению монополий, невиданному казнокрадству и грабежу. «Политические уполномоченные крупного

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 31, стр. 416.

капитала» посадили на пост президента «бесцветное и пошлое ничтожество» — сенатора Гардинга. Автор красочно рисует обстановку Белого дома — резиденции президента, где происходили пьяные оргии, где члены правительства Гардинга — его старые собутыльники и финансовые тузы, ставшие министрами, совершали тёмные сделки на сотни миллионов долларов, разворовывая богатства страны.

Гангстеры стояли у власти. Некоторые дела были позднее разоблачены, незадачливые «министры» попали под суд, кое-кто был убит сообщниками по преступлению, «загадочно» умер и сам президент Гардинг. Но главные преступления остались неразоблачёнными.

Президентом стал Кулидж, при котором грабёж страны принял поистине грандиозные размеры. «Дело Америки — бизнес», — таков был девиз Кулиджа. Крупнейшие бизнесмены Меллон, Гувер, Рокфеллер, Морган богатели на «законном» основании.

Небывало выросла в США преступность. По выражению автора, «преступность стала в Америке ведущей отраслью промышленности». В 1928 году преступниками было убито двенадцать тысяч американцев, что составляет 10 процентов всех людских потерь США во время первой мировой войны.

Альберт Кан приводит статистические данные, свидетельствующие, что в эту эпоху так называемого «процветания», когда богатели биржевые спекулянты и просто гангстеры, державшие в своих руках целые отрасли промышленности, — подавляющее большинство американских трудящихся вело нищенский образ жизни. А разразившийся в октябре 1929 года кризис, разоривший тысячи банкиров и промышленников, сильнее всего ударил по миллионам труженников. «К 1932 году, — пишет автор, — массы голодающих нищих наводнили всю страну. Десятки тысяч оборванных, бездомных детей бродили по сельским районам. В США насчитывалось от 13 до 17 млн. безработных».

И снова, в этих условиях растущего возмущения народа, правящие круги США знали только одно «средство» обращения с массами: насилие. День 28 июля 1932 года, названный позднее «кровавым четвергом», ознаменовался зверской расправой генерала Макартура над безработными ветеранами первой мировой войны. В после-

дующие годы десятки подобных же полицейских расправ происходили во всех промышленных центрах Америки, где передовые рабочие пытались организовать борьбу за свои права. К услугам капиталистов всегда имеются сотни «агентств», которые за определённое вознаграждение поставляют предпринимателям отряды натренированных штрейкбрехеров и профессиональных убийц.

И в эпоху президентства Ф. Д. Рузвельта, личность которого явно идеализирует Альберт Кан, в США продолжался фашистский террор, процветали организации гангстеров. Дикие избиения, массовый шпионаж, составление «чёрных списков» неблагонадёжных американцев — всё это имело место в тридцатых годах. Пресловутая «Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности» была учреждена 26 мая 1938 года и с первых же дней своего существования стала, по словам автора, «органом злобной антидемократической пропаганды и орудием ниспровержения основ американской конституции».

А годы второй мировой войны ознаменовались невиданным обогащением американских монополистов. Прогрессивный американский литератор констатирует, что результатом войны явилась небывалая концентрация экономической власти в руках узкой группы лиц. «Пока наш народ помогал уничтожать фашизм в других странах, у него на родине создавалась экономическая основа фашизма».

Весьма существенные недостатки книги Альберта Кана подробно разобраны в содержательной вступительной статье В. Корюнова. В книге не показаны с достаточной полнотой силы, ведущие в США битву за мир и демократию; даётся неправильная оценка деятельности Рузвельта.

Только последняя, четвёртая часть работы Альберта Кана посвящена послевоенному периоду, разоблачению современной действительности, фактам фашизации США. Автор описывает «реакционную свистопляску», начатую американскими мракобесами, обстановку всеобщего страха, истерии и полицейского сыска, активизацию фашистских организаций. Он рисует и разгул антинегритянского террора, и гнусные допросы в «Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности», и фа-

шистский судебный произвол на процессе двенадцати лидеров американской компартии.

Однако эта часть написана явно слабее предыдущих, исторических глав. Едва ли в этом можно винить автора: дела «миссурийской шайки» Трумэна ещё ждут полного разоблачения; нажива нынешних правителей Америки, грабёж национальных богатств приобрели небывалый размах, но многие факты тщательно скрываются. Характеризуя окружение Трумэна, приводя частичные данные о баснословных доходах монополий после второй мировой войны, рассказывая о некоторых актах фашистского террора, Альберт Кан показывает, что творимые нынешними правителями США дела ещё более преступны, чем дела шаек Гардинга, Кулиджа, Герберта Гувера.

Эта основная мысль книги, несомненно, лежала в основе всего авторского замысла. Именно для того сделан им экскурс в историю, для того приведены мрачные факты 20-х и 30-х годов, факты документально проверенные, чтобы американский читатель понял взаимосвязь явлений, понял, как его пытаются обмануть теперь. Читая о том, как были начаты провокационные «пальмеровские облавы», кто и зачем их придумал, к каким последствиям повело торжество реакционных мракобесов в недавнем прошлом. — средний американец должен задуматься над сутью нынешней антикоммунистической истерии трумэновцев.

В послесловии автора, названном «К читателю», Альберт Кан пишет: «В нынешней критической обстановке следует постоянно вспоминать уроки прошлого... Кто наживался на первой мировой войне? Кто грабил нашу родину в 20-х годах и привёл нас к грозному кризису 30-х годов?.. Кто вскормил фашизм, привёл Гитлера к власти и сделал неизбежной вторую мировую войну? Кто нажился на кровопролитии, страданиях и обнищании масс за последние десятилетия?». И сам автор отвечает, что врагами народа, изменниками родины являются «привилегированное меньшинство и его прислужники на государственных постах... Именно они породили страшную угрозу третьей мировой войны с

её бесчисленными жертвами и разрушениями».

Альберт Кан правдиво и ярко изображает правящую клику США, её звериный облик, её моральное разложение, продажность, жадность. В Вашингтоне процветают те же нравы и порядки, что и в двадцатых годах, имеется много и «знакомых» лиц: Герберт Гувер, Д. Э. Гувер, Даллес, Макартур... «Вместо гардинговской «шайки из Огайо» в столице правит «миссурийская шайка» Трумэна. Снова моральные устои наши подрывает неглая коррупция; аферисты и политические боссы грызутся между собой за добычу; в стране разыгрывается оргия преступлений».

Для советского читателя, для всех честных людей мира книга Альберта Кана явится призывом к бдительности. Человечество должно знать облик людей, размахивающих ныне атомной бомбой, создающих невиданную в истории США агрессивную армию. Ни один здравомыслящий человек не поверит декламациям Трумэна о том, что силы разрушения, создаваемые американской военной, могут якобы служить «гарантией мира» во всём мире и будут употреблены «на благо» человечества. Правящая клика Америки ещё более опасна, ещё более безумна, чем клики Гитлера, Муссолини, Хирохито. Совершенные уже ею преступления против американской демократии, против мира во всём мире, её кровавые злодеяния в Корее свидетельствуют об отвратительном фашистском облике современных претендентов на мировое господство.

Нельзя не разделять оптимистической уверенности Альберта Кана в том, что американский народ «выиграет мир», отстаивая демократию, ибо ярость американских фашистов — это ярость отчаяния, они «колоссы на глиняных ногах». Но нельзя забывать и о том, что гибнущие классы не уходят с арены истории без отчаянного, звериного сопротивления. Агрессивная, авантюристическая фашистская клика в США представляет собой реальную опасность для всего человечества. Дальнейшее укрепление единства всех защитников мира и демократии во всём мире сорвёт кровавые замыслы американских агрессоров.

Б. ЛЕОНТЬЕВ.

США движутся на Север

В бредовых планах мирового господства, проводимых идеологами американской экспансии, весьма важная роль отводится северным территориям. С точки зрения империалистов США, не признающих государственных границ и суверенных прав народов, Северный Ледовитый океан является «новым Средиземным морем» (древние римляне называли Средиземное море «ианим морем» — «маре пострум»; это выражение было использовано итальянскими фашистами для обоснования «права Италии» господствовать на Средиземном море).

Ещё в 1943 году в херстовской газете была опубликована карта Северного полярного бассейна под циничным заголовком: «Арктический океан — «маре пострум» грядущего века авиации».

Полярный бассейн занимает центральное место и в американской концепции «относительного расположения территорий», оцениваемых по их военно-стратегическому значению для США. Два из шести важнейших воздушных коридоров — Лабрадор — Гренландия — Исландия — Норвегия и Аляска — Алеутские острова — Берингово море — лежат в полярном бассейне. Кратчайшая воздушная трасса (по дуге большого круга) от северо-запада США до Японии проходит через Алеутские острова. От западного побережья Гренландии до Москвы около четырёх с половиной тысяч километров. Немногом меньше от Исландии до Урала. И не случайно в штабе военно-воздушных сил в Пентагоне висят карты в циркулярной проекции (с Северным полюсом в центре), к которым рекомендуется «приучать глаз» и на которых прокладываются воздушные «трассы обороны» к многим странам земного шара, но в первую очередь к СССР. Именно поэтому на одной только полупустынной Аляске сейчас настроено не менее двухсот аэродромов.

Сборник «Американский Север» должен (как отмечается в предисловии редакции) хотя бы отчасти удовлетворить интерес широких кругов советских читателей к области, где ведутся «военные приготовления...

«Американский Север». Географический сборник переводных статей. Со вступительной статьёй И. И. Ермашёва. Под общей редакцией М. И. Баранского. Издательство иностранной литературы, М. 1950.

направленные прямо и непосредственно против нашей страны».

Перед составителями сборника стояла лёгкая задача: из массы тенденциозных, разбросанных по различным американским изданиям статей, стремящихся не только оправдать, но и направить агрессию, отобрать более или менее объективный фактический материал, освещающий природу, население и хозяйство «Американского Севера». Необходимо было дать всему этому материалу оценку и разоблачить истинные причины «северных интересов» США. Это сделано в предисловии и в обширной вступительной статье И. Ермашёва «Север в планах американской агрессии», занимающей одну четверть всего сборника и представляющей большой интерес.

В статье расшифровывается понятие так называемого «Американского севера». Это территория площадью свыше восьми миллионов квадратных километров (включая и Гренландию, формально принадлежащую Дании) с населением всего лишь около ста пятидесяти тысяч человек, то есть с плотностью 0,018 человека на квадратный километр, с крупными запасами урано-радиевых руд и других ископаемых, рыбными и пушными богатствами. На господство над всей этой областью претендуют США, которым на севере принадлежит только Аляска. Но её приобретение в 1867 году у правительства царской России по «сходной» цене — пять центов за гектар! — уже тогда имело в своей основе экспансионистские устремления. «Не научные и даже не экономические цели влекут на Север самых различных представителей так называемого «делового мира» США, а тем более представителей военищины. Цели эти выражаются одним словом — агрессия!» — говорится во вступительной статье.

В статье вскрываются истинные причины и цели «полярной лихорадки», провоцируемой руководителями военно-воздушных сил и авиационности США. И. Ермашёв разоблачает американский миф о «неизбежности» военных операций для «обороны» Севера и о якобы «несокрушимой мощи» американской авиации, боевой радиус действия которой не превышает трёх тысяч километров.

Тем не менее США лихорадочно укреп-

ляют «Американский фронт», центр которого представляет собой Канада, а фланги простираются до Алеутских островов на западе и до Исландии и Северной Норвегии (!)—на востоке.

Соглашение 1947 года о «военном сотрудничестве» с Канадой, строительство на её территории десятков радиолокационных станций и аэродромов, прогрессирующее финансово-экономическое закабаление этой страны,—фактически уже превратили её в один из штатов США. Наглое заявление о включении Гренландии «в зону безопасности западного полушария», полное её подчинение США и установление контроля над военными базами в Исландии, использование норвежских портов, манёвры американских подводных лодок вблизи Мурманска, сотни авиабаз на Аляске и Алеутах — таковы планомерные этапы «обороны» «Американского Севера».

С циничной откровенностью «европейский Макартур» Эйзенхауэр дал оценку экономики Аляски: «В настоящий момент армия представляет собой крупнейшую отрасль индустрии на Аляске».

Во вступительной статье приведены яркие факты, цифры, освещающие характер американского движения на Север.

Само собой разумеется, что подобного рода сведения старательно затушёвываются или совсем отсутствуют в американских статьях сборника. Часть из них даёт фактический материал о природе, населённых пунктах и транспортных условиях или в виде региональных («Районы Аляски» Дж. Сундборга) или в виде маршрутных («Колонизируемые земли Запада» и «Тундровые земли» Г. Тейлора) описаний. Наиболее комплексный характер имеет статья Дж. Л. Робинсона «Канадская западная Арктика». Отдельные главы, взятые из различных книг и журналов, посвящены специальным темам: «Туберкулёз среди коренного населения Аляски», «Разведка нефти в Арктической Аляске», «Администрация», «Транспорт и связь», «Добыча ископаемых» и «Пушной промысел» Северо-западных территорий. Сообщаемый материал может интересовать читателей самых различных специальностей.

Нельзя ожидать от авторов этих статей правильного социально-экономического анализа и оценки экономического развития «Американского Севера», разоблачения ко-

лонильной и авантюрно-агрессивной политики США. Но приводимые сведения, подчас неполные и отрывочные, служат, вероятно помимо желания авторов, весьма яркими иллюстрациями одностороннего развития хозяйства и тяжёлого положения коренного населения «Американского Севера».

«Из 32 457 индейцев, эскимосов и алеутов болны туберкулёзом почти 4 000», — сообщает Э. Херрон. Автор вынужден прийти к выводу: «низкий уровень жизни является причиной этого бедствия, ныне поражающего туземцев Аляски». Однако, продолжает он, «никто на Аляске не содрогается от страха перед туберкулёзом, свирепствующим среди туземцев».

Скупые статистические сведения об отдельных населённых пунктах достаточно красноречиво свидетельствуют о характере эксплуатации американских окраин. Вот, например, описание форта Провиденс, расположенного неподалёку от Большого Невольничьего озера: «Состав белого населения примерно таков: 4 священника и около 12 сестёр в католической миссии, 5 человек обслуживающего персонала нового аэропорта и 4 человека на радиостанции, 5 служащих склада и 2 полицейских офицера».

Ярко и до цинизма «объективно» описание Гуд-Хопа в низовьях Мекензи: «Здесь имеются два магазина, не считая обычного магазина компании Гудзонова залива, многие индейцы проживают здесь постоянно. К сожалению, здешние индейцы в очень большой степени поражены туберкулёзом: за последние два года тут умерло 70 индейцев, большей частью в возрасте до 40 лет, а рождений было всего 20. Здесь много огородов, находящихся в хорошем состоянии, хотя пост расположен всего в 30 км. от Полярного круга, Уполномоченный (подчёркнуто мною. — Е. Л.) компании Гудзонова залива вполне обеспечен турнепсом, свёклой, капустой, морковью, горохом, салатом, бобами, луком, редисом и шпинатом. Конечно, хорошо вызревает и картофель. Несколько необычное зрелище представляет тесный ряд изб вдоль высокого берега реки Джекфиш-Крик, в которых летом живут индейцы. Здесь есть большой католический костёл и миссионерский дом, но английской общины нет».

Более лаконичны сведения о Форт-Селькерке, где «есть два крупных магазина, две церковные миссии с церквями, телеграф и полицейский участок».

О белом населении Канадской Арктики Робинсон пишет: «Западная Арктика заселена очень слабо. Пришлых жителей-европейцев насчитывается менее пятидесяти в десяти разбросанных поселениях. Пришлые жители представлены скучпиками пушнины, полицейскими, миссионерами, а также радистами, метеорологами». Когда же канадский администратор на службе США Р. Финни пытается говорить о «гуманности» цивилизации, с тем, что «администрация делала всё, что было в её силах для защиты интересов туземцев», о «сочувственных взглядах на необходимость обеспечения благополучия жителей», — остаётся только присоединиться к примечанию редактора: «По одной этой фразе видно, что в Америке не было сатирика такой силы, как наш Салтыков-Щедрин».

Всё, что искажается, утаивается, «забывается» американскими авторами сборника, разоблачается и исправляется в многочисленных редакторских примечаниях, материал которых может составить не одну ценную статью. Таковы, например, сведения о причинах и размерах краха аляскинского оленеводства, об искусственном торможе-

нии добычи канадской нефти, десятки примечаний о строительстве авиабаз и автодорог, о военном значении экономически бесполезной аляскинской автотрассы «Алькан», о гигантских прибылях, получаемых за счёт туземцев американскими пушными компаниями и т. п.

И совершенно справедливо заключение редактора о том, что «успешное освоение и заселение Крайнего Севера в условиях империализма оказывается невозможным — вот тот основной вывод, к которому приводит знакомство с современным положением «Американского Севера» даже по американским источникам».

Следует отметить, что Издательство иностранной литературы могло бы снабдить книгу цветными, не столь примитивными обзорными картами и отнести внимательнее к редактированию перевода, в некоторых разделах крайне небрежного и даже искажающего смысл.

Советский читатель, ознакомившись с работами американских обозревателей, вправе ждать от советских авторов подлинно марксистского осмысления проблем «Американского Севера» в обстоятельных научных работах.

Кандидат географических наук
Е. ЛУКАШОВА.

★

Легенда о Роммеле и её проповедники

В Западной Германии американские поджигатели войны вступили в открытый союз с недобитыми гитлеровским охвостьем — прусскими генералами, рурскими магнатами, фашистскими гаулейтерами.

Устами Эйзенхауэра правящие круги США открыто объявляют о своём намерении возродить германские вооружённые силы. На службу новым хозяевам призваны такие зубры германского милитаризма, как

Lutz Koch. „Erwin Rommel. Seine Rolle und sein Schicksal“. „Die Welt“, 1950. (Лутц Кох. «Эрвин Роммель, Его роль и его судьба». «Ди вельт», 1950).

Desmond Young. „Rommel“. Wiesbaden. (Десмонд Янг. «Роммель». Висбаден).

Hans Speidel. „Invasion 1944. Ein Beitrag zu Rommels und des Reiches Schicksal“. Tübingen und Stuttgart. (Ганс Шпейдель. «Вторжение 1944 г. Исследование судьбы Роммеля и империи». Тюбинген и Штуттгарт).

Гудериан, Гальдер, Мантейфель, Штумпф и многие другие.

В соответствии с этим курсом действует и американско-английская пропаганда. Буржуазные борзописцы пытаются спекулировать на «заслугах» не только живых, но и мёртвых милитаристов. Именно в этом плане и следует рассматривать шумиху, которая поднята сейчас вокруг имени гитлеровского фельдмаршала Роммеля.

Генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель был известен как один из наиболее ярких милитаристов среди нацистской клики в немецком генералитете. Представитель так называемых «молодых» генералов гитлеровской формации, Роммель верой и правдой служил Гитлеру. Он являлся также одним из главных «специалистов» по военной пропаганде и по одурманиванию немецкой молодёжи. Его книга «Пехота на-

ступает» сотнями тысяч экземпляров распространялась геббельсовскими агитаторами. Словом, нет особой необходимости доказывать, кем был Роммель, — он мало чем отличался от других немецких военных преступников...

Однако за последнее время, раскрывая страницы газет и листая объявления издательств, немецкие читатели в английской и американской зонах оккупации Германии с недоумением стали встречать не только имя Роммеля, провозглашаемого ныне «борцом» против Гитлера, но и фотографии его, знакомые по фашистским листкам «Фелькишер Beobachter» и «Дас рейх». Английский генерал Десмонд Янг выпустил в Англии книгу под названием «Роммель». Эта книга была срочно переведена на немецкий язык и издана в Висбадене. Одновременно орган английских оккупационных властей — газета «Дн вельт» — начала под широковещательными заголовками печатать серию статей некоего Лутца Коха о Роммеле. Вслед за этим в начале 1951 года та же газета приступила к публикации мемуаров, якобы принадлежащих самому гитлеровскому фельдмаршалу. «Роммелиана» продолжает расти: в Западной Германии вышла книга, принадлежащая перу генерала Шпейделя — бывшего начальника штаба Роммеля — «Вторжение 1944 года. Исследование судьбы Роммеля и империи» (кстати, эта книга уже переиздана в Нью-Йорке) и так далее и тому подобное.

Все перечисленные «сочинения» являют собой пример хорошо спретьированной кампании, которая ныне развёртывается в Западной Германии до англо-американской команде. Вопреки очевидной истине, Десмонд Янг, Кох, Шпейдель и другие нанеробой пытаются доказать, что генерал-фельдмаршал Роммель был завзятым антифашистом и врагом Гитлера. Недостаток материалов усердные мемуаристы пополняют всем, чем возможно, вплоть до жалоб неудачливого фельдмаршала... своей жене. Обильно цитируются писания маршала Рунштедта, палача французского народа генерала Штюльпнагеля, адъютанта Гитлера Бургдорфа и даже агентов американской разведки. Все эти господа с удивительной охотой свидетельствуют об «антифашизме» Роммеля.

Эта смехотворная выдумка пропагандируется не только печатью, но и официаль-

ными властями. В 1948 году в Мюнхене (американская зона) состоялся единственный в своём роде судебный процесс. На нём отставной генерал Майзель обвинялся в том, что он, мол, способствовал в 1944 году смерти Роммеля и тем самым... боролся против антифашистских (!) сил. Этим судом американский фарс «денацификации» дал своё гала-представление. Всем известно, что за принадлежность к нацизму на Западе оправдывают. Почему же американизированный суд нашёл нужным вступить за жизнь и честь гитлеровского фельдмаршала?

Да всё по той же причине, по какой роммелевские мемуаристы, поощряя самые гнусные традиции германского милитаризма и играя на настроениях реакционной части германского населения, пытаются обелить репутацию Роммеля — верного слуги Гитлера.

Роммель избран для подобной цели далеко не случайно. Свет на причины этого выбора проливают сами сочинители. Дело в том, что Роммель тяготел, а возможно и принадлежал к генеральской клике, которая стремилась спасти нацистский режим путём сговора с американским и английским империализмом. Вот что сообщает Кох о событиях, имевших место в 1944 году:

«Роммель и Рунштедт согласились в том, что объяснят Гитлеру, что в данных условиях войну во Франции надо прекратить возможно скорее, чтобы добиться окончания бомбардировок и сохранения фронта против Советского Союза». И далее: «Роммель предложил в своём плане... отвод немецких войск за линию Зигфрида и свободу действий на Востоке».

Ещё определённое о намерениях Роммеля сообщает в своей книге Шпейдель. Это, кстати, пришлось весьма по душе его заокеанским друзьям. Профессор Принстонского университета Крейг в библиографическом приложении к «Нью-Йорк геральд трибюн» так излагает сообщение Шпейделя: «К 1944 году, когда он (Роммель. — Л. Б.) стал командующим армейской группой «Б» во Франции, он уже не сомневался, что победа невозможна и что Германии следует попытаться достигнуть мира с западными союзниками путём переговоров». Крейг отмечает, что Роммель «предполагал отправить посредников к генералам Эйзенхауэру и Монтгомери в надежде заключить

перемирие на Западе», в результате «...германские силы были бы отведены из Франции, начались бы мирные переговоры с Западом, а война против России продолжалась бы при наличии более короткой линии фронта...»

Вот где секрет легенды о Роммеле! Сей гитлеровский выкормыш потому и расхваливается агентами англо-американской пропаганды, что его стремление спасти гитлеровский режим от разгрома посредством заключения сепаратного мира с Англией и США отвечало интересам реакционных кругов этих стран.

Реакционные борзописцы, восхваляющие генеральскую клику, пытавшуюся по команде американской разведки, опять-таки с целью сохранения фашистского режима, совершить в 1944 году «дворцовый переворот», рады «открыть» в Роммеле хотя бы самого умеренного «оппозиционера». Тот же самый Лутц Кох сообщает, что Роммель, впервые задумавшись о судьбах «третьей империи» и поняв ожидавшую её катастрофу, немедленно сообщил о своих планах «спасения Германии»... Гитлеру. Далее, когда генеральский путч созрел, Роммель снова послал телеграмму своему безумному владыке, умоляя «учесть политические последствия обстановки». Таким образом Роммель хотел сохранить не только гитлеровское государство под американ-

ской опекой, но и самого Гитлера. Не удивительно, что «антифашист» такого типа вполне устраивает нынешних американских гаулейтеров, возрождающих нацизм пэд маркой «западной демократии».

Немецкие проповедники легенды о Роммеле в большой чести у нынешних хозяев Западной Германии. Так, например, Ганс Шпейдель занимает пост военного советника при боннском марионеточном правительстве и является одним из главных уполномоченных по проведению ремилитаризации. Нота Советского правительства правительствам Великобритании и Франции от 20 января 1951 года указывала, что западные державы ведут активные переговоры о вооружении Западной Германии и что «в настоящее время переговоры по этому вопросу ведутся с участием бывших гитлеровских генералов и, в частности, генерала Ганса Шпейделя — бывшего начальника штаба армии Роммеля, и генерала Адольфа Хойзингера — бывшего начальника оперативного управления генерального штаба гитлеровской армии».

Империалистические агрессоры используют все средства для пропаганды союза между американской и германской реакцией. Они прибегают к самым различным методам, в том числе и к реабилитации гитлеровских главарей.

Л. БЕЗЫМЕНСКИЙ.

★

Великая крестьянская война в Китае

Советский народ всегда с большим вниманием и сочувствием следил за развитием освободительной борьбы китайского народа. Победа народной революции в Китае и образование Китайской народной республики, естественно, ещё более повысили интерес советских людей к Китаю, его многовековой культуре, к истории этой великой страны, население которой составляет пятую часть человечества. Правильно поэтому поступило Учебно-педагогическое издательство, выпустив вторым изданием книгу проф. Г. С. Кара-Мурзы «Тайпины» (первое издание вышло в свет в 1941 году).

Читатели «Нового мира» имеют некото-

рое представление об авторе рецензируемой книги по опубликованным в журнале отрывкам из его писем к друзьям¹. Георгий Сергеевич Кара-Мурза был профессором Московского государственного университета и старшим научным сотрудником Института истории Академии наук СССР. В период Великой Отечественной войны он находился в рядах Советской Армии и погиб в 1945 году во время освобождения советскими войсками Северо-Восточного Китая.

Крупный советский Китаевед, Г. С. Кара-Мурза являлся страстным пропагандистом героической борьбы китайского народа за своё освобождение. «Я люблю китайских коммунистов, Сун Ят-сена, Ян Сю-

Проф. Г. С. Кара-Мурза. «Тайпины. Великая крестьянская война и Тайпинское государство в Китае. 1850—1864». Издание 2-е. Под редакцией Г. Б. Эрэнбурга. Учпедгиз, М. 1950.

¹ «Из писем учёного». «Новый мир». № 4 за 1950 год.

цина, тайпинов и хочу, чтобы их знали и любили», — писал он в одном из своих писем.

Эти чувства братской солидарности с китайским народом и ненависти к его угнетателям, столь характерные для всех советских людей, пронизывают и книгу Г. С. Кара-Мурзы, которая посвящена одному из важнейших событий новой истории Китая — великой крестьянской войне середины XIX века.

Исследуя эту крупную проблему истории освободительной борьбы народных масс Китая, Г. С. Кара-Мурза вдохновлялся величественной задачей, поставленной товарищем Сталиным перед советскими историками: «...историческая наука, если она хочет быть действительной наукой, не может больше сводить историю общественного развития к действиям королей и полководцев, к действиям «завоевателей» и «покорителей» государств, а должна, прежде всего, заняться историей производителей материальных благ, историей трудящихся масс, историей народов».¹

Крестьянская война в Китае в 50—60 гг. XIX века, известная под названием восстания тайпинов, была одним из важных этапов истории трудящихся масс Китая, истории китайского народа. Начавшееся в 1850 году, вскоре после поражения, нанесенного феодальному Китаю в первой англо-китайской (так называемой «опиумной») войне 1839—1842 гг., восстание тайпинов было не только мощным антифеодальным движением, но и борьбой за независимость страны, слабой, хотя и неудачной попыткой спасти Китай от превращения его в полуколонию Англии, США и других капиталистических хищников.

Прежде чем маньчжурским и китайским феодалам в союзе с англо-франко-американскими капиталистами удалось потопить в крови крестьян и городской бедноты это великое движение, оно вовлекло в борьбу половину населения Китая и потрясло пилот феодальный строй, препятствовавший развитию производительных сил страны.

Автор начинает книгу с вводной главы, в которой характеризуется социально-экономический строй Китая накануне восстания тайпинов, вскрываются острые классовые противоречия китайского общества. Г. С. Кара-Мурза показывает отвратитель-

ную сущность феодального государства, державшего в узде миллионы трудящихся крестьян и бедняков в городах.

В полном соответствии с известным положением В. И. Ленина о том, что «...источником феодальной эксплуатации китайского крестьянина было прикреплении его к земле в той или иной форме...»¹, в рецензируемой книге говорится: «По закону в Китае не было крепостной зависимости; крестьяне были «свободны» и могли даже стать мандаринами. Но эта «свобода» была лишь лицемерным прикрытием невиданного произвола, гнёта, издевательства, которому подвергались крестьяне со стороны господствующих классов. Фактически крестьянин в Китае был крепостным каждого мандарина, князя, шэньши, которые были властны над его жизнью и смертью, над его трудом и собственностью».

Говоря о возникновении крестьянской войны, Г. С. Кара-Мурза подчёркивает, что религиозное учение, проповедовавшееся вождём тайпинов Хун Сю-цюанем, «стало идеологической оболочкой, под которой срывался протест китайского крестьянства против феодального гнёта».

На основе исследования многочисленных источников автор в доступной широкому кругу читателей форме рисует картины героической борьбы тайпинов против феодального строя и иноземных захватчиков. Читатель знакомится с образами выдающихся вождей тайпинов — сельского учителя, крестьянского сына Хун Сю-цюаня, подёнщика Ян Сю-цина, крестьян Сяо Чао-гуя, Ли Сю-чэна и других руководителей крестьянской войны.

Основным политическим лозунгом тайпинов было требование ликвидации маньчжурского гнёта. Повстанцы, продвигаясь с юга Китая в центральные и северные провинции, расправлялись с чиновниками-мандаринами, безжалостно грабившими и угнетавшими народ. «Уничтожайте всех грабителей-мандаринов, чтобы спасти народ от неслыханных бедствий!» — призывала одна из листовок тайпинов.

Поднимая на борьбу огромные массы крестьян и городской бедноты, тайпины в сравнительно короткий срок — к 1853 году — овладели огромной территорией долины реки Янцзы. Маркс и Энгельс горячо приветствовали успехи тайпинов на пер-

¹ «История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс», Госполитиздат, стр. 116.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 18, стр. 146.

вом этапе движения. «...отрадно,— писали они ещё в 1850 году, — что самая древняя и самая прочная империя в мире, под воздействием тюков ситца английских буржуа, за восемь лет очутилась накануне общественного переворота, который, во всяком случае, должен иметь чрезвычайно важные результаты для цивилизации. Когда наши европейские реакционеры в предстоящем им в близком будущем бегстве в Азию доберутся, наконец, до китайской стены, к вратам, которые ведут к архаично-сервативной твердыне, то, как знать, не найдут ли они там надпись: REPUBLIQUE CHINOISE. LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE»¹. (Китайская республика, Свобода, Равенство, Братство).

Преобразования тайпинов имели целью создание независимого китайского государства. Г. С. Кара-Мурза подробно характеризует тайпинское государство, законы которого отражали стремление крестьян к «всеобщему равенству». В условиях феодализма идея равенства в борьбе крестьян против крепостников, — писал В. И. Ленин, — является «...самым сильным идейным импульсом в борьбе за землю... Поэтому идея равенства является самой революционной для крестьянского движения идеей не только в смысле стимула к политической борьбе, но и в смысле стимула к экономическому очищению сельского хозяйства от крепостнических пережитков»².

Тайпины в районах, освобождённых ими от маньчжурского господства, осуществляли всеобщий передел земли и имущества. «Вся земля делится по числу едоков, независимо от пола, — говорилось в тайпинском законе о земле — ...Повсюду должно быть равенство, и не должно быть человека, который бы не был сыт и в тепле».

В книге рассказывается о Северном походе тайпинов — их героической попытке освободить от власти маньчжуров северокитайские провинции и нанести им решающий удар в столице Китая — Пекине.

Автор разоблачает китайских феодалов, которые ради спасения своих богатств и привилегий выступили против своего народа вместе с чужеземцами — маньчжурами. Цзең Го-фань и Ли Хун-чжан, руково-

дившие антитайпинскими отрядами китайских помещиков, являются духовными предками врага китайского народа Чан Кай-ши. Недаром этот лакей американских империалистов в своей пресловутой книге «Судьбы Китая» «...преклоняется перед палачом и предателем Цзең Го-фанем, подавшим в сговоре с иностранцами тайпинское движение»¹.

Г. С. Кара-Мурза срывает маску мнимых «друзей» Китая с англо-американских капиталистов. Страницы книги, посвящённые иностранной интервенции, говорят о большом счёте китайского народа к американским и другим захватчикам. Этот счёт, как известно, был предъявлен от лица освобождённого Китая его представителем У Сю-цюанем. Китайский народ не забыл интервенцию США, Англии и Франции против тайпинского революционного движения. «В Шанхае был организован первый наёмный иностранный отряд для борьбы с тайпинами. Этим отрядом командовал американский авантюрист Уорд. Этот отряд состоял из всякого сброда. Беглые солдаты и моряки из англо-французского корпуса, американские авантюристы, преступники, любители лёгкой наживы — всё это потянулось к Уорду, составив его «гвардию», — читаем мы в книге Г. С. Кара-Мурзы. Как это напоминает попытки нынешнего Уорда — авантюриста и военного преступника Макарура при помощи всякого сброда потопить в крови освободительную борьбу народов Кореи! Но то, что удалось интервентам с помощью национальных предателей в прошлом столетии, не удастся теперь, когда борющиеся народы Востока опираются на моральную поддержку мощного лагеря мира, демократии и социализма, возглавляемого великим Советским Союзом.

Несмотря на то, что англо-американские агрессоры, как и в наши дни, пытались прикрыться личиной «друзей» Китая, дальновидные и преданные народному делу руководители тайпинов не поддались обману. «Англичане и американцы, — говорил один из выдающихся тайпинских вождей Ли Сю-чен, — условились с нами оставаться нейтральными в нашей войне с маньчжурами. Это условие с их стороны соблюдалось так, что они помогали, как

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, стр. 210—211.

² В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 12, стр. 317.

¹ Чэнь Бо-да. Чан Кай-ши—враг китайского народа. Госполитиздат, М. 1950, стр. 153.

только могли, маньчжурскому правительству собрать силы для войны, позволяли своим подданным поступать на службу к маньчжурам... Это было не всё: они на деле со своими собственными войсками вторглись на нашу территорию и нарушили самые священные обычаи войны». Ли Сю-чэн разоблачил американских торговцев, которые протестировали свой флаг, представляя его для прикрытия кораблей, на которых доставлялось оружие для борьбы с тайпинами.

Для характеристики поведения западных «цивилизаторов» в Китае автор приводит отрывок из книги И. А. Гончарова «Фрегат Паллада». Русский писатель, побывавший в Шанхае, с негодованием писал, что англичане обращались с народами Востока «...повелительно, грубо, или холодно-презрительно, так что смотреть больно. Они не признают эти народы за людей, а за какой-то рабочий скот...»

Естественно, что поведение американцев, англичан и других иностранных захватчиков вызвало ненависть к ним в широких слоях китайского народа, которые поддерживали тайпинов в их борьбе за независимость страны.

Говоря об основной причине поражения тайпинского восстания, Г. С. Кара-Мурза исходит из известного указания товарища Сталина о том, что «...крестьянские восстания могут приводить к успеху только в том случае, если они сочетаются с рабочими восстаниями, и если рабочие руководят крестьянскими восстаниями»¹.

Автор показывает, как происходило перерождение большинства руководителей тайпинов в новых феодалов. После того, как в 1856 году в результате заговора был убит Ян Сю-цин, к руководству движением пришли родственники Хун Сю-цюаня, в том числе его двоюродный брат — миссионер Хун Жэнь-гань, служивший в «Лондонском миссионерском обществе» и являвшийся фактически агентом европейских и американских капиталистов среди тайпинов. Уже в 1857 году было создано новое феодальное сословие «ванов» — князей, которыми стали все начальники городов, губернаторы и другие руководящие гражданские и военные деятели. «За взятки все лживые и ни к чему не годные люди бы-

ли сделаны князьями и чиновниками», — сообщал очевидец.

Расслоение тайпинов, выделение из их среды новых феодалов, которые держали в своих руках руководство движением, подорвало силы повстанцев.

В своей работе «Относительно практики» Мао Цзе-дун дал яркую характеристику внутренней слабости тайпинского восстания. Говоря о том, что «в... период разрушения машин и стихийной борьбы пролетариат в своём познании капиталистического общества находится лишь на начальной ступени познания и познаёт лишь отдельные стороны и внешнюю связь различных явлений капитализма», Мао Цзе-дун сравнивает этот начальный период классовой борьбы пролетариата с первым периодом антиимпериалистической борьбы китайского народа: «Таково же познание империализма китайским народом. Первая ступень — это ступень внешнего познания, проявившаяся в общей борьбе против иностранцев во время Тайпинского движения и во время Боксёрского движения. Только вторая ступень явилась ступенью рационального познания, когда вскрылись различного рода внутренние и внешние противоречия империализма, когда вскрылась сущность угнетения широких народных масс Китая империализмом в союзе с китайскими компрадорами и помещиками...»

Великая крестьянская война в Китае была подавлена. Но знамя борьбы народных масс за освобождение от национального и социального гнёта уже в новых условиях высоко подняли китайские коммунисты. Революционная традиция китайского народа, выражавшаяся в многочисленных крестьянских войнах прошлых эпох, была продолжена и развита партией пролетариата.

Книга Г. С. Кара-Мурзы — первая и пока единственная в советской литературе работа о восстании тайпинов. Хотя она написана около десяти лет назад, но в наши дни, когда древний Китай стал молодой народной республикой, она звучит особенно актуально.

Следует выразить пожелание, чтобы научная общественность заинтересовалась работами Г. С. Кара-Мурзы, оставшимися неопубликованными после его смерти.

Кандидат исторических наук
М. ЮРЬЕВ.

¹ И. Сталин. Статьи и речи от XVI до XVII съезда ВКП(б). Партиздат. М. 1934, стр. 159.

П р а в о

Орган советской юридической мысли

Советские юристы имеют свой теоретический журнал. Это — «Советское государство и право». Многочисленные читатели — научные работники, преподаватели, практики — ждут от своего теоретического органа многого: и углублённой разработки вопросов марксистско-ленинской теории государства и права, и разоблачения современной буржуазной лженауки — служанки империалистической агрессии и реакции, и ответа на многие вопросы, которые ставит перед ними жизнь.

Журнал призван двигать вперёд советскую юридическую мысль. Освещая на своих страницах грандиозные успехи строительства коммунизма в нашей стране, исследуя и обобщая опыт органов государственной власти, суда и прокуратуры, журнал должен смело ставить новые проблемы, возникающие в различных отраслях советского права. Он должен вести решительную борьбу против буржуазных влияний в нашей юридической науке, внося в неё дух подлинного новаторства. На страницах журнала должны систематически освещаться вопросы государства и права стран народной демократии. Выполняя указания товарища Сталина о том, что «...никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики»¹, журнал должен проводить творческие обсуждения актуальных вопросов права. Таким образом, журнал должен охватывать и глубоко освещать обширный круг самых разнообразных вопросов.

С этой точки зрения и необходимо рассмотреть вышедшие в прошлом году двенадцать номеров журнала.

Отметим прежде всего, что во второй половине года редакции удалось, впервые за много лет, наладить регулярный и своевременный выпуск журнала. На страницах «Советского государства и права»

опубликован большой и разносторонний материал, в целом содержательный, интересный и полезный читателю.

В первых номерах продолжалась публикация статей, посвящённых семидесятилетию корифея марксистско-ленинской науки И. В. Сталина. Заслуживают быть отмеченными статья И. Т. Голякова «Иосиф Виссарионович Сталин и социалистическое правосудие» (№ 1), в которой дано исследование указаний товарища Сталина об основах построения и деятельности советского суда, и статья С. Л. Роница «Сталинское учение о нации и о многонациональном Советском государстве» (№ 2), представляющая собой сокращённый доклад автора на первой научной сессии сектора права Академии наук Казахской ССР.

В первых номерах журнала публикуется также обширный аннотированный указатель литературы к семидесятилетию И. В. Сталина.

Памяти великого Ленина, в связи с 80-летием со дня рождения, посвящена серия статей в апрельском номере журнала.

Вопросы марксистско-ленинской теории государства и права занимают, естественно, центральное место в журнале.

Статья Б. С. Маньковского в № 5 показывает всемирно-историческое значение ленинского учения о социалистическом государстве. Статья разоблачает оппортунистические правосоциалистические «теории», показывает их предательскую сущность и служебную роль в защите реакции и обмане рабочих масс. Особенно подчёркивается в статье исключительное значение ленинского учения для государственного строительства стран народной демократии.

Содержательны статьи В. М. Чхиквадзе (№№ 10 и 11), посвящённые выходу в свет 28-го и 29-го томов сочинений В. И. Ленина.

К сожалению, не все статьи этого цикла представляют научную ценность. Мало нового даёт статья А. А. Карина «Значение курса марксизма-ленинизма в преподавании юридических наук» (№ 11), которой в журнале отведено незаслуженно большое место. Под многообещающим заголовком мы находим обилие общих мест, вроде то-

¹ И. Сталин. Относительно марксизма в языкознании. Издательство «Правда», 1950, стр. 28.

го, что «содержание научной и преподавательской работы в высших юридических заведениях должно быть пронизано идейной принципиальностью». А вот конкретных указаний насчёт применения марксизма-ленинизма в преподавании отдельных юридических дисциплин в статье почти нет. Автор даже не упомянул ни одной специальной дисциплины, хотя именно в их преподавании наблюдается ещё много догматизма, а порой и полный отрыв от марксистско-ленинской теории.

Настоящим праздником для работников всех отраслей знания явилось опубликование новых трудов И. В. Сталина по вопросам марксизма в языкознании. Можно было ожидать, что журнал живо и активно отзовётся, поставит на обсуждение новые проблемы, вытекающие из указаний товарища Сталина, усилит на своих страницах борьбу за критику и самокритику. На деле же величайшей важности событие в жизни советской науки вызвало лишь слабый и запоздалый отклик на страницах журнала.

В августовском номере была опубликована краткая заметка о состоявшемся 22 июня заседании редакционной коллегии, посвящённом трудам И. В. Сталина. Из заметки следовало, что редакция наметила большие мероприятия. Однако они свелись только к опубликованию в следующем номере (№ 9) статьи А. И. Денисова «Ценнейший вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма» — содержательной и интересной статьи, показывающей огромное значение трудов И. В. Сталина, но, к сожалению, единственной на страницах журнала. Правда, в №№ 9 и 10 опубликованы статьи В. Евгеньева и В. Иванова, но это уже, собственно говоря, не статьи, а отчёты о заседаниях Учёных советов Института права Академии наук СССР и Всесоюзного института юридических наук, посвящённых трудам И. В. Сталина. Больше к этим вопросам журнал не возвращался. Этот серьёзный пробел должен быть восполнен. Настоятельно необходимо, чтобы во всех отраслях советской юридической науки гениальные указания товарища Сталина были глубоко усвоены и творчески применены.

Чересчур скромные шаги сделал журнал для сближения с практикой. Опубликовано несколько статей, освещающих отдель-

ные стороны деятельности органов власти и государственного управления. Статья Н. М. Васильева в № 5 журнала подчёркивает большое значение хорошей организации проверки исполнения. В статье Н. Замятина и Ф. Хлыстова (№ 8) поднят ряд вопросов организации работы исполкомов областных Советов депутатов трудящихся. Но широкого теоретического обобщения практики, основанного на её вдумчивом и глубоком изучении, позволяющего ставить большие и насущные вопросы, в журнале ещё нет. Полностью отсутствуют материалы, обобщающие опыт суда и прокуратуры. В этом нельзя не видеть крупнейшего недостатка журнала.

Сильно «не повезло» в журнале таким отраслям советского права, как гражданское и уголовное право, гражданский и уголовный процесс. Главный редактор журнала Ф. И. Кожевников справедливо отметил в своей статье в № 6, что «критика и самокритика слабо развиты среди научных работников в области права, в особенности среди научных работников в области гражданского права». Однако журнал сделал очень мало для устранения этого недостатка.

Выделяется в смысле новизны и актуальности поставленных вопросов опубликованная в № 10 коллективная статья членов кафедры уголовного права юридического факультета Московского государственного университета «Вопросы системы общей и особенной частей социалистического уголовного права». В связи с вопросами систематики статья касается некоторых коренных проблем науки уголовного права (о понятии и составе преступления, причинной связи, виновности и др.) и подвергает основательной критике учебник уголовного права.

Но этого крайне мало. Хорошо известно, что между нашими учёными-криминалистами существуют расхождения по некоторым вопросам, имеющим большое теоретическое и практическое значение. Серьёзного упрека заслуживает редакция журнала за то, что ею ничего не было сделано для выяснения этих спорных вопросов и их правильного разрешения.

Интересная статья В. И. Каминской в № 5 журнала поставила на обсуждение важную проблему советской науки уголовного процесса о значении процессуаль-

ных гарантий. К сожалению, некоторые ошибочные утверждения автора внесли путаницу в хорошую статью. По мнению В. И. Каминской, в советском уголовном процессе нет самостоятельных гарантий прав личности, так как они совпадают с гарантиями правосудия и поглощаются ими. Иная точка зрения приводит, по мнению автора, к противопоставлению интересов личности интересам государства. В. И. Каминская, видимо, забыла, что Сталинская Конституция предусматривает и прочно гарантирует обширные права граждан и, как указывает товарищ Сталин, «...переносит центр тяжести на вопрос о гарантиях этих прав, на вопрос о средствах осуществления этих прав»¹. Следовательно, в обосновании гарантий прав личности в любой сфере нашей жизни, в том числе и в уголовном процессе, нет никакого противопоставления интересов граждан интересам государства. Напротив, в обширности и реальности этих гарантий выражается гармония этих интересов.

О невнимании редакции к специальным отраслям юридической науки свидетельствует тот факт, что до сих пор не подвергся рецензированию на страницах журнала учебник уголовного процесса проф. Чельцова, вышедший в свет уже два года назад и страдающий серьёзными ошибками.

Скучно освещает журнал состояние юридической мысли в союзных республиках. Единственную инфомацию о первой научной сессии сектора права Академии наук Казахской ССР мы находим в № 3 журнала.

Ряд интересных статей журнал посвятил государственному строительству и праву стран народной демократии. К сожалению, мы ничего не узнаём из этих статей о развитии юридической науки в этих странах.

На страницах журнала отведено известное место разоблачению империалистической агрессии и современной буржуазной юридической лженауки. Политически остро и на боевую тему написана статья М. Ю. Рагинского и С. Я. Розенблита о кабаровском процессе над японскими военными преступниками (№ 3). Неопровержимые факты обличают преступников во главе с императором Хирохито и их американских хозяев. Интересная статья С. Л. Завеса

«Попытки «теоретического» оправдания произвола американской юстиции» (№ 8) показывает, как «учёные» прислужники американских монополий пытаются «теоретически» оправдать ничем не ограниченное насилие и судебный произвол, царящие в этом полицейском государстве. Статья Е. Пескова «Американская социология на службе поджигателей войны» (№ 5) и статья «Американская атомная теория государства» (№ 7) написаны на ту же тему. И тем не менее, журнал не развернул ещё настоящего наступления на международно-правовые концепции американско-английского империализма, на реакционную его практику во внутренних и международных делах. Опубликованный материал носит несколько случайный характер. В организации этого материала не чувствуется направляющей руки редакции.

Привлекает к себе внимание статья М. И. Лазарева «Международно-правовое значение решений Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира», опубликованная в № 8. В статье справедливо отмечается, что решения Постоянного комитета о необходимости принять международно-правовые меры, направленные на запрещение атомного оружия под страхом уголовной кары, соответствуют правосознанию всего прогрессивного человечества. Однако автор явно принижает значение небывалой в истории кампании по сбору подписей под Стокгольмским Воззванием о запрещении атомного оружия, видя в ней своего рода ратификацию решений Постоянного комитета. Излишняя юридизация, допущенная автором в статье, приводят к затемнению истинного политического смысла этого величайшего и неодолимого движения современности.

Хорошо поступила редакция, поместив в сентябрьском номере ряд статей в связи с началом учебного года в юридических вузах и школах. В ярко и увлекательно написанной статье И. С. Перетерского «О лекциях по юридическим наукам» содержится много ценных рекомендаций, являющихся результатом многолетнего преподавательского опыта автора.

В декабрьском номере журнала помещена краткая информация, посвящённая заседанию редакционной коллегии. На заседании обсуждалось сообщение главного редактора проф. Ф. И. Кожевникова о ближайших за-

¹ И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 318.

дачах журнала. Как видно из этой информации, редакция признала необходимым впредь уделять больше внимания разоблачению государственно-правовой практики и международной политики США и других стран американско-английского блока, а также шире разоблачать растленную идеологию буржуазных юристов. Редколлегия признала, что журнал недостаточно освещал процесс фашизации государства в США. Признано также необходимым усилить борьбу с проявлениями буржуазных влияний

в советской правовой науке. Особенно подчеркнута необходимость разработки новых теоретических проблем в свете указаний И. В. Сталина в его работах о марксизме в языкознании.

Ко всему этому мы целиком присоединяемся и выражаем журналу ещё одно пожелание: теснее связаться с практикой советского государства и права, больше уделять ей внимания на своих страницах.

*Кандидат юридических наук
М. САВИЦКИЙ.*

★

Техника

Настольная книга гидроэлектростроителя

Гидроэлектростроительство — огромная и важнейшая отрасль народного хозяйства, получившая у нас невиданный размах, — является в полном смысле этого слова детищем Великой Октябрьской социалистической революции.

В дореволюционной России существовали лишь те отрасли промышленности, которые могут быть объединены под общим названием «гидростроительство» и в задачу которых входили гидротехнические работы по сооружению морских портов, шлюзов и крупных железнодорожных мостов через большие судоходные реки.

Но электроэнергетическое использование неисчерпаемых запасов водного потока больших, средних и малых рек страны совершенно не осуществлялось, если не считать маломощной установки на реке Подкумок под Пятигорском, известной под названием «Белый уголь» и не имевшей никакого промышленного значения.

Буржуазно-помещичий строй старой России с его правом частной собственности на землю и воды создавал неодолимые преграды для строительства гидроэлектростанций.

Энергетическое использование водного потока для производства механической энергии кое-где, в частности на некоторых уральских заводах, осуществлялось посредством громоздких и сложно устроенных водяных колёс, к которым вода подводилась искусственно, при сравнительно небольшом

напоре. Механическая энергия от коренного вала такого колеса передавалась на трансмиссионные валы заводов и цехов, а затем уже многочисленные ремённые передачи доводили её до отдельных рабочих станков и аппаратов.

Гидроэлектростроительство социалистической страны началось в 1918 году на реке Волхове под Ленинградом и развивалось чрезвычайно быстро не только количественно, но и качественно. Увеличивались мощности гидростанций, совершенствовались их машинное оборудование. За тридцать с лишним лет советская гидротехника и гидроэлектротехника накопила огромный и интересный опыт, разрешила многочисленные сложные проблемы, возникающие при возведении гидротехнических сооружений.

Рецензируемый труд проф. Ф. Ф. Губина является как бы итогом огромной творческой работы, проделанной советскими учёными и инженерами-практиками, в том числе и автором книги, в области гидроэлектростроительства.

В кратком введении к своей книге Ф. Ф. Губин даёт достаточно полный и разносторонний обзор гидроэнергетических установок далёкого прошлого, а также основные экономические принципы социалистического гидростроительства и его важнейшие этапы.

Читатель с интересом узнаёт о достижениях не только русских учёных, но и талантливых самоучек при возведении гидротехнических сооружений в дореволюционной России, превосходивших по своим кон-

Ф. Ф. Губин. «Гидроэлектрические станции». Редактор О. Н. Тистрова. Государственное энергетическое издательство, М.-Л. 1949.

структивным решениям и общей компановке зарубежные образцы того времени.

К сожалению, по досадному недосмотру Ф. Ф. Губин не упомянул в этой части своего введения о первой в России гидроэлектрической установке, на базе которой было электрифицировано крупное предприятие. Я имею в виду полную электрификацию Охтенского порохового завода в Петербурге, которая была осуществлена в 1895 году известным русским инженером-технологом Р. Э. Классоном.

Книга «Гидроэлектрические станции» состоит из пятнадцати глав (752 страницы большого формата), освещающих подавляющее большинство вопросов, связанных с предварительными изысканиями, проектированием, строительством и эксплуатацией гидроэлектростанций. Поэтому в краткой рецензии невозможно дать сколько-нибудь детальный обзор огромного материала, добросовестно и любовно привлечённого автором.

На титульном листе книги Ф. Ф. Губина указано, что она допущена Министерством высшего образования СССР в качестве учебного пособия для энергетических, электротехнических и гидротехнических институтов и факультетов.

Однако потребность в материале, трактуемом книгой «Гидроэлектрические станции», чрезвычайно велика и отнюдь не ограничена студенческими и преподавательскими кругами. Не отрицая значения книги, как учебного пособия, можно утверждать, что едва ли не большее практическое значение она имеет для инженеров-изыскателей, проектировщиков, гидроэнергетиков, энергоэкономистов и, наконец, для персонала эксплуатационной службы на гидростанциях.

Текст книги не загромождён сложными математическими формулами и выкладками. Это обстоятельство составляет бесспорное достоинство работы автора именно потому, что рецензируемая книга не является ни учебником, ни теоретическим курсом.

Можно с полным основанием сказать, что книга Ф. Ф. Губина является непревзойдённым ни в советской, ни в зарубежной научно-технической литературе практическим руководством при изысканиях мест сооружения новых гидроэлектростанций, при производстве самих строительных работ и последующей эксплуатации этих станций.

Особое значение для гидроэлектростроительства в условиях социалистического общественного строя нашей страны имеют вопросы комплексного использования водного потока, строительства каскадов гидроэлектростанций на всём протяжении реки и экономических расчётов в гидроэнергетике. Главы двенадцатая, тринадцатая и четырнадцатая рецензируемой книги посвящены изложению основ этих насущных вопросов нашего гидроэлектростроительства, осуществляемого по законам социалистической плановой экономики. Такие главы, конечно, оказались бы бесполезными, если бы подобная книга была написана не советским инженером, а зарубежным, — в капиталистических странах никто и не помышляет о комплексном использовании водной энергии во имя жизненных интересов народа.

Прекрасно составленное подробное содержание всех пятнадцати глав, из которых каждая разбита не менее, чем на пять-шесть разделов, а также алфавитный указатель в конце книги помогают читателю разобраться в её огромном материале и сразу находить нужный ответ по любому вопросу.

Весь материал книги изложен ясно и просто, а следовательно, доступен для понимания не только инженера-специалиста, но и образованного человека любой специальности. Текст книги богат и хорошо иллюстрирован, и это весьма облегчает его восприятие: внимание читающего не отвлекается на розыск соответствующих чертежей и схем в особом атласе или в графическом материале, собранном в конце книги.

Объединить в одной книге сложный и разнообразный материал гидроэлектростроительства и притом сделать это так, чтоб читателю было легко освоить этот материал, — задача весьма трудная. И надо сказать, что Ф. Ф. Губину удалось блестяще с нею справиться.

В настоящее время гидроэлектростроительство нашей страны приобрело новый размах по всему фронту, начиная с сооружения крупнейших в мире гидроэлектростанций с общей установленной мощностью в 3 700 тысяч киловатт на Волге под Куйбышевым и Сталинградом до средних и мелких гидроэлектростанций сельскохозяйственного значения.

Министерство электростанций СССР из года в год увеличивает свою программу

строительства гидроэлектростанций по многим рекам Европейской части Советского Союза, Сибири и Средней Азии.

Советское правительство, коммунистическая партия и лично товарищ Сталин уделяют много внимания гидроэлектростроительству, имеющему поистине неограниченные перспективы дальнейшего развития.

А это значит, что тысячи и тысячи людей будут посвящать свою жизнь практической деятельностью именно в этой огромной и благодарной области нашего народного хозяйства.

Помочь работе и производственному росту этого отряда строителей коммунизма технически грамотным, хорошо изложенным и оформленным материалом по гидроэлектротехнике — есть первейшая и ответственная задача технических издательств СССР.

Книга Ф. Ф. Губина вполне заслуженно стала настольной книгой инженеров-проектировщиков, гидростроителей и эксплуатационников.

Академик А. ВИНТЕР.

★

Плоды безответственности

В топографии есть удачный термин — «поднять карту». Он означает, что с помощью цветных карандашей и туши можно однотонную, трудно воспринимаемую карту какой-либо местности сделать цветной, рельефной. Каждая линия, каждый штрих такой карты говорит своим выразительным языком.

Подобно этому должен поступать популяризатор достижений науки и техники. Строго научный, подчас «сухой» материал он должен сделать интересным и широко доступным. Задача заключается не только в умении отобрать и тщательно проверить материал, но и изложить его в занимательной, яркой форме, хорошим, образным языком.

Если с точки зрения этих бесспорных положений подойти к рассмотрению книги «Здесь всё моё...», посвящённой горючим ископаемым, то автору её, проф. А. А. Яковлеву, придётся предъявить ряд серьёзных претензий, особенно принимая во внимание то, что она предназначена для учащихся средних школ, ремесленных училищ, школ ФЗО. Многочисленные грубые ошибки, встречающиеся в книге, тем более удивительны, что, судя по предисловию, автор затратил немало времени и труда, «...собирал и отбирал материал, писал, переделывал, надолго прерывал работу... и сно-

ва к ней возвращался». Всё это заняло у него более восьми лет.

Будучи специалистом-геологом, А. А. Яковлев сообщает немало интересных и полезных сведений о геологических периодах, о происхождении горючих ископаемых. В конце каждого очерка автор даёт практические советы краеведу-любителю.

Удачно подобраны выдержки из художественных произведений, посвящённых труду и быту горняков в дореволюционное время.

Но, освещая вопросы истории и современного состояния техники добычи горючих ископаемых, А. А. Яковлев нередко допускает серьёзные ошибки в изложении фактов. Так, например, он утверждает, что сланцеперегонные заводы дают газ Ленинграду. Профессору Яковлеву следовало бы знать, что сланцеперегонные заводы не могут давать газ в промышленном масштабе, ибо они служат для получения искусственного жидкого топлива из сланцев. Газ получают на газосланцевых заводах.

Вообще автор обращается с фактами не очень-то бережно.

«Только в конце XVIII века, — пишет А. А. Яковлев, — в связи с пуском металлургического завода имени Ворошилова (прежде Луганского) начинает проявляться живой интерес (у кого? — Г. М.) к Донецкому углю».

Металлургический завод имени Ворошилова расположен не в Ворошиловграде (бывший Луганск), а в Ворошиловске (бывший Алчевск), и построен он в конце XIX века.

Живой интерес к донецкому углю стал «проявляться» раньше, чем указывает

Проф. А. А. Яковлев. «Здесь всё моё... Научно-популярные очерки о горючих ископаемых». Под редакцией члена-корреспондента Академии наук СССР Д. И. Щербанова. Ведущий редактор П. Р. Ершов. Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, М.—Л. 1950.

А. А. Яковлев. Уже в 1720—1725 гг. украинские казаки (черкасы) и донские, жившие в степях вдоль Северского Донца, Жона, Кальмиуса, стали разведывать и разрабатывать месторождения угля.

Неверно указана дата закладки первой буровой скважины на нефть. Скважина, пробуренная промышленником В. Сидоровым в 1855 году на Ухте, была второй. На много лет раньше были пробурены несколько скважин на побережье Каспийского моря.

Нельзя согласиться с тем, что Челябинский буругольный бассейн превосходит Подмосковский бассейн по своему промышленному значению.

А. А. Яковлев допустил и множество других ошибок — неверных объяснений и указаний на те или иные факты.

В любой научной книге, — будь то специальный курс высшего учебного заведения или учебник начальной школы, академический реферат или популярная брошюра, — автор должен правильно освещать историю важнейших открытий и изобретений, сделанных учёными и изобретателями, должен разоблачать фальсификаторов науки и техники, писавших свои монографии под дирижёрскую палочку буржуазных космополитов.

А. А. Яковлев не уделил должного внимания приоритету русской науки. Не рассказал он о выдающихся рудознателях — Капустине, разведавшем месторождения в Довецком бассейне; Князеве, производившем удачные изыскания в Новгородском районе; Волкове, первооткрывателе углей Кузбасса, а также о работах русских геологов А. Лёвшина, Е. Ковалевского, Г. Гельмерсена и других в Подмосковном бассейне, в Донбассе и остальных районах страны.

Совершенно непростительно замалчивание в книге, предназначенной для широкого читателя, работ А. А. Карпинского, отца русской школы в геологии.

Освещая новые методы добычи угля, достижения горной науки, А. А. Яковлев не счёл нужным даже коротко сообщить молодому читателю, что основы горной науки, пришедшей на смену горному искусству, заложены блестящими трудами советских учёных — профессоров Б. И. Боксия, М. М. Протодьяконова, академиком А. М. Тернигорова, А. А. Скочинского,

Л. Д. Шевякова. Именно благодаря их классическим исследованиям и работам в нашей стране построены лучшие в мире шахты, метрополитен и много других подземных сооружений, созданы горнодобывающие машины, освободившие советских шахтёров от тяжёлого физического труда на выемке, транспортировке и обогащении угля.

В очерке о нефти автор умалчивает о замечательных открытиях советских геологов — академиком Д. В. Наливкина и С. И. Миронова, неутомимо исследующих нефтяные месторождения; о блестящих достижениях школы советских нефтяников, представители которой — профессор В. Сенюков, Герой Социалистического Труда геолог А. Трофимук и другие — не только разведали новые районы, но и обогатили науку новыми представлениями о залегающих нефти в тех местах, где её раньше не разыскивали.

Геологические разведки в районе «Большого Донбасса» — это целая повесть о торжестве передовой советской науки. А. А. Яковлев, говоря об этих разведках, ограничился одним абзацем.

Не обосновано утверждение автора, что «Дубининский керосин» «успешно конкурировал с иностранным». Дело в том, что до открытия братьев Дубининых за границей не умели производить керосин. Американские нефтяные компании похитили изобретение русских людей.

Рассказывая о переработке нефти, А. А. Яковлев умалчивает о пиролизе, а ведь открытие метода пиролиза русским учёным А. А. Летним — это одна из ярчайших научных побед русской химической школы.

Приводя справку об изобретении крекинга талантливым инженером В. Шуховым, автор делает малоговорящую сноску: «Ровно 22 года спустя крекинг-процесс был «открыт» в США Бартоном». Автор мог и обязан был, основываясь на этом случае, раскрыть архиплутводство американских монополий, пытающихся присваивать изобретения русских и советских учёных.

Говоря о подземной газификации угля, автор не сообщил читателю о том, что В. И. Ленин высоко оценил эту плодотворную идею, ныне воплощённую в жизнь. Это уже больше, чем неряшливость.

О низком идейно-теоретическом уровне книги свидетельствует и ряд других выска-

званий. В предисловии автор пишет: «Роль других горючих ископаемых — каменный уголь и особенно нефть — весьма велика, и в основном именно им человечество обязано своим техническим прогрессом».

Возникновение фашистского режима в Германии автор рисует следующим образом: «Именно отсюда триста рурских промышленных магнатов и пушечных королей призвали на фюрерство прусского ефрейтора Гитлера, как последнюю свою ставку против угрозы революции».

Уж больно просто А. А. Яковлев смотрит на вещи: триста магнатов позвали — и готово! — появился фашизм. В действительности фашизм — порождение не местных, а международных реакционных сил; Гитлер, как и его последыш Аденауэр, был вскормлен отнюдь не только Руром, но главным образом Сити и Уолл-стритом.

Этим не ограничиваются путаные и политически неверные формулировки событий второй четверти нашего века. Например, грубейшая политическая ошибка допущена автором на стр. 8 в той фразе, где речь идёт об установлении народно-демократического строя в ряде стран Европы.

Обратимся теперь к языку рецензируемой книги. Он не только не отвечает требованиям, предъявляемым к популярным изданиям, но и грешит против элементарных правил русской речи. Почти на каждой странице встречаются такие «перлы»:

«Научно-техническая мысль вносит ценные поправки в гидроторф...»

«Залежи торфа обыкновенно приурочены к речным долинам...»

«Момент соприкосновения с дном залежи сразу улавливается в смысле нарушения плавности хода шеста или бура».

«... каторжный труд и беспросветная жизнь в трущобах «Собачевки» в Юзовке или другом каком пришахтном посёлке создавали кошмарную обстановку в жизни шахтёра».

«В буром угле водорода примерно 9%, в антраците — 2%, в нефти, наоборот (!) — 14%, а в бензине — 17%».

«По моральным соображениям (!) должны были, конечно, увеличиться пьянство и разврат...»

«Иногда они, правда, как будто напоминают сказочных драконов, но зато часто превосходят своими размерами и общим видом человеческое воображение. Захватывающая картина развития жизни на Земле!»

Вот уж поистине захватывающая картина неряшливости автора!

Эта неряшливость А. А. Яковлева переходит все допустимые границы, когда он на стр. 74 пишет: «И гений Ленина... указал правильный путь широкого использования низкосортного топлива — торфа и бурого угля — для строительства электростанций». Приписывать В. И. Ленину указание о применении торфа и угля для строительства электростанций — верх авторской и редакционной безответственности.

Недоработанная и неотредактированная книга А. А. Яковлева вызывает возмущение. Оно тем более законно, что на книге значатся фамилии двух редакторов — члена-корреспондента Академии наук СССР Д. И. Щербакова и П. Р. Ершова. О плохой работе редакционного аппарата издательства свидетельствует и аннотация к книге, ответственность за которую целиком несёт уже издательство. В аннотации сказано, что промышленность горючих ископаемых — основа нашей мощи и жизни. Основа мощи нашей родины — это советский социалистический строй, а вовсе не те или иные отрасли промышленности или средства производства.

Выпуск в свет книги А. А. Яковлева — плод небрежного отношения к своей работе и автора, и издательства.

Г. МАРЯГНИ.

Физика

С. И. Вавилов о советской науке

„Наука сталинской эпохи» — одна из последних книг недавно скончавшегося в расцвете своих творческих сил Сергея Ивановича Вавилова — видного учёного, общественного и государственного деятеля, выдающегося мыслителя и талантливое экспериментатора.

Книга включает ряд статей. Написанная в декабре 1949 года большая статья «Научный гений Сталина» показывает, как гениальные труды вождя народов стали великой движущей силой гигантского прогресса всех отраслей советской науки. Эту мысль С. И. Вавилов проводит и в статьях: «Пути развития отечественной науки», «Важное начинание» (о внедрении научных достижений и связи науки с практикой), «Распространение политических и научных знаний», «За творческое развитие советской науки», «Все силы науки великим народным стройкам», «Науку на службу делу мира». В сборник включена также речь С. И. Вавилова на Второй Всесоюзной конференции сторонников мира и другие его выступления.

Эти статьи и речи рисуют характерные черты советской науки. С. И. Вавилов анализирует их с глубоким пониманием общественной роли и движущих сил советского естествознания, с глубоким проникновением в сущность самых разнообразных проблем математики, астрономии, физики, биологии. С. И. Вавилов не говорит в своей книге о себе, о своих открытиях и теоретических обобщениях. Но при чтении книги всё время возвращаешься к обаятельному образу недавнего руководителя советских учёных, жизнь и творчество которого уже принадлежит истории науки.

Основную движущую силу советского естествознания С. И. Вавилов видит в развитии и применении материалистической диалектики и в практике строительства коммунизма. Борьба за материализм и борьба за построение коммунистического общества неотделимы друг от друга.

«Резкими отличиями советского естество-

Академик С. И. Вавилов. «Наука сталинской эпохи». Второе, дополненное издание. Академия наук СССР. Научно-популярная серия. Издательство Академии наук СССР, М. 1959.

знания от буржуазного, — пишет С. И. Вавилов, — служат его решительно выраженная материалистическая основа и практическая направленность на служение народу. В капиталистическом мире именно за последние десятилетия больше чем когда-либо усилились попытки повернуть естествознание в большинстве его принципиальных разделов — математики, физики, астрономии, биологии — на службу идеализму и даже просто богословию. Эти стремления находят твёрдый отпор в советском естествознании.

С. И. Вавилов рассматривает основные достижения советской математики, астрономии, физики, биологии, как результат борьбы за материализм и неразрывной связи с практикой. Даже такая отвлечённая область научного творчества, как математические исследования, обязана своим прогрессом борьбе против идеалистического формализма. Развитие астрономических наблюдений и появление оригинальных, убедительных и широких космогонических концепций также связано с идейными установками и практическими задачами советской науки. Борьба против буржуазной идеалистической реакции и практические требования народного хозяйства движут вперёд советскую физику. Забота об экспериментальной базе биологических исследований и последовательная борьба противвейсманизма, витализма и прочих реакционных направлений — основа побед советской биологии.

С. И. Вавилов связывает успехи советской науки с её ролью в социалистическом преобразовании общества и преобразовании природы, начатым по инициативе И. В. Сталина. Общественная роль советской науки вытекает из основных особенностей социалистической революции.

«Важная особенность совершенно новой фазы в развитии человеческого общества, фазы, начатой Великой Октябрьской социалистической революцией, именно в том и состоит, что впервые история не просто «происходит» сама собой, — она начинает сознательно направляться».

На примере величайших гениев революционной теории и революционной практики,

на примере Ленина и Сталина советские учёные учатся новому отношению к науке.

«Пример деятельности Ленина и Сталина самым решительным образом опрокидывает старые представления о науке, как об отвлечённой области мысли, оторванной, изъятый из жизни и развивающейся по собственным, внутренним законам. Подлинная, передовая ленинско-сталинская наука вырастает из жизни, вызывается жизнью и переделывает жизнь, природу и общество».

Стержневая мысль Вавилова — мысль о государственном значении науки, о её роли в выполнении задач советского государства, в социалистическом преобразовании общества. С. И. Вавилов указывает на конкретные задачи, поставленные перед наукой народнохозяйственным планом. Из этих задач вытекает необходимость планирования научного творчества.

«Вопреки скептицизму староверов в науке в капиталистическом мире, сталинская наука стала плановой наукой. В этом состоит одна из её основных и неразделимо с нею связанных особенностей, отличающая её от беспорядочного и случайного роста науки в капиталистическом мире, диктуемого, в особенности в технических областях, нередко интересами отдельных конкурирующих фирм и так называемой модой, движущие пружины которой, в свою очередь, находятся в противоречивых интересах и прихотях капиталистического общества».

Советское естествознание непререкаемыми аргументами подтверждает идеи диалектического материализма. Эти идеи указывают советской науке пути, на которых решаются загадки мироздания и расширяется власть человека над природой.

«Философские труды И. В. Сталина вместе с «Материализмом и эмпириокритицизмом» и «Философскими тетрадами» В. И. Ленина составляют тот важнейший первоисточник руководящих идей диалектического материализма, к которому постоянно прибегает теперь передовая наука в своём развитии».

С. И. Вавилов указывает на перспективы и задачи развития всех отраслей советского естествознания в связи с работами И. В. Сталина по вопросам языкознания. «Гениальные работы товарища И. В. Сталина по вопросам языкознания являются выдающимся вкладом в сокра-

вищницу ленинизма, знаменуют новый этап в развитии науки. Постановка вопросов товарищем Сталиным настолько широка и принципиальна, что учёный любой отрасли знания извлекает из языковедческой дискуссии выводы первостепенной важности».

В статье «Все силы науки великим народным стройкам» С. И. Вавилов развернул конкретную программу исследований в целом ряде научных областей, связанных с сооружением гидростанций и каналов. Эти исследования необходимы для максимально быстрого выполнения сталинского плана преобразования природы. Вавилов говорит о конкретных экспериментальных проблемах и конкретных научных экспедициях в районе великих строек коммунизма.

Практические и теоретические задачи советской науки тесно связаны с напряжённой борьбой за мир, которую вёл покойный президент Академии наук СССР. В своих выступлениях С. И. Вавилов бичевал попытки использовать науку для агрессивных целей и прославлял самоотверженную деятельность передовых учёных, выступающих против кровавых планов новой войны. С. И. Вавилов призывал учёных всех стран под знамёна мира.

Использование науки для мирного прогресса, выполнение научных заданий, связанных с построением новых гармоничных общественных форм, сочетание практической целеустремлённости с широтой теоретических обобщений, — эти черты советской науки можно иллюстрировать работами самого С. И. Вавилова.

Выдающийся физик, С. И. Вавилов был автором классических работ по фотолюминесценции, создателем фундаментального в этой области «закона Вавилова», автором исследований, разъяснивших коренные проблемы учения о свете, руководителем экспериментальных и теоретических работ, приведших к открытию нового вида излучения.

Разработка С. И. Вавиловым и его школой физической оптики привела к созданию новой технологии производства ламп дневного света, к применению люминесцентного анализа в науке и технике. Под руководством С. И. Вавилова был открыт новый вид излучения, так называемое черенковское свечение, которое оказалось результатом движения электронов со ско-

ростью, превышающей скорость света в данной среде. Таким образом, создавалась «сверхсветовая» оптика — основа широких обобщений, относящихся к природе света и вещества.

В научном наследстве С. И. Вавилова значительное место занимают работы по истории и философии естествознания. На примере атомистики Лукреция, творчества Галилея, Ньютона, Эйлера, Ломоносова и Менделеева, на примере развития физики в целом С. И. Вавилов показал борьбу передовых научных идей против антинаучной реакции.

Из исторических работ С. И. Вавилова складывается яркая картина неодолимого прогресса науки. В этих работах глубокое понимание корней и истоков творчества учёных сочетается с мастерством в передаче исторического колорита, с тщательным исследованием архивных материалов, неизвестных или малоизвестных рукописей, с непревзойдённой точностью выполненных научных переводов, с изяществом изложения, строгим и красочным языком, благородной сдержанностью и точностью эпитетов.

Ценнейшие историко-научные открытия и идеи содержатся в работах С. И. Вавилова по истории русской науки. Ему принадлежит блестящая характеристика идей Ломоносова в области оптики, а также творчества русских физиков XIX—XX веков. Труды С. И. Вавилова по философии современного естествознания направлены против идеалистических измышлений об «уничтожении материи», против идеалистических извращений в учении о свете. С. И. Вавилов продвинул вперёд научное, материалистическое представление о веществе, силовых полях и свете, рассматривая их как формы материи.

В научном творчестве С. И. Вавилова сочетались характерные черты науки сталинской эпохи: глубокий патриотизм, смелое новаторство, неразрывная связь с практикой социалистического строительства, широта теоретических обобщений в сочетании с тщательностью эксперимента, непримиримость к антинаучным измышлениям буржуазной реакции, забота о новых научных кадрах, творческое изучение и применение в различных областях науки всепобеждающих идей Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина.

Профессор Б. КУЗНЕЦОВ.

★

Химия

Великий композитор и химик

Талант Бородина равно могуч и поразителен как в симфонии, так и в опере, и в романсе. Главные качества его — великанская сила и ширина, колоссальный размах, стремительность и порывистость, соединённые с изумительной страстностью и красотой», — писал выдающийся музыкальный критик и искусствовед В. В. Стасов.

Множество чудесных фортепианных, инструментальных, симфонических, музыкально-драматических и вокальных произведений создал великий русский композитор — один из представителей «могучей кучки», высоко поднявшей славу передовой русской музыкальной культуры.

Н. А. Фигуровский и Ю. И. Соловьёв. «Александр Порфирьевич Бородин». Ответственный редактор профессор С. А. Погодин. Издательство Академии наук СССР, М.-Л., 1959.

Знаменитый музыкант Франц Лист говорил А. П. Бородину: «Вы знаете Германию? Здесь пишут много: я тоню в море музыки, которою меня заваливают, но боже! до чего всё это плоско. Ни одной свежей мысли! У вас же течёт живая струя; рано или поздно (вернее, что поздно) она пробьёт себе дорогу и у нас». Эта «живая струя» подкупает всех, кто знакомится с произведениями А. П. Бородина.

Композиторская деятельность Бородина неоднократно освещалась в нашей литературе. Но вот перед нами новая книга о Бородине. Выпущена она не Музыкальным издательством, а Институтом истории естествознания. Известно, что знаменитый композитор одновременно был и выдающимся химиком. Книга Н. А. Фигуровского и Ю. И. Соловьёва всесторонне раскрывает облик этого замечательного человека, который был и музыкантом, и учёным, и вид-

ным общественным деятелем. Авторы привлекли обширный архивный материал, в том числе и неопубликованные письма Бородин.

Многогранность — одна из характерных черт русских талантов — в большой степени свойственна и А. П. Бородину. Лекарь по образованию, доктор медицины, академик Военно-медицинской академии, профессор химии, один из основателей Русского химического общества, член иностранных химических обществ, страстный поборник женского высшего образования, передовой мыслитель и гениальный композитор — таков А. П. Бородин.

Он принадлежал к плеяде «шестидесятников», вошедших в нашу историю поборниками передового и прогрессивного развития страны.

В то время значительное распространение в России получили естественные науки и особенно химия. По словам Н. Г. Чернышевского, она составила «едва ли не лучшую славу» XIX века. Именно тогда были заложены основы химических наук, развитием которых увековечили себя А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев и другие выдающиеся учёные, в том числе и А. П. Бородин.

Пренебрежительное отношение царского правительства к науке и незначительность средств, которыми располагали наши учёные, препятствовали созданию хорошо оборудованных лабораторий. Несмотря на это, русские химики осуществили исследования и совершили открытия, получившие мировую известность и положившие начало важнейшим производствам. Русские учёные были вынуждены ездить за границу, главным образом в Германию, чтобы там проводить некоторые свои работы, арендуя места в хорошо оборудованных химических лабораториях. Но за границу они ездили не только учиться — они сами учили иностранцев. За работами русских учёных во всём мире следили с большим вниманием и интересом. Это объяснялось оригинальностью исследований, новизной, свежестью, а иногда и дерзостью замыслов наших учёных. Да и характер русской науки резко отличался от иностранной. По словам А. П. Бородина, «Германские учёные... привыкли к ...системе эксплуатации, доводящей науку на степень ремесла».

В России же, даже в те времена, наукой не торговали.

Работы А. П. Бородина по химии имели очень большое значение, которое мы осознаём полностью только в настоящее время. Его оригинальные научные исследования легли в основу развития производства пластмасс, лаков и пр. «Живая струя» присутствовала в химических работах талантливого учёного так же, как и в его музыкальных сочинениях.

А. П. Бородин не избежал участи многих выдающихся русских деятелей науки. Зарубежные учёные делали неоднократные попытки присвоить себе честь некоторых важных открытий, сделанных русскими химиками. Так было с А. М. Бутлеровым, которому пришлось совершить специальную поездку за границу, чтобы отстоять свой приоритет, так было с Д. И. Менделеевым. Это же произошло с А. П. Бородиным. Немецкий учёный Кекуле оказался большим любителем чужих открытий. Бородину пришлось выступить в защиту своего приоритета в идее исследования конденсации альдегидов (алкоголи, лишённые водорода), которую Кекуле бесцеремонно попытался присвоить себе.

Как и многие передовые русские учёные прошлого века, Бородин уделял большое внимание общественно-просветительской деятельности. В семидесятых годах XIX века остро стоял вопрос о женском равноправии и о допуске женщин в высшие учебные заведения. Достаточно вспомнить историю знаменитой русской женщины-математика С. В. Ковалевской, которой в условиях царского самодержавия не удалось получить высшего образования в России. Лучшие люди того времени, а в их числе и А. П. Бородин, вели упорную, настойчивую борьбу за право для женщины получать высшее образование. Под давлением общественного мнения царское правительство было вынуждено разрешить в 1872 году открытие Высших женских медицинских курсов. По словам известного композитора Н. А. Римского-Корсакова, «Бородин... стал одним из видных деятелей по учреждению женских медицинских курсов и начал принимать участие в различных обществах по части вспомоществования и покровительства учащейся молодёжи, преимущественно женской». Бородин всегда чутко относился

к интересам молодёжи и всячески помогал ей материально и морально.

Музыканты и химики «ревновали» Бородин друг к другу. Химики упрекали его в том, что из-за музыки он пренебрегает химическими исследованиями. Музыканты же, и особенно друзья Бородина по «могучей кучке», советовали ему заниматься только музыкой и оставить химию. Но Бородин шёл своей дорогой: он занимался и химией, и музыкой, причём в той и другой областях был выдающимся талантом. Любопытная деталь: на решётке, окружающей надгробный памятник Бородину в Ленинграде, изображён венок из химических формул соединений, впервые полученных Бородиным. Второй венок, обвивающий первый, состоит из музыкальных тем его произведений. Так художник символически изобразил многосторонний талант Бородина.

Авторы книги уточняют, между прочим, дату рождения Бородина, указавшую на памятнике. Истинным годом рождения Бородина является не 1834, а 1833.

Н. Фигуровский и Ю. Соловьёв правильно поступили, попытавшись обрисовать деятельность Бородина на общем фоне эпохи. В книге дан образ Бородина главным образом как химика и общественного деятеля и в меньшей степени как композитора. Такой подход оправдан тем, что до появления рецензируемой книги эти стороны его деятельности не были освещены доста-

точно полно и в форме, доступной для широкого круга читателей. Впервые в нашей литературе приведены сведения о начальном периоде деятельности Бородина как учёного.

С трудной задачей — написать полноценную научно-популярную книгу авторы справились хорошо. Книга читается легко, язык её прост и доступен. Правда, там, где авторам приходилось говорить о химических работах А. П. Бородина, читатель встречается со специальными химическими терминами, которые понятны только химикам. Следовало бы даваť краткое пояснение этих терминов.

Разнообразен графический материал книги. В ней приведено несколько портретов А. П. Бородина (один — в красках), много фотографий, в том числе интересные групповые фотографии Бородина с его учениками и виднейшими русскими химиками.

Удачно составлены примечания, поясняющие текст и облегчающие чтение. В конце книги приведены списки химических работ и музыкальных произведений А. П. Бородина. Большого внимания заслуживают приложения, в значительной части публикуемые впервые. Из них особый интерес представляет отчёт о заграничной командировке А. П. Бородина.

Книгу Н. Фигуровского и Ю. Соловьёва с интересом прочтут широкие круги советских читателей.

П. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

★

География

В преображённом крае

Северный Кавказ — один из важнейших экономических районов СССР. Край этот исключительно разнообразен по своим природным особенностям, хозяйству и национальному составу. Он охватывает земледельческие районы Нижнего Дона и бассейны рек Кубани, Терека, Кумы, районы садоводства и виноградарства на побережьях Чёрного, Азовского и Каспийского морей, горно-животноводческие районы Центрального Кавказа, нефтепромышленные районы Грозного, Майкопа, Дагестана.

Е. П. Маслов. «Северный Кавказ». Ответственный редактор доктор экономических наук профессор **П. В. Погорельский.** Географиз, М. 1959.

Но в этом благодатном крае до революции жизнь горцев была тяжёлой. Они страдали от двойного гнёта — русского царизма и местных феодалов. Усиленно разжигалась национальная рознь, умышленно тормозилось культурное развитие.

Только после Великого Октября перед Северным Кавказом, как и перед всей нашей страной, открылись перспективы радостной и счастливой жизни. Началась новая, советская эра в развитии края, и Северный Кавказ быстро пошёл по пути социалистических преобразований.

В 1920 году, на съезде народов Терской области, И. В. Сталин от имени Советского

правительства провозгласил декларацию об автономии горских народов в составе Советского государства. Навсегда запомнили труженики-горцы волнующие слова вождя: «Давая вам автономию, Россия тем самым возвращает вам те вольности, которые украли у вас кровопийцы цари и угнетатели царские генералы. Это значит, что ваша внутренняя жизнь должна быть построена на основе вашего быта, нравов и обычаев, конечно, в рамках общей Конституции России»¹.

За тридцать лет свободной жизни народы Северного Кавказа, руководимые большевистской партией, добились выдающихся успехов во всех областях экономического и культурного развития.

Об этом рассказывает книга Е. П. Маслова. Читатель найдёт в ней сведения о природных богатствах края, его промышленности и сельском хозяйстве, о тех разительных переменах, которые произошли в жизни населения республик и областей Северного Кавказа:

Богата и разнообразна природа этого уголка нашей Родины! Главный Кавказский хребет и его отроги славятся густыми лесами и альпийскими лугами. Роскошная растительность на Черноморском побережье, многочисленные ущелья Военно-Грузинской дороги, стремительные реки, берущие своё начало в заоблачных высотах, степи Прикаспия, горы, покрытые вечными снегами, — всё это поражает своей неповторимой красотой и величием. Главные вершины хребта — Казбек, Эльбрус, Дыхтау — значительно превышают Монблан — высшую точку Европейских Альп. Ежегодно к горам Кавказа для восхождений и путешествий съезжается множество туристов.

Северный Кавказ — всесоюзная здравница. Во многих местах здесь имеются целебные минеральные источники. Широкой известностью пользуются такие прославленные курортные места, как Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, а на Чёрном море — Сочи, Мацеста, Геленджик и другие, привлекающие к себе десятки тысяч людей.

Но этот край — не только место отдыха и курортов. Недра Кавказа богаты полезными ископаемыми: цветными металлами, туфом, углем. В районе Грозного, Майкопа, в Малгобеке и Дагестане имеются круп-

ные месторождения нефти. Горы Кавказа богаты лесами, где произрастают ценные породы деревьев. Распространены и дикорастущие плодовые деревья. В лесах обитают рысь, дикие свиньи, кавказский медведь, дикая коза, благородный олень. Субальпийские луга служат превосходными пастбищами для скота.

Своеобразны картины равнин Северного Кавказа. Раньше здесь было засушливое место, суховеи выжигали посевы злаков. Волей большевиков степи преобразуются. Лесные полосы будут защищать теперь посевы от песчаных бурь. По Сталинскому плану преобразования природы меняются Терско-Кумские степи, где началось строительство водохранилищ.

Плодородные чернозёмные степи Дона, Кубани, Терка — одна из житниц Советского Союза. Северный Кавказ — это край зажиточных колхозов и мощных совхозов. Осенью на необозримых просторах уходящих за горизонт полей золотисто-жёлтой пшеницы могучей поступью движутся колонны тракторов и комбайнов. На Кубани и ближе к предгорьям встречаются поля с высокой, выше человеческого роста, кукурузой и большими массивами цветущих плодовых садов.

В крае создана весьма значительная мукомольная, маслобойная, винодельческая и другая пищевая и лёгкая промышленность. На Черноморском побережье выращивают ценные субтропические культуры: чай и цитрусовые.

В годы сталинских пятилеток на Северном Кавказе возникли новые отрасли промышленности: химическая, цветных металлов, сельскохозяйственное и транспортное машиностроение; построен ряд крупных нефтеперегонных заводов, полностью реконструированы старые предприятия, сооружён нефтепровод Грозный—Туапсе.

Широко развернулось использование водных энергоресурсов. Введён в эксплуатацию ряд тепловых и гидроэлектростанций. Вошли в строй новые высокогорные гидроэлектростанции — Баксанская, дающая энергию электрифицированной железной дороге Минеральные Воды — Кисловодск и городу Нальчик, и Гизельдонская, обеспечивающая промышленность города Дзауджикау и Садонский рудник. Большое народнохозяйственное значение имеют Гергебильская ГЭС в Дагестане, Дзау-ГЭС в Северной

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 4, стр. 401.

Осетии и другие электростанции, работающие на дешёвом «белом угле».

Мачты высоковольтных линий электропередач прошли по ущельям и склонам гор, провода протянулись по степям и предгорьям. Даже в самых отдалённых аулах и станицах горят яркие «лампочки Ильича».

Подлинного расцвета достигла культура — национальная по форме, социалистическая по содержанию. Давно и полностью ликвидирована неграмотность — этот извечный бич угнетённых народностей в самодержавной России. Создана своя национальная интеллигенция, чему немало способствовала широкая сеть вузов и специальных средних учебных заведений. Представители всех национальностей края учатся в крупнейших институтах страны — в Москве и Ленинграде. Каждая автономная республика и автономная область имеет свой национальный театр. На языках всех народов, населяющих Северный Кавказ, выходят газеты, издаётся политическая и художественная литература.

В книге Е. П. Маслова выпукло показана огромная созидательная работа, проделанная партией большевиков в крае, даны зарисовки городов, сёл, курортов.

В годы Великой Отечественной войны Северный Кавказ являлся ареной решающих сражений Советской Армии с немецко-фашистскими захватчиками, упорно рвавшимися в Закавказье и к бакинской нефти. В конце 1942 года Советская Армия под Дзауджикау нанесла сокрушительный удар немецко-фашистским захватчикам, после чего началось их массовое изгнание с Северного Кавказа. К сожалению, автор книги не осветил этот период.

Немецко-фашистские захватчики причинили громадный ущерб народному хозяйству. Особенно пострадали города: Ростов-на-Дону, Краснодар, Нальчик, Ставрополь и другие.

За годы послевоенной сталинской пятилетки промышленность была полностью восстановлена, сельское хозяйство достигло довоенного уровня. Дальнейшее освоение горных ресурсов, развитие нефтяной промышленности, строительство новых гидроэлектростанций, развитие животноводства и сельского хозяйства, претворение в жизнь великого Сталинского плана преобразования природы — вот новые задачи, которые стоят теперь перед трудящимися Северного Кавказа.

Е. П. Маслов увлекает читателя и заставляет его почувствовать всё своеобразие природы Кавказа.

Наиболее удачна в книге, по нашему мнению, глава «Картины природы», где умело использованы стихи А. С. Пушкина, воспоминания русского географа проф. А. Н. Краснова, записки В. В. Докучаева о неприступных горах Дагестана. В главе «Социалистическое преобразование края» чувствуется некоторая фрагментарность. Так, например, очерки «Город нефти», «Города и сёла», «По столицам автономных республик» разбросаны в разных местах книги. Их следовало бы объединить в один очерк, что дало бы читателю более полное представление о развитии городов и промышленности края.

Говоря о продвижении цитрусовых растений на север, Е. П. Маслов не рассказывал, однако, о тех районах, которые добились в этом отношении значительных результатов (Дагестан, Краснодарский край).

Недостаточно осветил автор ту мощную поддержку, которую оказывал и оказывает великий русский народ народам Северного Кавказа. Без этой помощи автономные республики и области не смогли бы достигнуть таких выдающихся успехов в своём развитии. Следовало бы также отметить тесную связь края с братскими республиками Закавказья.

В послевоенные годы многочисленные делегации трудящихся стран народной демократии, посетивших Советский Союз, побывали и на Северном Кавказе. В частности, делегация албанских крестьян, ознакомившись с жизнью автономных республик, вочью убедилась, как советская власть заботится о всестороннем развитии народов бывшей царской окраины. Жаль, что Е. П. Маслов ничего об этом не рассказал. Он даже словом не обмолвился о талантливом сыне осетинского народа Гасиеве, которому принадлежит приоритет в изобретении фотонаборной машины.

В целом, однако, книга Е. П. Маслова оставляет хорошее впечатление. Автору удалось в популярной форме рассказать об одном из интереснейших краёв Советского Союза. Книга воспитывает в читателе любовь к нашей Родине, к её богатствам, призванным служить социалистическому государству.

Ф. ХАРЧЕНКО.

Военное дело

Брошюры о Сталинской авиации

Советская власть раскрепостила могучие силы нашего народа. Во всём величии раскрылся его яркий самобытный талант. Советские люди, руководимые партией большевиков, великим Сталиным, заново создали авиационную промышленность. Сталинскими соколами назвали советский народ своих лётчиков, Сталинской — свою авиацию, ибо все её достижения, всё её развитие неразрывно связаны с именем гениального вождя. С каждым днём авиация играет всё большую роль в жизни нашей страны, связывая невидимыми, но прочными трассами самые отдалённые уголки нашей родины с Москвой.

Понятна и естественна горячая любовь советского народа к своему детищу — авиации, понятен его огромный интерес к её истории, её росту, мастерству её людей.

Всяческого одобрения заслуживает инициатива Всесоюзного добровольного общества содействия авиации (ДОСАВ), которое приступило к изданию серии брошюр по авиации, рассчитанных на массового читателя. В 1950 году уже вышли в свет три таких брошюры. Популярно написанные, они знакомят с историей отечественной авиации от её зарождения до наших дней. Ряд бесспорных фактов убеждает читателя, что родиной авиации является наша страна.

Трудно назвать другую область науки и техники, которая в такой же степени, как авиация, сделала человека повелителем сил природы.

Не сразу удалось человеку обрести крылья и, оторвавшись от земли, взлететь ввысь. Трудным и долгим был этот, необычный для человека, путь — не по горизонтали, а по вертикали. Множество не-

преодолимых, на первый взгляд, препятствий стояло перед ним. Не только сама воздушная стихия, долго не раскрывавшая своих тайн, но и косность и суеверие стояли на пути смельчаков.

Автор брошюры «Военно-Воздушные Силы Советского Союза» В. П. Московский приводит известный пример из далёкого прошлого нашей Родины. Во второй половине XVI века в царствование Ивана Грозного «смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп» соорудил крылья и летал при большом стечении народа в Александровской слободе под Москвой. «За сие дружество с нечистою силою» пытливый Никитка, по настоянию духовенства, был казнён.

Но нельзя было сломить волю талантливых и смелых русских изобретателей. Упорно, без всякой поддержки со стороны власть имущих, добивались они покорения воздуха. Плеяда замечательных русских учёных, таких, как Ломоносов, Менделеев, Жуковский, Чаплыгин, Цюлковский, положила начало авиационной науке и технике и внесла неоценимый вклад в их развитие. Уже более двухсот лет назад М. В. Ломоносов не только обосновал принцип полёта тел, более тяжёлых, чем воздух, но и построил и испытал первую в мире модель вертолёта.

Особое место в славном ряду выдающихся русских изобретателей по праву принадлежит А. Ф. Можайскому — создателю первого самолёта. В 1882 году на военном поле в Красном Селе состоялись испытания машины Можайского. Самолёт, ведомый механиком И. Н. Голубевым, поднялся в воздух. Этот полёт на аппарате тяжелее воздуха был первым в истории человечества. Только через два десятка лет после изобретения Можайского появился самолёт американцев братьев Райт. Тем не менее фальсификаторы истории из американско-английского лагеря тщетно стараются обмануть общественное мнение, приписывая братьям Райт первенство в изобретении летательной машины.

Царское правительство и его высокопоставленные чиновники, заражённые духом низкопоклонства перед заграницей, не

Генерал-майор В. П. Московский. «Военно-Воздушные Силы Советского Союза». Краткий очерк. Редактор Я. М. Кадер. Военное издательство, М. 1950.

Полковник Н. Н. Денисов. «Наша страна — родина авиации». Под редакцией генерал-майора инженерно-авиационной службы профессора Е. С. Андреева. Военное издательство, М. 1950.

Полковник А. Г. Ордин. «Могучая Сталинская авиация». Редактор полковник Б. С. Лялинов. Военное издательство, М. 1950.

только не поддерживали начинания отечественных изобретателей, но всячески препятствовали им. В результате царская Россия, несмотря на то, что все важнейшие проблемы воздухоплавания были решены русскими учёными, отставала в развитии авиации от других стран.

Молодая Советская страна получила от дореволюционной России всего несколько сот устаревших самолётов самых разнообразных конструкций. Это не могло, конечно, удовлетворить быстро растущих потребностей нашего государства. Его гениальные вожди — В. И. Ленин и И. В. Сталин уделяли большое внимание развитию авиационной промышленности, подготовке новых лётных кадров. Начался выпуск самолётов на московском заводе «Дукс». Была образована комиссия по разработке программы восстановления авиационной промышленности. В 1922 году была создана Военно-воздушная академия, носящая ныне имя Н. Е. Жуковского. В. И. Ленин высоко оценил его заслуги, назвав Н. Е. Жуковского «отцом русской авиации».

Творческий облик русского учёного удачно раскрывает Н. Н. Денисов, автор брошюры «Наша страна — родина авиации». Центральное место в работах Н. Е. Жуковского по авиации занимают аэродинамические исследования в теории крыла и теории винта. Н. Е. Жуковский блестяще решил проблему подъёмной силы крыла и в своё время опроверг ошибочные утверждения зарубежных учёных о том, что якобы нельзя создать летательный аппарат тяжелее воздуха. Впервые найденные им методы расчётов во многих областях самолётостроения и по сей день используются конструкторами и учёными во всех странах мира.

Помимо аэродинамики, охватывающей большую часть творчества Н. Е. Жуковского, он занимался вопросами, имеющими практическое значение для судостроения и железнодорожного транспорта, писал труды по математике, астрономии, механике, гидромеханике и т. д. В общей сложности перу Н. Е. Жуковского принадлежит около двухсот работ по самым разнообразным научным и техническим вопросам.

Из гущи народной вышел и другой замечательный новатор — К. Э. Циолковский, которого И. В. Сталин назвал знаменитым

деятелем науки. Большую часть своей жизни К. Э. Циолковский посвятил разработке проблем реактивного движения, на много лет опередив исследования зарубежных учёных. Творческие идеи Циолковского легли в основу современной реактивной техники.

В советское время отечественная авиационная наука поднялась на новый, высший этап своего развития. Была создана мощная материальная база, оснащённая по последнему слову техники. Советские учёные, конструкторы, инженеры, пользующиеся широкой поддержкой народа, партии и правительства, получили все необходимые условия для плодотворной работы.

Выдающиеся полёты В. Чкалова, В. Коккинаки, М. Громова, В. Гризодубовой, М. Расковой, П. Осипенко явились блестящей демонстрацией высокого лётного мастерства наших пилотов и штурманов. Далеко за пределами нашей страны известны имена талантливых авиационных конструкторов, таких, как А. Туполев, С. Ильюшин, С. Лавочкин, А. Яковлев, В. Петляков, А. Архангельский, П. Сухов, А. Микоян и конструкторов моторов — В. Климова, А. Швецова, А. Микулина.

Великая Отечественная война была труднейшим испытанием для нашего народа и его армии, в том числе и Военно-Воздушных Сил. В эту суровую годину авиация нашей страны ещё более выросла и окрепла и по своим качествам далеко превзошла авиацию врага. Общеизвестно, что наша авиационная промышленность в течение последних трёх лет войны произвела ежегодно до 40 тысяч самолётов. «В ходе войны, — указал товарищ Сталин, — трудовой энтузиазм рабочих, работников, инженеров и служащих, изобретательность и талантливость советских авиационных конструкторов позволили вооружить нашу авиацию многими тысячами прекрасных боевых самолётов, которые на своих крыльях несли смерть врагу и бессмертную славу нашему великому советскому народу»¹.

В огне сражений выдвинулись такие бесстрашные герои — талантливые мастера воздушного боя, каких не знал мир. Немеркнушей славой покрыты имена Н. Гастелло, П. Харитоновца, С. Супруна, Б. Са-

¹ И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Стр. 201—202.

фонова, С. Здоровцева, В. Талалихина, А. Покрышкина, И. Кожедуба и многих других славных сынов нашего народа.

В послевоенные годы могучая сталинская авиация продолжает расти и крепнуть. Советская авиационная промышленность выпускает ныне реактивные самолёты новейших конструкций. За их стремительным полётом с восторгом следили сотни тысяч москвичей в дни авиационных праздников.

Брошюра В. П. Московского «Военно-Воздушные Силы Советского Союза» написана образным и доступным языком. Автор умело отобрал наиболее значительные факты из истории отечественной авиации, обстоятельно рассказал, как она росла и развивалась. Советские читатели, особенно молодёжь, прочтут эту брошюру с интересом и пользой.

Книжка А. Г. Ордина «Могучая сталинская авиация» в известной степени дополняет брошюру В. П. Московского, но во многом и повторяет её. Можно привести примеры почти текстуального совпадения названий отдельных глав. Кроме того, книжка А. Г. Ордина безусловно уступает брошюре В. П. Московского по языку и по организации материала. В связи с этим возникает законный вопрос: целесообразно ли было два месяца спустя после издания брошюры В. П. Московского выпускать однотипную брошюру А. Г. Ордина? Не правильнее ли было допечатать тираж первой, более удачной, брошюры, что, кстати, значительно сэкономило бы издательские расходы.

Брошюра Н. Н. Денисова «Наша страна — родина авиации» носит иной характер, чем две другие. Автор популярно и увлекательно рассказывает о зарождении и развитии советской авиационной науки, знакомит читателя с тем, как создавался авиационный мотор — это сердце самолёта.

Следует отметить, что последний раздел брошюры написан несколько схематично; хотелось бы найти в нём более полное освещение развития авиационной техники в послевоенный период.

Н. Н. Денисов заканчивает свою брошюру следующими словами: «Всё быстрее становится полёт советских самолётов. Всё выше в небо уходят советские лётчики. Всё дальше и дальше могут летать наши воздушные корабли. Призыв товарища И. В. Сталина — летать выше, дальше, быстрее всех — продолжает оставаться боевым девизом советских авиаторов. Наша страна, родина авиации, родина передовой авиационной культуры, уверенно строит и развивает новую авиационную технику, воспитывает новые поколения советских лётчиков, конструкторов, учёных. Вооружённые великими идеями Ленина — Сталина, преданные социалистической Родине и советскому народу, руководимые великим Сталиным, они ведут свой родной Воздушный флот во главе авиационного прогресса, повседневно укрепляя могучие крылья сталинской авиации — лучшей авиации в мире».

Различны пути развития и особенно цели, стоящие перед авиацией Страны Советов и авиацией империалистического лагеря.

Американские поджигатели войны создают, где только возможно, военные авиационные базы. Они используют свою авиацию для того, чтобы безжалостно разрушать незащищённые города и сёла Кореи, совершать провокационные налёты на территорию Китайской народной республики.

Сталинская авиация служит делу мирного развития нашей социалистической родины и вместе со всеми могучими советскими Вооружёнными Силами стоит на страже созидательного труда нашего народа.

Полковник А. НАБОКИХ.

Биология

Беликий русский биолог И. И. Мечников

Среди имён учёных-естественников, которыми гордится наша страна и всё передовое человечество, имя Ильи Ильича Мечникова занимает почётное место.

И. И. Мечников был исключительно разносторонним учёным и широко образованным глубоким мыслителем. Многие его научные воззрения прямо перекликаются с наиболее острыми проблемами современной биологии и медицины. И. И. Мечников является одним из основоположников современной микробиологии и эмбриологии; творцом сравнительной патологии. Его работы положили начало изучению проблемы микробного антагонизма, из которой выросло современное учение об антибиотиках, то есть лекарственных веществах микробного происхождения. Изучение проблемы старости и долголетия также ведёт своё начало от Мечникова.

Не удивительно, что литература, посвящённая творчеству великого русского учёного, исчисляется многими сотнями названий.

За последние годы отдельные труды Мечникова выходили несколько раз. К сожалению, академическое 15-томное собрание сочинений И. И. Мечникова, выпускаемое по постановлению Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 15 мая 1945 г. и представляющее большой интерес для широких кругов советских учёных, издаётся очень медленно. До сих пор, за пять лет, вышел только один VI том, содержащий экспериментальные и обзорные работы по иммунитету, а также некоторые микробиологические работы И. И. Мечникова. Всего в этом томе напечатано 27 работ.

Трудно сказать, в какой области труды Мечникова имеют большее значение — в медицине или в биологии. Первые его работы, относящиеся к 1862—1882 гг., были посвящены преимущественно эмбриологии (учение о зародышевом развитии) и вопросам

эволюционной теории, классически им разработанным. Начиная с 1892—1893 гг., Мечников всё более начинает интересоваться вопросами медицины, в частности микробиологией, где он создал фагоцитарную теорию иммунитета.

До настоящего времени труды Мечникова, относящиеся к какому-либо одному разделу науки, отдельным сборником не издавались. Это начинание осуществлено впервые издательством Академии наук СССР, выпустившим в серии «Классики науки» «Избранные биологические произведения И. И. Мечникова».

Книга содержит следующие работы Мечникова: «Очерк вопроса о происхождении видов», «Исследования о внутриклеточном пищеварении у беспозвоночных», «Лекции о сравнительной патологии воспаления», «Эмбриологические исследования над медузами».

Кроме того, в книге помещена чрезвычайно интересная статья Мечникова «Несколько слов о современной теории происхождения видов». Эта работа, о существовании которой было известно и ранее, обнаружена только теперь в архивных материалах и опубликована впервые. Она представляет собой рецензию на общезвестную книгу Дарвина «Происхождение видов». Посланная Мечниковым в журнал «Время» в 1863 году рецензия осталась по неизвестным нам причинам неопубликованной и надолго затерялась.

Рецензия эта лишней раз свидетельствует о том, с каким вниманием Мечников, ещё будучи студентом, изучал эволюционную теорию, и даёт ценный материал для характеристики его взглядов. Поразительно, с какой глубиной и научной проницательностью 18-летний юноша верно подметил слабые стороны учения Дарвина, которому в общем он давал высокую оценку, называя его труд «замечательной книгой». Мечников резко критикует мальтузианские черты дарвиновского учения о естественном отборе и решительно возражает против признания борьбы за существование между особями одного вида.

Критикуя Дарвина, Мечников пишет: «Итак, положение автора «Происхождения видов» об отношении силы борьбы за су-

И. И. Мечников: «Избранные биологические произведения». Редакция, статья и примечания члена-корреспондента Академии наук СССР В. А. Догеля и А. Е. Гайсиновича. Издательство Академии наук СССР, М. 1950.

Б. Я. Могилевский. «И. И. Мечников»: Научная редакция профессора Н. Н. Плавильщикова. Детгиз, М.—Л. 1950.

шествование к сходству организации борющихся существ совершенно неверно; неверность эта, имеющая своим непосредственным источником неправильное обобщение мальтусовой теории, в свою очередь, служит основанием ошибочности всех выводов из изложенного положения».

Редакторы рецензируемого издания справедливо отмечают, что эта рецензия полна юношеского задора и самоуверенности, но уже заключает в зачатке все те критические мысли Мечникова о борьбе за существование, в которых он поразительно предвосхитил наше современное понимание слабых сторон взглядов Ч. Дарвина. Действительно, многие мысли Мечникова получили подтверждение в настоящее время, в частности во взглядах академика Т. Д. Лысенко, доказавшего, как известно, ненаучность положения о внутривидовой борьбе за существование в мире животных и растений.

Дополнительную ценность книге придаёт статья В. А. Догеля и А. Е. Гайсина «Основные черты творчества И. И. Мечникова, как биолога» и подробные примечания к тексту.

На всём издании лежит печать высокой научной и издательской культуры. В книге помещены многочисленные рисунки, в том числе на вкладных листах. Стоит отметить ранее не публиковавшийся хороший портрет И. И. Мечникова, относящийся к 80-м годам. Книга несомненно является ценным вкладом в нашу литературу по биологии и истории отечественного естествознания.

Как мы уже отмечали, литература, посвящённая жизни и творчеству великого учёного, очень обширна. Однако если говорить о работах, не утративших своего значения в наши дни, то она исключительно бедна. За последние годы вышла только одна серьёзная исследовательская работа Д. Ф. Острянина «Мировоззрение Мечникова».

Подавляющее большинство книг о Мечникове носят популярный характер и рассчитано на читателей, не имеющих специальной подготовки. Почти все эти книги сейчас уже значительно устарели и не отражают нашего сегодняшнего отношения к Мечникову и к тем научным проблемам, разработке которых он посвятил свою жизнь.

Особо следует остановиться на книге американского учёного и популяризатора Поля де Крюи «Охотники за микробами». Она

неоднократно переводилась на русский язык, но, к сожалению, до сего времени не получала на страницах нашей печати должной оценки. Как видно, занимательность изложения замаскировала в глазах наших критиков крупные недостатки книжки. В ней имеется глава, посвящённая И. И. Мечникову.

По мнению Поля де Крюи, Мечников «напоминал истерический тип из романа Достоевского». Уверяя читателей в своей симпатии к Мечникову, автор не жалеет красок для того, чтобы изобразить его как легкомысленного сумасбродного человека. В результате становится просто непонятным, как мог такой учёный достигнуть вершин науки и стать одним из основоположников современной медицины.

Вот как, например, описывает американский автор первые шаги Мечникова в науке: «Поступивши в Харьковский университет, он тотчас же взял у одного из профессоров микроскоп и, не имея ещё абсолютно никакой научной подготовки, сел и написал большой учёный трактат...»

Автор ничтоже сумняшеся заявляет, что Мечников «бомбардировал все (!) научные журналы своими статьями. Наведя микроскоп на какого-нибудь случайного жука или клопа, он тотчас же садился и писал научный труд. А на другой день, посмотрев внимательно на объект своего исследования, он уже видел перед собой совершенно иную картину».

Трудно поверить автору, что он относится к Мечникову с симпатией. По существу изображая великого русского учёного как сумасброда и фантаста, Поля де Крюи искажает историческую правду.

Яркий, страстный ум Ильи Ильича, его трудолюбие, выдающееся искусство экспериментатора, глубокая последовательность в научных исканиях, талант писателя — всё это слишком хорошо известно советским читателям, но всего этого «не замечает» Поля де Крюи

Вынужденный согласиться с тем, что идеи Мечникова оказывались в конечном счёте верными, Поля де Крюи всё-таки заявляет, что «одолевшая его (Мечникова. — Ю. М.) всё время мания (?) доказать факт выживания наиболее приспособленных неизменно вела его к созданию той полуфантастической теории, которой он объяснял причину сопротивляемости человека по отношению к микробам». Итак, фагоци-

тарную теорию, являющуюся одним из крупнейших достижений медицины и биологии, Поль де Крюи объявляет «полуфантастической»!

Так же просто разделяется он и с самим Мечниковым и с русской наукой вообще, заявляя, например, что в восьмидесятих годах XIX века «в Одессе не было ни одного человека, достаточно знакомого с микробиологией». И это говорится о тех годах, когда в России и, в частности, в Одессе работали такие выдающиеся русские учёные, как Л. С. Ценковский, Л. Л. Гейденрейх, Г. Н. Минх и ряд других, обогативших мировую науку о микроорганизмах в заразных болезнях первостепенными трудами!

Среди научно-популярных работ, посвящённых жизни и творчеству замечательного русского учёного, наиболее удачной надо признать книгу писателя Б. Л. Могилевского «И. И. Мечников». Эта работа издаётся уже не первый раз, причём в каждом новом издании она исправляется, дополняется и улучшается.

Живо и интересно написанная книга Б. Могилевского рисует яркий образ Мечникова, как выдающегося учёного, страстного борца за науку, и правильно характеризует значение его работ для современной биологии и медицины. Многие страницы книги читаются с увлечением. Автору удалось не только показать Мечникова на широком фоне общественной и научной жизни России XIX и начала XX столетия, но и умело связать изложение биографии Мечникова с тогдашним состоянием науки. Мечников правильно характеризуется, как один из крупнейших основоположников биологии и медицины, как учитель нескольких поколений русских бактериологов, как учёный, впервые соединивший медицину с биологией и создавший новое плодотворное направление в науке — сравнительную патологию.

Удачен и верен образ И. И. Мечникова как мыслителя. «Мечников продолжал традиции Герцена и Белинского, Чернышевского и Писарева, пропагандировал идеи материализма в России, — пишет Б. Могилевский, — он много сделал для популяризации дарвинизма. В поток русской материалистической философии были вовлечены

виднейшие русские учёные: Сеченов, братья Ковалевские, Менделеев, Тимирязев, Павлов и другие корифеи отечественного естествознания. Большинство естествоиспытателей стояли на позициях материализма, потому что предмет их науки, в частности биология, стихийно толкал их к материализму. Большинство естествоиспытателей дальше такого стихийного материализма не пошли, ибо они не знали материализма диалектического. Материализм естественнонаучный, или, как его иначе называют, естественно-исторический, был мировоззрением Мечникова». Б. Могилевский правильно отмечает, что «будучи материалистом в биологии, Мечников был идеалистом в области исторических наук. Он не знал законов общественного развития».

Б. Могилевский глубоко изучил обширную литературу о Мечникове и множество документальных материалов. Очень ценно, что в книге использован ряд неопубликованных писем и фотографий. Однако нельзя не пожалеть, что автор оставил в стороне интересную переписку между Мечниковым и его близким другом и учеником Н. Ф. Гамалея.

Вероятно, Б. Могилевский не был знаком и с той интереснейшей рецензией Мечникова (на книгу Дарвина), о которой мы говорили в начале статьи. Использование этого произведения дало бы автору возможность ярче и полнее обрисовать образ Мечникова.

Полезная и интересная книга Б. Могилевского выиграла бы, если бы автор снабдил её списком литературы, рекомендуемой для дальнейшего и дополнительного чтения.

Отдельные мелкие недостатки книги (когда тяжёлый язык, некоторые неточности) не снижают заметным образом оценки, которой заслуживает книга Б. Могилевского. Она принесёт пользу не только юным читателям, её с интересом прочтут и взрослые, в том числе биологи и медики.

Жизнь и деятельность И. И. Мечникова, как выдающегося представителя русской культуры, ещё долгие годы будет вдохновлять и учёных, и писателей, которым выпало счастье жить и работать в великую Сталинскую эпоху, воплотившую в жизнь лучшие чаяния передовых людей прошлого.

Ю. МИЛЕНУШКИН.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

(Февраль — март 1951 года)

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О кооперации. 15 стр. Цена 20 к.

В. И. Ленин. По поводу так называемого вопроса о рынках. 51 стр. Цена 50 к.

И. В. Сталин. Беседа с корреспондентом «Правды». 15 стр. Цена 20 к.

Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. 243 стр. Цена 5 р.

И. Васильев. О турецком «нейтралитете» во второй мировой войне. 120 стр. Цена 1 р. 50 к.

Вопросы колхозного строительства в СССР. 488 стр. Цена 9 р.

К. Е. Ворошилов. Сталин и Вооружённые Силы СССР. 141 стр. Цена 10 р.

Восстание декабристов. Материалы. Том IX. Главное архивное управление МВД СССР. 307 стр. Цена 8 р. 25 к.

Е. Касимовский. Бережливость на производстве — источник роста общественного богатства. 93 стр. Цена 1 р.

А. Е. Кунина. Провал американских планов завоевания мирового господства в 1917—1920 гг. 236 стр. Цена 4 р.

Р. А. Лавров. Десятая Всероссийская конференция РКП(б). 47 стр. Цена 60 к.

П. Манчха. Албания на пути к социализму. 135 стр. Цена 1 р. 75 к.

Об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР в 1950 году. Сообщение Центрального Статистического управления при Совете Министров СССР. 20 стр. Цена 25 к.

П. Н. Поспелов. О XXVII годовщине со дня смерти В. И. Ленина. Доклад на торжественно-траурном заседании в Москве 21 января 1951 года. 16 стр. Цена 20 к.

Рабочее движение в России в XIX веке. Том II. Часть первая. 1861—1874. 697 стр. Цена 14 р. Часть вторая. 1875—1884. 779 стр. Цена 15 р.

Е. Солдатенко. Пятнадцатый съезд ВКП(б). 123 стр. Цена 1 р. 60 к.

Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б). Выпуск тринадцатый. 34 таблицы. Цена 70 р.

Плакаты наглядных пособий по политической экономии. II раздел. Империализм. 20 плакатов. Цена 40 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Николай Вирта. Одиночество. Роман. 243 стр. Цена 5 р. 50 к.

П. Далеккий. На сопках Маньчжурии. Роман. 638 стр. Цена 15 р.

Антонина Коптяева. Иван Иванович. Роман. 460 стр. Цена 11 р.

Е. Наумов. Маяковский в первые годы советской власти (1917—1922). 196 стр. Цена 6 р. 50 к.

Поэзия освобождённого Китая. Перевод Александра Гитовича. 119 стр. Цена 2 р.

В. Шефнер. Московское шоссе. Стихи. 144 стр. Цена 2 р. 50 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Пьер-Жан Беранже. Избранные песни. Перевод с французского. 536 стр. Цена 15 р.

Е. А. Боратынский. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. 648 стр. Цена 8 р. 25 к.

Генрих Гейне. Избранные произведения. Перевод с немецкого. 1012 стр. Цена 28 р.

И. А. Гончаров. Обломов. Роман в четырёх частях. 520 стр. Цена 7 р. 50 к.

Э. Грин. Ветер с юга. 148 стр. Цена 2 р. 40 к.

Виктор Гюго. Человек, который смеётся. Перевод с французского. 680 стр. Цена 11 р. 50 к.

Теодор Драйзер. Собрание сочинений в 12 томах. Том второй. Дженни Герхардт. Перевод с английского Н. Галь и М. Лорье. 348 стр. Цена 15 р.

Стефан Жеромский. Рассказы. Перевод с польского. 160 стр. Цена 2 р. 50 к.

Георгий Леонидзе. Сталин. Детство и отрочество. Эпопея. Книга первая. Перевод с грузинского. 152 стр. Цена 4 р. 50 к.

Григорий Медынский. Марья. Роман. 575 стр. Цена 11 р.

А. Н. Островский. Полное собрание сочинений. Том VI. Пьесы. 1871—1874. 376 стр. Цена 10 р. Том VIII. Пьесы. 1877—1881. 392 стр. Цена 10 р.

А. С. Серафимович. Железный поток. (Библиотека советского романа). 192 стр. Цена 4 р.

Л. Н. Толстой. Анна Каренина. (Библиотека русского романа). 840 стр. Цена 13 р.

И. С. Тургенев. Повести и рассказы. 192 стр. Цена 2 р. 50 к.

А. П. Чапыгин. Разин Степан. (Библиотека советского романа). 580 стр. Цена 10 р. 50 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

М. Елсуков, Л. Громова. Новые кормовые культуры. 74 стр. Цена 1 р. 80 к.

А. Каминский. Сталинский план преобразования природы. Травопольная система земледелия. 60 стр. Цена 1 р.

Ответы на вопросы трудящихся. Сборник. Выпуск IX. 79 стр. Цена 1 р. 25 к. Выпуск X. 42 стр. Цена 1 р. 25 к.

Партия большевиков в борьбе за диктатуру пролетариата. Консультации к V, VI и VII главам «Краткого курса истории ВКП(б)». Под общей редакцией проф. Г. Д. Костомарова. 437 стр. Цена 9 р. 50 к.

В. Писарев. Лучшие сорта зерновых культур для Московской области. 74 стр. Цена 2 р.

П. Г. Поляков. Советский государственный бюджет. Издание второе, исправленное и дополненное. 66 стр. Цена 1 р. 25 к.

Скоростные методы производства кирпича. Сборник статей. 127 стр. Цена 3 р. 75 к.

ПРОФИЗДАТ

Александр Бек. Зерно стали. Рассказы и очерки. 184 стр. Цена 8 р.

А. Можайский, Б. Чертков. Производственное шефство над молодыми рабочими. 40 стр. Цена 65 к.

ДЕТГИЗ

В. Баныкин. Весной в половодье. Повесть. 88 стр. Цена 4 р. 50 к.

А. Батров. Наш друг Хосе. Рассказы. 62 стр. Цена 2 р. 30 к.

Р. Гамзатов. Песня о самом дорогом. Стихи. Перевод с аварского. 64 стр. Цена 1 р. 50 к.

Детям. Альманах. Выпуск II. 392 стр. Цена 10 р.

Ф. Зигель. Небесные камни. Книга о метеоритах. 142 стр. Цена 4 р. 10 к.

Я. Купала. Стихотворения и поэмы. Перевод с белорусского. Редакция и вступительная статья Евг. Мозолькова. 336 стр. Цена 4 р. 80 к.

Н. Лукин. Судьба открытия. Роман. 576 стр. Цена 13 р. 40 к.

А. Малинина. Жизненный путь Марины. Повесть. Литературная запись М. Яновской. 184 стр. Цена 8 р. 50 к.

В. Маяковский. Хорош! Октябрьская поэма. 128 стр. Цена 2 р. 50 к.

С. Михалков. Телефон. 12 стр. Цена 1 р.

Н. Незлобин. Колхоз на реке Незнайке. Повесть. 160 стр. Цена 4 р. 70 к.

Н. А. Некрасов. Стихотворения. 64 стр. Цена 30 к.

Р. Парве. Солнце над Родиной. Стихи. Перевод с эстонского. 48 стр. Цена 90 к.

Ш. Перро. Красная шапочка. Перевод с французского под редакцией С. Маршака. 16 стр. Цена 1 р. 30 к.

Полон двор. Русская народная песня. Текст обработал М. Булатов. 11 стр. Цена 2 р.

К. Симонов. Избранные стихи. 168 стр. Цена 4 р.

А. Толстой. Пётр Первый. Роман. 646 стр. Цена 12 р. 80 к.

Ж. Тумунов. Сухэ Батор. Поэма. Перевод с бурят-монгольского С. Шервинского. 64 стр. Цена 2 р. 40 к.

Чудесная мельница. Сказки народов Советского Союза. Составил М. Булатов. 192 стр. Цена 2 р. 90 к.

А. Шиян. Покатигорошек. Перевод с украинского Е. Благиной. Пьеса-сказка. 88 стр. Цена 3 р.

Е. Юнга. Вессмертный корабль. Рассказ. 96 стр. Цена 2 р. 20 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

И. Сталин. О трёх особенностях Красной Армии. 10 стр. Цена 15 к.

В. И. Громов. Из прошлого Земли. (Научно-популярная библиотека солдата). 64 стр. Цена 1 р.

Д. М. Затуловский. Советский альпинизм. (Научно-популярная библиотека солдата). 118 стр. Цена 1 р. 75 к.

Сталинградцы. Рассказы жителей о героической обороне. 291 стр. Цена 10 р.

Техническое обслуживание автомобиля ГАЗ-63. 340 стр. Цена 10 р. 50 к.

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

И. А. Быховский. Мастера «потайных» судов. 92 стр. Цена 3 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Хуан Ай. Бурное десятилетие. Перевод с китайского М. Донец, В. Сорокина и И. Меньшакова. Вступительная статья В. Рудмана. 295 стр. Цена 7 р. 90 к.

ИЗДАНИЯ АКАДЕМИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК ПРИ ЦК ВКП(б)

С. М. Вишинев. Германский вопрос и борьба двух лагерей. 80 стр. Цена 1 р. 50 к.

Е. М. Жуков. Советский Союз в борьбе за демократическое решение послевоенных проблем Дальнего Востока. 36 стр. Цена 70 к.

Д. И. Надточев. Ленинско-сталинский план социалистической индустриализации СССР и борьба большевистской партии за его осуществление (1926—1929 гг.). 56 стр. Цена 1 р. 20 к.

М. М. Розенталь. Развитие В. И. Лениным марксистской теории познания. 56 стр. Цена 1 р. 20 к.

Учёные записки. Выпуск 11. Кафедра теории и истории литературы и теории и истории искусства. 200 стр. Цена 10 р.

Учёные записки. Выпуск 12. Кафедра истории философии. 207 стр. Цена 10 р.

Учёные записки. Выпуск 13. Вопросы советской экономики. 223 стр. Цена 11 р.

Учёные записки. Выпуск 14. Кафедра истории ВКП(б). 448 стр. Цена 15 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО»

Н. Аблякин. Система Станиславского и советский театр. 318 стр. Цена 18 р. 75 к.
А. Амшинская. Н. И. Уткин. 38 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. Варшавский. И. И. Терещенев. 34 стр. Цена 1 р. 50 к.

Самед Вургун. Пьесы. 528 стр. Цена 11 р. 50 к.

Грай Ден Чун. Южнее 38-й параллели. 83 стр. Цена 2 р.

Н. Дьяконов. Свадьба с приданым. 112 стр. Цена 2 р. 25 к.

Е. Нагаевская. И. И. Витали. 26 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Островский. Старый друг лучше новых двух. 73 стр. Цена 2 р.

А. Парамонов. М. Г. Манисер. 34 стр. Цена 2 р. 50 к.

И. Ф. Погедин. Слуга народа. 30 стр. Цена 50 к.

Е. В. Сахаров. В. Д. Полenov. 517 стр. Цена 25 р.

Г. Фёдоров. В тайге. 110 стр. Цена 3 р. 25 к.

Шахтёры. Сборник для художественной самодеятельности. 375 стр. Цена 15 р.

СЕЛЬХОЗГИЗ

Г. Г. Жуйков, В. П. Костин. Учёт в укрупнённом колхозе. Опыт организации учёта в укрупнённом колхозе им. Ильича, Московской области. 88 стр. Цена 1 р. 40 к.

И. и Л. Крупениковы. Василий Васильевич Докучаев. 192 стр. Цена 3 р. 10 к.

Т. Д. Лысенко. Яровизация яровой пшеницы, ячменя, овса и проса. 24 стр. Цена 40 к.

И. Е. Мозгов. Ветеринарная рецептура. Второе издание. 295 стр. Цена 6 р. 70 к.

В. П. Мосолов. Агротехника. Издание второе, переработанное и дополненное. 432 стр. Цена 9 р. 95 к.

М. Г. Чижевский. Обработка почвы. 48 стр. Цена 75 к.

В. Я. Юрьев, П. В. Кучумов, Г. Н. Линник, В. Г. Вольф, Б. Т. Никулин. Общая селекция и семеноводство полевых культур. Издание второе. 432 стр. Цена 13 р. 10 к.

Б. В. Яковлев. Колорадский картофельный жук и меры борьбы с ним. 64 стр. Цена 1 р.

ГЕОГРАФИЗ

Б. А. Александров. Океания. 48 стр. Цена 75 к.

Л. П. Альтман, Г. С. Невельштейн. Петропавловск. 48 стр. Цена 80 к.

В. К. Арсеньев. В делях Уссурийского края. 644 стр. Цена 16 р. 10 к.

Н. Г. Гарин. Из дневников кругосветного путешествия. 447 стр. Цена 11 р.

И. С. Соколов-Микитов. На пробуждённой земле. 423 стр. Цена 10 р. 75 к.

ГОСТЕХИЗДАТ

Э. И. Адирович. Некоторые вопросы теории люминесценции кристаллов. 351 стр. Цена 12 р. 10 к.

Б. А. Воронцов-Вельяминов. Очерки о Вселенной. 524 стр. Цена 9 р. 85 к.

В. А. Диткин и П. А. Кузнецов. Справочник по операционному исчислению. Основы теории и таблицы формул. 256 стр. Цена 7 р. 30 к.

Л. Ландау и Е. Лифшиц. Статистическая физика (классическая и квантовая). 480 стр. Цена 13 р. 75 к.

Н. И. Лобачевский. Полное собрание сочинений. Том третий. Сочинения по геометрии. 536 стр. Цена 23 р. 20 к.

И. Ф. Полак. Курс общей астрономии. Издание шестое, переработанное. 388 стр. Цена 11 р. 75 к.

А. К. Рудась. Сборник задач по начертательной геометрии. Издание шестое. 344 стр. Цена 10 р. 90 к.

Энциклопедия элементарной математики. Под редакцией П. С. Александрова, А. И. Маркушевича и А. Я. Хинчина. Книга первая. Арифметика. 448 стр. Цена 12 р. 55 к.

МЕДГИЗ

М. М. Балтин. Рентгенодиагностика и рентгенотерапия в офтальмологии. 388 стр. Цена 23 р.

Г. А. Ивашенцев, М. Д. Тушинский, В. А. Башенин, М. Г. Данилевич. Курс острых инфекционных болезней. 528 стр. Цена 15 р. 85 к.

А. В. Кибяков и К. В. Лебедев. Миславский. 80 стр. Цена 4 р. 70 к.

П. А. Куприянов. Атлас огнестрельных ранений. Том 1. Книга 2. 216 стр. Цена 27 р.

Н. И. Лепорский. Болезни поджелудочной железы. 352 стр. Цена 15 р. 10 к.

М. Е. Маников. Рентгенотерапия болезней кожи. 124 стр. Цена 4 р.

М. Л. Петрункин и А. М. Петрункьяна. Практическая биохимия. 360 стр. Цена 16 р. 20 к.

Терапевтический справочник. Под редакцией Н. А. Куршакова и В. Ф. Зеленина. 5-е дополненное издание. Том 1. 760 стр. Цена 30 р. Том II. 960 стр. Цена 30 р.

Труды V Всесоюзного съезда врачей-фтизиатров. Под редакцией В. Л. Эйниса. 402 стр. Цена 22 р. 50 к.

Л. М. Яновская. Поведение и лечение туберкулёзного больного. 88 стр. Цена 60 к.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

И. Г. Александров. Советское трудовое право. Учебник для юридических школ. 359 стр. Цена 7 р. 60 к.

С. Н. Братусь, К. А. Граве, М. В. Зимина, В. И. Серебровский, З. И. Шкундин. Советское гражданское право. Учебник для юридических школ. 4-е исправленное и дополненное издание. 679 стр. Цена 13 р. 50 к.

А. Я. Вышинский. Теория судебных доказательств в советском праве. Учебное пособие. Издание третье, дополненное. 308 стр. Цена 11 р. 65 к.

Жилищное законодательство. Сборник официальных материалов. 579 стр. Цена 19 р.

Конституция Народной республики Албании. С дополнениями и изменениями, принятыми на 1-й сессии 2-го созыва Народного Собрания Народной республики Албании (4 июля 1950 г.). 27 стр. Цена 45 к.

Уголовно-процессуальный кодекс УССР. Официальный текст с изменениями на 1 июля 1950 г. 155 стр. Цена 2 р. 35 к.

Уголовный Кодекс УССР. Официальный текст с изменениями на 1 июля 1950 г. и с приложением общесоюзных актов уголовного законодательства. 128 стр. Цена 2 р. 10 к.

ГИЗЛЕГПРОМ

А. А. Авилов и И. И. Тугов. Контроль производства заменителей кожи. 424 стр. Цена 13 р. 70 к.

С. А. Анучин, В. В. Линде, Н. С. Симонов, С. А. Тумаян. Справочник по шелко-сырью, кокономотанию и шелкокручению. 312 стр. Цена 16 р.

Н. Ю. Беркович и А. Д. Ключкова. Стахановские приёмы работы ткачей в су-конном производстве. 126 стр. Цена 5 р. 10 к.

Н. Б. Бродецкий и Н. С. Хрепников. Справочная книга для лаборатории коже-венного производства. 116 стр. Цена 4 р. 55 к.

Б. Я. Иванов. Пошивка обуви. 212 стр. Цена 9 р. 70 к.

Н. Я. Канарский, Б. Е. Эфрос, В. И. Будников. Русские люди в развитии тек-стильной науки. 163 стр. Цена 8 р. 50 к.

А. П. Малышев. Веретено. 240 стр. Цена 15 р.

Д. М. Потёмкин. Основовязальные ма-шины. 144 стр. Цена 6 р.

Сборник тем для изобретателей и рационализаторов льняной промышленности. 66 стр. Цена 2 р. 60 к.

Стахановские методы работы на кругло-трикотажных машинах. 84 стр. Цена 3 р. 25 к.

Стахановские приёмы работы лентоткачей. 140 стр. Цена 7 р. 10 к.

Темник для изобретателей и рационализаторов шерстяной промышленности. 71 стр. Цена 2 р. 80 к.

ГОСЛЕСБУМИЗДАТ

В. Е. Вихров. Строение и физико-механические свойства древесины дуба в связи с условиями произрастания. 112 стр. Цена 4 р. 90 к.

И. М. Зима. Механизация лесохозяйственных работ. 398 стр. Цена 13 р. 75 к.

Лесохозяйственный словарь-справочник. Том II. 174 стр. Цена 16 р. 90 к.

И. В. Невзоров. Леса и лесная промышленность Северного Кавказа. 92 стр. Цена 3 р. 90 к.

Ф. И. Травень. Опыт разведения дуба посевом на каштановых почвах Сталинградской области. 79 стр. Цена 3 р. 30 к.

В. И. Шибалов. Механизация выгрузки и раскатки брёвен на лесопильных заводах. 96 стр. Цена 4 р. 10 к.

ГОСПЛНИЗДАТ

А. М. Бирман. Планирование оборотных средств. 183 стр. Цена 4 р. 50 к.

ЛЕНИЗДАТ

Е. Л. Вяленская и М. И. Гольдберг. Новое в скоростном фрезеровании на Кировском заводе. 112 стр. Цена 3 р.

Киров с нами. Сборник стихотворений. Составитель В. Б. Азаров. 124 стр. Цена 4 р.

Ленинградский альманах № 3. Под редакцией И. Авраменко, Е. Катерли, И. Крафт и А. Розена. 331 стр. Цена 15 р.

Э. Д. Майдельман. Обработка металлов строганием. 136 стр. Цена 4 р.

На страже мира. Сборник. Составитель И. К. Авраменко. 255 стр. Цена 3 р.

КУЙБЫШЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. Арбенин. Ветер с Жигулей. Стихи. 78 стр. Цена 1 р. 60 к.

В. Беспалоз. На солнечной дороге. 55 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Гарин-Михайловский. Избранное. 506 стр. Цена 13 р. 30 к.

Н. Задонский. Простое счастье. 71 стр. Цена 1 р. 65 к.

Э. Казакевич. Весна на Одере. 491 стр. Цена 12 р. 45 к.

Преобразование заволжских степей. 119 стр. Цена 2 р. 35 к.

И. Крылов, В. Лебедев. Полезашитное лесоразведение. 263 стр. Цена 5 р. 30 к.

С. Кудрин. Вдали от Большой земли. Записки партизана. 127 стр. Цена 4 р. 10 к.

В. Саянов. Небо и земля. 713 стр. Цена 22 р. 35 к.

Г. Успенский. Очерки о самарской деревне. 207 стр. Цена 6 р. 80 к.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Л. Н. Андреев. Аппараты и аттракционы лечебной гимнастики. 40 стр. Цена 2 р.

М. Г. Зимницкий. Племхоз «Степное». 72 стр. Цена 2 р.

Куряне — выдающиеся деятели науки и техники. Сборник популярных статей. 158 стр. Цена 5 р.

Репертуарный сборник. 88 стр. Цена 3 р. 50 к.

Л. Н. Толстой. Избранные повести и рассказы. 304 стр. Цена 11 р.

КРЫМИЗДАТ

В. Водяницкий. Чёрное море в свете новейших исследований. 28 стр. Цена 1 р.

М. Горький. Рассказы и сказки. 96 стр. Цена 4 р. 50 к.

Я. Даненков. Лечение гипертонической болезни. (Врачебные советы курортнику). 120 стр. Цена 1 р. 75 к.

Г. Пятков. Солнечный берег. Сборник стихов. 64 стр. Цена 2 р.

Н. Рындиц. Как выводить новые морозо-выносливые сорта цитрусовых. 44 стр. Цена 1 р. 25 к.

В. Сергеевко. Ежегодное плодоношение в садах Крыма. 109 стр. Цена 3 р.

М. Туровский. У подножья Палат-горы. Из опыта работы клуба с. Изобильное. 40 стр. Цена 1 р.

С. Фрейман. Дельфины Чёрного моря. 28 стр. Цена 75 к.

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. Алексеев. Избранное. Стихи. 184 стр. Цена 7 р. 40 к.

К. Андрейченко. Цветы в Сибири. 88 стр.
Цена 1 р. 90 к.

И. Ветлугин. В одном направлении. Стихи. 112 стр. Цена 5 р.

К. И. Воронцова. Заметки учителя. 24 стр. Цена 50 к.

С. Гребенников. Ячмень в Новосибирской области. 80 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Коптелов. По родному краю. Очерки. 296 стр. Цена 10 р.

К. Локотков. Верность. Роман. 248 стр. Цена 8 р. 70 к.

Г. Марков. Строговы. Роман. 384 стр. Цена 18 р. 75 к.

Пламенное слово. Сборник избранных произведений прозаиков и поэтов народов Сибири. 376 стр. Цена 10 р. 90 к.

В. Рябков. Фёдор Лыткин. (Серия «Замечательные сибиряки»). 80 стр. Цена 1 р. 10 к.

Н. М. Савельев. Многолетние кормовые травы в Западной Сибири. 232 стр. Цена 4 р. 90 к.

Б. С. Семёнов. По реке Уень. 34 стр. Цена 55 к.

З. Шадрин. Почвы Новосибирской области. 64 стр. Цена 1 р.

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. Н. Демьянович. По методу инженера Ковалёва. 34 стр. Цена 50 к.

Т. М. Излиева. Как уберечь ребёнка от туберкулёза. 24 стр. Цена 30 к.

А. А. Куликов. Были старой и новой Кырсы. Очерки. 116 стр. Цена 2 р.



Главный редактор А. Т. Твардовский
Редколлегия: М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,
С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К-5-06-96.

Сдано в набор 1/III-51 г.
А 00235

Объём 18 печ. л.

Подписано к печати 20/III-51 г.
Тираж 104.000

Заказ № 442.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова.

Цена 9 руб.